

Аион

ТЕЙХТ'ВАНГЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА . 1964

Ф ИОН ЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией
А. Дышница, Б. Сучкова,
С. Тураева и А. Чаковского*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1964

Ф ИОН ЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

УСПЕХ
Книги 1-3

*Перевод с немецкого
В. Вальдман*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1964

LION FEUCHTWANGER

ERFOLG

Roman

1930

Примечания

В. МИКУШЕВИЧА

УСПЕХ

ТРИ ГОДА ИЗ ИСТОРИИ
ОДНОЙ ПРОВИНЦИИ

РОМАН

Книга первая

ЮСТИЦИЯ

1. ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ.
2. ДВА МИНИСТРА.
3. ШОФЕР РАТЦЕНБЕРГЕР И БАВАРСКОЕ ИСКУССТВО.
4. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЮСТИЦИИ ТЕХ ЛЕТ.
5. ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР БРОСАЕТ ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ.
6. ОБИТАТЕЛИ ДОМА ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ПО КАТАРИ-
НЕНШТРАССЕ ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ
7. ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ.
8. АДВОКАТ ДОКТОР ГЕЙЕР ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ.
9. ПОЛИТИКИ БАВАРСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ.
10. ХУДОЖНИК АЛОНСО КАНО (1601—1667).
11. МИНИСТР ЮСТИЦИИ ПРОЕЗЖАЕТ ПО СВОЕЙ СТРАНЕ.
12. ПИСЬМА ИЗ МОГИЛЫ.
13. ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ И МНОЖЕСТВО УШЕЙ.
14. СВИДЕТЕЛЬНИЦА КРАЙН И ЕЕ ПАМЯТЬ.
15. ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ НА БЕРЕГУ ШТАРН-
БЕРГСКОГО ОЗЕРА.
16. АЛЬКОВНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ.
17. ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ.
18. ПРОШЕНИЯ О ПОМИЛОВАНИИ.
19. ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ И ГОЛОС В ЭФИРЕ.
20. НЕСКОЛЬКО ХУЛИГАНОВ И ОДИН ДЖЕНТЛЬМЕН.

ИОСИФ И ЕГО БРАТЯ

В зале номер шесть государственного музея современной живописи в Мюнхене в первый год после войны в течение нескольких месяцев висела картина, перед которой толпами собирались посетители. На картине был изображен коренастый человек средних лет, с резко очерченным ртом; улыбаясь, он миндалевидными, глубоко запавшими глазами смотрел на мужчин, стоявших перед ним с оскорбленным видом. Холеные лица этих пожилых людей выражали различные свойства их характеров: чистосердечие, скрытность, властность, благодушие. Но одно было общим у всех: они были крепкие, сытые, довольные собой, уверенные в своей порядочности, в правоте своего дела. Здесь явно произошло какое-то досадное недоразумение, так что они имели полное основание чувствовать себя обиженными, даже возмущенными. Только один юноша не казался обиженным, хотя притаившиеся на заднем плане полицейские и удостоили его своим особым вниманием. Он внимательно и, пожалуй, даже с доверием глядел на человека с миндалевидными глазами, несомненно игравшего здесь роль судьи и властелина.

Изображенные на картине люди и их переживания казались и знакомыми, и в то же время странно чужими. Такое платье вполне можно было бы носить и в

наши дни, но все же с подчеркнутой тщательностью исключалось все специфически модное, так что нельзя было определить, к какой эпохе и к какому народу принадлежат эти люди.

В каталоге картина номер тысяча четыреста тридцать семь значилась под названием «Иосиф и его братья, или Справедливость» (триста десять на сто девяносто), — художник Франц Ландгольцер.

Другие произведения этого мастера не были известны. Приобретение государством картины наделало много шума. Художник нигде не появлялся. Ходили слухи, что он чужак, ведет на лоне природы бродяжнический образ жизни, что у него неприятные, вызывающие манеры.

Официальная критика не знала, как подойти к этой картине. Ее трудно было отнести к какой-либо категории. Налета дилетантизма, отсутствия профессиональных навыков у художника нельзя было не заметить; казалось даже, что он это намеренно подчеркивал. Странно старомодная, грубоватая манера письма, как и самый сюжет картины, не представляла ничего сенсационного, но она все же возмущала критиков. Да и второе заглавие «Справедливость» звучало как вызов. Консервативные газеты отнесли к картине отрицательно. Новаторы защищали ее без особого подъема.

Честные утверждали, что безусловно сильное впечатление, производимое картиной, трудно объяснить с помощью обычного словаря художественной критики. Многие из посетителей снова и снова возвращались к картине, многие думали о ней, многие искали разгадки в библии. Там они находили рассказ о том, как Иосиф подшутил над своими братьями. За то, что он был любимцем отца и был иным, чем они, братья продали его в рабство. Иосиф стал могущественным человеком, министром продовольствия богатого Египта. Братья являются к нему, не узнают его и хотят заключить сделку на поставку хлеба. Когда они собираются в обратный путь, он приказывает спрятать у них в вещах серебряный кубок и арестовать их по обвинению в краже. Братья выражают по этому поводу свое справедливое возмущение и утверждают, что они — порядочные люди.

Именно этих порядочных людей и желал изобразить мастер, написавший картину номер тысяча четыреста тридцать семь. Вот они стоят, возмущенные, требующие восстановления своих прав. Братья явились сюда, чтобы заключить с крупным государственным чиновником выгодную для обеих сторон сделку. И вдруг их считают способными стащить серебряный кубок. Они совсем забыли, что когда-то продали мальчика, своего родного брата. С тех пор прошло так много лет. Они крайне возмущены, но держатся с достоинством. А тот человек, улыбаясь, глядит на них своими миндалевидными глазами, и полицейские на заднем плане стоят, туповатые, но полные служебного рвения. И названа картина — «Справедливость».

Впрочем, номер тысяча четыреста тридцать семь через несколько месяцев исчез из государственной картинной галереи. В нескольких газетах по этому поводу промелькнули шуточные заметки, многие посетители с сожалением отметили отсутствие картины. Но газеты понемногу перестали упоминать об этом, перестали задавать вопросы и посетители. Картина и художник были забыты.

2

ДВА МИНИСТРА

Министр юстиции доктор Отто Кленк, несмотря на дождь, отослал домой ожидавший его автомобиль. Возвращался он с абонементного концерта музыкальной академии в приподнятом настроении. Теперь он пройдет немножко, потом, быть может, выпьет рюмку вина.

В накинутах на плечи своем любимом непромокаемом пальто, с неизменной трубкой в зубах, крепкий, высокий, он с удовольствием шагал под мерный шум июньского дождя. В ушах его еще звучали мелодии Брамса. Он свернул в обширный городской парк, так называемый Английский сад. С высоких старых деревьев падали капли. Упоительно пахла трава. Приятно было идти, вдыхая чистый воздух Баварской возвышенности.

Министр юстиции доктор Кленк снял шляпу, обнажив свою красно-бурую лысину. Позади был тяжелый трудовой день. Но затем он слушал музыку. Хорошую музыку. Пусть ворчуны говорят что угодно. — хорошую музыку надо слушать в Мюнхене. В зубах у него была трубка. Впереди — ночь, свободная от всяких дел. Он чувствовал себя свежим, словно на охоте в горах.

Жилось ему, если подумать хорошенько, отлично, прекрасно жилось. Он любил подводить итоги, с точностью устанавливая, в каком положении его дела. Ему было сорок семь лет — какая же это старость для здорового мужчины? Почки были не совсем в порядке. Вероятно, именно от болезни почек он когда-нибудь отправится на тот свет. Но пятнадцать — двадцать лет у него еще, во всяком случае, впереди. Его двое детей умерли. От жены, добродушной высохшей старой козы, ожидать потомства ему уж не приходится. Но зато процветает парнишка Симон, которого родила Вероника, ставшая теперь экономкой в его горном имении Берхтольдсцелль. Он пристроил мальчишку в отделение государственного банка в Аллертсгаузене. Там он сделает карьеру; он, министр, еще дождется внуков с приличным общественным положением.

Итак, с этой стороны все обстояло более или менее благополучно. А вот что касается служебных дел, там все обстояло более чем благополучно: там уж решительно не на что было жаловаться. Вот уже год, как он занимает пост министра, руководит юстицией своей любимой Баварии. Здорово выдвинулся он за этот год. Выделяясь своей гигантской фигурой и длинной красно-булой лысиной среди низкорослых, круглоголовых коллег, он превосходил их также происхождением, манерами и интеллектом. Со времени подавления революции повелось, что наиболее способные люди из правящих кругов сами воздерживались от управления этой маленькой страной. На министерские посты они посылали заурядных людей и довольствовались тем, что дают направление политике, оставаясь при этом в тени. То, что он, Кленк, человек, с детства принадлежавший к верхушке общества, несомненно способный, вошел в правительство, вызвало некоторое удивление. Но он

чертовски хорошо чувствовал себя там, со всей страстью грызся в парламенте с противниками, проводил в области юстиции националистическую политику.

Веселый, шагал он под мокрыми от дождя деревьями. За год своего пребывания у власти он успел показать, что хватка у него крепкая. Вот хотя бы процесс Водички, в котором он защитил права баварских железных дорог и обставил имперское правительство. Или процесс Горнауэра, когда он исконную баварскую пивоваренную промышленность спас от позорнейшего посябления. И вот теперь это дело Крюгера. По нем, Крюгер мог бы хоть до скончания веков оставаться на посту заместителя директора государственного музея. Он, Кленк, решительно ничего не имел против него. Даже не сердился за то, что поместили в музей неприятные картины. Он, Кленк, сам понимал толк в картинах. Но то, что Крюгер, козыряя своей чиновничьей «несменяемостью», насмехался над правительством, говорил, что ему наплевать на него,— вот это уж слишком. Сначала пришлось терпеть. Флаухер, министр просвещения и вероисповеданий, эта жалкая фигура, не мог справиться с Крюгером. Но у Кленка явилась блестящая идея, и он возбудил против этого человека судебное дело.

Кленк широко улыбнулся, вытряхнул трубку, принялся своим могучим басом напевать какую-то мелодию из симфонии Брамса, глубоко вдохнул запах полей и медленно затихавшего дождя. Вспоминая о своем коллеге, министре просвещения, Кленк всегда приходил в хорошее настроение. Доктор Флаухер был именно тем типом чиновника, выходца из крестьянской мелкобуржуазной среды, каких правящая партия так охотно выдвигала на министерские посты. Ему, Кленку, доставляло удовольствие подзуживать его. Забавно было наблюдать, как этот грузный, неуклюжий человек, раздражаясь, беспомощно, словно собираясь боднуть, наклоняет голову, как его маленькие глазки на широком, четырехугольном лице злобно сверкают, глядя на врага. За этим обычно следовала какая-нибудь плоская пресная грубость, которую Кленк без труда парировал.

Человек в непромокаемом пальто вытянул вперед руку, убедился, что дождь почти прошел, отряхнулся и повернул назад. Он задумал веселую шутку. Флаухер с самого начала хотел раздуть процесс Крюгера, сделать из него сенсацию. Черт знает каких только пустозвонов не выдвигали теперь «черные» на министерские посты! Эти болваны на каждом шагу готовы были бить кулаками по столу, козырять, драть глотку. Он, Кленк, намеревался покончить с делом Крюгера изящно, без шума. Пряমেхонько с кресла руководителя государственного художественного музея отправить человека в тюрьму только за то, что он решился под присягой отрицать свою связь с женщиной, было в конце концов просто некультурно. Но Флаухер орал об этом деле на весь свет и заставлял все газеты кричать о процессе Крюгера. Тогда он, Кленк, послал одного из референтов министерства в имение доктора Бихлера, чтобы выведать точку зрения этого крупнейшего руководителя крестьянской партии и фактического тайного законодателя Баварии. Доктор Бихлер, как и следовало ожидать от этого умного мужика, был, разумеется, того же мнения, что и Кленк. Он говорил об этих «мюнхенских ослах», вечно старающихся подчеркнуть, что власть в их руках. Как будто дело в видимости власти, а не в основной ее сущности. Об этих «ослах» Флаухер, наверно, еще не слышал: ведь референт министерства приехал только сегодня. Флаухер, должно быть, еще сидит в «Тирольском погребке», ресторане старого города, где он обычно проводит вечера, и хвастает начинающимся завтра процессом. Кленк должен преподнести ему этих «ослов», сообщить ему мнение всемогущего человека. В таком удовольствии он себе не откажет.

Он повернул, быстро зашагал назад, нашел у парка машину.

Флаухер действительно находился в «Тирольском погребке». Он сидел в кругу своих друзей в маленькой боковой комнате, где четверть литра вина стоила на десять пфеннигов дороже. Кленк нашел, что в этом ресторане его коллега кажется гораздо более на месте,

чем среди мебели в стиле ампира в своем хорошо обставленном министерском кабинете.

Подчеркнуто бюргерский уют — деревянная обшивка стен, массивные, не покрытые скатертями столы, старомодные, крепкие, рассчитанные на усидчивых людей скамьи — все это составляло рамку, вполне достойную доктора Франца Флаухера. Грузный, с широким, тупым, упрямым лбом, сидел он, привычно окруженный людьми с устойчивым положением, с устойчивыми взглядами. В комнате было сумеречно от сигарного дыма и испарений сытных кушаний. Из соседней пивной через открытые окна доносилось пение популярной труппы народных певцов. Слова песни — смесь сентиментальности и обнаженной похоти. За окном темнела небольшая, тесная и угловатая площадь со всемирно знаменитым пивоваренным заводом. На своем обычном крепком деревянном стуле, с такой у ног, сидел министр — доктор Франц Флаухер, и вокруг него — художники, писатели, ученые. Министр пил, слушал, возился с собакой. Сегодня, накануне процесса Крюгера, он был окружен особенным уважением. Он никогда не скрывал своей ненависти к Крюгеру. И вот теперь для всех должно было стать ясным, что этот человек с извращенными художественными вкусами и в своей личной жизни был извращен и испорчен.

Появление коллеги-юриста сразу понизило настроение Флаухера. То, что своей победой над Крюгером он был обязан Кленку, было для него ложкой дегтя в бочке меда. Министр доктор Франц Флаухер не одобрял министра доктора Отто Кленка, хоть оба они и принадлежали к одной и той же партии и проводили одну и ту же политическую линию. Флаухера раздражал аристократический, полный сознания своего превосходства тон, которого по отношению к нему придерживался Кленк, раздражали его богатство, охота в горах, его два автомобиля, долговязая фигура, его властность и несерьезность; Флаухер не одобрял Кленка как такового и всего, что тому принадлежало. Ему небось все доставалось легко, этому Кленку. Его родители, деды и прадеды принадлежали к «боль-

шеголовым». Какое представление этот человек имел о жизни чиновника? Он, Франц Флаухер, четвертый сын секретаря королевского нотариуса в Ландсгуте в Нижней Баварии, каждый шаг своего пути, от колыбели и до министерского кресла, оплатил потом и с трудом проглоченными унижениями. Сколько потребовалось бессонных ночей и скрежета зубовного, прежде чем ему удалось не только — не в пример своим братьям — одолеть греческий язык, но и окончить среднюю школу, ни разу не оставшись на второй год. Сколько нужно было хитрости и самоограничений, чтобы двигаться затем дальше по пути к чиновничьей карьере и не застрять в дороге. Сколько хождений и просьб, чтобы каждый раз сызнова закреплять за собой одну из клерикальных стипендий. Сколько усилий, чтобы, в качестве члена не признающего поединков католического студенческого союза, убеждать редакторов в необходимости помещать в газетах его статьи, со всех сторон освещавшие вопрос о праве и обязанности студентов отказываться от вызовов на дуэль. И все же, если бы не тот случай, когда возвращавшиеся после утренней кружки пива студенты-корпоранты, решив испытать степень его униженной покорности, высекли его, — если бы не этот счастливый случай, он так и остался бы внизу. Но даже несмотря на это, сколько раз еще приходилось ему скромно, но настойчиво ссылаться на перенесенные мучения, в которых, на его счастье, участвовал, между прочим, и сын одной влиятельной особы, сколько раз еще вынужден он был требовать возмещения «убытков», нанесенных ему этой историей, пока наконец не удалось выплыть на поверхность. А сколько раз пришлось потом, стиснув зубы, в душе сознавая свое превосходство, покорно склоняться перед волей всяких идиотов — вождей партии, из страха, что бо́льшая покорность какого-либо другого кандидата явится доказательством бо́льшей пригодности этого другого на пост министра.

С глубоким недоверием поглядывал Флаухер на Кленка, который под шум приветствий с медвежьей грацией усаживался за стол, с удовольствием отпуская

остроты по адресу присутствующих, то благодушные, то полные желчи и яда. Отвратительный тип этот Кленк! Избалованный человек, для которого политика — просто забава, такой же способ заполнить жизнь, как вечер за покером в клубе или охота в Берхтольдсцелле. Что он, Кленк, знает о том, насколько он, Франц Флаухер, чувствует себя внутренне обязанным защищать старинные, твердо обоснованные взгляды и обычаи от распушенности, свойственной жадной до наслаждений эпохе? Война, переворот, все шире развивающееся общение с другими странами прорвали немало крепких плотин; он, Франц Флаухер, чувствовал себя призванным защищать последние оплоты от злобных волн современности.

Какое значение имели такие вещи для Кленка? Вот он сидит, этот субъект с удлинённой головой, с огромными лапами, украшенными длиннейшими ногтями. Для него, разумеется, недостаточно хорошо обыкновенное тирольское вино, он, видите ли, должен лакать дорогое бутылочное! Для него и процесс Крюгера, наверно, только новый забавный фокус. Этот легкомысленный человек даже и понять не способен, что обезвреживание такого субъекта, как Крюгер, можно считать столь же важным делом, как излечение мокнущего лишая.

Ведь обвиняемый по этому процессу доктор Мартин Крюгер — продукт ужасной послевоенной эпохи. Заняв свою должность во время революции, он в качестве заместителя директора государственного музея приобрел картины, вызывающие возмущение всех здравомыслящих и преданных церкви людей. От двусмысленной, пахнущей крамолой картины «Иосиф и его братья» удалось избавиться относительно быстро. Но кроваваджное, садистское «Распятие» художника Грейдерера и обнаженная женская фигура, производившая особенно бесстыдное впечатление тем, что являлась автопортретом (до какой степени развращенности должна была дойти эта особа, рисовавшая самое себя голой и, словно девка, выставлившая напоказ свои бедра и грудь!), — эти две картины еще недавно позорили государственную картинную галерею. Его, Франца

Флаухера, галерею, за которую он нес ответственность! Министра, когда он вспоминал об обеих картинах, охватывало чувство почти физического отвращения. Виновника всей этой мерзости, Крюгера, Флаухер не выносил, — не выносил его изящно очерченных губ гурмана, его серых глаз и густых бровей. Когда однажды ему пришлось пожать Крюгеру руку, — эту теплую, волосатую руку, — своей собственной жесткой, жилистой рукой, он почувствовал нечто вроде изжоги.

Он тогда же принял все меры, чтобы разом избавиться от этого Крюгера. Но его коллеги по кабинету — и прежде всего, конечно, Кленк — высказали сомнение в целесообразности насильственных мер. Увольнение доктора Мартина Крюгера, пользующегося широкой известностью знатока истории искусств, в дисциплинарном порядке — «ввиду несоответствия занимаемой должности» — могло подорвать престиж города в области искусства, а подобные соображения в то время еще останавливали членов кабинета.

Вспоминая об этих доводах, помешавших ему давно уже разделаться с Крюгером, министр Флаухер заворчал так громко, что такса забеспокоилась. Престиж в области искусства! Страна, которой он, Флаухер, служил, была страной земледельческой. Город Мюнхен, расположенный в центре этой страны, как по характеру своего населения, так и по своей структуре носил определенно крестьянский отпечаток. Об этом не мешало бы подумать господам коллегам по кабинету. Они должны были бы стараться оградить свою столицу от лихорадочной погони за наслаждениями, накладывающей свой гнусный отпечаток на все большие современные города. Вместо этого они, как идиоты, болтают о престиже в области искусства и тому подобной чепухе.

Министр Флаухер проворчал что-то, глубоко вздохнул, выпил вина, рыгнул, с досадой оперся локтями о стол и, склонив шишковатую голову, крохотными глазками уставился на благодушно восседавшего за столом Кленка. Кельнерша Ценци, уже много лет обслуживавшая этот стол в «Тирольском погребе», стояла при-

слопившись к буфету. Взглядом организатора следила она за своей помощницей Рези, не переставая в то же время с легким юмором наблюдать за расшумевшимися мужчинами, учитывая как колебания в их настроении, так и уровень остающегося еще в их стаканах вина. Эта полная, крепкая женщина с красивым широким лицом, страдавшая, как и все ее коллеги, плоскостопием, отлично знала всех своих постоянных посетителей. Она прекрасно заметила, как изменился министр Флаухер при появлении министра Кленка. Она знала, что Флаухер, если он в хорошем настроении, закажет вторую порцию сосисок, а если в плохом — редьку. Он не успел даже пробормотать до конца свое приказание, как редька уже очутилась перед ним на столе.

Престиж в области искусства! Как будто он сам, Флаухер, не любил, например, музыки? Но было просто признаком дегенерации, снобизмом — ради этого самого «престижа» спускать каждому «чужаку» любую вызывающую выходку, любое свинство. Министр Флаухер в порыве досады по рассеянности притянул к себе тарелку с остатками ужина своего соседа и бросил своей таксе кость. Даже и тогда, когда он занялся приготовлением своей редьки по всем правилам искусства, его не переставало терзать сознание того, как бесконечно долго ему пришлось терпеть в музее вредителя Крюгера.

Такса у его ног чавкала, грызла кость, глотала, жрала. Окончив возню с редькой, министр выжидал, пока отдельные ломтики водянистого корнеплода втянут достаточное количество соли. Сквозь открытые окна, несмотря на шум в ресторане, явственно доносились из находившейся напротив пивной звуки исполняемого сотнями голосов мюнхенского гимна: пока старый Петер стоит у Петерберга, пока течет по городу зеленый Изар, до тех пор не иссякнут в Мюнхене веселье и уют. Да, долго, долго пришлось Флаухеру ждать, пока он избавился от Крюгера. Пока, — да, приходилось в этом признаться, — пока Кленк не дал ему в руки оружия против Крюгера. Флаухеру ясно представился этот час. Это было в такой же вечер, как сегодня, здесь же, в «Тирольском погребке», за тем сто-

ликом, вон там наискосок, под большим выжженным пятном на облицовке, о котором с таким цинизмом говорил однажды писатель Лоренц Маттеи. На этом самом месте Кленк, с трудом сдерживая свой сильный бас, сначала в виде намеков и, по своему обыкновению, поддразнивающим, двусмысленным тоном, а затем уже в ясных словах преподнес ему тогда это «дело Крюгера», это ниспосланное богом дело о лжесвидетельстве, давшее возможность удалить Крюгера с занимаемой должности и затем с помощью процесса устранить его раз и навсегда. Это был великий вечер, он готов был тогда простить Кленку все его надутое высокомерие, — такой подъем испытывал он от сознания победы правого дела и гибели злого.

И вот настает долгожданный день. Завтра процесс начнется. Он, Франц Флаухер, до конца насладится победой. Он будет стоять, грузный, представительный, какими он не раз видел священников на амвоне деревенской церкви, и внушительно возгласит: «Глядите, вот каковы они, безбожники! Я, Франц Флаухер, с самого начала почувствовал в нем дьявола».

Он принялся за пропитавшуюся солью редьку. К каждому ломтику полагалось добавить немного масла и кусочек хлеба. Но он ел машинально, без обычного наслаждения. Приподнятое настроение, в котором полтора часа назад он покинул свою квартиру, исчезло с той самой минуты, как появился Кленк. Тот с показным добродушием не обращает внимания на Флаухера, но это лишь притворство: сейчас он с самым невинным и приветливым видом поднимет его на смех.

И вот Флаухер действительно услышал густой бас Кленка:

— Да, кстати, коллега, мне необходимо вам кое-что рассказать.

Вряд ли это сообщение будет особенно радостным. Густой бас Кленка звучал спокойно, но Флаухер ясно различал в словах коллеги намерение уязвить его. Кленк неторопливо встал, вытянулся во весь свой огромный рост. Флаухер продолжал сидеть, склонившись над последними ломтиками редьки. Но Кленк сделал

приветливый, благодушный жест, и Флаухер против своей воли тоже встал. У буфета стояла кельнерша Ценци и глядела на него. Ее проворная помощница Рези, не переставая болтать с одним из посетителей и не забывая в то же время переменить тарелку на другом столике, также поглядела вслед обоим мужчинам, дружно направлявшимся в уборную. Флаухер шел с тем мрачным чувством, которое он испытывал будучи студентом, когда его вызывали на дуэль.

В выложенной фаянсовыми плитками уборной Кленк рассказал Флаухеру о беседе своего референта с вождем крестьянской партии Бихлером. Нет, Бихлер не сочувствовал тактике министра Флаухера в вопросе о процессе Крюгера. «Осел», — сказал, как сообщают из достоверных источников, Бихлер. Так вот прямо, без обиняков и сказал: «Осел». Нужно признаться, что и он, Кленк, ни в коей мере не разделяет взглядов уважаемого коллеги в этом вопросе. Но «осел» — это, конечно, чересчур сильное выражение. Все это Кленк выкладывал, нисколько не стараясь умерить свой громовой бас. Он так орал, что, конечно, его было слышно и за стенами уборной.

Мрачный, сутулясь еще больше обычного, вышел министр просвещения Флаухер, бок о бок с весело болтавшим Кленком, из облицованного фаянсовыми плитками помещения. Он так и знал: ему не дадут насладиться победой. Нечего было и думать противиться ясно выраженной воле агрария Бихлера, фактического правителя Баварии. Приходилось отойти в сторону, отказаться от триумфа. Оплевано было для него теперь все, весь процесс. Молча сидел он, склонившись над остатками редьки, оттолкнув ногой повизгивавшую таксу, с мрачной злобой прислушиваясь к все новым раскатам смеха, вызываемого веселыми шутками Кленка.

Понурый и ворчливый вернулся в этот вечер министр Флаухер в свою квартиру, которую несколько часов назад, предвкушая процесс Крюгера, он покинул в таком приподнятом настроении. Усталая, боязливая, сочувствуя горю хозяина, такса скользнула в свой уголок.

ШОФЕР РАТЦЕНБЕРГЕР И БАВАРСКОЕ ИСКУССТВО

Председательствующий, ландесгерихтсдиректор доктор Гартль, общительный блондин, сравнительно молодой, — ему едва ли было пятьдесят, — с небольшой лысиной, был любителем изящества, ловкости в ведении судебных процессов. Среди баварских судебных чинов было не много столь же способных достойным образом вести процесс, привлечший внимание всей страны. Гартль знал поэтому, что правительству некому больше поручить это дело и что он может действовать как ему заблагорассудится, лишь бы конечный результат, то есть в данном случае осуждение обвиняемого Крюгера, соответствовал политике кабинета. Богатый и независимый, честолобивый судья чувствовал себя очень важной персоной. Не мешало показать правительству, что он умеет всесторонне использовать свои способности и представляет собой фактор, с которым необходимо считаться. Его истинно баварские, консервативные убеждения находились вне всяких подозрений. Умело подобранный состав присяжных являлся солидной страховкой. В смысле юридических знаний он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы, опираясь на гибкие параграфы, юридически обосновать любой приговор, — почему же не позволить себе роскошь провести такое громкое дело, как этот процесс Крюгера, утонченно художественно, показать свое умение попятить все человеческие слабости?

Обладая безошибочным инстинктом, он умел создавать нарастание впечатлений, и потому провел допрос обвиняемого чисто формально, приберегая эффекты к тому моменту, когда внимание начнет ослабевать. Пришлось ждать довольно долго, пока наконец он не распорядился вызвать главного свидетеля обвинения.

При появлении шофера Франца-Ксавера Ратценбергера все шеи вытянулись, к глазам поднялись лорнеты, и зарисовщики больших журналов лихорадочно зарисовывали. Маленький, толстенный, круглоголовый чело-

век с светлыми усами, в непривычном и стеснявшем его черном сюртуке, польщенный общим вниманием, выступал с важностью и деланной непринужденностью. Скрипучим голосом, на местном диалекте он обстоятельно отвечал на вопросы, касавшиеся его личности.

Безмолвно прислушивались присутствующие к нескладным, ничего, в сущности, не говорящим словам, которыми этот низкорослый человечек с крохотными глазками решительно подтверждал виновность Крюгера. Итак, три с половиной года назад, в ночь с четверга 23 на пятницу 24 февраля, он в три четверти второго вез обвиняемого Крюгера с какой-то дамой с Виденмайерштрассе до дома номер девяносто четыре по Катариненштрассе. Здесь доктор Крюгер вместе с дамой вышел из автомобиля и, расплатившись, вошел вместе с дамой в дом. Крюгер во время разбирательства дисциплинарного дела, возбужденного вскоре после этого против ныне покойной Анны-Элизабет Гайдер, под присягой показывал другое, а именно утверждал, что в ту ночь проводил свою даму до ее квартиры, а затем в том же автомобиле поехал дальше. Таким образом, если придавать веру словам шофера Ратценбергера, Крюгер был виновен в даче на суде под присягой заведомо ложных показаний.

Председатель с подчеркнутым беспристрастием, не дожидаясь вмешательства защитника доктора Гейера, поставил свидетелю на вид неправдоподобность его показаний. Описываемые события имели место три с половиной года назад. Как же мог Ратценбергер, перевезший за это время тысячи пассажиров, с такой точностью помнить все подробности, относившиеся к доктору Крюгеру и его спутнице? Не перепутал ли он дат или личностей? Дружелюбно-небрежным тоном, каким председатель суда имел обыкновение говорить с людьми из народа, продолжал он беседовать со свидетелем, вызвав даже беспокойство у прокурора.

Но шофер Ратценбергер был хорошо натаскан и не скупился на ответы. В других случаях он, мол, не мог бы с такой уверенностью говорить о личностях и сроках, но 23 февраля был день его рождения, он отпраздновал его и, собственно говоря, решил в эту ночь не

работать. Все же он выехал, так как не был оплачен счет за электричество и его старуха ныла до тех пор; пока наконец он не решился выехать. (Корреспонденты отметили смех в зале при этих словах.) Было чертовски холодно, и он чертовски злился бы, если бы не удалось заполучить пассажира. Его стоянка была у Мауэркирхенштрассе, где живут богатые господа. Вот он и посадил пассажиров — этого самого господина Крюгера с дамой. Господа эти вышли из дома по Виденмайерштрассе, где все окна были освещены. По-видимому, там было какое-то большое празднество.

Все это свидетель выложил своим скрипучим голосом с самым прямодушным видом, слегка причмокивая после каждой фразы и стараясь объясняться как можно яснее. Он производил впечатление порядочного человека и казался достойным доверия. Судьи, присяжные, журналисты и публика с интересом прислушивались к его показаниям.

Почему, — поинтересовался председатель (он также заговорил теперь на местном наречии, что привлекло к нему общие симпатии), — почему, собственно, Ратценбергер обратил внимание на то, что доктор Крюгер вместе с дамой вошел в дом по Катариненштрассе? Шофер ответил, что он и его товарищи всегда очень интересуются такими вещами, так как пассажир, провожающий даму и входящий с нею в дом, обычно не скупится на чаевые.

Каким образом он в темноте так ясно разглядел лицо обвиняемого, что теперь с уверенностью решает опознать его?

— Такого человека, как господин Крюгер, — помните! — ответил шофер. — Его мудрено не узнать!

Присутствующие вглядываются в обвиняемого, рассматривают его крупное лицо, широкий лоб, низко заросший черными до блеска волосами, серые глаза под густыми темными бровями, большой мясистый нос, изогнутую линию рта. Да, правильно: это лицо легко запомнить. Было вполне правдоподобно, что шофер мог и несколько лет спустя узнать его.

Обвиняемый сидел неподвижно. Его защитник, доктор Гейер, внушил ему, чтобы он сам не вмешивался

в ход прений, предоставив это ему, защитнику. Доктор Гейер охотно также стер бы с лица обвиняемого залегшую в уголках его губ вызывающую улыбку, отнюдь не способную привлечь на его сторону симпатии присутствующих.

Адвокат, сухощавый белокурый человек с тонким крючковатым носом, редкими волосами, быстрыми голубыми глазами за толстыми стеклами очков, плохо владевший своим нервным лицом, ясно понимал, что, задавая наводящие вопросы, председатель преследует цель не поколебать, а укрепить доверие к показаниям свидетеля. Для него стало ясно, что к возражению, будто шофер не может через три с лишним года помнить, как вел себя его пассажир, здесь хорошо подготовлены. Поэтому доктор Гейер решил повести на него наступление с другой стороны. Он сидел взволнованный и готовый к действию, словно заведенный и уже вздрагивающий автомобиль, готовый рвануться с места. Легкая краска то покрывала лицо, то сбегала с него. Настоячиво, не спуская своих зорких глаз с шофера, он принялся с самым невинным видом издали перебирать его не внушавшее особого доверия прошлое.

Шофер Ратценбергер неоднократно менял места службы. Большую часть войны он провел в тылу, затем наконец попал на фронт, был засыпан в окопе землей и ввиду тяжелого ранения снова возвращен в тыл. Дома, опираясь по каким-то причинам на особую протекцию, добился возможности окончательно спать военную форму. Женился на девице, имевшей от него уже двоих больших детей и получившей к этому времени маленькое наследство. На деньги жены он приобрел таксомотор. Детей, особенно своего сына Людвига, он по-своему грубо баловал, но жена его в то же время неоднократно обращалась в полицию с жалобами на нанесенные ей побои. Ходили также слухи и о каких-то семейных ссорах: во время одной из них Франц-Ксавер Ратценбергер ранил в голову своего брата и был уличен родственниками в наглой и грубой лжи. За оскорбления и угрозы на него неоднократно поступали жалобы от владельцев и шоферов частных автомобилей. Ратценбергер объяснял эти жа-

лобы враждебностью частных автомобилистов, питавших, по его словам, особую ненависть к шоферам такси, управлявшим машинами лучше, чем эти господа. Кроме того, заявил шофер, после войны он был подвержен вспышкам гнева даже по самым незначительным поводам. Однажды, по непонятной даже ему самому причине, он покушался на самоубийство: неожиданно для всех, с криком: «Прощай, чудный край!» — соскочил с парома, переправлявшегося в окрестностях Мюнхена через Изар, но был выловлен из воды.

Адвокат Гейер выразил удивление, как это такому нервному человеку дано было разрешение на управление таксомотором. Известно было, что шофер Ратценбергер любил выпить. «Сколько?» — прозвучал настойчивый, неприятный голос доктора Гейера. «Примерно три литра в день». — «Иногда и больше?» — «Иногда и пять». — «Случалось, и шесть?» — «Случалось». — «Не был ли однажды составлен полицейский протокол по поводу того, что он избил пассажира, не давшего ему на чай?» — Возможно. Должно быть, этот прохвост чем-нибудь обидел его. Оскорблять себя он никому не позволит! — Дал ли ему доктор Крюгер в тот раз на чай? Как это так он не помнит? Но ведь как раз в связи с чаевыми он и приглядывается так внимательно к пассажирам, провожающим женщин. (Быстрый, звонкий голос адвоката словно ударял по свидетелю, явно смущая его.) Вozил ли он обвиняемого когда-нибудь еще? Этого он также не помнит? Но ведь правда, что против него было возбуждено преследование и ему грозило лишение прав водителя такси?

Под градом сыпавшихся на него вопросов адвоката свидетель смущался все больше и больше. Он все чаще причмокивал, жевал свои рыжеватые усы и окончательно перешел на местный диалект, так что иногородние репортеры с трудом улавливали смысл его слов. Но тут вступился прокурор. Вопросы защитника не имеют-де прямого отношения к делу. Председатель из подчеркнутого человеколюбия по отношению к обвиняемому все же разрешил постановку вопросов.

Да, так вот: дело против него действительно было однажды возбуждено. Как раз по поводу якобы имев-

шего место избияния пассажира. Но это дело было прекращено. Показания пассажира, какого-то прохвоста, «чужака», желавшего лишь увильнуть от уплаты по таксе, не подтвердились.

Снова на мгновение вспыхнули краской щеки доктора Гейера. Он усиливал свое наступление. Не без труда принуждал он к покою свои узкие, покрытые тонкой кожей руки. Его высокий, звонкий голос звучал в ушах свидетеля четко, неумолимо. Он пытался установить связь между нынешними показаниями шофера и возбужденным против него делом, грозившим ему лишением водительских прав. Он стремился доказать, что дело против шофера было прекращено, когда выяснилась возможность использовать показания Ратценбергера против Крюгера. Он подходил издали, задавал самые невинные вопросы. Но недаром Ратценбергер, ища поддержки, поглядывал на председателя, — доктор Гартль счел нужным вступить. Здесь выросла непроницаемая стена. Так и не стало известно суду, как неопределенны были первоначальные показания Ратценбергера, как перед ним в ходе допроса то вырисовывалась угроза потери прав водителя такси, то снова исчезала, пока его показания не приняли совершенно твердого характера. Не узнали слушатели и о нитях, тянувшихся от полиции к судебным властям, от судебных властей к министерству просвещения и вероисповеданий. Здесь все было смутно, неопределенно, неуловимо. Все же почва под ногами шофера Ратценбергера оказалась несколько поколебленной. Но под конец при поддержке председателя он с помощью ходячей остроты обеспечил себе приличное отступление: он, может, разочек в жизни и в самом деле был недостаточно вежлив с пассажиром, но пусть спросят кого угодно — любой шофер в городе ездит лучше, когда в брюхе у него переливаются кружки две пива. После этого свидетеля отпустили, и он удалился, убежденный, что добросовестно дал свои показания. Он уносил с собой симпатии многих, твердые надежды на хорошие чаевые и полную уверенность, что, если опять какой-нибудь наглый пассажир станет обвинять его в насилии, такси все равно останется за ним.

Вслед за этим суд занялся выяснением подробностей вечеринки, предшествовавшей злополучной поездке на автомобиле. Эта вечеринка происходила в последний год войны. Одна дама, родом из Вены, пригласила к себе человек тридцать гостей. Квартира была убрана мило, без особых претензий. Пили, танцевали. Жильцы из нижней квартиры, по ряду причин относившиеся к венке недоброжелательно, вызвали полицию, — было-де величайшим безобразием пить и плясать во время войны. Полиция переписала гостей. Лиц, по возрасту подлежащих призыву в армию и не имевших протекции, несмотря на признанную ранее непригодность к военной службе или «броню», вскоре после того отправили на фронт.

Дама, устраивавшая вечеринку, дружила с левыми депутатами ландтага, поэтому власти постарались по возможности раздуть этот инцидент. Безобидные тапцы были в мгновение ока превращены в отвратительную оргию. Красочные подробности якобы происходивших там непотребных действий передавались из уст в уста. Даму выслали из Баварии. Ее муж, занимавший видное положение, умер за два года перед тем. У нее остался от него ребенок. Родственники мужа сейчас же предприняли ряд шагов с целью устранить ее от опекуна над ребенком, ссылаясь на ее предосудительное поведение. Мюнхенские обыватели, возбужденно улыбаясь и смакуя, передавали друг другу все более сочные подробности того вечера; они с возмущением, по всегда с большим интересом распространялись об утонченных наслаждениях, свидетельствующих о падении нравов всякого рода «чужаков». Термином «чужак» в Мюнхене обозначался всякий, кто по своему внешнему виду, образу жизни или хотя бы дарованиям выделялся из общей массы.

Отрицал ли доктор Крюгер, что вместе со своей дамой присутствовал на вечеринке на Виденмайерштрассе? Нет. Путем сложного сопоставления доказательств обвинение пыталось установить правдоподобие показаний шофера: чувственная атмосфера, царившая на вечеринке, создала-де предпосылки к тому, что Крюгер вместе со своей дамой поднялся к ней в квартиру. Прокурор потребовал дальнейшего ведения заседания

при закрытых дверях ввиду опасности, грозившей общественной нравственности. Гейеру удалось отвести этот удар, главным образом благодаря тому, что председателю не хотелось лишиться симпатии публики, начавшей при таком предложении выражать неудовольствие. Но затем тут же, в открытом заседании, начались картинные описания происходившего на вечеринке: разбросанных по полу подушек, бесстыдных, чрезвычайно чувственных танцев, тусклого, создававшего определенное настроение освещения.

Доктор Гейер счел нужным заметить, что если на вечере действительно царило такое приподнятое настроение, доктор Крюгер вряд ли бы так рано удалился. На это прокурор очень ловко возразил, что именно возбуждающая обстановка вечера и вызвала у обвиняемого стремление остаться со своей дамой наедине. Председатель, придерживаясь примирительного, всепонимающего тона, умудрялся извлекать из показаний свидетелей все больше молчаливых черточек, как будто вполне невинных, но в освещении прокурора казавшихся крайне двусмысленными. Присутствовали ли на вечере лица обоего пола? Не лежали ли гости на раскиданных всюду подушках? Не подавались ли возбуждающие кушанья, например, немецкая икра?

Подвергли допросу и даму, устраивавшую вечеринку. Не присутствовали ли на этом вечере одновременно двое мужчин, с которыми она когда-то была в связи? Не танцевала ли она с обоими? Не оказала ли она сопротивление при появлении полиции? Не вступила ли она с полицейскими в драку? Свидетельница, пыльная, крупная женщина с красивым, полным лицом, страдала от духоты плохо проветренного помещения. Ее показания звучали нервно, истерично. Она вызывала в публике смех и то полупрезрительное благожелательство, с каким местные жители обычно относятся к продажным женщинам. Из ее показаний выяснилось, что она вовсе не вступала в драку с полицейскими: она всего только, — когда один из полицейских схватил ее за плечо, — не оборачиваясь, ударила по его руке пером. Осуждена она была не за сопротивление властям, а лишь за нарушение предписаний о нормах употребле-

ния угля и электричества, так как свет горел одновременно более чем в одной комнате. В то время как насилие шофера Ратценбергера по отношению к пассажиру встретило среди присутствовавших благодушное сочувствие, удар веером, нанесенный этой дамой, вызвал двусмысленные улыбки и покачивание головой. Здесь было, во всяком случае, лишнее доказательство распушенности, царившей среди этих «чужаков». Публика была вполне удовлетворена. Она испытывала приятное волнение и даже склонна была признать «наличие смягчающих вину обстоятельств» для обвиняемого.

Все-таки, несмотря на все искусство доктора Гейера, суду удалось добиться того, что все слушатели прониклись уверенностью в виновности Крюгера.

Шофер Ратценбергер, празднуя в тот же вечер в ресторанчике «Серенький козлик» свое выступление на суде, был окружен знаками всеобщего уважения постоянных собутыльников, завсегдатаев этого заведения. Даже родные, обычно считавшие его лодырем и прохвостом, в этот вечер готовы были признать его молодчиной, а жена, много раз жаловавшаяся на мужа в полицию за избиения и зная, что он женился на ней только ради возможности приобрести таксомотор и рад был бы от нее избавиться, в этот вечер была влюблена в него.

Но с большим восхищением, чем кто-либо из присутствовавших, внимал ему в тот вечер сын его Людвиг Ратценбергер, юноша с приятной внешностью. Почтительно глотал он каждое слово, с трудом выползавшее из-под обкусанных, мокрых от пивной пены отцовских усов. Никогда Людвиг Ратценбергер не испытывал ни малейшего уважения к своей вечно ноющей матери. Даже тогда, когда вместе с сестричкой нес за матерью шлейф при ее запоздалом венчании, даже и тогда питал он к этой жалкой женщине что-то вроде презрения. А отец — разве не был он всегда и всюду воплощением представительности?

Смутно, но с наслаждением вспоминал Людвиг Ратценбергер, как отец, когда Людвиг еще не умел ходить, с помощью тряпки вливал в его жадный ротик пиво.

Брань и проклятия отца, наполнявшие комнату, казались мальчику образцом мужественности. А позднее — часы восторга, когда отец, — нарушая правила, так как Людвиг был еще слишком молод, — учил его управлять машиной! А блаженство сумасшедшей почной езды на машинах, владельцы которых вовсе не были бы в восторге, если бы знали об этих экскурсиях! А какое огромное впечатление произвел на мальчика случай, когда отец, поссорившись из-за какого-то пустяка с одним автомобилистом, обругал его, а затем, в отместку за дерзкий ответ, проколол камеру стоявшей на улице машины врага. Людвиг и сейчас еще видел, как крался отец к машине и как он был счастлив после свершенной мести. И теперь, когда отца осыпали похвалами и посетители рестораника и газеты, когда слава венчала всю его предшествующую жизнь, сердце мальчика ширилось в груди от восторга. Но оппозиционная пресса и некоторые газеты других провинций Германии высказывали свои соображения о связи между памятью шофера Ратценбергера и взглядами на искусство официальных кругов Баварии. Ведь если бы шофер Ратценбергер не запомнил так хорошо лицо Крюгера, невозможно было бы уволить последнего со службы и убрать картины, которые он так упрямо хотел оставить в галерее.

4

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЮСТИЦИИ ТЕХ ЛЕТ

В те годы, после великой войны, юстиция на всем земном шаре больше чем когда-либо находилась под политическим влиянием.

В Китае во время гражданской войны правительство, в данный момент побеждавшее, вешало и расстреливало по суду за несовершенные преступления чиновников всех рангов, ранее служивших побежденному правительству.

В Индии вежливые судьи-империалисты, на основании спорных и чисто формальных юридических дово-

дов, присуждали к многолетнему тюремному заключению вождей национального движения за написание различных статей и книг, в то же время почтительно раскланиваясь перед благородством и твердостью их убеждений.

В Румынии, Венгрии, Болгарии обвиняемые евреи и социалисты после нелепой судебной комедии тысячами подвергались повешению, расстрелу или пожизненному тюремному заключению за якобы совершенные ими преступные деяния, в то самое время как националистов, если уж и привлекали к суду, оправдывали или подвергали ничтожным наказаниям (отменявшимся затем по амнистии) за действительно совершенные ими преступления.

Нечто подобное происходило и в Германии.

В Италии сторонники находившейся у власти диктатуры, уличенные в совершении убийства, оправдывались судом, а противники этой диктатуры изгонялись по постановлению тайного суда из страны, и имущество их конфисковывалось.

Во Франции оправдывали офицеров оккупационной французской армии, обвиняемых в убийстве немцев. В то же время арестованные во время уличных столкновений парижские коммунисты присуждались к долголетнему тюремному заключению за недоказанные, якобы совершенные ими насилия.

В Англии примерно так же поступали с деятелями национального движения в Ирландии. Некоторые из них объявляли голодовку.

В Америке были освобождены члены националистического клуба, подвергшие линчеванию ни в чем не повинных негров. Иммигранты-итальянцы, коммунисты, обвиненные в убийстве, несмотря на убедительные алиби, были присуждены присяжными крупного американского города к смерти на электрическом стуле.

Все это совершалось во имя «республики», или «народа», или «короля», и во всяком случае — во имя «права». В те годы дело Крюгера, как и ряд других подобных дел, рассматривалось в июне месяце в Германии, в провинции, именуемой Баварией. Германия в то время была еще разделена на ряд отдельных са-

мостоятельных провинций; Бавария включала в себя баварские, алеманские, франкские территории, а также, как это ни странно, часть левого берега Рейна, так называемый Пфальц.

5

ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР БРОСАЕТ ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ

В модном сером костюме, легко помахивая красивой фамильной тростью с набалдашником из слоновой кости, коммерции советник Пауль Гессрейтер, один из присяжных в процессе Крюгера, вышел из своей уединенной виллы на Зеепштрассе, в Швабинге, неподалеку от Английского сада. Судебное заседание было по техническим причинам перенесено на одиннадцать часов, и он решил использовать свободное утро, чтобы прогуляться. Вначале он думал проскаться к Штарнбергскому озеру, в Луитпольдсбрунн, имение своей подруги, г-жи фон Радольной, выкупаться в озере и затем позавтракать у нее. На своем новом, купленном три недели назад, американском автомобиле он свободно поспел бы обратно к началу судебного заседания. Но по телефону ему ответили, что г-жа фон Радольная еще не вставала и не предполагает подняться сегодня раньше десяти часов.

Ленивой, упругой походкой, медленно, грациозно шел Пауль Гессрейтер по залитому июньским солнцем Мюнхену. Несмотря на ясное небо и свежий, жизнеутверждающий воздух столь милой его сердцу Баварской возвышенности, он не ощущал обычного чувства удовлетворения и довольства самим собой, всем миром и своим родным городом. Он шел по широкой тополевой аллее вдоль Леопольдштрассе, вдоль палисадников и мирных домов. Мимо, весело звеня, мчались блестящие голубые трамвайные вагоны. По привычке он глядел на ноги садившихся в вагоны женщин, высоко открытые, согласно моде тех лет. С приветливой, несколько искусственной живостью отвечал на многочисленные поклоны.

Многие из встречаемых кланялись ему, кое-кто с завистью, большинство — доброжелательно. Да, хорошо жилось этому Гессрейтеру! Владелец бойко работавшей фабрики «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» и значительного состояния, перешедшего к нему по наследству, один из представителей уважаемого и очень богатого семейства, душа общества, хороший спортсмен, всегда любезный, прекрасно для своих сорока двух лет сохранившийся, он числился одним из пяти коренных мюнхенских бонвиванов. Нигде знакомые не бывали охотнее, чем в его доме на Зеештрассе и в Луитпольдсбрунне — поставленном на широкую ногу поместье его подруги.

Родной город г-на Гессрейтера, Мюнхен, с окружающими его горами и озерами, с его богатыми коллекциями и легкой, приятной для глаз архитектурой, с его карнавалом и празднествами, был лучшим городом во всей Германии; часть города, где жил Гессрейтер, — Швабинг, — была самой красивой частью Мюнхена, дом Гессрейтера — самым красивым во всем Швабинге, а г-н Гессрейтер — лучшим человеком в своем доме. И все же сегодня он не получал удовольствия от прогулки. Он остановился под Триумфальной аркой. Над его головой возвышалась фигура Баварии, правившей четверкой львов, — величественная эмблема маленькой страны. Карие с поволокой глаза Гессрейтера, задумчиво щуясь, глядели на залитую солнцем Людвигштрассе. Но ее красивый, уютный, несколько провинциальный стиль ренессанс не доставлял ему обычного наслаждения. Он стоял, как-то неловко опираясь на трость, и в ту минуту этот обычно такой бодрый человек казался уже немолодым.

Неужели все дело в этом дурацком процессе? Ему следовало подчиниться первому побуждению — сразу же по получении повестки под каким-нибудь предлогом отказаться, не брать на себя роли присяжного. Как член аристократического мужского клуба, соприкасавшийся через свою приятельницу, баронессу Радольную с кругами, близкими к бывшему двору, он с самого начала знал всю закулисную сторону крюгеровского процесса. А теперь вот он попал в самую гущу этой

неприятной истории. Ему пришлось сидеть вчера, придется сидеть и сегодня и завтра в большом судебном зале Дворца юстиции в ближайшем соседстве с ландесгерихтсдиректором Гартлем, доктором Крюгером, адвокатом Гейером, за одним столом с пятью другими присяжными: поставщиком двора Дирмозером, у которого он обычно покупал перчатки; антикваром Лехпером, действовавшим ему на нервы своим большим пестрым носовым платком, в который он часто и обстоятельно сморкался; учителем гимназии Фейхтингером, с напряженным, мучительным и явным непониманием следившим из-за больших стальных очков за ходом процесса; страховым агентом фон Дельмайером, принадлежавшим к числу лучших местных семей (одна из улиц даже носила ее имя), но опустившимся, ветреным и склонным к самым безвкусным шуткам; и, наконец, почтальоном Кортеси, неуклюжим, вежливым и старательным человеком, остро пахнувшим потом. Он ничего не имел против этих пяти лиц, но перспектива играть вместе с ними в процессе роль статиста не сулила никакого удовольствия. Он мало интересовался политикой, и ему казалось не совсем удобным устраивать человека, используя с этой целью данные им из рыцарских побуждений показания под присягой. Не следовало принимать участия в этой истории. Проклятое любопытство втянуло его в эту свинскую штуку. Вечно пужно ему во все вникать! Его привлекла запутанность дела этого незадачливого Мартина Крюгера. Вот теперь ему и приходится расплачиваться и эти чудесные июньские дни просиживать во Дворце юстиции.

Он прошел под Триумфальной аркой, миновал университет. Из расположенного слева здания, отведенного под духовные учебные заведения, показались одетые в черные сутаны студенты-богословы с грубыми, спокойными мужицкими лицами. Какой-то древний профессор церковного права с безжизненным взглядом и головой, похожей на мертвый, обтянутый желтой кожей череп, волоча ноги, бродил среди мирно плескавшихся фонтанов. Так было всегда, так, должно быть, останется еще довольно долго, и в этом таилось что-то успокоительное. Но как-то резко критически глядел се-

годня Гессрейтер на студентов. Напрягая свои подернутые поволокой глаза, он внимательно осматривал важничавших молодых людей. Многие из них, в ловко сшитых практичных куртках из грубой материи, с туго затянутыми поясами, походили на спортсменов. Другие, тщательно одетые, с отрывистыми, как у военных, движениями, прежде были, вероятно, офицерами. Сейчас, не найдя себе применения в кино или где-нибудь в промышленности, они пытались путем поспешного, с неохотой воспринимаемого обучения проскользнуть в судебные или городские учреждения. Их беззастенчивые физиономии, свидетельствовавшие о том, что они могли бы чего-то добиться в технике или уж, во всяком случае, в спорте, о решимости во что бы то ни стало поставить рекорд, были под стать их стройным тренированным телам. Но при всей своей напряженности лица эти все же казались ему странно вялыми, словно автомобильные шины, еще как будто упругие, но уже проколотые, так что из них вот-вот выйдет воздух.

Перед широким зданием государственной библиотеки мирно сидели на солнышке высеченные из камня четверо мужчин древнегреческого типа с обнаженным торсом. В школе он учил, кого они изображают, но теперь разумеется, этого уже не помнил. Если ежедневно проходишь мимо кого-нибудь, следовало, собственно, знать, кто это. Он как-нибудь обязательно наведет справку. Как бы там ни было, библиотека хорошая. Пожалуй, даже жаль предоставлять такую библиотеку юношам с физиономиями рекордсменов. Мало мюнхенцев было среди них, среди всех этих будущих учителей, судей, чиновников. Когда-то прекрасный, уютный город привлекал к себе лучшие умы страны. Как же это могло случиться, что все они теперь куда-то исчезли, что на их место, словно следуя магическому притяжению, устремлялось сюда все гнилое и скверное, что нигде больше в стране не могло удержаться?

Кто-то шедший ему навстречу буркнул слова приветствия, остановился, заговорил с ним. Широкоплечий человек в серовато-зеленой куртке, — маленькие глазки под круглым лбом, — доктор Маттеи, писатель, кото-

рому изображение верхнебаварского быта доставило широкую известность. Он и Гессрейтер иногда ночи напролет просиживали вместе в «Тирольском погребке». Гессрейтер гостил у Маттеи в Тегернзее, Маттеи бывал у него и г-жи фон Радольной в Луитпольдсбрунне. Неуклюжий, ворчливый человек в зеленоватой куртке и небрежно изящный, в модном сером костюме, были на «ты», охотно встречались. Лоренц Маттеи возвращался из картинной галереи Новодного, где сегодня, впервые после удаления их из государственного музея, были публично выставлены картины, возбудившие против Крюгера вражду благомыслящих людей. В связи с объявлением о предстоящей выставке в ночь на сегодня кое-кто из «благомыслящих» выбил стекла в галерее Новодного. Лоренц Маттеи был в восторге от такого развлечения. Он спросил Гессрейтера, не собирается ли тот полюбоваться этой мазней. Отпустив несколько сочных острот по поводу картин и упомянув о том, что он собирается написать стихотворение, высмеивающее благоговейно любующихся ими снобов, он рассказал еще один сальный анекдот о художнике Андреасе Грейдерере, написавшем картину «Распятие», вызвавшую немало нареканий. Но глаза Гессрейтера не следили с обычным восхищением за движениями толстых губ писателя. Он прислушивался только краем уха, смеялся несколько принужденно, уклонился от ответа на вопрос о своей деятельности присяжного и вскоре распрощался. Маттеи задумчиво покачал ему вслед круглой головой.

Господин Гессрейтер направился к Дворцовому саду. Сегодня даже и речи писателя Маттеи, классика в области изображения баварского быта, были ему неприятны. В том состоянии раздражения, в котором он находился, он склонен был даже согласиться в общих чертах с врагами Лоренца Маттеи. Разве не был Лоренц когда-то бунтарем? Разве не сочинял он сочных, полных яда стихов, высмеивавших эгоистическую, глупую и лицемерную косность баварской клерикальной политической системы? Это были смелые стихи, больно язвившие противника своим фотографическим сходством с оригиналом. А теперь Маттеи разжирел (все

мы постепенно обросли жирком), его остроумие притупилось, зубы начали выпадать. Нет, в Маттеи не осталось уже ничего привлекательного, и г-н Гессрейтер не мог понять, почему он дружил с ним. Крохотные, злые глазки на исполосованном рубцами лице... Как можно было питать симпатию к такому субъекту? Все сказанное им о Крюгере и картинах было просто омерзительно. Да и омерзительно вообще было то, что даже такого человека, как доктор Лоренц Маттеи, его горячая кровь так слепо бросила прямехонько в объятия правящей крестьянской партии. Да, он вообще не слишком много размышлял, как не размышляли и все мы, но сердце его, надо думать, всегда было на стороне этой партии.

Господин Гессрейтер дошел до Одеонсплаца. Перед ним возвышалась Галерея полководцев, построенная по образцу флорентийской Лоджии деи Ланци в честь двух величайших баварских полководцев Тилли и Вреде, из которых один не был баварцем, а другой — полководцем. При виде Галереи полководцев г-н Гессрейтер всегда испытывал какое-то недовольство. Он помнил, как еще мальчиком наслаждался прекрасным строением, с тонким художественным тактом сооруженным архитектором Гертнером в конце Людвигштрассе. Но еще юношей ему пришлось увидеть, как по бокам лестницы были поставлены важно выступающие львы, нарушавшие строгие вертикальные линии строения. Позднее эти идиоты изуродовали заднюю стену галереи дурацкой академической группой, так называемым Памятником армии. С тех пор г-н Гессрейтер всегда с некоторым страхом поглядывал на Галерею полководцев, опасаясь, не выросло ли здесь за ночь еще какое-нибудь новое уродство. Постепенное обезображение лоджии служило ему барометром нарастающего одиночия в его родном городе.

Сегодня в галерее играл военный оркестр. Прочувствованная ария из вагнеровской оперы лилась над площадью, полной гуляющей публики. Движение временами задерживалось. Автомобили останавливались, голубые трамвайные вагоны, беспрерывно звоня, с трудом пробирались сквозь толпу. Тут было много студен-

тов в корпорантских шапочках. Они кланялись друг другу, низко, строго размеренно, под определенным углом сдергивая шапочки, наслаждались духовой музыкой. Г-н Гессрейтер улавливал отрывки их разговоров. Было твердо установлено, что, по велениям корпорантского устава, при подаче горячих блюд полагается снимать цветные шапочки, при подаче же холодных — можно оставаться в головных уборах. Спор шел о том, следует ли сырое рубленое мясо, смешанное с луком и яйцом, так называемый татарский бифштекс, рассматривать как горячее блюдо, идет ли оно за горячее или нет. С большой пылкостью, приводя многочисленные доказательства, спорили об этом студенты, принадлежавшие к различным студенческим объединениям. Женщины и дети кормили ручных жирных голубей, гнездившихся в галерее сомнительных полководцев и у построенной в стиле барокко Театинеркирхе. У выхода из Дворцового сада, словно в дополнение к украшавшим галерею статуям, повелительно возвышаясь над почтительно окружавшими его людьми, стоял во плоти и крови полководец великой войны генерал Феземан — дерзкое молодцеватое лицо, плоский затылок, мясистая шея.

Перед тем как отправиться в суд, г-н Гессрейтер собирался было выпить рюмочку вермута в одном из тихих, малолюдных кафе в тени каштанов Дворцового сада. Но эта мысль внезапно перестала привлекать его. Он посмотрел на часы. Время у него еще было. Он все-таки взглянет на картины в галерее Новодного.

Господин Гессрейтер был человек миролюбивый, живший в исключительно хороших условиях и отнюдь не склонный восставать против обывательских мнений и взглядов. Но его злил Маттеи. Гессрейтер читал кое-что из сочинений Крюгера — его книги и очерки, и прежде всего книгу об испанцах. Она не очень понравилась ему, показалась чрезмерно чувственной: вопросы пола были чересчур выпячены, все в целом производило впечатление преувеличения. Ему приходилось также и лично встречаться с Крюгером. Он показался ему изломанным и напыщенным. Но разве это могло служить достаточным основанием для таких злобных

пападок? Неужели можно было упрятать в тюрьму человека только за то, что он поместил в музей картины, не пришедшиеся по вкусу каким-то полувывжившим из ума академикам, предпочитавшим видеть в картинной галерее свою собственную, никому не нужную мазню? Полное лицо г-на Гессрейтера выражало напряжение мысли и озабоченность, он недовольно жевал губами, и его посеребренные виски вздрагивали. Если сажать в тюрьму всякого, кто, однажды сойдясь с женщиной, затем станет отрицать этот факт,— до чего это может довести? Ведь это же не было массовым явлением. Завернув в Бриеннерштрассе, г-н Гессрейтер принужден был сделать пад собою усилие, чтобы не ускорить до неприличия шаг,— так захотелось ему вдруг взглянуть на картины, из-за которых он вместе с другими пятью мюнхенцами должен был сидеть на скамье присяжных в большом зале Дворца юстиции.

Но вот Гессрейтер наконец и в галерее. Ему было жарко, и теперь он с удовольствием ощущал прохладу закрытого помещения. Владелец, г-н Новодный, темно-волосый, маленького роста, изысканно одетый, обрадованно повел понимающего толк, состоятельного гостя к картинам. Перед ними уже стояла небольшая группа посетителей, находившихся под неотступным наблюдением двух внушительного вида субъектов — собственной, домашней полиции, как пояснил г-н Новодный, ибо государственная полиция отказалась от охраны картин. Обычной скороговоркой он продолжал рассказывать: преследования баварского правительства привлекли к картинам такое внимание, какого даже он не ожидал. Поступил уже целый ряд солидных предложений об их приобретении. Просто поразительно, как художник Грейдерер буквально за одну ночь вошел в моду, вырос в цене.

Господин Гессрейтер знал Грейдерера. Посредственный художник, между нами говоря, по вполне приемлемый член общества, с мужиковатыми, но в то же время приветливыми манерами. Он играл на губной гармонике и умел воспроизводить на ней даже сложные мелодии: Брамса, «Кавалера роз». Не раз проделывал это и в «Тирольском погребке».

Господин Новодный рассмеялся. Посетители «Тирольского погребка», мюнхенские художники со своим раз навсегда установленным местом в истории искусства, солидной репутацией и определенным кругом выгодных покупателей, зеленели, по его словам, от злости ввиду такого неожиданного появления конкурента. Ведь картины Грейдерера воспринимались публикой точно так же, как и их собственные. Впрочем, Грейдерер говорит о своем успехе с наивной обезоруживающей радостью, так что все, за исключением его конкурентов, готовы примириться с этой историей. Много лет он, забытый всеми, стоял в стороне, старея и уже потеряв надежду на успех. Просто трогательно, как он теперь пытается заставить свою старуху мать, руками и ногами отбивающуюся от такой чести, переменить сельскую жизнь в средневековой деревушке на жизнь городской матроны — с автомобилем, шофером, компаньонкой.

Господин Гессрейтер слушал его, не испытывая ни малейшего удовольствия. Болтовня г-на Новодного раздражала его. Он был рад, когда словоохотливый хозяин удалился.

Господин Гессрейтер взгляделся в картину Грейдерера. Ему было понятно, что это «Распятие» могло вызывать раздражение людей с чувствительными нервами. Да, но, боже мой, ведь те самые господа, которые сейчас были так шокированы, в других случаях проявляли достаточную крепость нервов: пережили войну без особых видимых потрясений, а затем предсказывали или по крайней мере допускали вещи, требовавшие некоторого хладнокровия от людей, занимавших руководящие посты. К тому же им, несомненно, было небызвестно, что во всех галереях, в том числе, разумеется, и в мюнхенской, хранилось немало изображений распятого Христа, отнюдь не производивших успокаивающего впечатления.

Все же удивительная штука этот успех Грейдерера! Потому только, что такой кретин, как Франц Флаухер, не выносит Крюгера, художник Грейдерер добивается успеха и заставляет свою старуху мать из довольной своей жизнью крестьянки превратится в отягченную

заботами обитательницу большого города. Нет, тут что-то неладно, что-то неладно.

Анна-Элизабет Гайдер, художница, нарисовавшая автопортрет, не использовала шума, поднятого вокруг ее картины. Она умерла, покончила с собой самым непривлекательным способом, и ничего от нее не осталось, кроме грязного судебного процесса и этой единственной картины. Ведь она была странной особой, эта художница, она уничтожала свои произведения. А вокруг единственной спасенной Мартином Крюгером картины создавалась атмосфера отвратительного судебного процесса.

Гессрейтер взгляделся в автопортрет и почувствовал странное волнение. Он не понимал, что в этом портрете могло быть чувственно возбуждающего. Каковы должны быть мужчины, в которых одно представление о том, что женщина могла в таком виде изобразить самое себя, пробуждает похоть? Женщина глядела вдаль задумчивым и в то же время напряженным взглядом. Не слишком стройная и уж конечно не приукрашенная шея была как-то беспомощно и трогательно вытянута, груди мягко расплывались в нежно-молочном освещении картины и все же казались упругими. Все вместе было анатомически безупречно и вместе с тем постично. Пусть-ка почтенные господа из академии создадут нечто подобное!

Господин Новодный уже снова был около гостя и что-то говорил.

— Сколько стоит, по-вашему, этот портрет? — неожиданно перебил его г-н Гессрейтер.

Господин Новодный, удивленный, в сомнении поглядел на гостя, не сразу нашелся и назвал наконец крупную сумму.

— Гм! — произнес г-н Гессрейтер. — Благодарю вас, — сказал он затем и, церемонно попрощавшись, вышел.

Минут через пять он вернулся и принужденным тоном, как бы вскользь, заметил:

— Я покупаю картину.

Несмотря на всю свою опытность, г-н Новодный не мог скрыть удивления. Г-ну Гессрейтеру это было не-

приятно. Если уж г-н Новодный делает такие большие глаза, то что скажет г-жа фон Радольная, что будет говорить весь город по поводу покупки этой картины? И действительно, приобретение картины было демонстрацией. Процесс Крюгера и все его окружающее было не по нем. Под влиянием этого чувства Гессрейтер вернулся и купил картину. Но разве бросить вызов другим таким кричащим способом не было несколько безвкусно? Разве было недостаточно тихо и решительно продемонстрировать перед самим собой, уяснить себе свою точку зрения?

Неуверенно и с какой-то неловкостью стоял он перед вежливо молчавшим Новодным.

— Я покупаю картину по поручению приятеля, — сказал наконец Гессрейтер, — и был бы вам признателен, если б вы пока молчали о том, что покупка сделана через меня.

Предупредительность, с которой г-н Новодный выразил согласие, за сто километров позволила заметить как его недоверие, так и готовность молчать. Попрощавшись, г-н Гессрейтер, раздосадованный, браня себя за трусость и в то же время довольный собственной смелостью, поехал во Дворец юстиции и уселся на свое место присяжного, лицом к председателю суда ландесгерихтс-директору Гартлю и обвиняемому Крюгеру, рядом со своими коллегами — поставщиком двора Дирмозером, учителем гимназии Фейхтингером, антикваром Лехнером, страховым агентом фон Дельмайером и почтальоном Кортези.

6

ОБИТАТЕЛИ ДОМА ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ПО КАТАРИНЕНШТРАССЕ ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ

Председательствующий доктор Гартль перешел к допросу лиц, проживавших в одном доме с покойной девицей Анной-Элизабет Гайдер. Фрейлейн Гайдер снимала квартиру-ателье в доме девяносто четыре по Катариненштрассе. Дом девяносто четыре был простым доходным домом. В нем проживали мелкие коммерсанты, чинов-

ники, ремесленники. Фрейлейн Гайдер не была самостоятельной съемщицей, а лишь жилицей у некоей надворной советницы Берадт, сын которой, художник, пропал без вести во время войны. Отзывы г-жи Берадт о покойной девице Гайдер звучали довольно кисло. Между ней и фрейлейн Гайдер вскоре возникли недоразумения. Фрейлейн Гайдер была неряшлива и нечистоплотна, возвращалась домой в неопределенное время, несмотря на строгое запрещение готовила в мастерской пищу и питье способом, который грозил пожаром, платила неаккуратно, принимала у себя подозрительных, шумных гостей, не считалась ни с чем и ни с кем. Когда началась связь с обвиняемым Крюгером, г-жа Берадт, — как она сама об этом заявила резким голосом, — немедленно предложила своей жилище съехать. Но тогдашние законы, к сожалению, защищали права жильцов. Началось длительное разбирательство в квартирно-конфликтном бюро, и надворной советнице так и не удалось избавиться от неприятной жилицы. Г-н Крюгер вначале бывал очень часто, почти ежедневно, и как она, так и весь дом были возмущены неприличными отношениями между этим господином и фрейлейн Гайдер. «Из чего, — спросил защитник Гейер, — надворная советница могла заключить, что эти отношения являются чем-либо большим, чем простая дружба?» Г-жа Берадт, покраснев и несколько раз откашлявшись, объяснила, что г-н Крюгер и фрейлейн фамильярно и прямо-таки интимно пересмеивались. Кроме того, г-н Крюгер на лестнице неоднократно прикасался к руке, к плечу, к затылку фрейлейн, что обычно не принято между людьми, не находящимися в близких отношениях. Далее: из мастерской доносился визгливый смех, короткие, словно от щекотки, вскрикивания, шепот — одним словом, всякие неприличные звуки. «Расположена ли мастерская так, что соседям все слышно?» Между ее помещением и мастерской, — объяснила г-жа Берадт, — правда, находится еще одна комната, но, при напряженном внимании и таком хорошем слухе, как у нее, ночью приходилось слышать все эти звуки. «Приходилось или можно было слышать?» — снова поинтересовался Гейер, слегка покраснев, с трудом сдерживаясь и болезненно щурясь из-за

очков. При этом вопросе легкомысленный с виду присяжный фон Дельмайер засмеялся, но сразу затих, встретив укоризненный взгляд своего соседа, почтальона Кортези, и тупо недоумевающий — учителя гимназии Фейхтингера.

Был ли г-н Крюгер у ее жилицы в ту ночь, которая интересует суд, надворная советница после такого длительного промежутка времени сказать не могла. Во всяком случае, она не раз видела, а иногда и слышала, что этот господин приходил и уходил из мастерской в самое неподобающее время.

Таковы же приблизительно были показания и других свидетелей. О фрейлейн Гайдер много говорили. Фрейлейн была странной особой, плохо и неряшливо одетой. «Поэтому-то она и нарисовала себя голой», — сострил какой-то журналист. Глаза у нее бывали иногда такие, что даже страшно становилось. С ней никак нельзя было разговаривать. Вся детвора в доме любила ее. Несмотря на то что ей жилось не очень сладко, она дарила ребятишкам фрукты, конфеты. Но в общем она не пользовалась симпатиями, особенно с тех пор, как однажды принесла с собой облезлую, бездомную кошку, заразившую затем другую кошку в доме паршой. Все были убеждены, что фрейлейн Гайдер состояла в интимных отношениях с доктором Крюгером. Кислые, высохшие или обрюзгшие обывательницы, населявшие дом, больше всего возмущались тем, что девица Гайдер даже и не пыталась скрыть этих отношений.

Присяжный Фейхтингер, учитель гимназии, сквозь очки в стальной оправе внимательно и недоумевающе глядел своими бесцветными глазами на свидетелей. Он добросовестно пытался следить за их показаниями, но, будучи тяжелодумом, никак не мог уловить, к чему, собственно, ведут эти вопросы и ответы. Все это шло слишком быстрым темпом, такой метод казался ему чересчур по-современному поспешным. Он грыз ногти, мысленно машинально исправляя построение какой-нибудь фразы, своими бесцветными глазами глядел в рот многочисленным свидетелям. Присяжный Кортези, по профессии почтальон, думал о том, сколько именно семейств проживало в доме девяносто четыре по Катариненштрассе.

Он с виду был совсем небольшим, этот дом, и все же в нем жило так много людей. Кто, собственно, из его коллег теперь обслуживал нижний конец Катариненштрассе? Он вспомнил, что однажды случилась неприятная история с доставкой почты в этот дом: пакет был сдан дочке адресата, но не был передан затем по назначению, и почтальон, конечно, имел неприятности.

Присяжный Каэтан Лехнер вел себя очень беспокойно, ежеминутно поглаживал низко заросшие бачки, вытаскивал пестрый платок, сморкался, вздыхал. Не только из-за жары: вся эта история волновала его. С одной стороны, он, как добропорядочный гражданин, склонен был отправить Крюгера в тюрьму, ибо право и порядок должны быть незыблемы. С другой же стороны, он понимал «чужака», испытывал даже сострадание к нему. Его собственное дело тесно соприкасалось с областью искусства; он умел так реставрировать попорченную драгоценную старинную мебель, что знатоки приходили в восторг; часто имел дело с «чужаками», имел возможность знакомиться с их жизнью. Да кроме того, у его дочери Анни было знакомство, связь, так называемый роман, с человеком, которого он волей-неволей принужден был считать «чужаком». Он ругался по этому поводу с Анни изо дня в день, иногда даже весьма грубо, но, в сущности, был терпелив. У него, Каэтана Лехнера, был свой жизненный опыт. Часто во время ярмарки, бродя по лавкам старьевщиков, он находил мебель, на вид так хорошо сохранившуюся, словно она могла простоять еще двадцать — тридцать лет. Но при тщательном исследовании она оказывалась источенной червями, и было просто чудом или обманом то, что она не разваливается. Жизнь, знаете, сложная штука, даже и для такого умника, как этот доктор Крюгер, особенно если человек по самой природе своей «чужак». Присяжный Лехнер своими водянисто-голубыми глазами глядел на обвиняемого, разглаживал бачки, фыркал носом, сморкался в пестрый платок, вздыхал.

Присяжный Пауль Гессрейтер с непонятным ему самому страстным интересом следил за рассказом о покойной. Его пухлый рот был полуоткрыт, отчего лицо казалось несколько глуповатым.

Сидевший рядом с ним придворный поставщик Дирмозер изредка косился на него. Для Дирмозера эти дурные обязанности присяжного были просто выполнением надоедливой формальности, от которой он охотно увиливал бы. Но он опасался, что это может повредить его доброму имени, как общественному, так и деловому, — ну, так, как если бы он, например, не явился на похороны какого-нибудь своего крупного клиента. Он страдал от жары, его мысли отвлекались в сторону. К счастью, у него для всех подобных случаев было про запас официальное заученно внимательное выражение, которое он без труда мог долго сохранять на лице. Крайне неприятно, что старшая продавщица филиала его перчаточного магазина на Терезиенштрассе заболела. Эта дура, наверно, снова обожралась мороженым. Теперь его жене одной придется возиться с управлением обоими магазинами. Это было особенно некстати, так как двухлетний Пепи снова прихворнул, а на новую служанку нельзя было положиться. Размышляя об этом, он машинально приглядывался к нитяным перчаткам одной из свидетельниц. Они были баденского происхождения. Ему следовало потребовать от этой фабрики более продолжительного кредита.

С уверенностью жильцы дома девяносто четыре по Катариненштрассе утверждали лишь то, что доктор Крюгер несколько раз бывал в мастерской по ночам. Но когда именно, один или вместе с другими, — этого никто из свидетелей категорически утверждать не решался.

Обвиняемый Крюгер поддерживал свои первоначальные показания. Он охотно и часто проводил время с Анной-Элизабет Гайдер, часто бывал у нее, а нередко и она бывала у него. В ту ночь, о которой идет речь, он проводил ее с вечеринки до дому, но затем в том же автомобиле поехал дальше. Близких отношений между ними никогда не было. Его показания на процессе, возбужденном в свое время по служебной линии против покойницы, были правдивы от начала и до конца. Он и сейчас от них не отказывается.

Обвиняемый казался сегодня, несмотря на продолжительность следствия, свежим и полным энергии. Его

крупное лицо, с сильными челюстями, мясистым носом и смелым изгибом рта, несколько побледнело, но он с неослабным вниманием следил за всеми подробностями процесса, и ему явно стоило труда, подчиняясь указаниям защитника, сохранять спокойствие и не вмешиваться резко в прения. Обывательниц из дома девяносто четыре его живые глаза провожали взглядом, полным презрительного равнодушия. Однажды только, во время показаний надворной советницы Берадт, он чуть не вскочил и повернулся к ней с таким выражением гнева, что нервная дама, слегка вскрикнув, даже отступила назад.

Кто знает, если б Мартин Крюгер в свое время с такой же горячностью выступил против придирок надворной советницы к ныне покойной девушке, вместо того презрительного равнодушия, которое он тогда проявил, все, быть может, кончилось бы более благополучно. Но верно было одно: хотя резкий жест обвиняемого и навлек на него мягкое замечание председателя, зато присутствующие женщины перестали глядеть на него с той острой враждебностью, которой до тех пор они платили за его холодно-равнодушное высокомерие.

7

ЧЕЛОВЕК В КАМЕРЕ СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ

Вечером того же дня Крюгер сидел один в своей камере. Камера сто тридцать четыре была небольшого размера, с голыми стенами, но не давала повода к особым жалобам. Было без восьми минут девять. В девять часов потухнет свет, а мысли, когда потухнет свет, становятся более мрачными и гнетущими.

В первые дни после своего ареста Мартин Крюгер оказывал отчаянное сопротивление. Он вопил, его крупное лицо превращалось в какой-то сплошной беснующийся рот под безумными глазами. Сжав в кулаки волосатые руки, он изо всех сил барабанил в двери своей камеры.

Адвокат доктор Гейер, которому удалось своей холодной сдержанностью несколько успокоить беснующегося, заметил, что ему лично непонятны такие приступы ярости. Он сам, Гейер, прошел тяжелую школу и привык владеть собой. Это нелегко для такого человека, как он, измерившего всю степень несправедливости и лицемерия, процветавших в этой стране. То, что проделывают с Крюгером, проделывают с тысячами других, худшие вещи проделывают с тысячами других, и крики — не средство, могущее что-либо в этом изменить. И в то время как Гейер своим резким, нервным голосом словно хлестал сидевшего перед ним в тупом молчании человека, сердито глядя на него голубыми, скрытыми за толстыми стеклами очков глазами, Крюгер успел снова овладеть собой. Да, просто поразительно было, как безропотно этот избалованный человек отныне переносил все тягости заключения. Привыкший к всевозможным удобствам, к определенной температуре ванны, выходящий из равновесия из-за малейшего нарушения внешнего вида своей квартиры, он теперь без жалоб сносил убогую жизнь в камере.

Оставаясь один, Мартин Крюгер непосредственно от насмешливого сознания своего превосходства, побуждавшего его относиться к своему тюремному заключению как к короткому неприятному эпизоду, нередко переходил к внезапным приступам бешенства, а затем к полной депрессии. В течение первых двух дней процесса он держался спокойно только благодаря уверенности, что всю эту историю нельзя принимать всерьез. Не посмеют ведь такого человека, как он, занимающего одно из виднейших мест среди германских искусствоведов, осудить на основании таких нелепых показаний! Он был родом из Бадена и не умел по достоинству оценить тупое, липкое упорство, с которым жители Баварской возвышенности способны доконать ненавистного им человека. Он не мог себе представить, что старательный прокурор из грязной болтовни обывательниц сделает конкретные юридические выводы и что почтенный поставщик двора Дирмозер и работяга-почтальон Кортези из этого нечистоплотного вздора возведут для него тюремные стены.

И лишь сегодня, во время допроса надворной советницы Берадт, когда такая гнусная окраска была придана делу покойной Анны-Элизабет Гайдер, он внезапно с ужасающей ясностью понял всю опасность своего положения среди этих баварцев. Лишь сегодня ему стала понятна и напряженная серьезность доктора Гейера. Правда, и раньше Мартин Крюгер силой своего воображения рисовал себе картины своего мученичества: отказ от приятных привычек, от разумной деятельности, от искусства, от бесед с утонченно-интеллигентными людьми, отказ от женщин, от изысканно составленных меню, от утренней приятной ванны. Он рисовал себе все это, сентиментально наслаждаясь контрастами. Там, на воле, — июнь; уже можно растянуться на залитом солнцем песке на берегу моря; на лодках идет флирт; люди мчатся по белым, светлым дорогам в запыленных машинах, сидят перед горным сторожевым шалашом, пьют вино; кругом — вершины гор... А его жизнь между тем вот какова: голые серые стены, под ногами лишь несколько жалких квадратных метров для ходьбы, утром — бурая жидкость в жестяной кружке, весь день — необходимость подчиняться приказаниям хмурых, дурно пахнущих надзирателей; получасовая прогулка во дворе, затем снова голые серые стены до девяти часов, а там тушится свет. И так целый год напролет, и еще — пятьдесят две недели, а может быть, и еще триста шестьдесят пять нескончаемых дней. Но всегда, даже во время приступов бешенства, эти представления оставались игрой. И когда в это утро они впервые встали перед ним с непреодолимой реальностью, силы оставили его, горло пересохло, отвратительное чувство пустоты поползло от желудка вверх.

Оставалось еще четыре с половиной минуты до того, как погаснет свет. Он испытывал страх перед наступлением этого момента. Он сидел на опущенной койке, одетый в ночной костюм, вокруг него стояли стол, стул, кружка с водой, эмалированная миска для еды, белая кадка для удовлетворения естественных потребностей. Сейчас, когда он сидел, опустив руки на колени, со слегка отвисшей нижней челюстью, в нем уже не было ничего угрожающего.

Эту девушку, Анну-Элизабет Гайдер, покончившую с собой таким отвратительным способом, он видел задолго до своего отъезда. Он в то время уехал в Испанию, чтобы закончить свою книгу об испанской живописи, и, собственно, был рад, что ему не пришлось встречаться с нею в последнее, трудное для нее время. Было странно, что человек может покончить с собой, ему это было непонятно, и он не пожелал вникать в такую историю. Сейчас, четвертого июня, за три минуты до того, как погаснет свет, сейчас уже нельзя было отмахнуться от мыслей об этом деле. Образ покойной Анны-Элизабет Гайдер не уходил из камеры сто тридцать четыре, хотя свет еще горел и хотя Крюгер отлично понимал, что душевное равновесие нужно для более важного: для обдумывания способов защиты от предъявленного ему безмерно нелепого судебного обвинения.

Мартин Крюгер в своих показаниях на суде не лгал. В тот вечер он действительно не заходил в комнату Гайдер и действительно никогда не был физически близок с ней. Собственно говоря, было чистой случайностью, что он не сошелся с ней, как сходилась с другими женщинами. Сначала это не произошло в силу каких-то чисто внешних причин. Потом она написала тот портрет, и у него, он сам не знал почему, пропало к ней всякое влечение. Портрет был чересчур ощутим, — объяснил он доктору Гейеру.

Он видел эту девушку перед собой, видел, как она вприпрыжку спускалась по лестнице. Ее прыгающая походка вообще не вязалась со всей ее женственной фигурой. Лицо — широкое и круглое, собственно говоря, лицо крестьянской девушки, обрамленное густыми белокурыми, далеко не безукоризненно причесанными волосами, широко открытые серые глаза со смущающим выражением углубленности и рассеянности. Вообще же довольно наивное лицо. Нелегко бывало иметь с этим человеком дело. Она была невероятно дика, совершенно равнодушна ко всему внешнему, пока это внешнее не хватало ее за горло, небрежно, компрометирующе неряшливо одета. К тому же периодически страдала приступами чувственности, тяготившими его своей необузданностью. Но его безупречное художественное чутье,

посмотря на все эти почти невыносимые для него свойства, влекло его к ней, притягиваемое ее неуверенной, идущей словно ощупью, но всегда безошибочно верной целеустремленностью в области искусства. Он причислял эту чувственную, нескладную женщину, вполне подходившую под понятие, вкладываемое мюнхенцами в термин «чужачка», и влачившую жалкое существование с помощью плохо и нерегулярно оплачиваемых уроков в мюнхенской рисовальной школе, — к немногим настоящим художникам современной эпохи. Художница творила с трудом, с колебаниями и срывами; снова и снова уничтожала написанное. Цели и методы были трудно доступны постороннему. Но он чувствовал в ее произведениях бесспорное, неповторимое, настоящее дарование. Возможно, что именно эта ее принадлежность к настоящему искусству создавала какой-то тормоз, мешала ему, не раздумывая, сойтись с ней, как он сходилась с другими женщинами. Девушка страдала от этого и, ввиду проявляемой им непонятной пассивности, как-то без разбора шла на случайные связи, пока, наконец, пропуск уроков, а прежде всего, конечно, приобретение государственным музеем ее картины, не заставили школьное начальство возбудить против нее дисциплинарное дело, во время которого он и принес ту злополучную и к тому же оказавшуюся излишней присягу.

Ибо, как и должен был предвидеть всякий живущий в этой стране, Гайдер, несмотря на его благоприятные показания, разумеется, уволили. Он уехал в Испанию, не дождавшись окончания дела, не попытавшись предотвратить последствия, которые при большем практическом знании людей он должен был бы предвидеть. Было в конце концов понятно, что, раз вырвавшись на короткое время из обычной служебной обстановки, он желал иметь покой, хотел посвятить себя целиком работе над своей книгой и не велел высылать ему вслед получаемые на его имя письма. Но понятно было и то, что, написав ему напрасно несколько раз и не умея найти выход из создавшегося положения, она отравилась светильным газом. Когда он вернулся, она была уже мертва, обратилась в прах. Надворная советница Бератт, с которой ему

пришлось иметь пренеприятную встречу по поводу художественного наследия и бумаг покойной, вела себя крайне враждебно. Из родных Гайдер оставалась лишь сестра, державшаяся совершенно безучастно. Все письма и записи покойной были опечатаны судебными органами. Оставалось только несколько рисунков. Свои картины покойная, по-видимому, уничтожила. Один из сторожей государственного музея рассказал, что фрейлейн Гайдер еще накануне дня своей смерти была в галерее у своего портрета. Своим взволнованным видом она обратила на себя внимание сторожа и в конце концов, когда, под впечатлением ее нелепого поведения, он попытался завязать с ней беседу, художница без всякого, собственно, повода дала ему две марки па чай. К этому г-жа Берадт отнеслась особенно неодобрительно. Ведь после покойной оставались еще неоплаченные долги. Покойница была должна за квартиру, кроме того, многие вещи в ее помещении оказались попорченными, так что предстояли расходы на ремонт, не говоря уже о большом счете за газ, вызванном ее самоубийством.

Оставалось еще полминуты до девяти. Доктору Крюгеру не удавалось ясно воспроизвести перед своими глазами образ молодой женщины. Он почти со страхом пытался представить себе, как она, в небрежной позе спидя в уголочке дивана, курила, как без зонтика, под проливным дождем, с напряженным выражением лица, чересчур мелкими шажками пробиралась по улице или как она, танцуя, безвольно и в то же время тяжело лежала в объятиях своего кавалера. Но на первый план все время выступал портрет, и не оставалось ничего, кроме портрета.

Свет погас. Воздух в камере был удушлив, руки горели, одеяло неприятно царапало. Заключенный выше подтянул воротник ночной куртки, ниже стянул штаны. Дышал тяжело. Закрыв глаза, увидел пестрые вращающиеся точки; лежал, окруженный давящей тьмой.

Он был слишком мягок, недостаточно энергичен — в этом крылась причина всех зол. Он распустился, не выполнял долга, который возлагали на него его способности. Все давалось слишком легко — вот в чем было дело. Редко он испытывал недостаток в деньгах, обла-

дал хорошей внешностью, женщины баловали его, литературный стиль легко и удачно приспособлялся к вопросам искусства, которые он стремился осветить. Своих более резких и менее удобных взглядов он не высказывал. В его книгах не было ни одного слова, которого он с чистой совестью не мог бы отстаивать, но в них не было и многого такого, что неохотно стали бы слушать, о чем заявлять было бы неудобно. Были истины, о которых он догадывался и которые тщательно скрывал от самого себя, а тем более от своих друзей. У него был только один настоящий друг, Каспар Прекль, инженер «Баварских автомобильных заводов», темного мрачный, небрежно одевавшийся человек, с явными склонностями к политике и к искусству, человек неукротимой воли, фанатик. Каспар Прекль часто упрекал Мартина в лени, и случалось, что под настойчивым взглядом молодого инженера, все же очень к нему привязанного, Мартин Крюгер самому себе начинал казаться каким-то шарлатаном.

Но разве он все же не высказывал своих взглядов? Не отстаивал открыто своего мнения? Ведь если он сидел здесь, то разве не за то, что отстаивал свое мнение, отстаивал картины, которые считал значительными?

Да, это так. Но как все-таки произошла эта история с «Иосифом и его братьями»? Путаная это была история, и вначале он держался должным образом. Ему прислали снимок с картины, окружили все это дело таинственностью. Художник, говорили, болен, нелюдим, с ним трудно иметь дело. Снимок сделан без его ведома, песомненно против его желания. Художник, охваченный болезненным чувством бессилия и считающий всякого рода деятельность в области искусства в настоящее время бессмысленной, служит где-то мелким чиновником. Возлагаются большие надежды на вмешательство Крюгера, труды которого художнику известны.

Он, Мартин Крюгер, увлеченный картиной, горячо взялся за дело. Художника, правда, ему повидать не удалось. Но приобретение картины он гарантировал. Рискуя серьезно повредить своему положению, он поставил министра перед дилеммой: уволить его, Крюгера, или приобрести картину. Когда ему с торжеством ука-

зали на чрезмерно высокую цену, он с трудом уговорил, как ни противно ему это было, автомобильного фабриканта Рейндля выложить крупную сумму. До сих пор его роль была вполне достойной. Ну, а после? На этом «после» он старался не останавливаться, отделяясь от него довольно туманными доводами. Сейчас в камере сто тридцать четыре он, стиснув зубы, восстанавливал перед собой все как было, обливаясь потом и задыхаясь, заставлял себя не закрывать глаза перед фактами.

А было на самом деле вот что: когда картина оказалась в музее, он как-то сразу остыл к ней. В то время как он даже для средних испанских художников далекого прошлого находил яркие выражения похвалы, он как-то не мог подыскать подходящих слов для картины «Иосиф и его братья». Он удовлетворился общими местами. Увлечь других этим произведением, увлекшим его, воссоздать его в слове, сделать видимым было его, Крюгера, обязанностью. Но сосредоточиться было трудно, это стоило нервов, он был слишком ленив. Самое же худшее произошло потом, когда к власти пришел министр Флаухер. Этот мрачный идиот обратил все свои усилия на то, чтобы убрать из музея картину «Иосиф и его братья». Ему, Крюгеру, любезно предложили взять длительный отпуск. Отпуск был приятен, так как давал ему возможность хорошенько поработать над книгой об испанской живописи. Когда он вернулся, картины «Иосиф и его братья» уже не было: она была заменена какими-то добросовестно выполненными произведениями, несомненно прекрасно дополнявшими весь комплект. Он знал, что так именно будет, до того как уехал в отпуск. Хотя об этом не было сказано ни слова, все же он знал, что идет на откровенную сделку, отпуск ему давали за пассивное согласие на предательство по отношению к художнику Ландгольцеру и его произведению.

Безжалостно говоря себе это теперь в камере сто тридцать четыре, Крюгер метался на своей койке и сопел. Да, многое, что следовало сделать, не было им сделано. Но ведь он же был не господом богом, а только человеком, у которого две руки, одно сердце и один мозг. Достаточно было сделать кое-что из того, что сле-

довало сделать. «Кое-что, — проворчал он себе под нос. — Кое-что, не все...» Но и звук слов не отгонял уверенности в их лживости. Образ его молодого друга Каспара Прекля встал перед ним. Вспомнилось небритое, худое лицо с живыми глазами и резко выступающими скулами. Крюгер почувствовал себя беспомощным, перевернулся на другой бок.

Да, но какое же, черт возьми, отношение могла иметь картина «Иосиф и его братья» к его проклятому невезению? Должно быть, он отчаянно изнервничался, если задумывался над такими мифическими понятиями, как «вина», «искупление», «провидение». Разве другой на его месте мог бы сделать больше? Нет, другой, может быть, и не мог бы, но он сам мог сделать больше. Он мог пойти дальше, исчерпать свои силы до предела. Он был дурным человеком, ленивым человеком. Он не дошел до своего предела. Кто не доходит до своего предела, тот ленивый человек.

Шаги тюремной стражи равномерно приближались по коридору к его дверям. Девять шагов можно было слышать совсем четко, затем еще девять — глуше, и, наконец, шаги замирали.

Да, он был ленивый человек, дурной человек, недаром привлеченный к суду, хотя придворный поставщик Дирмозер и антиквар Лехнер и не подозревали о его настоящей вине. Ведь он, Крюгер, твердо знал, как обстоит дело с картиной «Иосиф и его братья». Эта картина, весьма вероятно, не была произведением вполне законченным, полноценным. Но ему представился случай выдвинуть художника, какие рождаются, быть может, раз в поколение, он знал, что это так, но ради своего покоя упустил этот случай.

Однажды он полусхуля — чего только не делал он полусхуля! — попытался выстроить по определенной шкале все, что было ему дорого в жизни. Да, однажды в дождливый день, гуляя с Иоганной в мирном парке замка в баварском предгорье, он попытался объяснить ей эту шкалу. Подстриженный парк королевского замка был наполнен изображениями мифологических фигур во вкусе Версаля. Он сел верхом на одного из деревянных зверей. Сезон уже кончился, вечерело, и они были

единственными посетителями на всем острове. И так, сидя на деревянной спине мифологического зверя, он набросал перед ней эту шкалу жизненных ценностей. Первое место, считая снизу, занимали комфорт, удобства жизни, затем чуть выше — путешествия, созерцание многообразия мира. Далее, еще одной ступенью выше — женщины, все радости утонченных наслаждений. Еще ступенью выше — успех. Да, успех — это хорошо, это вкусно! Но все эти вещи составляли лишь низшие ступени. Надо всем этим возвышались друг Каснар Прекль и она, Иоганна Крайн. Но все-таки, если говорить совершенно откровенно, и это было еще не самое высшее. На самом верху, выше всего, стояла его работа.

Иоганна слушала задумчиво, стоя впису под мелким дождем. Но раньше чем она успела ответить, подошел сторож в сопровождении большой собаки и грозно спросил, что это он делает, взобравшись на произведение искусства. Ездить верхом на произведениях искусства строго воспрещается. И Крюгер слез с деревянной мифологии. У него оказалось при себе удостоверение личности. Сторож вытянулся, сложив руки по швам, перед руководителем государственного музея и почтительно слушал, как ему объясняли, что для всестороннего изучения произведений искусства такого рода необходимо ездить на них верхом.

Да, удивительно, как это Иоганна Крайн вот уже четвертый год выдерживает с ним. Он видел ее сейчас перед собой — широкое лицо с туго натянутой кожей, каштановые, упрямо, вопреки моде заколотые узлом волосы, темные брови над большими, серыми, неосторожными глазами. Удивительно, как это она так долго могла терпеть его среди окружавшей ее атмосферы ясности. Не нужно было быть сильной, прямолинейной Иоганной Крайн, чтобы уж из одного его поведения в деле с картиной «Иосиф и его братья» понять, каким бесцветным и ленивым может быть его образ действий на практике. Да, таков он и был: с невероятным увлечением набрасываясь на какое-нибудь дело, он отступал, вялый и готовый на компромиссы, как только оказывалось необходимым обнаружить длительную выдержку и готовность стоять на своем.

Неожиданно его охватило горячее желание увидеть Иоганну. В зале суда он среди многих лиц искал глазами ее живое, широкое лицо. Напрасно. Вероятно, этот отвратительный доктор Гейер по каким-то своим крючкотворным юридическим соображениям не позволил ей присутствовать. Между тем ведь она вовсе не должна была давать показания. Он не хочет, чтобы она давала показания. Он уже два или три раза говорил об этом своему защитнику. Он, Крюгер, не хочет, чтобы Иоганна оказалась впутанной в эту грязную историю, из которой нельзя выйти незапачканным.

Но человек в камере сто тридцать четыре не мог помешать своей яркой фантазии рисовать картину того, как Иоганна Крайн своим спокойным голосом будет давать показания в его пользу. Было бы чертовски горьким разочарованием, если бы доктор Гейер действительно послушался его и отказался от выступления Иоганны. Это будет прямо изумительно, если Иоганна выскажет всем этим болванам свой взгляд на дело. Если рассыплются в прах все обвинения, выдвинутые в этом нелепом процессе. Если всем им тогда придется извиняться перед ним и первому — министру Флаухеру, этому тупице с четырехугольным черепом. О, он, Крюгер, не будет разыгрывать по этому поводу эффектных сцен. Без всякого пафоса, с усмешкой, почти сердечно пожмет он покаянную руку старому ослу, довольствуясь тем, что отныне им волей-неволей придется предоставить Флаухеру больше свободы в исполнении своих служебных обязанностей.

Во всяком случае, ужасно обидно, что ему все это время не удастся повидаться с Иоганной. Этот всегда осторожный, несносный оппортунист Гейер полагает, что впечатление от показаний Иоганны значительно ослабеет, если выяснится, что она в эти дни много времени проводила с Крюгером. А то какую моральную поддержку оказало бы ему, Крюгеру, общество Иоганны, его, конечно, несколько не интересовало. Почти с ненавистью вспоминал Крюгер светлые пронизательные глаза защитника за толстыми стеклами очков.

И все-таки тот факт, что Иоганна так долго и тесно связана с ним, поднимал его веру в себя. Да, однажды

он сдал. Но теперь он взял себя в руки и выберется на прямую дорогу. Только бы разделаться с этой гнусной историей! Тогда, будь она хоть в глубине Сибири, он разыщет картину «Иосиф и его братья» и, что еще важнее, раскопает художника Ландгольца. Будет искать настойчиво, фанатически, вместе с молодым другом своим Каспаром Преклем. С прежней проклятой мягкотелостью он во всяком случае разделается раз и навсегда.

Снова шаги надзирателя. Девять шагов громко, девять — тише, и опять его больше не слышно. Но под влиянием таких мыслей одеяло уже не так царапало, да и на левый бок он улегся, не боясь за сердце. Естественная усталость одержала верх над нервным возбуждением, вызванным ночной тишиной и тюремным одиночеством. Он заснул с легкой довольной улыбкой на устах.

8

АДВОКАТ ДОКТОР ГЕЙЕР ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Адвокат доктор Зигберт Гейер приказал своей экономке даже в свободный от судебного заседания воскресный день разбудить его ровно в восемь. Каждый час и этого воскресного дня распределен заранее. Он должен принять свидетельницу Иоганну Крайн, должен в «Тирольском погребке», являющемся в воскресные предобеденные часы чем-то вроде нейтрального клуба для политических деятелей этой маленькой страны, постараться удержать своих не слишком ловких товарищей по партии от чрезмерных глупостей. Но прежде всего ему нужно поработать над своей рукописью «История беззаконий в Баварии от заключения перемирия 1918 года до наших дней». Он не должен нарушать целостности произведения, допуская перерывы в работе.

Как только хриплый, плаксивый голос экономки Агнесы разбудил адвоката, он, напряжением воли преодолевая сопротивление непослушного тела, заставил себя вскочить в постели. В ванне он дал волю мыслям, нарушил на мгновение дисциплину неумолимой логики, к которой приучил себя.

Разве знал кто-нибудь об усилиях, необходимых для того, чтобы каждый день сызнова заводить, питать и напрягать его прославленную выдержку и четкую энергию? Разве не был он в основе своей созерцателем, непригодным для такой лихорадочной деятельности? Чудесно было бы жить за городом, освободиться от профессиональной политической деятельности, ограничиться литературной работой по теоретическим вопросам политики.

Найдет ли он в себе достаточно спокойствия сегодня, чтобы продолжать работу над «Историей беззаконий»? Дьявольски трудно оторвать мысли от Крюгера, от самого себя. Если он хочет действительно закончить книгу, нужно когда-нибудь оторваться от дел и хоть на два месяца укрыться в спокойной обстановке.

Увы! Он знал, чем окончилась бы подобная попытка. Покачиваясь в теплой воде, он вспоминал о прежних попытках уйти от окружающей утомительной сутолоки, и насмешливая улыбка играла на его тонких губах. После двух недель сельской тишины он всегда начинал тосковать по письмам, газетам, по деловым совещаниям. Тосковал по той минуте, когда снова, в зале суда или стоя на трибуне ландтага, увидит глаза, прикованные к его устам. Как ни твердо знал он, что все эти эффекты — лишь пустой, незначачий блеск, все же он не умел отказать от них.

Адвокат доктор Гейер покачивался в светлой зеленоватой воде. Он думал о книге «Право, политика, история», большой книге, которую он когда-нибудь соберется написать. Он любовно вспоминал некоторые найденные им, казавшиеся удачными, формулировки; закрывал глаза, улыбался. Со студенческой скамьи думал он над этими вопросами. Он знал: «Право, политика, история» — это будет хорошая книга, в ней будет сказано больше значительного, чем он когда-либо сможет сказать на суде или в парламенте. Она окажет влияние на людей большего калибра, чем судьи и депутаты, и, кто знает, быть может, когда-нибудь она дойдет и до такого человека, который его мысли претворит в действие. Он собрал много материалов, отсеял их, привел в порядок. Перебирал их из года в год, менял основной план,

расположение. Откладывал со дня на день главную работу, требовавшую напряжения всех сил; принялся, наконец, за меньшую книгу — «История беззаконий в Баварии», успокаивая свою совесть тем, что это подготовительная работа к тому, большому произведению. Но в тайниках души, — не теперь, в ванне, а в спокойные минуты размышлений, — он сознавал, что никогда не напишет той книги, что всю жизнь он будет метаться между политическими вопросами дня и адвокатской суетней, великую задачу разменивая на пичтожную деловитость.

Адвокат доктор Зигберт Гейер потерял тощую, удивительно белую кожу холодной резиновой губкой, насухо вытерся. В глазах снова загорелся обычный острый, стойкий блеск. Ненужное теоретизирование! Переливание из пустого в порожнее! Ерунда! Вредно так долго сидеть в теплой воде. Нужно собраться с мыслями, заняться обвиняемым Крюгером.

Сангвинический, недисциплинированный характер Крюгера был ему противен. Но, как ни неприятен был ему именно этот объект судебного произвола, как ни безнадежна была защита права перед государственной властью, права не уважавшей, все же радостно было открыто высказать свое мнение, использовать этот отдельный случай, ярко осветить его.

Он торопливо позавтракал, рассеянно засовывая в рот большие куски, быстро прожевывая их. Экономка Агнеса, костлявая, с желтым лицом, ходила взад и вперед, сердито требуя, чтобы он ел медленно, а то и сда, мол, не пойдет ему впрок. И, кроме того, он, конечно, снова надел старый, совсем неприличный костюм: нового, нарочно приготовленного ею, он и не заметил. Гейер сидел в некрасивой, неловкой позе, не слушая ее, жевал пищу, стряхивая крошки на платье, просматривал газетные отчеты, отмеченные и присланные ему управляющим его личной конторой. Его глаза снова глядели так же быстро, трезво, пронизательно, как в зале суда. Во многих газетах был помещен его портрет. Он всматривался в свое лицо: тонкий с горбинкой нос, острые выдающиеся скулы, напряженно выдвинутый вперед подбородок. Не было никаких сомнений — он нынче

бесспорно один из лучших адвокатов Баварии. Ему следовало давно уехать из этого ленивого города, переселиться в Берлин. Никто не понимал, как он мог довольствоваться деятельностью депутата в парламенте этой провинции и не участвовать в большой политике. Должно быть, он действительно увлекся борьбой с маленьким князьком-диктатором Кленком, своими обманчивыми успехами в этой незначительной провинции.

Переворачивая новый газетный лист, доктор Гейер внезапно так же резко и болезненно вздрогнул, как в зале суда при смутившем его неприличном смешке присяжного Дельмайера. Газета, которую он держал в руках, была берлинской дневной газетой. Зарисовщик метко и дерзко набросал портреты присяжных на процессе Крюгера. Лица с печатью безнадежной посредственности. Неумолимо и убедительно было схвачено выражение беспросветной тупости. На первом плане, заслоняя два других, выступало лицо страхового агента фон Дельмайера, это сухое, наглое, легкомысленное лицо, которое адвокату отныне придется часами созерцать каждый день. Оно снова лишало его с таким трудом завоеванного спокойствия. Ведь там, где был Дельмайер, там поблизости должен был находиться и Эрих. Эти люди, ненадежные во всем остальном, проявляли постоянство только в своей неразлучной дружбе. Эрих! Все относящееся к комплексу «Эрих» адвокат давно обдумал, уяснил себе, выразил словами. С этим было покончено. Раз и навсегда. И все же он знал: если мальчик когда-нибудь сам лично придет к нему, — а когда-нибудь он придет и будет говорить с ним, — в эту минуту все опять окажется невыясненным и совсем не поконченным. Он держал в одной руке газету, другая рука, подносявшая ко рту недоеденную булочку, так и застыла на полдороге. Неподвижным взглядом уставился он на рисунок, на штрихи, сплетавшиеся в изображении наглого, насмешливого, легкомысленного лица присяжного Дельмайера. Наконец резким усилием воли он отвел глаза от газеты, приказал себе больше не думать о Дельмайере и уж ни в коем случае не думать о друге и приятеле Дельмайера, об Эрихе, о мальчике, о своем сыне.

В то время как он еще доедал свой завтрак, явилась Иоганна Крайн. Ее быстрые, крепкие ноги, кремовый костюм, плотно облегающий стройное, тренированное спортом тело поразили адвоката сходством с той, о которой он не хотел вспоминать. Как всегда, когда он видел Иоганну, перед ним встал вопрос о том, что могло связать эту сильную, решительную девушку с вечно изменчивым Крюгером.

Иоганна попросила разрешения открыть окно. Июньский день ворвался в затхлую, неуютную комнату. Она уселась на одном из расставленных как попало узких, с прямой спинкой стульев. Доктор Гейер, обычно не поддававшийся таким настроениям, вдруг в тысячную долю секунды подумал, что, собственно, кому-нибудь следовало позаботиться о том, чтобы обставить его квартиру более уютно.

Иоганна, не сводя с защитника решительных серых глаз, попросила его продолжать завтракать и внимательно слушала его объяснения о ходе процесса. Лишь изредка вскидывая на нее свой острый, пронизывающий взгляд, ломая кусочки хлеба, собирая крошки, он объяснял ей, что показания шофера Ратценбергера делают исход процесса почти безнадежным. Оспаривать достоверность свидетеля имело бы, может быть, смысл перед другим судом. Этот состав суда не допустит выяснения вопроса о том, как создались эти показания.

— А мои показания? — помолчав, спросила Иоганна.

Защитник на мгновение поднял глаза, затем,ковыряя ложечкой в яйце, попытался уточнить сказанное им уже ранее Иоганне.

— Итак, вы хотите показать, что в ту ночь, с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля, Мартин Крюгер пришел к вам и лег с вами в постель?

Иоганна молчала.

— Мне не к чему говорить вам, — продолжал адвокат, вдруг снова остро из-за очков уставившись на Иоганну, — что этим мы не многого достигнем. Тот факт, что доктор Крюгер в ту ночь был у вас, сам по себе не подрывает доверия к показаниям шофера.

— Да неужели Крюгера можно считать способным...

— Его сочтут способным, — сухо произнес адвокат. — Я считаю более правильным, чтоб вы отказались от показаний. То, что Крюгер в течение ночи был у вас, ведь не исключает возможности, что он до этого был у фрейлейн Гайдер. Обвинение, разумеется, станет на ту точку зрения, что он был *также* и у вас.

Иоганна молчала. На ее обычно таком гладком лбу прорезались над переносицей три вертикальные бороздки. Адвокат крошил хлеб.

— Я не думаю, чтобы ваши показания произвели впечатление на судей и присяжных. Напротив, впечатление может оказаться неблагоприятным, если будет доказано, что обвиняемый был в близких отношениях и с вами. Давать такие показания будет вам неприятно, — четко произнес он, снова охватывая ее своим настойчивым взглядом. — Вас будут расспрашивать о подробностях. Я настойчиво советую вам отказаться от показаний.

— Я хочу дать показания, — упрямо стояла на своем девушка, глядя ему прямо в лицо. Всегда, когда она глядела на кого-нибудь, она вся поворачивалась к собеседнику. — Я хочу дать показания, — повторила она. — Я не могу себе представить, чтобы...

— Вы, кажется, достаточно давно живете в этом городе! — нетерпеливо перебил ее адвокат. — Ведь вы можете с математической точностью рассчитать, какой эффект произведут ваши показания.

Иоганна сидела, упрямо опустив голову. Крепко сжатые губы злым пятном выделялись на побледневшем, смуглом лице. Адвокат добавил, что Крюгер и сам не желает, чтобы она давала показания.

— Ах, это просто красивый жест! — отозвалась Иоганна и неожиданно лукаво улыбнулась. — Как бы сильно он ни желал чего-нибудь, сначала он всегда разыгрывает деликатность и ломается.

— Я, разумеется, постараюсь, извлечь из ваших показаний все, что возможно, — произнес доктор Гейер. — Вы смелая женщина, — добавил он, чуть насмешливо улыбаясь, так как не привык делать комплименты. — Вы отдаете себе отчет в неловкости вашего положения во время дачи показаний? — вдруг снова спросил он чисто деловым тоном.

— Да, — ответила Иоганна, раздраженно фыркнув. — Я это выдержу.

— Но я все же настоятельно советую отказаться от показаний, — упрямо стоял на своем адвокат. — Ведь в самом деле из этого ничего не выйдет.

Вошла экономка Агнеса, худая, высокая, с признаками преждевременной старости на желтовато-смуглом лице. Сердитыми черными глазами она с недоверчивым любопытством поглядела на молодую, крепкую женщину. Потом не спеша убрала посуду — дешевые тарелки с синим узором, изделия заводов «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын», и переменила скатерть. Доктор Гейер и Иоганна молчали.

— Можете ли вы точно вспомнить, — неожиданно спросил адвокат, когда экономка вышла, — когда в эту ночь доктор Крюгер пришел к вам? Назовите мне точный час.

Иоганна на минуту задумалась.

— Это было давно, — сказала она.

— Это мне известно, — ответил адвокат. — Но вы видите — шофер Ратценбергер, например, точно запомнил время. Я спросил его, в котором часу господин Крюгер вышел из автомобиля, и он ответил, что сейчас же после двух. Никто не придавал особенного значения этому показанию, но оно занесено в протокол.

— Я постараюсь все хорошенько вспомнить, — медленно произнесла Иоганна Крайн. — А что, если мне удастся с точностью установить, что в два часа ночи Мартин Крюгер был уже у меня? — добавила она.

— Тогда доверие к показаниям шофера было бы, во всяком случае, значительно поколеблено, — быстро ответил адвокат.

Он взял в руки газету, развернул ее; в глаза бросился рисунок с лицами присяжных, легкомысленное лицо присяжного фон Дельмайера.

— Вероятно, и тогда шоферу больше поверят, чем вам, — проговорил Гейер, тщательно складывая газету. — Все же при таких условиях ваши показания имеют смысл.

— Я все хорошенько вспомню, — сказала Иоганна Крайн и поднялась. Она стояла перед ним, — широкое

ясное лицо, серые смелые глаза над коротким носом, твердо очерченный рот, — высокая баварская девушка, твердо решившая хотя бы с опасностью для себя помочь своему неблагоприятному другу выпутаться из глупой истории.

— И все-таки, — еще раз повторил адвокат, — я советую вам отказаться от показаний, особенно если вы не можете совершенно точно вспомнить час.

Иоганна пожала своей несколько широкой грубоватой рукой узкую, покрытую тонкой кожей руку адвоката и вышла.

Из окна соседней комнаты ей вслед смотрело коричневато-желтое, под копную черных растрепанных волос, лицо экономки Агнесы, и глаза ее неотрывно и ревниво следили за тем, как Иоганна в кремовом, плотно облегавшем костюме шла, освещенная июньским солнцем.

Доктор Гейер, жалкий и обессиленный, сидел за столом, заваленным бумагами и газетами. Эта девушка, эта Крайн была слишком хороша для Крюгера. Эта девушка, несмотря на то что была баваркой с широким баварским лицом и характерным баварским говором, имела некоторое сходство... Но ведь он решил не думать об этом, не думать о мальчике, не думать о его матери. Она умерла, все было изжито, кончено.

Он поднялся, слегка закрихтел. Заметил, что ужасно измазал свой костюм. Позвонил. Вошла экономка. Он закричал на нее: когда она не нужна, то вечно всюду суется, а когда она понадобится, то ее нет как нет. Она заворчала своим нервным, скрипучим голосом — сердито и многословно. Хоть теперь-то пусть он наденет костюм, который она для него приготовила. Но он уже не слушал ее и уселся за стол, делая пометки на полях газеты, а может быть, просто рисуя на них завитушки.

Экономка давно уже удалилась, а он все еще продолжал сидеть так. Болели глаза, и он опустил слегка воспаленные веки под толстыми стеклами очков. Он казался старым и утомленным и не мог, несмотря на обычное умение владеть собой, удержаться от мыслей о свидетельнице Иоганне Крайн и тут же не вспомнить о некоей Эллис Борнгаак, давно уже покойной, уроженке Северной Германии.

ПОЛИТИКИ БАВАРСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Хотя прекрасный воскресный день многих увлек в горы и к озерам, все же комната в «Тирольском погребе» в это июньское утро была переполнена людьми. Все окна были распахнуты навстречу солнцу, но в обширном помещении царил приятный полумрак. Густой дым сгущался над массивными деревянными столами. Посетители ели маленькие хрустящие, поджаренные свиные сосиски или посасывали толстую, сочную ливерную колбасу, в то же время высказывая основательные суждения по вопросам искусства, философии и политики.

В воскресные послеобеденные часы в «Тирольском погребе» собирались преимущественно политические деятели. Они сидели здесь в черных праздничных сюртуках, развязные и самоуверенные. Бавария была автономным государством, и быть баварским политиком — кое-чего да стоило!

Если в то время Европа состояла из многочисленных суверенных государств, одним из которых являлась Германия, то Германия в свою очередь распадалась на восемнадцать союзных государств. Эти страны, и в том числе Бавария, несмотря на то что в силу своей хозяйственной структуры давно уже превратились в провинции, ревниво охраняли свою обособленность. У них были свои традиции, свои «исторические чувства», свои «племенные особенности», свои кабинеты министров. Восемьдесят министров, две тысячи триста шестьдесят пять парламентариев правили Германией. Носители громких титулов, заседавшие в этих союзных правительствах, все эти президенты, министры, депутаты ландтагов не желали исчезнуть с политической арены или в лучшем случае превратиться в провинциальных чиновников. Они не желали признать, что их «государства» давно выродились в провинции. Они всеми силами противились этому, ораторствовали, властвовали, управляли, стремясь доказать свою самостоятельную государственную значимость. Баварские министры и парламентарии в этой борьбе союзных стран с общегерманским

правительством играли руководящую роль. Находили самые сочные выражения в защиту автономии союзных стран. Выступали с особенно развязной самоуверенностью.

Отблеск этой роли падал и на представителей оппозиции, соратников доктора Гейера. Несмотря на то что они, согласно своей программе, боролись против баварского партикуляризма, они также благодаря политической структуре Германии находились до некоторой степени в центре большой политики, чувствовали себя значительными, и воскресные предобеденные часы в «Тирольском погребке» представлялись им чуть ли не историческими.

Они, эти деятели политической оппозиции, с подчеркнутой простотой устраивались не в маленькой, более дорогой, боковой комнате, а в битком набитом людьми главном зале. Чужой всем, худой, с измученным лицом, сидел доктор Гейер между двумя лидерами своей фракции господами Иозефом Винингером и Амбросом Грунером. Сразу по приходе он заглянул в соседнюю комнату, где часто бывал министр юстиции. Но он увидел не Кленка, а лишь грузного Флаухера. Слегка разочарованный отсутствием врага и все же, под влиянием усталости, довольный тем, что не придется бороться, Гейер сидел, торопливо, без всякого удовольствия глотал вино, сквозь табачный дым приглядывался к лицам своих соседей по столу. Иозеф Винингер принадлежал к обычному типу местных «круглоголовых». На бледно-розовом обрамленном белокурой растительностью лице притаились добродушные водянистые глаза. Медленно, миролюбиво, вместе с кусками сосисок, прожевывая обрывки фраз. Амброс Грунер, напротив, вызывающе закручивал усы, сидел, по-фельдфебельски подобрав живот, терся им о стол и в сильных выражениях громил правительство. Что, собственно, нужно было доктору Гейеру среди этих людей? Он знал наверняка: как ни отличны друг от друга эти два человека, они одинаково будут реагировать на слова министра просвещения, поддадутся на приманку грубовато-простодушного обращения. У них была одинаковая душевная основа, все они, невзирая на социали-

стическую болтовню, одинаково увязли в липкой тине крестьянской идеологии.

Из соседней комнаты теперь явственно доносился ворчливый голос доктора Флаухера. За его столом шумно спорили о Бисмарке, об особых правах Баварского эмиссионного банка, о причинах смерти только что извлеченного из гробницы египетского царя Тутанхамона, о качестве пива завода «Шпатенбрей», о транспортной политике советской России, о зобе — природной болезни местного населения, об экспрессионизме, о достоинствах кухни ресторана у Штарнбергского озера. Снова и снова разговор возвращался к автопортрету Анны-Элизабет Гайдер. Из галереи Новодного просачивались слухи о том, что портрет продан в Мюнхен лицу с видным общественным положением, продан за круглую сумму. Кому именно — оставалось неизвестным. Высказывали предположение, что барону Рейпдлю, крупному промышленнику. Спорили о достоинствах картины. Писатель Маттеи собирался в следующем номере своего журнала поместить стихотворение, о котором вчера говорил Гессрейтеру. Оно в голове его уже было готово. Он прочел вслух звучные, сальные строфы, полные яда. Из-за стекол пенсне этот человек с исполосованным сабельными рубцами лицом следил, словно жадный пес, за производимым его стихами впечатлением. За столом раскатисто хохотали, пили за его здоровье. Он сидел откинувшись, держа трубку в зубах, сытый, удовлетворенный. Но другой писатель, доктор Пфистерер, также неперменный член этого общества, нашел стихотворение циничным. По его мнению, Анна-Элизабет Гайдер, если бы только ее так не травили, сама вернулась бы к здравому смыслу. Доктор Пфистерер, так же как и доктор Лоренц Маттеи, носил серую куртку и также писал длинные рассказы о жизни в баварских горах, создавшие ему широкую популярность во всей Германии. Но его рассказы были оптимистичны, трогали душу, возвышали; он верил в доброе начало в людях, за исключением разве только Маттеи, которого ненавидел. Они сидели друг против друга, эта два баварских писателя, с багровыми лицами и мерили друг друга из-за стекол пенсне взглядами своих узких глазок.

Неуклюжий, с исполосованным рубцами лицом держал голову наклоненной, другой — беспомощно и взволнованно выставлял вперед седеющую рыжую бороду.

Все кричали, перебивая друг друга. Победителем в этом крике оказался в конце концов, несмотря на то что он не был особенно громким, голос профессора Бальтазара фон Остернахера. С гибкой, настойчивой изысканностью заглушая все остальные голоса, ратовал он против умершей девушки. Кто посмеет сказать, что он не революционер? Не стоял ли он всегда за безусловную свободу в искусстве, даже и в изображении эротического? Но такая живопись представляла собой вполне определенный физиологический процесс: это был акт самоудовлетворения неудовлетворенной женщины, не имевший ничего общего с искусством.

Кельнерша Ценци, прислонясь к буфету, слушала и с беспокойством видела, что профессор Остернахер в пылу увлечения дает остыть своим сосискам. Она отлично разбиралась в политических взглядах своих клиентов. Ей многое приходилось слышать. Не бог весть как трудно было сопоставлять одно с другим. Она могла бы вскрыть подноготную многих событий в области политики, хозяйства и искусства. Она знала, почему так горячился профессор Остернахер, так что стоявшие перед ним сосиски успевали остыть.

Большой человек этот профессор, знаток истории искусства, знаменитый и высоко оплачиваемый, особенно по ту сторону океана. Приезжие, когда она называла им его имя, с любопытством и уважением поглядывали на него. Но кассирша Ценци хорошо помнила его искаженное лицо, когда однажды кто-то из прихвостней профессора донес ему, что Крюгер отозвался о нем как о «способном декораторе». Она прекрасно понимала, что факт покупки пропагандируемой этим Крюгером картины, да еще мюнхенцем, да еще за высокую цену, он принял за личное оскорбление. Ценци знала его лучше, чем знали его даже жена и дочь. Да, он действительно когда-то был революционером в своей манере письма. Но он застыл в этой манере, а мода на нее оказалась преходящей. Он постарел и, когда ему казалось, что никто не наблюдает за ним, — Ценци знала

это, — по-стариковски горбился. Ценци хорошо угадывала его настроение, когда он бранился. Ведь это он, собственно, не на других нападал, а его кололо, злило, мучило собственное крушение. В таких случаях она особенно мягко, по-матерински обращалась с ним и успокаивала его до тех пор, пока, охрипший от злобных выкриков, он не принимался за остывшие сосиски.

В шум кипящих кругом споров ворвался звук подкатившего новехонького темно-зеленого автомобиля. Из него вышел человек с добродушно-хитрым, морщинистым сияющим мужицким лицом — Андреас Грейдерер, художник, написавший «Распятие». Широко шагая, доверчиво направился он к столу своих знаменитых коллег. Они всегда терпели его в своем обществе: ведь о нем не могло быть речи как о конкуренте. Наивное крестьянское остроумие и умение ловко играть на губной гармонике давали ему возможность занимать свое постоянное место в этом кругу. Но сегодня, когда он, добродушно подшучивая над своим чертовски неожиданным успехом, подошел к ним, его встретили с кислыми, недоступными лицами. Никто не выразил склонности отодвинуться, чтобы освободить для него место. Наступило молчание. С другой стороны площади, из пивной, донеслись звуки духового оркестра, игравшего популярную песню «Томиться в Мантуе в оковах верный Гофер...». Смущенный холодным приемом, Грейдерер вернулся назад в общий зал, натолкнулся там на представителей оппозиции. При других условиях господ Винингер и Грунер демонстративно приветливо встретили бы художника, подвергшегося преследованиям со стороны министра просвещения. Но сегодня они очень скоро постарались отделаться от него, предугадывая, что его присутствие помешает столь желанной воскресной добродушно-воинственной беседе с «большоголовыми». Они становились все более односложными, пили, курили, ограничиваясь ничем не выражавшим хмыканьем. Художник долго не замечал, что именно он является причиной этого кислого настроения. Но наконец, почуввав, в чем дело, он удалился в своем темно-зеленом автомобиле, провожаемый взглядами всех присутствующих.

Зато теперь вместо него к столу в главном зале подошли наконец министр Флаухер и писатель доктор Пфистерер. Дело в том, что, согласно создавшемуся обычаю, министры правящей партии, льстя таким образом мещанскому самолюбию оппозиции, в предобеденные воскресные часы, за утренней кружкой пива, подходили к столу депутатов и вступали с ними в безобидные споры. Вот они сидели здесь, все эти политики Баварской возвышенности. Вежливо беседовали друг с другом, осторожно пащупывали слабые места противника. Франц Флаухер, облекший свое короткое, грузное тело в поношенный долгополый черный сюртук, в чем-то убеждал г-на Винингера, изредка что-то бурча себе под нос, стараясь быть очень вежливым. Писатель Пфистерер завладел Амбросом Грунером, добродушно похлопывал его по плечу.

Доктору Гейеру все четверо мужчин казались выслепленными из одного теста, из безвкусного баварского теста: хитрые, узколобые, лишенные горизонта, угловатые, как ущелья их родных гор. Их грубые голоса, привыкшие пробиваться сквозь гомон шумных собраний, пивные пары и дым скверных сигар, старались смягчиться до сдержанного, приветливого тона. Они говорили вымученно-литературным немецким языком, то и дело сбиваясь на жесткое и протяжное местное наречие. Грузные и массивные, сидели они на крепких деревянных стульях, улыбаясь друг другу с грубоватой вежливостью,— хитрые крестьяне,— торговцы скотом, не склонные чрезмерно доверять друг другу.

Разговор вертелся вокруг вопроса о недавно введенной возрастной норме для государственных чиновников. Государственные служащие, достигшие шестидесяти шести лет, должны были уходить на пенсию, и только в исключительных случаях правительство могло разрешить особо незаменимым чиновникам продолжать службу. Такого рода исключение министр Флаухер хотел сделать и по отношению к одному из профессоров-историков Мюнхенского университета, тайному советнику Каленеггеру, давно уже перешагнувшему за положенный предельный возраст. Дело в том, что в Мюнхенском университете было три кафедры истории. На-

значение на одну из них, согласно заключенному с папской конкордату, требовало утверждения епископской властью, и, следовательно, ее занимал благонадежный католик. Вторая предназначалась для специалиста по истории Баварии, и, естественно, ее также занимал благонадежный католик. Третья, наиболее значительная, когда-то основанная королем Максом II специально для знаменитого исследователя Рапке, в настоящее время была занята тайным советником Каленеггером. Каленеггер свою жизнь и все свои исследования посвящал изучению биологических законов города Мюнхена. С маниакальным усердием подбирал он материалы, связывал неизменно все явления геологического палеонтологического, биологического характера с историей Мюнхена и стремился доказать, что Мюнхен, в силу всех законов природы, должен был быть и неизбежно оставаться в будущем крестьянским земледельческим центром. При этом он никогда не впадал в противоречия с учением церкви и проявил себя как благонадежный католик. Правда, за пределами города Мюнхена результаты исследований Каленеггера считались нелепостью, так как маститый ученый совершенно упускал из виду как создавшуюся в связи с развитием техники независимость человека от местного климата, так и социальные сдвиги последних столетий. Факультет предполагал, в случае ухода Каленеггера на пенсию, предложить на эту должность ученого, хотя и коренного баварца, но протестанта. Мало того: этот ученый в одной из своих работ о политике Ватикана пришел к заключению, что папская власть по отношению к английской королеве Елизавете поступала несоответственно с законами христианской морали, ибо заранее знала о покушениях на убийство английской королевы, подготавливавшихся Марией Стюарт, и одобряла их. На этом основании доктор Флаухер твердо решил противодействовать назначению такого кандидата и не распространять на профессора Каленеггера закона о возрастной норме.

Пока Флаухер пространно, в восторженном тоне расписывал значение Каленеггера, доктор Гейер приглаживался к старику профессору, сидевшему в соседней комнате за столом «большеголовых». Долговязый,

неуклюжий, несмотря на худобу, сидел он на своем стуле; костлявая узкая голова с широким горбатым носом поворачивалась на неимоверно длинной, высохшей шее. Странно беспомощные, тупые птичьи глаза обводили взглядом присутствующих. Изредка старец откуда-то из глубины гортани извлекал хотя и громкий, но какой-то бессильно-напряженный звук и изрекал несколько плавных, словно готовых к печати, безжизненных фраз. Доктор Гейер думал о том, как давно уже иссякли умственные способности этого старца. Весь паучий мир Германии постепенно начинал смеяться над этим человеком. Ведь он все последние десять лет посвятил служению одной идее: он изучал историю слоновочного чучела, хранившегося в мюнхенском зоологическом музее, того самого, которое после неудачного нападения султана Сулеймана II на Вену попало в руки императора Максимилиана II и было впоследствии подарено им баварскому герцогу Альбрехту V.

Доктор Гейер лично ничего не имел против Каленеггера, но был против преподносимых с таким наивным убеждением преувеличенных похвал Флаухера.

— Ну, а как же с четырьмя томами слоновых исследований Каленеггера? — внезапно своим резким, неприятным голосом спросил он Флаухера.

Наступило молчание. Затем почти одновременно заговорили доктор Пфистерер и Флаухер. Доктор Пфистерер восхвалял краеведческие исследования старого тайного советника, в которых нераздельно сплетены знание и чувство. Неужели доктор Гейер серьезно считает, что такое изучение своего края не имеет значения?

— Давайте не делать мухи из каленеггеровского слона! — добродушно закончил он.

Флаухер, с своей стороны, серьезно и неодобрительно заметил, что если отдельные лица и недооценивают смысл и значение таких исследований, то народ в целом к таким американским взглядам относится резко отрицательно. Душа народа привязана к этим слонам, как привязана к башням Фрауенкирке или другим старинным достопримечательностям города.

— Правда, — мягко закончил министр, — на господина депутата Гейера не приходится особенно оби-

жаться, если он в своей душе не находит настоящего отклика на такие вещи. Такие чувства доступны лишь тому, чьи корни росли в землю этого края.

И Флаухер с почти презрительным состраданием оборвал разговор с адвокатом. Тупо и прямодушно поглядел он в глаза депутату Випингеру. Затем он так же дружески-предостерегающе поглядел и на депутата Грунера.

— Уважения достоин седовласый ученый Каленеггер, — проговорил в заключение Флаухер. — Всяческого уважения!

И все поглядели в ту сторону, где сидел старый профессор. Депутат Винингер, слегка растроганный, кивнул головой. Депутат Амброс Грунер задумчивым жестом бросил собачонке министра колбасную кожуру.

И вдруг адвокат доктор Гейер ощутил странное одиночество. Каленеггер и его слон... Все они — реакционный министр, реакционный писатель и депутаты оппозиции, — все они, невзирая на политический антагонизм, были крепко спаяны друг с другом, все они были сынами Баварской возвышенности, а он, адвокат еврей, сидел между ними чужой, враждебный и лишний. Он вдруг увидел, что на нем поношенный и испачканный костюм, и ему стало стыдно. Неловко и поспешно покинул он зал ресторана. Из большой пивной с другой стороны площади доносились звуки исполнявшейся с большим чувством, почти одной медью старинной местной песенки о зеленом Изаре и безграничной красоте жизни. Кассирша Цеппи, несмотря на полученные от него щедрые чаевые, глядя вслед поспешно удалявшемуся адвокату, решила, что он отвратительный субъект и что ему здесь вовсе не место. И она бережно долила вином стакан задремавшего тайного советника Каленеггера.

Контора, рассчитанная на большое число людей, обычно наполненная суетой служащих и треском пишущих машинок, сегодня, в воскресной тишине, казалась печальной и безжизненной. В воздухе держался запах бумаг, дыма, остывших сигар. Беспощадный свет солнца освещал каждую пылинку в этом голом помещении, яркой полосой ложился на неубранный, засы-

панный пеплом письменный стол. Адвокат, кряхтя, достал объемистую рукопись, закурил сигару. Он выглядел старым, его тонкая бледно-розовая кожа при этом ярком свете казалась помятой. И он писал, изображал, сопоставлял цифры и даты, документально подтверждал многообразную историю беззаконий в Баварии в исследуемый им отрезок времени. Он писал, курил; сигара потухла, — он все писал. Сухо, деловито, усердно, безнадежно.

10

ХУДОЖНИК АЛОНСО КАНО (1601 — 1667)

А в это же время заключенный Крюгер сидел в камере сто тридцать четыре. Он поставил перед собой хорошую репродукцию автопортрета испанского художника Алонсо Канос из Кадикского музея. Об этом автопортрете нетрудно было сказать несколько метких фраз. Ленивый идеализм художника, гибкий талант, чрезмерно облегчавший ему работу, так что он и не делал попытки когда-либо действительно до предела напрячь свои силы, пустая декоративность, — заманчиво, пожалуй, было бы показать, как все эти черты отражаются в этом выхоленном, изящном, не лишенном выразительности лице. Но фразы в мозгу Мартина Крюгера закруглялись чересчур легко и свободно, картина заражала его, он не находил в себе той исходной точки покоя и силы, с которой он мог серьезно и вдумчиво судить о художнике и его творчестве.

Небольшая камера при резком освещении казалась сегодня какой-то особенно голой и неуютной. Крюгер вспомнил Кадикс, окруженный морем, четко белевший под ярким солнцем. Он чувствовал себя не то чтобы плохо, а как-то чересчур трезво и неокрыленно. Стол, стул, откинутая койка, белая кадка — и среди всего этого изящно очерченное лицо художника Канос, его франтовато холеная, белокурая бородка на декоративно ржаво-красном фоне. У Крюгера мелькнула мысль, что, в сущности, безразлично, перед каким фоном мы

стоим: перед серой ли стеной камеры, или перед такой картиной, или перед такими фразами, какие он как раз сейчас писал.

В камеру пропустили Каспара Прекля. Молодой инженер глубоко запавшими, блестящими глазами неодобрительно взглянул на автопортрет Алонсо Капо. Он ценил умение Крюгера выразить и передать другим свое понимание и проникновение картиной, но считал, что его высокоодаренный друг стоит на ложном пути. Он, Каспар Прекль, находил, что задачи искусствovedения в наше время совершенно иные. Проникшись современными теориями, видящими в экономике основу всего исторического процесса, он был убежден, что первейшей задачей искусствovedения является изучение вопроса о роли искусства в социалистическом обществе. Он полагал, что марксизм, по вполне понятным соображениям, не мог внести ясность в этот вопрос, так как он должен был заниматься более важными делами. Значение искусствovedения в нынешние времена и состояло в том, что лишь теперь, впервые со времени его существования, ему суждено было, освободившись от сухого коллекционерства, ожить и, в дружестве с политическими науками, подготовить почву искусству в пролетарском государстве. Он, молодой, полный огня и действенной любви к искусству, старался направить на правильный путь Крюгера, к которому был искренне привязан.

То, что здесь стоял автопортрет Алонсо Капо, раздосадовало его. Он вначале был огорчен злой судьбой Крюгера, вовлекшей его в водоворот баварской политики, но затем почти обрадовался случившемуся: он надеялся, что Крюгер, на самом себе так болезненно испытав все отрицательные стороны современного государственного строя, откажется от своего сибаритского подхода к жизни и найдет путь к нему, своему другу. Мрачно глядели на картину из-за выдававшихся скул его запавшие глаза. Но он промолчал и сразу же подошел к непосредственной цели своего посещения. Владелец «Баварских автомобильных заводов», где служит Каспар Прекль, барон Рейндль — отвратительный субъект. Но он интересуется вопросами искус-

ства. Рейндль очень влиятелен. Преклю, быть может, удастся добиться его вмешательства в дело Крюгера. Крюгер не возлагал особенно больших надежд на успех этого дела. Он знал Рейндля, и у него сложилось впечатление, что барон его терпеть не может. Вскоре, как часто бывало во время их бесед, Мартин Крюгер и Каспар Прекль отклонились от основной темы и увлеклись спором о возможностях и реальных успехах искусства в большевистском государстве. Когда истекло время свидания, им пришлось наспех, в две минуты, обсудить шаги, которые Каспар Прекль должен был предпринять в пользу Крюгера.

После ухода молодого человека Крюгер почувствовал себя необычайно свежим и полным энергии. Одним взмахом руки скинул он со стола репродукцию картины. Потом набросал на бумаге несколько мыслей, на которые навела его беседа с Преклем. Самое важное пришло в голову, разумеется, лишь после ухода собеседника. Он улыбнулся: это было благоприятным показателем. Он писал так живо, твердо, убедительно, как это редко ему удавалось. Работа так увлекла его, что только приход надзирателя, принесшего ужин, напомнил ему, где он находится.

11

МИНИСТР ЮСТИЦИИ ПРОЕЗЖАЕТ ПО СВОЕЙ СТРАНЕ

В тот же воскресный день министр Отто Кленк через зеленеющие и желтеющие отроги Баварских Альп направился в горы. Он ехал не чересчур быстро. Ветерок, еще усиленный движением, навевал приятную прохладу. Почти не было пыли. Машина углубилась в густой лес. Кленк, одетый в горный костюм из грубой ткани, весь отдался наслаждению быстрой езды.

Красновато-смуглое лицо Кленка обмякло. С трубкой в зубах, в необычной для этих мест небрежной и свободной позе, правил он машиной. Как хорош был этот край! Четко и рельефно выступали все контуры

в чистом, живительном воздухе. Приятно было жить здесь и постоянно вдыхать этот воздух. Здесь не доучали ненужные мысли. Весь день — то вверх, то вниз по горам, так что нужно было хорошо владеть своим дыханием. Ветер, снег, солнце закаляли и душу и тело. Кленк распорядился, чтобы его ожидал егерь: он обойдет места охоты. Он предвкушал удовольствие от грубой пищи, которой угостит его Вероника. Кстати, пужно будет как-нибудь при случае навести справки об их сыне Симоне, которого он пристроил в банк в Аллертсгаузене. Этот соплик доставлял окружающим немало беспокойства. Ему, Кленку, это было по душе. Молодец бабенка эта Вероника: не пристаёт к нему насчет парня. Вообще он все это прекрасно устроил. Жена, эта жалкая, высохшая старая коза, несколько не стесняет его и рада, когда он проявляет по отношению к ней шутиливую жалость.

Автомобиль скользил вдоль берега красивого большого озера. Холмистые берега, а за ними извилистая линия гор.

Элегантный туристский автомобиль обгоняет его. В нем большая компания экзотического вида людей. Много приезжих катается теперь по стране. Он недавно читал статью: усовершенствование транспорта будто бы неизбежно вызовет нечто вроде нового переселения народов; малоподвижный, оседлый тип будет вытеснен более легким, кочевым; готовится великое, всеобщее смещение рас. Уже началось.

Министр насмешливо, с легким отвращением глядел вслед автомобилю с чужеземцами. Ну, ему, к счастью, вряд ли придется дожить до этих прекрасных времён! Он лично ничего не имеет против иностранцев. Возможно, что китайцы, например, — представители более древней и зрелой культуры, чем баварцы. Но ему клецки и ливерные сосиски кажутся вкуснее печеных плавников акулы, он охотнее читает книги Лоренца Маттеи, чем произведения Ли Тай-по. Он не допустит, чтобы его поглотила чуждая культура.

Внимание Кленка привлекла до сих пор не замеченная им доска, какие тысячами расставлены вдоль баварских дорог в память о погибших от несчастного слу-

чая. Он затормозил машину, с интересом принялся разглядывать наивный, сделанный неумелой крестьянской рукой рисунок, красочно изображавший, как всеми уважаемый пятидесятичетырехлетний земледелец свалился в бездну вместе с своей груженной сеном телегой. Помещенные под рисунком неуклюжие стихи приглашали путника помолиться о душе погибшего. Бог-де сжалятся над ним, ибо у него такая была жена, которая даже кабачок превращала для него в ад земной. Министр, ухмыляясь, прочел эти хитровато-грубые стишки, автор которых фамильярно торговался с богом за душу усопшего. Он как-то нутром, искренне интересовался такими вещами; как и многие его земляки, издавна любовно и основательно занимался ими. Знал таму любопытных анекдотов из области баварской истории и этнографии. Знал, например, почему его зовут Кленк, а не Гленк, и мог вести с писателем доктором Маттеи, лучшим знатоком этих вопросов, многочасовые обоснованные споры о мельчайших оттенках баварского диалекта.

Рядом с автомобилем министра остановилась другая машина. Какой-то любопытный глядел на доску с надписью. Явно небаварские уста, с трудом разбирая слова и не понимая их смысла, произносили стихи. Очевидно, какой-то приезжий из Северной Германии. Скоро здесь будет больше чужеземцев, чем местных жителей. Гостиницы и бары для приезжих чуть ли не вытесняют уже дома местного населения. Надо будет как-нибудь заглянуть в статистические данные о том, сколько со времени войны угнездилось в стране всякого небаварского элемента.

Кленк поехал быстрее. Невольно выпрямился. Невольно вспомнил адвоката доктора Гейера. Он мысленно увидел перед собою рыжеватую голову, обтянутое тонкой кожей лицо адвоката, пронизывающий взгляд сквозь толстые стекла очков, подвижные, цепкие, с трудом сдерживаемые в покое руки. Ему показалось, что он слышит неприятный голос Гейера. Если бы этот субъект попался ему когда-нибудь в руки! Он уничтожил бы его. Кленк крепко прикусил зубами мундштук своей трубки. Логика, права человечества, государст-

венное единство, двадцатый век, европейские взгляды... Чушь! Он фыркнул сквозь сжатые губы, зарычал, словно возбужденный зверь при виде врага. Что понимает такой пыж, такой карьерист, такая еврейская свинья в том, что такое Бавария и что для Баварии нужно? Никто его сюда не звал. Никто не нуждается в его поучениях. Когда этаким баран суется со своей дурацкой головой куда не следует, то даже небо с овчинку покажется.

Но скоро под высоким ясным небом Баварской возвышенности его гнев испаряется. Министр доктор Кленк — человек разумный и знающий. Прекрасный юрист, из состоятельной культурной семьи, поставившей стране много поколений видных чиновников, знаток людей со всеми их свойствами, он мог бы, если бы только захотел, воздать доктору Гейеру должное по заслугам. Но надо захотеть, а он и не собирается.

Кленк достиг южного конца растянувшегося в длину озера. Прекрасные стояли горы, зеленые, голубые, четко обрисовывались их контуры. Погода была чудесная, самая приятная для езды. Он ускорил ход, спокойно, без всякого напряжения, сидел за рулем и дал волю беспечно кружившим мыслям, игрушечно-пестрым, как чистый и яркий ландшафт, расстилавшийся перед ним.

Картину чувствуешь или не чувствуешь, — не для чего разводить вокруг нее столько канители, как делает этот Крюгер. Все же у Крюгера ясная голова. Нужно же было этому дурню соваться в сложную механику баварской политики! Нужно же было ему бунтовать! Не мог, что ли, этот болван поросячий держать язык за зубами? Ну, и чего он добился? Нет, милейший! Когда дело идет о баварских делах, мы не любим, чтобы нам мешали.

Крикун Флаухер, разумеется, осел. Просто беда, что одни дураки соглашаются идти в кабинет министров. А ведь есть и подходящие люди, он мог бы назвать два-три имени. Почему среди его коллег нет таких людей, как, например, этот тонкий старик, граф Ротенкамп, сидящий в своем замке в горах Химгау, тихий, осторожный, изредка совершающий поездки в Ватикан, ве-

душий в контакте с дипломатами Ватикана осторожную политику, навещающий в Берхтесгадене кронпринца Максимилиана? Почему дозволено оставаться в тени Рейндлю, фактическому хозяину «Баварских автомобильных заводов», благодаря своим связям с большим Рурским концерном господствующему над всей баварской промышленностью? Уж не говоря о докторе Бихлере, этом хитром лидере крестьянской партии, старой лисе, который — когда ни спроси — ни к чему не причастен, ни о чем не знает, ничего не говорил. Но горе министру или депутату, осмелившемуся что-нибудь сказать или сделать, не считаясь с его директивами. Еще бы! Эти божки держатся в тени, остаются невидимыми, а ответственность должны брать на себя другие, порядочные люди, несколько ограниченные и — боже упаси! — не слишком самостоятельные.

А вот имение Тони Ридлера. Этот вот тоже отошел от официальной политики. Здорово пожил, пока был баварским дипломатом, затем во время войны и после нее разбогател и занялся хозяйством. Обзавелся недавно третьим автомобилем — прекрасной итальянской машиной, прижил кучу незаконных детей. Забавы ради организует нелегальные союзы, так что ему, Кленку, подчас трудно закрывать на это глаза. Перебарщиваем мы немножко в нашей клерикальной Верхней Баварии с незаконными детьми. У нас процент их выше, чем где бы то ни было в Средней Европе. Не повезло этому Крюгеру. Нелепо, что ему пришлось сесть за решетку только за то, что он спал с женщиной. Свинская работа — это руководство официальной баварской политикой. Тем, кто в действительности тайно руководит ею, много легче. Число убийств во время драки и других подобных преступлений, если судить по последним статистическим данным, к югу от Дуная все еще выше, чем в любой другой части Германии. Мы можем похвастать своей преступностью: цифры тут такие, что небу жарко станет. Мы — народ полнокровный, этого отрицать не приходится.

Гоп-ля! Он чуть было не задавил велосипедиста. Спидометр показывал девяносто километров в час.

«А ты шире открывай свои бычьи глаза, обезьяна пареная!» — бросил он на ходу обычное местное ругательство в ответ на брань испуганного велосипедиста. Лучше всего иметь дело с собаками. Велосипедисты — это самые идиотские создания на свете. Он улыбается, вспоминая, что из всех городов Гёrmании в Мюнхене наибольший процент велосипедистов. Что за шум подняла бы оппозиционная пресса, если бы он имел несчастье переехать одного из них!

Напрасно не захватил он с собой нового издания «Философии права». Кленк любил на охоте почитать и интересовался вопросами философии права. Он хорошо разбирался в запутанных проблемах гетерономии и автономии, законности и нравственности, теории органической и договорной. Нередко поражал парламент какой-нибудь ловко подобранной малоизвестной теоретической цитатой. Он, Кленк, может позволить себе роскошь заниматься проблемами. Это очень занятно. «И-де-о-логическая надстройка», — бормочет он, усмехаясь, смакуя каждый слог, и ускоряет ход машины. Теории теориями, а вот он, Кленк, — законодатель, от разъяснений которого, согласно известному изречению, целые библиотеки превращаются в макулатуру.

А гнусная рожа все-таки у этого Гейера. Ломака этакий, паршивец! Истерический всезнайка. С Тони Ридлером он тоже когда-нибудь сцепится. Воображает о себе невесть что... Да, философия права... Обширная область... Он, Кленк, не интересуется тем — справедливо или нет. Он поставлен для того, чтобы уберечь страну от проникновения в нее вредных для народа влияний. Он делает то же, что и ветеринар, принимающий меры против распространения эпидемии ящура.

Ветер усилился. Сейчас же после обеда он со своим егерем Алоисом отправится к охотничьему шалашу. Он дает газ, снимает шапку, предоставляет легким струям воздуха обвевать скудно поросший волосами череп. Он проезжает по своей стране, с трубкой в зубах, довольный, обладающий прекрасным аппетитом, бдительный.

ПИСЬМА ИЗ МОГИЛЫ

На следующий день прокурор сделал решительный выпад: потребовал оглашения ряда документов, оставшихся после покойной Анны-Элизабет Гайдер. Эти документы сразу же после ее смерти от отравления опечатались судебными органами и никому, кроме лиц, причастных к составу суда, не были известны.

Чиновник судебной канцелярии зачитал документы. Это были отрывки из дневника и неотосланные письма. Набросанные характерным почерком покойной на клочках бумаги лиловыми чернилами и очень острым пером, их теперь из предосторожности дали перепечатать на машинке, чтобы читавший их секретарь не запутался в них. Из уст этого секретаря, из его ребяческих, добродушных уст, над которыми торчали тщетно претендующие на лихость усики, слышали судьи, присяжные, журналисты, публика, слышал защитник доктор Гейер, впервые слышал и сам Крюгер эти вырвавшиеся из глубины страстной души и обращенные к нему слова. Секретарь суда, правда, раз уже перечел документы перед заседанием, чтобы как-нибудь не запнуться и публично не осрамиться. Речь в этих записках шла о вещах, для него необычных. Кроме того, общее внимание хотя и льстило ему, но в то же время и связывало. Он потел, заикался и часто откашливался, невольно, благодаря местному акценту, подчеркивал отдельные слова. Нелегко было Крюгеру, впервые из таких уст и в такой обстановке выслушивая эти так близко касавшиеся его и проникнутые глубоким чувством слова, владеть выражением своего лица в той мере, в какой следовало бы.

Из всей массы материала прокурор выбрал два места в дневнике и одно недописанное письмо. Тем же впечатляющим стилем, который был свойствен и ее манере живописи, Анна-Элизабет Гайдер писала о Крюгере. Бесстыдно, обстоятельно, обнаженно говорилось о том, как на писавшую эти строки действовали малейшие прикосновения Крюгера: его пальцы, его губы, его

мускулы. В словах таился страстный огонь, странно смешанный с атмосферой католических умопредставлений,— должно быть, под влиянием полученного ею в монастыре воспитания. Все вместе было исполнено то сдерживаемой, то вновь и вновь прорывающейся чувственности. Необычные слова, вырывавшиеся из неволи звериные вопли... Трудно понимаемые в устах секретаря, подчас почти смешные. Исповедь, во всяком случае, звучала не так, как если бы речь шла о товарищеских отношениях.

Присутствующие глядели на руки Крюгера, о которых много говорилось в записках, на его губы, на него самого. Неприятное чувство от необычайного бесстыдства, с которым эти чисто личные записи умершей при многочисленных слушателях бросались в лицо человеку, к которому относились, в ярком свете судебного зала, это неприятное чувство, охватившее кое-кого из присутствующих, заглохло среди общего волнения.словно следя за боксером, в последней схватке задыхающимся под тяжелыми ударами противника, и стараясь предугадать, устоит ли он на ногах, присутствующие ожидали поражения доктора Крюгера под тяжестью прочтенных заметок. Адвокат доктор Гейер, не сводивший своих голубых глаз с уст секретаря, сидел, плотно сжав губы. Он проклинал поэтически-страстные выражения покойной, дававшие любому противнику возможность делать из ее слов нужные ему заключения. Он отметил сильное впечатление, произведенное на суд, публику, прессу. Заряд прокурора попал в цель. Это было неоспоримо. По лицам даже и доброжелательно настроенных видно было, что убеждение в двусмысленности отношений Крюгера с покойной крепло с каждым словом.

В заключение прокурор предложил прочесть начатое и неотосланное письмо девушки. Все тело ее,— писала она,— пылающий огонь, когда нет Мартина. Она бежит под дождем, ей нечем дышать. Ее картины остаются неоконченными, она часами простаивает под окнами его квартиры и перед картинной галереей. Она знает, что он не жаждет ее с такой дикой и чистой страстью, как она его. Только сгорая в его огне, она

может дышать. Когда она слышит на лестнице его шаги, колени ее подгибаются. Но проходят долгие дни, пока наконец он является. Она заставляет себя работать, но ничего не выходит. Тоска и страстное желание отгоняют от нее все образы. Усталая, с пересохшим ртом и горячими руками сидит она, и нет на свете ничего, кроме ее жуткого смятения и тоски и резкого голоса надворной советницы, требующей денег.

Все это было прочитано вслух секретарем Иоганном Гутмюллером в зале номер три Дворца юстиции, перед судом присяжных, при напряженном внимании публики. Некоторые из дам сидели, глуповато, но мило полуоткрыв рот, другие слушали тяжело дыша, смущенные тем, что женщина могла писать мужчине такие вещи. Женщины всегда охотно и долго останавливали свои взгляды на Мартине Крюгере. Но никогда еще так много женских глаз с таким настойчивым вниманием не вшивалось в него, как в этот день, 5 июня.

Председательствующий, доктор Гартль, улыбался философски, с легкой грустью. Эти письма покойной, — находил он, — крайне типичны. Это ценные документы. Вот каковы они, эти «чужаки». У них нет устойчивой линии, нет гордости. Они готовы позволить себе все что угодно. Выбалтывают все, что взбредет на ум, без всяких задерживающих моментов, без всякого стыда. Ну, и что же толку? В итоге — неудовлетворенная чувственность, тоска, отвернутый газовый кран и возбуждающая, сомнительная по содержанию картина. Он заботливо помог секретарю разобраться в нескольких трудных выражениях, распорядился, как только на улице повеял легкий ветерок, открыть окно.

Прокурор упивался оглашением документов, вытянув шею, наклонив вперед голову с покрытыми легкой растительностью ушами, стремясь не проронить ни слова, и, внутренне торжествуя, констатировал произведенный эффект.

На скамье присяжных слушали с напряженным вниманием. Антиквар Каэтан Лехнер, ошеломленный, с глуповатым видом уставился на читавшего, поглаживал баки, реже, почти машинально пользовался своим

пестрым платком. Он вспомнил о своей дочери Анни и ее связи с этим противным парнем, Каспаром Преклем. Удивительное дело, какие глупости лезут в голову такой девчонке. Правда, представляя себе свежее, здоровое лицо Анни, он с трудом допускал, чтобы она способна была когда-нибудь сочинить такую галиматью. С другой стороны, никогда нельзя было знать заранее, когда человек связывался с кем-либо из этих «чужаков», до чего это может довести. Пользы тут мало. Раздраженно вертел он головой на зобастой шее, с отвращением глядя на Мартина Крюгера. Учитель гимназии Фейхтингер и почтальон Кортеси, соображавшие ту же других, понимали только, что речь идет о чем-то грязном, похабном, явно уличавшем Крюгера в лжесвидетельстве. Придворный поставщик Дирмозер, хотя мысли его были заняты делами перчаточного магазина и болезнью ребенка, все же прислушивался к чтению и удивлялся, сколько хитрых слов попридумывали эти господа, чтобы выразить такую простую вещь, как то, что происходило между Крюгером и этой Гайдер. Если они способны были выдумывать такие сложности, перед тем как лечь вместе в постель, то чего бы только они ни наговорили, если бы им пришлось впутаться в такое серьезное дело, как торговля перчатками. Оживленно, стараясь изобразить ироническую улыбку бонвивана на бледных губах, следил за чтением и страховой агент фон Дельмайер, презрительно щуривший водянистые глаза. Время от времени он раздражался резким, блеющим смехом, вызывавшим возмущенные взгляды адвоката Гейера.

Со скамьи присяжных на Крюгера смотрел своими карими с поволокой глазами коммерции советник Пауль Гессрейтер. Он был человек покладистый и, хоть и ворчал изредка, все же был доволен всем миром, людьми и делами, а прежде всего своим родным городом Мюнхеном. А все же — Гартль хватил через край. Крюгер — малосимпатичный господин, но преследовать человека письмами из могилы — это просто неприлично. С лица Пауля Гессрейтера исчезло выражение обычной флегматичной терпимости, привычной ему томной

приветливости. Он напряженно и досадливо наморщил лоб и так тяжело задышал, что сосед его с удивлением оглянулся, думая, что он задремал и начинает похрапывать. Быть может, коммерции советник Гессрейтер в это время думал о том, как бессмысленно трудно — а особенно в клерикальном Мюнхене — добиться развода. Быть может, он думал о том, что чуть ли не ежедневно мужчины оказываются в таком положении, что им — с ним лично это случалось уже дважды — под присягой приходится утверждать, что они с той или иной женщиной не состояли в близких отношениях.

А секретарь между тем продолжал читать длинное письмо покойной девицы Анны-Элизабет Гайдер, написанное ею в ночь с 16 на 17 октября в нетопленной мастерской, застывшими пальцами, — «на клавишах сердца», как сказано было в этом письме, — и с значительным опозданием столь необычным путем дошедшее до адресата.

13

ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ И МНОЖЕСТВО УШЕЙ

Газетные отчеты по поводу записок покойной девицы Гайдер отличались чрезвычайной красочностью. Оглашение этих записок называли «сенсационным моментом процесса». Ловкие репортеры бойким пером описывали, какое тяжелое впечатление на присутствующих произвело это жуткое загробное объяснение в любви, дошедшее до того, кому оно предназначалось, так поздно, в передаче секретаря суда, при ярком дневном свете и бесчисленных свидетелях, к тому же еще неся с собой угрозу тюремного заключения. Многие выдержки из дневника и писем приводились дословно, некоторые были отпечатаны жирным шрифтом.

Читали эти отчеты жители города Мюнхена: широкое плечие мужчины, круглоголовые, медлительные в движениях, в походке, в мышлении. Ухмылялись, наслаждаясь, до дна выпивали из серых глиняных кружек

крепкое пиво, хлопали кельнерш по ляжкам. Читали эти отчеты старые женщины, приходя к убеждению, что в их времена такое бесстыдство было бы невозможно, и молодые девушки, тяжело дыша, чувствуя, как слабеют их колени. Читали и жители города Берлина, возвращаясь из контор и заводов, проезжая на империалах автобусов по горячему асфальту или притиснутые друг к другу в длинных вагонах метро, держа за ременные петли, усталые, размякшие, возбуждаясь странно наивными и бесстыдными словами умершей девушки и косясь на плечи, груди и шеи женщин, сильно открытые по моде того времени. Совсем еще молодые подростки читали отчет — четырнадцатилетние, пятнадцатилетние; завидовали получателю письма, досадовали на свою юность, возбужденно рисовали себе то время, когда и они будут получать такие послания.

Читал этот отчет и министр просвещения доктор Флаухер, сидя в своей низкой, заставленной старой плюшевой мебелью комнате. Это было больше, чем он мог ожидать. Он даже забубнил что-то вполголоса так, что такса у его ног подняла голову. Читал и профессор Бальтазар фон Остернахер, видный художник, когда-то названный Крюгером «декоратором». Он улыбнулся, снова еще интенсивнее принялся за работу, хотя, собственно, собирался уже кончить на этот вечер. Оценку, данную ему Крюгером, он считал теперь окончательно опровергнутой. Читал отчет и доктор Лоренц Маттеи, лучший изобразитель баварских народных типов. Его мясистое, злое, мопсообразное лицо стало еще злее, еще краснее стали шрамы от сабельных ударов времен его студенчества. Он снял пенсне, скрывавшее маленькие, недобрые глазки, тщательно прочистил его, вторично, без особого удовольствия перечел отчет. Быть может, ему вспомнились кое-какие маскарады, в которых он участвовал еще молодым адвокатом, быть может, вспомнилась молодая женщина-фотограф, писавшая письма в таком же стиле, как покойная, и впоследствии бесследно куда-то канувшая. Верно одно — что он широко расселся за письменным столом и сочинил молодой художнице сочную, ядовитую надгробную надпись,

нечто вроде тех «мартирологов», какие можно было видеть на памятных досках по краям дорог в баварских горах. Он откинулся назад, перечел стихи, увидел, что они удались. Существовал тончайший, написанный первами анализ творчества Анны-Элизабет Гайдер, принадлежавший перу Мартина Крюгера. Но его, Маттеи, стихи ближе к баварской природе, в них сила молотильных цепов. Он осклабился: стихи вытеснят анализ Крюгера, станут окончательной эпитафией умершей девушке.

Супруга придворного поставщика Дирмозера, прочтя отчет, почувствовала горькую обиду. Так, значит, для того чтобы ее муж мог присутствовать при чтении таких гадостей, ей приходится торчать в магазине на Терезиенштрассе, бросив на произвол судьбы маленького двухлетнего Пеппи! Без ее мужа им, видно, никак не обойтись! Без него, верно, провалилось бы все баварское государство! Она долго ругалась, от времени до времени озабоченно заглядывая к маленькому Пеппи, негоднику, не перестававшему орать, пока наконец, невзирая на запрещение врача, она, сжалившись, не влила ему в рот теплый напиток из пива и молока.

Полное, красивое лицо кассирши Ценци, когда она в «Тирольском погребке» прочла этот судебный отчет, стало задумчивым, как иногда в кино, и она на несколько минут поручила заботу о посетителях своей помощнице Рези. Ценци хорошо знала обвиняемого Крюгера. Красивый, веселый господин, иногда грубовато флиртовавший с ней. Напрасно печатали в газете все бредни, которые писала ему покойница. Это были неприличные письма, таких вещей писать не полагается. Все же некоторые выражения произвели на нее впечатление. Там, в большом зале, нередко сидел молодой человек, некий Бенно Лехнер, сын антиквара Лехнера. Семейное положение: холост; профессия: электромонтер фирмы «Баварские автомобильные заводы». Но он, верно, недолго там удержится. Вообще он долго нигде не может удержаться: у него дерзкий, бунтарский нрав. Удивляться тут нечему: недаром он вечно торчит у этого «чужака», у этого противного Каспара Прекля. В тюрьме он тоже уже успел поси-

деть, этот Бени: проштрафился. Правда, по политическому делу, — и все-таки тюрьма остается тюрьмой. Но, несмотря на все эти недостатки, он очень ей нравился, это просто безобразие, что он обращал на нее так мало внимания. Вот уж третий год, как ее произвели в старшие кельнерши, в кассирши и дали ей помощницу, Рези, которой она может командовать. Многие из посетителей большого зала и более дорогого — бокового — добивались возможности проводить с ней вечера в ее выходной день. Кавалеры из лучшего общества. Ей везло. Но кассирша Ценци берегла немногие свои свободные вечера для электромонтера Бенно Лехнера. А тот важничал, хоть и был всего-навсего сыном старьевщика Лехнера с Унтерангера, и заставлял долго просить себя, пока соглашался провести с ней вечер. Это был тяжелый крест. Зато у него была склонность к возвышенному, он был чувствителен к тонкостям, ко всяким фантазиям: возможно, что когда-нибудь удастся в письме к нему вернуть один из оборотов покойной художницы. Ценци аккуратно вырезала газетный отчет, положила его в альбом для стихов, наряду с изречениями и стишками ее друзей и знакомых в изобилии содержащий сентенции и автографы наиболее значительных и популярных людей из числа посетителей «Тирольского погребка».

Читал этот отчет, читал с легким отвращением и сознанием, что «иначе и быть не могло», и граф Ротенкамп, тот самый тихий господин, сидевший в своем горном замке далеко в юго-восточном уголке Баварии, часто ездивший в Рим, в Ватикан и в Берхтесгаден к кронпринцу Максимилиану, самый богатый человек к югу от Дуная, бесшумный, боязливо сторопившийся всяких публичных выступлений и имевший огромное влияние на руководящую клерикальную партию. И сам кронпринц Максимилиан также читал отчет. Барон Рейндль, генеральный директор «Баварских автомобильных заводов», прозванный «Пятым евангелистом», благодаря своим связям с Рурским концерном — главный деятель баварской промышленности, также читал. Он пробежал его без особого интереса. На мгновение у него мелькнула мысль позвонить главному редактору «Гене-

ральанцейгера». Газета находилась в полной финансовой зависимости от Рейндля, и одного его слова было бы достаточно, чтобы судебный отчет получил совершенно иную окраску. Один из его инженеров, некий Каспар Прекль, — смешной субъект, но способный, — в обычном для него дерзком тоне пытался просить барона вступить за Крюгера. Возможно, что барон Рейндль действительно вступился бы. Но он помнил, что этот самый Крюгер однажды за его спиной назвал его «трехпфенниговым Медичи». Он, Рейндль, конечно, не был злопамятен, но уж, во всяком случае, он не был и «трехпфенниговым Медичи». Разве не его щедрость сделала возможным приобретение картины «Иосиф и его братья»? Со стороны Крюгера это было несколько смело, а главное, — как оказалось теперь, — непрактично. Барон Рейндль вторично внимательно проглядел отчет; его лицо выражало наслаждение знатока. В редакцию он не позвонил.

Прочли этот отчет и присяжный оптимист — писатель Пфистерер, экономка Агнеса, владелец картинной галереи Новодный. С восторгом прочел, гордясь своим героем отцом, сын шофера, юноша Людвиг Ратценбергер. Но не прочел отчета самый могущественный из пяти фактических властителей Баварии, доктор Бихлер. Он был слеп. В это утро он сидел в одной из больших, низких, плохо проветренных комнат своего старинного нижнебаварского помещичьего дома, который много поколений подряд строили, чинили и все вновь и вновь расширяли. Он ворчал и бранился, плохо выбритый, с узловатыми, иссиня-красными руками. Какой-то тайный советник, посланный министерством земледелия, робко пытался привлечь его внимание к своим словам. Тут же рядом стоял и секретарь Бихлера, держа в руках газеты и готовясь начать чтение вслух. Тучный, неуклюжий человек возбужденно выкрикивал какие-то сердитые обрывки фраз. Секретарю показалось, что он слышит имя Крюгера, и он принялся читать отчет о процессе. Доктор Бихлер поднялся. Секретарь бросился помогать ему, но доктор Бихлер с досадой оттолкнул его и ощупью побрел по комнатам. За ним, добываясь быть услышанными, следовали тайный советник и секретарь.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА КРАЙН И ЕЕ ПАМЯТЬ

Свидетельница Иоганна Крайн читала отчет, полуоткрыв рот, так что обнажились ее крепкие, здоровые зубы. Она наморщила лоб, обрамленный темными волосами, вопреки моде тех лет зачесанными назад и стянутыми тугим узлом на затылке. Энергичной походкой спортсменки, сердито выталкивая через нос воздух и похрустывая пальцами своих крепких, грубоватых рук, она прошлась несколько раз по комнате, тесной для ее резких движений, и остановилась у телефона. После нескольких бесплодных попыток она дозвонилась наконец до конторы адвоката Гейера и, как, впрочем, и ожидала, услышала, что его нет.

Ее лицо с несколько крупным ртом и решительными серыми глазами так исказилось от досады, что на мгновение стало почти некрасивым. Брезгливо морща губы, она еще раз перечла отчет. Газетный лист, еще жирный от краски, издавал скверный запах. Удушливая страстность, исходившая от слов умершей, даже помимо всего личного, вызывала в ней чувство отвращения. Мартину не следовало так много времени уделять этой Гайдер. Неужели не противно быть объектом таких писем?

Она ясно помнила эту Гайдер, помнила, как та вместе с ней и Мартином сидела за столиком в «Минерве», танцзале Латинского квартала, вся съежившись, посасывая соломинку своего коктейля, как потом во время танца, странно затуманенная, словно отдаваясь, она повисла на руке Мартина. Однажды Мартин спросил Иоганну, не согласится ли она сделать для этой девушки графологический анализ. Ее анализы — в то время она еще не занималась ими как профессией — пользовались большой популярностью в кругу ее знакомых. Но Гайдер поспешно, даже просто невежливо отклонила это предложение. Возможно, это был страх с ее стороны. Свойства людей переменчивы, как вода, — заявила она. В разных условиях и в своих отношениях с разными людьми человек бывает совершенно различ-

ным. Она ни за что не позволит закрепить за собой определенные качества.

Иоганна продолжала ходить взад и вперед по своей большой светлой комнате, убранной красивой практичной мебелью. Вокруг стояли полки книг и предметы, необходимые для ее профессии графолога,— огромный письменный стол и пишущая машинка. В зеркале она видела то светлый Изар, то бульвар, то широкую набережную. Да, эта дружба Мартина с покойной не могла окончиться добром. Она, Иоганна, должна была в свое время предостеречь Мартина. Наверно, и ему самому эта дружба давно была в тягость, но он всегда нуждался в толчке извне. Он старался избегать всего неприятного, старался и тут избежать сцен. Несомненно, это и было единственной причиной, по которой он не порвал с Гайдер.

Теперь уже не имело смысла огорчаться по этому поводу. Все это прошло и кончилось. Единственное, что оставалось делать сейчас,— ждать, пока ей не удастся поговорить с адвокатом.

Разве не сегодня вечером обещала она дать анализ того женского почерка? Номер двести сорок семь? Да, да... Она сейчас же сядет за работу и через полчаса еще раз попытается созвониться с доктором Гейером. Иоганна берет со стола газетный лист и аккуратно кладет его к уже прочитанным газетам. Вынимает образец почерка номер двести сорок семь, вставляет его в похожий на пульт для чтения аппарат, которым она обычно пользуется при своих анализах. Задерживает занавеси, включает лампу с рефлектором, и тогда линии написанных строк с почти пластической четкостью выделяются на светлом фоне бумаги. Она принимается расчленять линии почерка согласно остроумным методам, которым ее учили. Но она знает, что таким путем не создаст себе представления о характере этого почерка. Да она и не делает настоящего усилия, чтобы сосредоточиться.

Нет, она вовсе не была обязана пытаться отдалить Мартина от этой Гайдер. Она не могла брать на себя обязанности гувернантки. Вообще глупо стремиться сделать человека иным, чем он есть. Раньше чем связать себя с человеком, нужно хорошо уяснить себе,

кто он такой. Жаль все же, что в натуре Мартина невозможно было найти твердую основу. Лучше всего он чувствовал себя в полумраке. Тогда он бывал откровенен без всякой утайки. В своей откровенности он доходил до того, что ей почти бесстыдством казалась его способность первому встречному рассказывать самые интимные личные вещи. И все же его можно было разобрать по листочкам, словно луковку, и при этом не докопаться до твердой основы. Всякое решение он по возможности откладывал, хотя бы дела запутывались бог весть как. Так или иначе — все, мол, разрешится само собой. Так стоит ли мучить себя поисками решения?

За дверью послышались тяжелые шаги ее тетки, Франциски Аметсридер, жившей вместе с пей и занимавшейся ее хозяйством. Тетка, наверно, сейчас не удержится от весьма решительных суждений по поводу процесса, от сильных выражений по адресу Мартина Крюгера. Обычно Иоганна не обижалась на деланно резкий тон тетки, в ответ дружески подшучивала над пей к обоюдному удовольствию. Но сегодня она не была в настроении обмениваться с теткой суждениями и выражениями чувств. Четко и звонко сквозь закрытую дверь она объявила, что занята работой, и тетка, обиженная и рассерженная, ретировалась.

Она снова пытается сосредоточиться на своем графологическом анализе. Она обещала сдать сегодня его результаты, и ей не хочется заставлять кого-то ждать ее. Но сегодня у нее решительно ничего не получается.

Да, больше всего радости она и Мартин доставляли друг другу во время путешествий. Беззаботный, юношески веселый, отдавался он всем впечатлениям, бурно восторгаясь благоприятной погодой и глубоко огорчаясь из-за недостатков каждой чересчур примитивной гостиницы. Она вспоминала вечера, когда они вместе, сидя в вестибюле какого-нибудь большого отеля, по лицам посетителей определяли их характер, профессию, судьбу. Мартин сочинял самые увлекательные, самые интересные жизнеописания этих людей, улавливая мельчайшие, скрытые где-то в уголках их лиц, детали. Но в общем его характеристики очень часто оказывались ошибочными. Удивительно, как этот человек, столь

глубоко умевший вникать в картины, так слабо на практике разбирался в психологии людей.

Как умел он углубляться во все, что касалось искусства! Наблюдать за тем, как он весь, целиком преображаясь, уходил в созерцание предметов искусства,— было прекрасно и радостно. Ей нравилась картина, она производила на нее впечатление. Но то, что человек, за минуту до того, казалось бы, безалаберный и капризный, вдруг мгновенно проникался благоговением, словно потушив в себе личное ради искусства,— вот это чудо вновь и вновь восхищало ее.

Доктор Гейер, вероятно, прав, считая, что ей лучше в эти дни не встречаться с Мартином. Но это дается ей нелегко. Хотелось бы погладить его по щеке, подергать за густые брови. Она и этот тщеславный, веселый, темпераментный, живой в восприятии искусства, щегольской в своей одежде человек — подходили друг к другу.

Резким движением Иоганна поднялась, раскрыла жалюзи, отставила в сторону свою графологию. Немыслимо было сидеть вот так, в бездействии. Она снова позвонила Гейеру, в этот раз на квартиру. В аппарате слышался сиплый нервный голос экономки Агнесы. Нет, она не знает, где можно застать доктора Гейера. Но раз уж фрейлейн Крайн у аппарата, она просит ее хоть немножко заняться господином доктором. Ее, экономку, он вовсе не слушает. Прямо беда с этим человеком! Еду он просто проглатывает безо всякого внимания. Плохо спит. Совершенно не следит за своей одеждой. Просто срам! У него ведь никого нет из близких. Если фрейлейн Крайн скажет ему, — может быть, это подействует.

Иоганна нетерпеливо ответила полусогласием. Все люди чего-то требовали от нее. У нее — видит бог — есть другие заботы, кроме платья доктора Гейера.

Но всегда, с самого ее детства бывало именно так. Уже тогда, после развода родителей, когда ее, еще полуробенка, перебрасывали от отца к матери. Отец, погруженный в работу, замкнутый, ожидал, что, несмотря на его нерегулярный образ жизни, Иоганна сумеет держать в порядке хозяйство, и устраивал скандалы,

когда что-нибудь случайно не ладилось. Еще подростком она принуждена была заботиться о новом кредите у поставщиков, об удобствах для неожиданно появлявшихся гостей, должна была вести хозяйство применительно к постоянно менявшемуся финансовому положению отца. Живя у матери, ей приходилось исполнять все тяжелые и неприятные обязанности, так как мать, обожавшая болтовню и сплетни с приятельницами за чашкой кофе, оставляла за собой право на сетования, предоставляя всю работу дочери. Позднее, когда после смерти отца Иоганна окончательно поссорилась с матерью, вышедшей вторично замуж, все ее знакомые, даже отдаленные, всегда считали своим правом пользоваться ее услугами и любезностью и в самых неожиданных случаях обращались к ней за помощью и советом.

То, что именно здесь, где она действительно была нужна, то, что она в деле Крюгера оказалась бессильной,— злило ее сейчас до бешенства. Теперь она знала, что совершила ошибку, своевременно энергично не позаботившись о нем. Ее теория о необходимости полной самостоятельности каждого человека, нарушать которую без просьбы другого нельзя, была чересчур удобной отговоркой. Когда связываешь себя с человеком, как она с Мартином, зная, что он собою представляет, надо принять на себя и ответственность за него.

Опираясь подбородком на короткую грубоватую руку, Иоганна сидела за столом, вспоминая Мартина тех дней и часов, которые вызывали в ней наибольшее восхищение. Вспоминала, например, как однажды они вместе были в маленьком тихом городке со старинной чудесной картинной галереей, которую Мартин собирался опустошить в пользу Мюнхенского музея. С каким превосходством и убедительностью обошел он недоверчивых провинциальных ученых, навязав им всякую старую мазию, от которой ему хотелось освободить свой Мюнхенский музей, и выманив у них своей болтовней лучшие вещи из их собрания! Когда затем, после длительных переговоров, трудный обмен был окончательно решен, Мартин имел еще дерзость, ей и себе на потеху, поставить условие, чтобы магистрат достойным образом отблагодарил его за труды по пополнению го-

родской галереи и устроил в его честь банкет. Она сидела, опираясь подбородком на руку, склонив свое свежее лицо с коротким тупым носом. Она ясно видела перед собой лицо Мартина, с лукавой серьезностью слушающего тягучую заздравную речь, произносимую в его честь бургомистром.

Затем вдруг она оказывалась с Мартином в Тироле. Рядом с ними в купе сидел педантичный англосакс, уткнувшийся носом в путеводитель, близоруко ворочавший головой из стороны в сторону и никак не умевший разобраться, с какой, собственно, стороны находятся те или иные упомянутые в путеводителе красоты природы. Мартин все время, к великому удовольствию пассажиров, с самым серьезным видом снабжал чудака неверными сведениями, остроумно и находчиво устрояя все его сомнения, незначительные холмики выдавая ему за знаменитые горные вершины, крестьянские дворы — за развалины замка. А раз, когда поезд проезжал какой-то городок, он даже уверил бедного иностранца, что колонна со статуей мадонны — памятник национальному герою.

Все до мелочей помнила она. О да, она умела все вспоминать до мелочей. Уважать старые традиции — святость присяги, ответственность перед обществом и тому подобное — все это прекрасно. Но она сыта уже этим по горло и намерена ссылаться на свою хорошую память. Она точно помнит, — это было в два часа ночи, — когда Мартин тогда пришел к ней. Почему она помнит это с такой точностью? Да потому, что они первоначально сговорились на следующий день совершить прогулку в горы. Но Мартин настоял на том, чтобы отправиться па вечеринку. Они поссорились по этому поводу. Затем Мартин все же неожиданно явился. Разбудил ее. Разве не вполне естественно, что она взглянула на часы и точно запомнила время? Да, так оно и было; так оно звучит вполне правдоподобно. Если у шофера Ратценбергера есть все основания иметь хорошую память, то и у нее есть не менее ценные основания для того же самого. Да, именно так все и происходило. Так она будет показывать под присягой, и чем скорее, тем лучше.

Она не знает, спал ли Мартин с умершей девушкой. Она этому не верит; она никогда не говорила с ним об этом, это ее не интересует. Но одно она знает, это подсказывает ей человеческий здравый смысл: нехорошо, чтобы человек пробыл больше одной ночи под тяжестью таких обвинений, как те, которые вытекают из писем и дневников Гайдер. Она начнет действовать. Изыщет способ противодействовать. Опровергнет, опираясь на неоспоримые доказательства.

Она снова позвонила, застала доктора Гейера дома. Сказала ему быстро и решительно, что еще раз проверила свои воспоминания, помнит сейчас все, во всех подробностях. Хочет дать показания. Завтра. Возможно скорее. Доктор Гейер ответил, что по телефону говорить об этом не считает удобным и будет ждать ее у себя через час.

Через час. Она пойдет пешком. Но даже и так у нее до ухода остается достаточно времени.

Если она не может увидеть Мартина, то у нее есть хоть его письма. Она подошла к шкапушке, где они лежали, — множество писем из разных городов, проникнутых разным настроением, написанных при различных обстоятельствах. Мартин писал легко и не задумываясь, как мало кто в то загруженное делами время. Письма были совсем разные. Одни — деловые, сухие, другие — полные молодого лукавства, самых неожиданных остроумных выходов. Затем вдруг длинные, импульсивные рассуждения о картинах, о вопросах его специальности, — все это без всякого отбора, полное противоречий.

Да, вот лежали его письма, сложенные в порядке, тщательно сохранявшиеся. Не попадут ли и его письма в одну из ее папок? — спросил однажды Мартин, подшучивая над ее страстью к порядку. Она вынула один из листков, взглянула на быстрый, крупный, странно нежный почерк. Но очень скоро отвела взгляд решительных серых глаз. Положила листок на место.

В своем неуютном кабинете доктор Гейер сухо указал ей, что хорошая память довольно опасная вещь в этой стране. Гораздо вероятнее, что привлекут к ответственности за лжеприсягу ее, чем шофера Ратценбергера. Лицо Иоганны оставалось спокойным. Над пе-

реносицей прорезались три бороздки. Зачем он все это говорит? — спросила она Гейера. — Неужели он полагает, что это производит на нее впечатление? — Он считает себя обязанным указать ей на возможные последствия ее выступления, — ответил сухо адвокат. Она, так же сухо, поблагодарила его за добрые намерения. И ушла улыбаясь.

Улыбаясь, она вернулась домой кружным путем, через Английский сад. Шла, напевая сквозь зубы, почти неслышно, мелодию из старинной оперы, повторяя все те же несколько тактов. Прекрасный, обширный парк замер в вечерней прохладе и покое. Кругом бродило много влюбленных парочек. Пожилые люди также, после раннего ужина, наслаждались здесь вечерней прохладой. Они сидели на скамейках, болтали, курили, спокойно читали подробные газетные отчеты о любви покойной «чужачки» к Мартину Крюгеру.

15

ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ НА БЕРЕГУ ШТАРНБЕРГСКОГО ОЗЕРА

По той же дороге, по которой накануне проезжал министр Кленк, ехал на следующий день вечером коммерции советник Пауль Гессрейтер. Он ехал со своей приятельницей Катариной фон Радольной. Обычно он большую часть лета проводил в ее прекрасном поместье Луитпольдсбруни на берегу Штарнбергского озера.

Господин Гессрейтер правил автомобилем — той самой новой американской машиной, которую приобрел три недели назад. После отвратительного дня, проведенного в суде, было особенно приятно ехать так, во мгле, по широкой дороге сквозь редкий лес. Фары машины выделяли из темноты небольшие секторы дороги и ландшафта. Г-н Гессрейтер ехал с умеренной быстротой, наслаждаясь наступившей прохладой и уютной близостью Катарины. Из всех женщин, которыми он, один из пяти бонвиванов города Мюнхена, когда-либо обладал, она была ему больше всех по сердцу. Они не были женаты.

Катарина соединяла в себе все прелести любовницы и супруги.

Они сидели друг подле друга, вели ленивую беседу, часто прерываемую молчанием. Предметом разговора был, конечно, процесс Крюгера. Да, — заметил г-н Гессрейтер, — достаточно неприятно участвовать в этом процессе в качестве присяжного, в известной мере — судьи. Однако в присутствии Катарины он считал нужным напустить на себя известный цинизм, практичность и самоуверенность. Ведь в конце концов он деловой человек. Легко могло случиться, что, откажись он от исполнения своей гражданской обязанности, нашлись бы влиятельные лица, которые стали бы выписывать керамику из других мест. Впрочем, нельзя отрицать, что вся эта история в целом очень интересна. Ну, хотя бы эти письма покойницы, которые были прочитаны сегодня. Правда, они достаточно неаппетитны. Просто непонятно, как мужчина может иметь дело с такой изломанной, сумасбродной женщиной. И все же это без сомнения представляло интерес. Почему, собственно, Катарина никогда не приходит на заседания суда? Там были г-жа фон Бальтазар, сестра барона Рейндля, артистка Клере Гольц.

Он сидел за рулем, осторожно правил беспумной, послушной машиной. Была чудная ночь. Они проехали местечко Штарнберг. На берегу озера было много людей, но ночь поглощала все звуки, все казалось погруженным в тишину. По озеру скользил освещенный парход.

Нет, Катарина не испытывала ни малейшего желания присутствовать на этих судебных заседаниях. Ее грудной голос зазвучал около него, полный самоуверенной лени, всегда вновь и вновь волновавшей его. Политика не привлекала Катарину. От всех этих господ, после революции оказавшихся причастными к политике, пахло, по ее мнению, чем-то затхлым. Охота на Крюгера ей не правилась. Это имело привкус прокисшего молока. Было просто неприятно представить себе, в какое ложное положение можно было попасть из-за этой дурацкой политики. На каждом шагу мужчинам под присягой, в присутствии судей и газетчиков, приходилось показы-

вать, с какими женщинами они состояли в связи. А ведь до этого никому не было дела, и это не могло иметь никакого значения для управления государством.

Красивая, пышная женщина говорила все это спокойным низким голосом, таявшим в ночном мраке. Г-н Гессрейтер сбоку поглядел на нее. Нет, она не улыбалась. Должно быть, она сейчас и не вспомнила о том, что и он однажды, в связи с требованием о разводе пыне благополучно скончавшегося г-на фон Радольного, под присягой показал, что не состоял с ней в близких отношениях. Не колеблясь ни секунды, без малейших угрызений совести дал он это показание. Разве не был г-н фон Радольный, женившийся на Катарине после ее многолетней дружбы с принцем Альбрехтом, весьма покладистым человеком, вполне удовлетворившимся видным местом, предоставленным ему по случаю его брака баварским двором? Если он вдруг сделался неспособным, стал устраивать сцены, требовать развода, — разве не было вполне естественно при таких условиях, что г-н Гессрейтер вступился за свою прекрасную подругу? Сейчас г-н фон Радольный уже умер, и Катарина унаследовала от него значительное состояние. Как хорошо, что она тогда так энергично боролась против развода! При помощи денег покойного она привела в порядок свое прекрасное поместье Луитпольдсбрунн, преподнесенное ей принцем Альбрехтом при расставании. На доходы с имения и на ренту, получаемую ею от Управления имуществом бывшего баварского королевского дома, она может вести жизнь женщины большого света. Хозяйство в ее поместье поставлено образцово, ее охотно принимают при бывшем дворе, особенно у претендента на престол, бывшего кронпринца Максимилиана. Ее дружба с Гессрейтером покоится на крепком основании, она путешествует, проявляет благосклонный интерес к вопросам искусства. То, что она сказала о процессе Крюгера, было умно, понятно, соответствовало ее положению и характеру. Гессрейтер, разумеется, не настолько бестактен, чтобы в разговоре провести параллель между своей присягой во время тогдашнего процесса о разводе и делом Крюгера. Все же он мимоходом подчеркивает, что только такому да-

лекому от реальной жизни «чужаку», как Крюгер, могли решиться навязать на шею подобный процесс. Рыцарская присяга, при которой мужчина отрицает свою близость к женщине, стала чистой формальностью. Каждый судья отлично знает это. Все это похоже на то, как люди говорят «здравствуйте» тому, кому вовсе не желают здоровья, и никто такую присягу не принимает всерьез. Но нельзя, конечно, подавать прямой повод для обвинений прокурора, как это сделал Крюгер, ибо брак должен находиться под защитой закона. Г-жа Радольная молчала, поэтому немного погодя он добавил, что, в сущности, он не большой знаток социальных вопросов. Но семью он считает основной ячейкой государства, и брак, следовательно, так же невозможно упразднить, как, скажем, религию. Но обязательства брак, разумеется, налагает только на массу, а не на высокопоставленного индивидуума.

Так подробно г-н Гессрейтер редко высказывался о вопросах общественной морали. Катарина искоса поглядывала на него. Обычно в периоды его патристически-мюнхенских настроений он начинал длиннее отпускать на висках волосы, переходившие в бачки, какие носили в этих краях. Во время путешествий и вообще когда он ощущал себя космополитом, он подстригал бачки короче. Сегодня, как и всегда в последнее время, бачки низко спускались по его мясистым щекам. Так что же такое с ним происходило? Она немного помолчала. Респилась наконец отнестись к его вспышке как к проявлению легкого нездоровья и заметила, прекращая этим самым разговор, что, по ее мнению, неправильно липать Крюгера возможности уехать в это лето на берег моря или в горы, тогда как она, например, и г-н Гессрейтер катаются сейчас по берегу Штарнбергского озера. Красивая, видная женщина пригладила медно-красные волоски, выбившиеся из-под автомобильной шапочки. Карие глаза на красивом лице с полными губами и мясистым носом спокойно глядели в скользившую мимо ночь.

На озере в лодках распевали песни. Г-н Гессрейтер, раскаиваясь, что пустился в рассуждения, видимо, не интересовавшие его подругу, переменял тему разговора.

Он заметил, что вода явно стимулирует людей к эстетической деятельности. Он сам, сидя в ванне, часто испытывает непреодолимое желание петь.

Остаток пути они провели в молчании. В глубине души г-н Гессрейтер считал свою подругу более умной, практичной и лучше знающей свет, чем он сам. Но сегодня он втайне чувствовал свое превосходство. Однажды, ради забавы, он дал графологу Иоганне Крайн проанализировать ее почерк. Его немного мучила при этом совесть: это было как-то не совсем корректно, казалось нескромным выпытывать близкого человека, да еще при помощи третьего лица. Но затем он все же остался доволен, так как результат анализа в вежливых выражениях подтвердил то, что он и без того знал. А именно, что Катарина, обладая практическим умом, была лишена романтизма, чужда всяких полетов фантазии. Она не понимала и даже не одобряла его склонности заглядывать в бездны бытия, сохранять при всем своем видимом спокойствии и размеренности жизни некоторые не совсем обычные взгляды и убеждения. То, что он обладал перед ней этим преимуществом, наполняло его мужской гордостью. Как удивилась бы Катарина, узнав о тайном приобретении картины — поступке, в котором он хитро и смело проявил себя перед собой и светом человеком, лишенным предрассудков, настоящим европейцем! Он ясно представлял себе ее удивление. «Вот погляди-ка!» — думал он, довольно улыбаясь, мягко, в бесшумном автомобиле везя подругу по окутанной мраком дороге.

Приехав в Луитпольдсбрунн, они застали там г-на Пфаундлера, вилла которого находилась поблизости. Он нередко заглядывал сюда по вечерам. Г-жа фон Радольная охотно встречалась с этим предприимчивым человеком. Кельнер, затем владелец ресторана, Алоис Пфаундлер во время войны занимался поставками мяса для армии. Получив таким образом возможность подавать посетителям своих шикарных ресторанов, несмотря на строгое rationирование съестных продуктов в Германии того времени, самые изысканные мясные блюда, за которые благодаря их редкости щедро платили, г-н Пфаундлер быстро нажил большие деньги. Свои капиталы

он вложил в целый ряд увеселительных заведений, театров, варьете и кабаре не только в Германии, но и в пограничных странах. Он, бесспорно, был самым крупным предпринимателем в этой области во всей Южной Германии. Он мог бы спокойно наслаждаться своим могуществом, если бы не желание содержать непременно в своем родном Мюнхене большие увеселительные заведения и поставить их на широкую ногу. Он владел самым шикарным варьете в Мюнхене, прекрасно организованным кабаре и двумя первоклассными ресторанами. В это лето он собирался пустить в ход большое купальное заведение на берегу озера. Хитрый и умный делец, он, разумеется, знал, что подобные предприятия не имеют больших шансов на успех в таком полукрестьянском городе, как Мюнхен. Ведь если город до войны славился как одно из первых в Германии лечебных и увеселительных мест, то теперь мещанская внутренняя политика нового баварского правительства отпугнула всех приезжих. Пфаундлер между тем убеждал самого себя, что миссия Мюнхена, как единственного более или менее крупного города в центре области, заселенной почти исключительно крестьянами, состоит именно в том, чтобы совершенно отличаться от остальной части Баварии. Земледельцы, приезжая в Мюнхен, стремились найти здесь, по его мнению, городские увеселения, контрастирующие с их повседневной обстановкой. Поэтому он и вбил себе в голову поднять на должную высоту увеселительную промышленность родного города. Возможно, что руководило им также и инстинктивное влечение ко всему декоративному, театральному, время от времени просыпавшееся в душе любого из жителей Баварской возвышенности. Мюнхенские народные празднества, в которых он мальчиком с восторгом участвовал, ежегодно повторявшиеся и сопровождавшиеся оглушительным шумом гулянья на городском лугу, народные увеселения, постановки вагнеровских опер под открытым небом, стрелковые праздники, пышные процессии в «день Тела господня», карнавалы в Немецком театре, веселые пивные оргии в гигантских залах больших ресторанов — все эти шумные торжества оставили в его душе неизгладимый след. Он хотел сам организовать

такие увеселения и зрелища, усилив их выразительность с помощью новейшей техники, сделать шум еще более шумным, опьянение — пьянее, блеск — более блестящим. С чисто крестьянской настойчивостью он вкладывал деньги, получаемые от удовлетворения потребности в увеселениях всей остальной Германии, в эти вновь и вновь терпевшие крушение мюнхенские опыты.

Г-жа фон Радольная с несвойственным ей оживлением протянула г-ну Пфаундлеру свою большую белую руку. Начало ее карьеры было не вполне ясно, она никогда не упоминала о нем. Во всяком случае, она очень охотно беседовала о вопросах, связанных с варьете и кабаре, проявляла удивительное знание технических выражений в этой области и была, в какой-то мере, финансово заинтересована в некоторых предприятиях г-на Пфаундлера.

За ужином на прекрасной, расположенной над самым озером террасе г-жа фон Радольная с видимым интересом беседовала с тучным, неуклюжим Пфаундлером. Ее немного грубоватый звучный голос сливался с его высоким, елейным. Рыхлый толстяк, бледный, с крохотными, хитрыми, мышинными глазками под шишковатым лбом, не знал хорошенько, как отнестись к процессу Крюгера. Вполне понятно, что такой дикий способ публичного обнюхивания постельного белья искусствоведа с большим именем повредит репутации города Мюнхена, из которого и без того ослиные мероприятия правительства заставили с отвращением бежать всех приезжих и хоть сколько-нибудь интеллигентных людей. Следовало бы кому-нибудь вмешаться, сыграть этим правящим болванам прощальный марш. Это должен быть обязательно кто-нибудь из промышленности. Он, Пфаундлер, знает, кто, если бы только захотел, мог бы что-нибудь путное сделать из Мюнхена, — господин фон Рейндль. К сожалению, однако, Рейндль втайне, из-за своей связи с Рурским концерном, держит сторону Пруссии, а все баварское, несмотря на его федералистскую болтовню, интересуется его как прошлогодний снег. Как только было упомянуто имя Рейндля, г-н Гессрейтер стал мрачен. Рейндль втайне был для

него постоянным немим укором. Он превосходил Гессрейтера состоянием, значением в промышленности и обществе, превосходил своими качествами бонвивана.

Он вскользь подумал о своем керамическом заводе и о том, что там в художественном отделе снова в первую голову заняты выделкой групп Пьеро и Коломбины. «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» первоначально выпускала предметы домашнего потребления и прежде всего посуду. Бóльшая часть баварцев, живших к югу от Дуная, ела из блюд, тарелок и мисок этой фирмы и опорожнялась в ее фабрикаты. Особенными симпатиями пользовался один из дешевых синих узоров: горчанка и эдельвейс. Еще отец Паули Гессрейтера присоединил к заводу художественное отделение. Но оно не приобрело особенного значения. Широко поставленный опыт выпуска на рынок художественных пивных кружек закончился чувствительной неудачей. За последнее время, однако, это художественное отделение стало расширяться. Германские деньги обесценились: доллар стоил уже шестьдесят пять марок. Рабочая сила в Германии обходилась дешево и давала предпринимателям возможность совершать выгодные сделки с заграницей. Гессрейтеровские заводы своевременно перестроились в этом направлении. За границей успехом стала пользоваться прежде всего продукция художественного отделения. Гигантские мухоморы, бородатые гномы и тому подобные вещи наводнили весь мир. Эти произведения его заводов не нравились г-ну Гессрейтеру, но что поделать! Не уступать же было этого завода другим.

Заметив, что разговор о Рейндле г-ну Гессрейтеру неприятен, г-н Пфаундлер, все еще сохраняя озабоченный вид, спросил Катарину, не кончаются ли ее запасы «Форстера» марки 1911 года; он, во всяком случае, может предоставить ей еще пятьдесят бутылок. Затем он принялся излагать свои новые планы устройства грандиозного кабаре «Пудреница» в Гармише. Он уже в прошлом году занялся постановкой этого зимнего курорта на самую широкую ногу. Нынче Гармиш-Партенкирхен обещает стать самым модным зимним курортом в Германии. Он, Пфаундлер, и за границей, особенно в

Америке, провел очень удачные подготовительные работы.

Катарина оживленно принялась расспрашивать о подробностях подготавливаемой им для кабаре программы увеселений. Да, Пфаундлер неутомимый работник, он наметил уже довольно точный список номеров. Особенного успеха он ожидал от выступления неизвестной до сих пор в Германии русской танцовщицы Инсаровой, о которой он сообщил с весьма значительным и таинственным видом. Г-жа фон Радольная с полным знанием дела принялась разбирать качества перечисленных им артистов, вполголоса задела боевой номер одной из звезд кабаре. Г-н Пфаундлер, со свойственным специалисту интересом, делал замечания, объяснял, что именно в исполнении этой артистки пропадает, что в номере особенно эффектно. Он попросил Катарину повторить песенку. Полная, красивая женщина, не ломаясь, исполнила его просьбу. Своим звучным голосом она пропела слащаво-сальные куплеты, вынуждая свое пышное тело к соответствующим дразнящим ужимкам и подергиваниям. В глазах г-на Пфаундлера загорелись искорки вожделения. Он был чрезвычайно увлечен и с оживлением заявил, что именно ее полнота и придает куплетам особую прелесть. С горячностью заспорили о некоторых оттенках. Проверили свои впечатления, сравнив с граммофонной пластинкой. Г-н Гессрейтер слушал молча. Он глядел на две огромные вазы, украшавшие балюстраду террасы со стороны озера. Здесь, в Луитпольдсбрунне, имении его подруги, всюду, и в доме и в парке, были разбросаны произведения его керамиковой фабрики: частью огромные фигуры, частью мелкие вещицы. Как странно, что г-жа фон Радольная за все время их длительной связи ни разу не поинтересовалась, почему в его собственном доме на Зеештрассе нет ни одного предмета, произведенного на его заводе.

Исполняя эстрадный номер, г-жа фон Радольная, видимо, чувствовала себя прекрасно, хотя сопровождавшие пение движения и жесты и производили при ее полноте несколько странное впечатление. Когда вошла горничная убрать со стола, г-жу фон Радольную это

нисколько не смутило. Напротив, ей, видимо, было приятно, что девушка нарочно замешкалась в комнате, чтобы послушать.

Господину Гессрейтеру, обычно очень любившему эти ужины на террасе над озером, на этот раз было не по себе. Озеро мирно покоилось в свете луны, приятный ветерок скользил сквозь ветви деревьев, неся с собой бодрящий запах полей и лесов. Жареные сижки были нежны, вино ароматно и хорошо охлаждено. Катарина, крупная, хорошо одетая, соблазнительная, сидела рядом с ним. Г-н Пфаундлер, бывалый человек, умел хорошо сопоставлять жизнь Мюнхена с жизнью мировых центров. Обычно в такие вечера Гессрейтер испытывал чувство спокойного, лишенного желаний довольства, отпускал сочные, часто двусмысленные остроты. Но сегодня он как-то вдруг стал молчалив и, в сущности, был рад, когда г-н Пфаундлер наконец откланялся.

В то время как шум его удалявшегося экипажа еще доносился сквозь ночную тишину, г-н Гессрейтер и Катарина продолжали сидеть вместе на террасе. Медленно попыхивая сигарой, Гессрейтер заметил, что таким, как Пфаундлер, хорошо: человек с головой упел в свою работу, и благодаря ему и вокруг него что-то делается. А что делает он, Гессрейтер? Раз в две недели заходит на фабрику, на которой и без него все идет как по маслу, и смотрит, как там производят ту же пошлятину, что и десятки лет назад. Его коллекцию мюнхенской старины тоже может продолжать кто угодно. Г-жа фон Радольная молча глядела на своего взволнованного друга, выразительно размахивавшего руками, на его традиционно-баварские выхоленные бачки. Затем, поднявшись, завела граммофон, поставила одну за другой две его любимые пластинки. Спросила его, не хочет ли он вина. Он, поблагодарив, отказался. Сигара была докурена, он досадливо пофыркивал носом. Г-жа фон Радольная подумала, что не следует людям слишком много времени проводить вместе. В ближайшие дни она уедет в Зальцбург. Оттуда близко до Берхтесгадена, до юго-восточного уголка Баварии, где сейчас живут ее друзья из придворных кругов. Да и с претендентом на престол она охотно повидается; ему — она знала это —

правились ее спокойная рассудительность, и она со своей стороны очень ценила его.

На следующий день, когда она спустилась к завтраку, оказалось, что г-н Гессрейтер уже выкупался в озере и уехал в город на заседание суда. Проезжая через Одеонсплац, он заметил, что у Галереи полководцев опять высятся леса. Он вспомнил, что читал о новых уродах, которых там предполагалось водрузить. Решил в ближайшем будущем выпустить ряд керамических фигур по моделям молодого, еще никому не известного скульптора, сулившим мало коммерческих выгод, но казавшимся ему художественно ценными. Особенно — группа «Бой быков», к которой господа из заводской администрации относились с пренебрежением, называя ее «дикой» и «сумасбродной».

16

А ЛЬ К О В Н Ы Е И З Ы С К А Н И Я

Свидетельница Иоганна Крайн родилась в Мюнхене. Возраст — двадцать четыре года. Баварская подданная, евангелического вероисповедания. Девица. Ее смуглое, бледное лицо, в то время как она давала показания, выдавало ее чувство. Она нисколько не старалась скрыть свое сильное волнение. Серые глаза под темными ресницами горели негодованием; широкий лоб был гневно нахмурен.

Крюгер глядел на нее с двойственным чувством. Разумеется, полезно, что в это призрачное средневековое судебное действо наконец вмешался разумный человек. Все же было неприятно сознавать, что по его вине эта девушка станет предметом дурацких пересудов всей страны. Даже и не признавая атавистических рыцарских предрассудков, все же приличнее было бы отказаться от такой жертвы. Он и пытался сделать это. Но сегодня, при ярком дневном свете, ему казалось, что он должен был сделать это решительнее.

Он давно не видел Иоганну. Когда она сейчас выступала, в кремовом, хорошо сидевшем на ней платье, она

показалась ему олицетворением здравого смысла, явившимся, чтобы вырвать его из лап тупого, мещанского фанатизма.

Подобное же чувство охватило многих из присутствовавших мужчин, когда эта гневная женщина выступила перед судьями. Полуоткрыв пухлые губы, с чуть глуповатым выражением на полном лице, широко раскрытыми, уже не затянутыми поволокой глазами глядел на нее элегантный г-н Гессрейтер. Так, так! Значит, вот эта самая Иоганна Крайн, которой он однажды отдавал для анализа образцы почерка Катаринны, была подругой Крюгера. В тот раз, когда он имел с ней дело по поводу этого анализа, она очень понравилась ему. Она нравилась ему и сейчас. Он вспомнил письма Гайдер, мысленно сравнил девицу Анну-Элизабет Гайдер с девицей Иоганной Крайн. Не мог понять Крюгера. Решил, что тот глуп, некультурен, антипатичен. Настойчивым, ясным взглядом из-за толстых стекол очков не отрываясь глядел на свидетельницу адвокат доктор Гейер, и тонкая кожа его лица то краснела, то бледнела. Видя ее такой взволнованной, он почувствовал неуверенность в результатах этого выступления, с другой же стороны, он возлагал надежды на впечатление, производимое на присяжных ее неподдельным гневом. На скамьях репортеров произошло движение. Сухой, торжествующий тон, которым доктор Гейер потребовал вызова этой свидетельницы, обещал интересный оборот в ходе процесса. Оставалось только по-журналистски максимально использовать ее показания. Рисовальщики работали с напряжением, стараясь возможно эффектнее запечатлеть недюжинное лицо, широкий лоб, короткий нос, полный рот, всю гневную позу женщины. Какой-то профессиональный скептик давал пояснения: эта стройная дама существует якобы своими графологическими анализами. Такие анализы у нее заказывают почти исключительно мужчины, и большой вопрос, оплачивают ли они при этом именно ее профессиональные знания.

Краине неприятно был задет неожиданным появлением свидетельницы прокурор. Вряд ли он сможет повлиять на эту женщину с ясным и гневным взором в та-

ком духе, как это нужно было баварскому правительству, вряд ли смогут произвести на нее впечатление его умно поставленные вопросы, вряд ли он склонит ее на свою сторону в вопросе виновности подсудимого. Повидимому, уже благодаря своей привлекательности она успела завоевать симпатии зала еще до того, как раскрыла рот. Кроме того, нельзя было отрицать, что защитник доктор Гейер сумел выбрать подходящий с психологической точки зрения момент.

Председательствующий ландесгерихтсдиректор Гартль впервые за все время процесса проявил некоторое беспокойство. Он несколько раз высморкался, что побудило присяжного Лехнера со своей стороны еще чаще вытаскивать свой пестрый платок. Председательствующий снял берет, вытер пот с лысины, чего он, не смотря на жару, еще ни разу не делал.

Неожиданное выступление свидетельницы внесло в до сих пор так гладко протекающий процесс известную шероховатость, открыло перед честолюбивым чиновником возможность показать свои способности в сложной обстановке: нужно было не чинить препятствий защите обвиняемого, не ставя в то же время под угрозу и обвинительный приговор.

Свидетельница Крайн показала следующее: обвиняемый, доктор Крюгер, был ее другом. «Что это значит?» На этот раз защита потребовала закрытия дверей. Но так как председатель в большой аудитории видел средство, могущее стеснить нежелательную свидетельницу, требование было отклонено. Иоганна Крайн должна была давать показания публично. — Желает ли она сказать, что состояла с обвиняемым в интимной связи? — Да. — Что же она знает о событиях той ночи, когда доктор Крюгер был на вечеринке в доме по Виденмайерштрассе? — В ту ночь доктор Крюгер приходил к ней. — Лица присяжных одним резким движением, словно притянутые, повернулись к свидетельнице. Даже на тупом лице почтальона Кортези отразилось напряженное внимание. Мягкий рот учителя гимназии Фейхтингера, окруженный волнистой черной бородкой, округлился весьма неприятным для прокурора удивлением. Обеспокоенный сенсацией, которую явно произво-

дили показания свидетельницы, прокурор спросил, помнит ли она точно время, когда Крюгер явился к ней. Прерывистое, громкое, напряженное дыхание сидящих в зале.— Да,— четко ответила Иоганна Крайн,— она помнит. Это было в два часа ночи.

В душном, переполненном людьми зале стало совсем тихо.— Каким образом,— несколько охрипшим голосом спросил прокурор,— она могла настолько точно запомнить час? — Со спокойной уверенностью, не чересчур сухо и не чересчур обстоятельно, свидетельница Крайн рассказала историю о предполагавшейся прогулке в горы. Как Мартин вначале не хотел ехать с ней, затем, видимо раскаяваясь, уехал с вечеринки, ночью явился и разбудил ее. Вполне естественно, что тут ее первый взгляд был брошен на часы. Она и Крюгер потом, разумеется, еще долго обсуждали вопрос о поездке: ведь если человека будят в два часа ночи, то нелегко затем подняться в половине пятого. Крюгер слушал внимательно, он сам готов был поверить тому, что она рассказывала.

Сейчас,— закончила свидетельница Крайн свои объяснения,— она очень жалеет, что не отправилась в тот день с Крюгером на вечеринку, тогда не было бы всего этого процесса.— Эти последние слова свидетельницы были — как «к делу не относящиеся» — прерваны строгим замечанием доктора Гартля.

Пока продолжался допрос свидетельницы Крайн, по требованию прокурора послали за шофером Ратценбергером, чтобы устроить ему очную ставку со свидетельницей. Допрос между тем продолжался все с той же остротой и настойчивостью. Прежде всего ее спросили, имели ли место и в ту ночь, с 23-го на 24-е, между ней и обвиняемым интимные отношения. Снова доктор Гейер потребовал закрытия дверей, и снова требование его было отклонено. Сильно побледнев, Иоганна, невольно перейдя на местный диалект, упрямо заявила, что — да, и в ту ночь она принадлежала Мартину. Каждое ее слово, малейшее ее движение были проникнуты силой и прямолинейностью. Она была исполнена неудержимой ярости против своих земляков. Учитель гимназии Фейхтингер испытывал буквально страх перед

несукротимым, решительным взглядом ее серых глаз. Живет ли она одна, — спросили ее дальше, — и как могло случиться, что обвиняемый пробрался к ней никем не замеченный. Она ответила, что живет вместе со своей теткой Франциской Аметсридер, пожилой дамой, которая обычно рано укладывается спать. Занимаемые Иоганной комнаты находятся в стороне. Крюгер, имевший ключ от дверей, мог удобно и никем не замеченный попадать к ней. Улыбка соскользнула с лица ветреного присяжного фон Дельмайера. Он сочувственно кивал головой. Прокурор тут же мысленно решил прощупать поведение этой милой тетушки и проверить, не содержит ли оно элементов сводничества.

Знала ли свидетельница Крайн, — допытывался дальше прокурор, — что доктор Крюгер состоял в близких отношениях и с другими женщинами? — Да, она об этом знала. Это были мимолетные связи, которые она прощала ему. — Это заявление произвело неблагоприятное впечатление. Прокурор счел нужным выразить удивление. — Но совершенно исключается, — продолжала Иоганна Крайн, — чтобы Крюгер прямо из спальни другой женщины явился к ней. — «Гм», — промычал прокурор. «Гм» и «н-ну», — промычали и другие. «Это совершенно исключается», — с силой и убеждением повторила Иоганна. Председатель предложил ей быть сдержаннее. Рисовальщик «Берлинер иллюстрирте цейтунг» сделал эффектный набросок: Иоганна в гнев поворачивает свое широкое красивое лицо к грубому лицу прокурора. Всегда, глядя на человека, она поворачивалась к нему всем лицом. — На какие средства она существует? — пожелал узнать прокурор. — У нее, — заявила Иоганна, — есть небольшое личное состояние; кроме того, кое-какой доход дают ей и ее графологические исследования. Она не понимает, впрочем, какое отношение к делу имеет этот вопрос. Председательствующий доктор Гартль в третий раз мягко, но решительно призвал ее к порядку.

Получала ли она деньги от доктора Крюгера? — с раздражающей медлительностью продолжал допрашивать прокурор. Тут Мартин Крюгер, с мрачным, замкнутым лицом прислушивавшийся к последним вопросам

прокурора, вышел из себя. Насторожились художники, но на этот раз только сотруднику «Лейпцигер иллюстрирте цейтунг» удалось запечатлеть выразительную позу Крюгера, в бешенстве взмахнувшего руками и уставившегося на прокурора своими выпуклыми серыми глазами из-под густых бровей. Прокурор с ироническим терпением выдержал этот яростный взгляд. Он не потребовал даже от председательствующего защиты. — Итак, — продолжал он невозмутимо, словно ничего не случилось, свой допрос, — итак, получала ли фрейлейн Крайн от обвиняемого подарки в виде денег или ценностей? — Да, — ответила свидетельница, — она несколько раз получала цветы, один раз корзинку со съестными продуктами, однажды — пару перчаток, получала и книги. — Придворный поставщик Дирмозер с интересом посмотрел на крепкую, детскую руку Иоганны. Во время приведения свидетельницы к присяге он с неодобрением отметил, что ей не пришлось снять перчаток, так как она пришла без них. Сейчас его отношение как к Иоганне, так и к Крюгеру утратило значительную долю своей враждебности. — Что касается денежной ценности этих подарков, — спокойно объяснил Крюгер, — то корзинка со съестными продуктами стоила, если он не ошибается, восемнадцать марок пятьдесят пфеннигов. Возможно, впрочем, что и двадцать две марки. Ввиду все продолжающегося падения денег он не может вспомнить это с точностью. — Председательствующий, сам слегка, хотя и принужденно, улыбаясь, выразил неодобрение по поводу неуместного оживления в зале. — Не выдвигалось ли когда-нибудь обвинение против Иоганны Крайн в шарлатанстве? — поинтересовался прокурор. — Нет, такого обвинения никогда не выдвигалось. — Защитник предложил предъявить отзывы экспертов, признававших графологические анализы свидетельницы научно ценными. Суд не пожелал ознакомиться с этими отзывами, считая это несущественным. В глубине души доктор Гартль злился на прокурора, который, по-видимому, от неожиданности утратил всякую способность логически рассуждать и перешел к грубой тактике. Свидетельница явно привлекала на свою сторону даже тех, кого вначале неодобрительно настроила ее чрезмерная

смелость, и сейчас пользовалась всеобщей симпатией. К тому же она, все более волнуясь, говорила с резким местным, баварским выговором. Ее слова, вся ее манера держаться были таковы, что никому не могло прийти в голову заподозрить в ней приезжую, «чужачку».

Посвящал ли ее обвиняемый в подробности своих отношений с другими женщинами? — продолжал прокурор, оставаясь на явно ложном пути. — Нет, никогда она не спрашивала его, и никогда они на эту тему не говорили. Она знала об этих отношениях только в самых общих чертах. — Не может ли она, — продолжал прокурор, — сообщить что-нибудь в связи с письмами покойной девицы Гайдер; в частности, не осведомлена ли она об эротических привычках доктора Крюгера? — При этом вопросе по аудитории пронесся шепот неодобрения. Легкомысленный присяжный Дельмайер разразился неприятным козлиным смешком, вызвавшим взгляд непримиримой ненависти со стороны доктора Гейера, после чего бледный молодой человек испуганно умолк, резко оборвав смех.

Но тут, тяжело дыша и широко взмахнув рукой, поднялся присяжный Гессрейтер. Эта смелая баварская девушка радовала его сердце. «Когда смелость в груди нарастает волной», — вспомнил он известные когда-то стихи баварского короля Людвига I, не зная хорошенько, отнести ли эти стихи к себе или к этой девушке. Он находил обращение с ней недостойным. Выпрямившись, он непривычно решительным тоном сказал, что считает себя вправе от лица всех присяжных заявить, что последний вопрос прокурора является совершенно излишним. Присяжный Каэтан Лехнер, антиквар, медленно, но решительно закивал головой, выражая свое согласие. Он с самого начала не одобрял обращения со свидетельницей Крайн. Так поступать не полагалось. Он вспомнил свою покойную жену Розу, в девичестве носившую фамилию Гюбер и служившую кассиршей. Он придерживался того принципиального мнения, что с женщиной нельзя обходиться так грубо, как обходится здесь прокурор. Он подумал и о своей дочери Анни, негоднице, о которой нельзя было знать,

не попадет ли и она когда-нибудь в такое же положение, как эта Иоганна Крайн. С особым чувством он подумал о своем сыне Бени, которого люди когда-то посадили за решетку. Баварская юстиция сейчас не вызывала особого одобрения Каэтана Лехнера. Председатель тоном вежливого порицания заявил, что дело суда высказываться о допустимости того или иного вопроса. Свидетельница Крайн заметила, что вопрос ей непонятен. Прокурор ответил, что этого с него достаточно.

При очной ставке между шофером и Иоганной Крайн Франц-Ксавер Ратценбергер держался чрезвычайно уверенно. Снова был поставлен вопрос о том, нет ли ошибки в числе месяца или в часе. Нет, никакой ошибки здесь быть не могло. Шофер в два часа ночи с 23 на 24 февраля подвез доктора Крюгера к дому номер девяносто четыре по Катариненштрассе, и доктор Крюгер вместе с девицей Анной-Элизабет Гайдер вошел в дом. Да, но ведь Крюгер в два часа ночи пахотился в постели свидетельницы Крайн на Штейнсдорфштрассе? Во время очной ставки шофер вдруг переменял тон, стал простовато-добродушен. Барышня, должно быть, просто ошибается. Женская память такая уж непрочная штука! Он производил довольно благоприятное впечатление. Но упорство и неподдельный гнев Иоганны Крайн также оказывали сильное влияние на настроение присяжных и публики. Председательствующий, честолюбивый чиновник доктор Гартль, не без смущения закрыл судебное заседание, впервые ощущая некоторые опасения за благоприятный исход процесса.

17

ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ

Госпожа Франциска Амetsридер о показаниях Иоганны Крайн узнала из газет. Теперь только стало ей понятно, почему непрерывно звонит телефон и почему появляются все новые посетители, из которых, разу-

местся, далеко не все приходят за графологическими исследованиями.

Госпожа Амётсридер выпроваживала посетителей и в конце концов выключила телефон и звонок. Она отправилась к разумной племяннице, готовая к бою, неся на коротких крепких ногах, как боевое оружие, свое полное упругое тело, увенчанное огромной мужской головой и короткими, чуть поседевшими волосами. Ясные светлые глаза ее воинственно поблескивали. Она предполагала, что Иоганна ее не примет.

Но Иоганна впустила ее. Выжидательно, даже учтиво, глядела она на свою воинственную круглую тетку. Не распространяясь о моральной стороне дела, та постаралась резонно доказать, что, во-первых, показания Иоганны едва ли изменят что-нибудь в судьбе Мартина Крюгера и что, во-вторых, Иоганна, принимая во внимание господствующие в Мюнхене настроения, раз навсегда разрушила материальные основы своего существования. Иоганна, не пускаясь в обсуждение многочисленных аргументов тетки, коротко спросила, что же, по ее мнению, следует предпринять при создавшемся положении. И тут, как нередко бывало, выяснилось, что хотя у тетки и существовало твердое и непоколебимое мнение о случившемся, но, кроме весьма смутных и неопределенных планов на будущее, ничего в запасе не было. В конце концов Иоганна заметила, что если тетку стесняет ее пребывание в квартире, то пусть она просто скажет, когда ей съехать. Не подготовленная к такому обороту и с трудом сохраняя свой решительный тон, тетка ответила, что хоть слово-то сказать по поводу происходящего человек имеет право! Иоганна, с потемневшими от гнева глазами, неожиданно громко, с резким местным акцентом заявила, что теперь она хочет, чтобы ее наконец оставили в покое и пусть тетя поскорее убирается. Тетка ответила, что пришлет ей чай и бутерброды, и удалилась малоудовлетворенная.

Уходя, она оставила на столе пачку писем и газет. Иоганну осыпали самыми грубыми ругательствами. Многие писали, что ее выступление ни в какой мере не доказывает невинности доктора Крюгера. Почему бы

такому «чужаку», как он, и не перейти на протяжении нескольких минут от одной легко доступной особы к другой? Она увидела в газетах свое изображение в самых разнообразных позах. Все они, за исключением только одной, были столь неестественны, что она задала себе вопрос, неужели она и в самом деле держала себя так театрально? Некоторые газеты защищали ее, но делали это в обидно-благожелательном тоне людей, которые «все готовы понять». Большинство из них потешалось над ее занятиями графологией, кое-где в осторожной форме даже высказывалось предположение, что графология в данном случае служила лишь удобным средством для «ловли мужчин». Остальные, правда, брали под защиту ее деятельность, но при этом они пользовались таким высокомерно-покровительственным стилем, что их дружелюбные замечания были еще несноснее, чем враждебные выпады. Во многих письмах ей обещали «показать». Эти письма были полны гнусных, иногда весьма красочных уличных ругательств, частью даже неизвестных Иоганне, хотя ей и приходилось иметь дело с обитателями заречных предместий.

Новый порыв бешенства охватил ее. Резким движением смела она со стола пачку печатной и исписанной бумаги и стала топтать ногами эту кучу составленной из букв грязи. Что-нибудь сделать! Ударить! Дать по физиономии одному из этих негодяев! Но припадок длился недолго. Она замерла в странно судорожной позе, закусив верхнюю губу, напряженно думая. Необходимо сохранить присутствие духа. После того как Мартин Крюгер так глупо попался в руки ее скотски ограниченным землякам, чертовски трудно будет вырвать его из их лап.

Она постаралась стряхнуть свое оцепенение, села, машинально сунула руку в кучу лежавших перед ней писем. Почерк на одном из конвертов смутил ее. Это было письмо от Мартина Крюгера.

Она не зашла к Крюгеру после заседания суда. У него есть склонность к театральным сценам, которой она не разделяет. Он, наверно, произнес бы что-нибудь патетическое. И вот он написал ей. Она досадливо гля-

дит на конверт. Писать было не о чем. Три бороздки прорезают ее лоб. Сердито дыша, она вскрывает конверт.

Он не хочет этого, — писал Мартин Крюгер. — Рыцарские жесты, как ей известно, ему чужды. Но он не желает, чтобы именно сейчас, когда он явно и надолго попал в тяжелую полосу, другой связывал с ним свою судьбу. Он просит ее предоставить его самому себе и баварской юстиции. Он возвращает ей свободу.

Иоганна закусывает верхнюю губу. Только этого не хватало. Возвращает свободу! Она не выносит такой глупой болтовни. Безвкусные фразы из «семейного журнала». Он изрядно опустил за время своего предварительного заключения.

Она держит в руках письмо. Внезапно, поддаваясь внутреннему порыву, вставляет его в аппарат, которым обычно пользуется при своих исследованиях. Начинает разбирать почерк согласно остроумным, холодным методам, которым ее учили. Она играет, таким образом, с собой и Марином Крюгером: эти методы ведь лишь средство привести себя в то состояние опьянения, в котором она только и делается способной ярко истолковывать почерк. Иногда она часами неотрывно глядит на маленький пюпитр, но в ней не рождается «понимания». Иногда почерк вообще отказывается излучать правду, и ей приходится возвращать образец, не выполнив взятой на себя задачи. Иногда, напротив, образчик почерка действует на нее так сильно, что ей приходится между ним и собой, словно защитную стену, воздвигать свои трезвые, аккуратные методы. Ей душно, она жаждет ясности, но откровение почти всегда сопряжено для нее с мукой. Какое-то странное, запретное ощущение, какая-то смесь стыда и наслаждения овладевает ею, когда личность другого начинает выделяться из почерка, принимать форму, сливаться с ней. Вначале, когда она занималась этими исследованиями в виде спорта, чтобы позабавить веселую компанию, ей доставляло удовольствие глядеть в задумчивые, растерянные лица. Позднее ей стоило усилий заставить себя превращать в деньги эту странную и жуткую способность. Сейчас в ней все притупилось. Она к своим

исследованиям относится серьезно. Никогда не говорит того, в чем не убеждена вполне. Но нередко умалчивает о многом, что замечает. Часто также ей не хватает слов или она уклоняется от нежелательных открытий.

Иоганна сидит в затемненной комнате, напряженным взором уставившись в аппарат. Почти пластично выступают ей навстречу черты почерка Мартина. Еще немного, скоро, вот сейчас, с нарастающей четкостью проявляемой фотопленки встанет перед ней образ писавшего. Она уже чувствует эту напряженную одухотворенность, легкость во всем теле, сухость во рту, обострение всех чувств — все те признаки, которыми дает о себе знать близость понимания. Но она стремительно встает. Раздвинуть занавеси! Впустить свет! Она тупит лампочку в аппарате, открывает окно, дышит. Человек в беде, человек в тюремной камере. Человек, с которым она была в горах, на море. Человек, подмигивавший ей во время речи бургомистра в том провинциальном городке. Человек, который лежал с ней в постели, который шептал ей ребяческие и яркие, глупые, добрые, мудрые слова.

Она вынимает письмо из аппарата. Мартин Крюгер — может быть, дурной человек, а может быть, и хороший. Во всяком случае он ее друг. Она не хочет шпионить за ним. Она отлично отдает себе отчет в том, почему впуталась в эту историю. Она не хочет оправдываться перед самой собой с помощью умных доводов. Не может быть, чтобы она не справилась с этими глупыми идиотами! Медленно, тщательно разрывает Иоганна на мелкие клочки глупое письмо Мартина Крюгера, своего друга.

Она снова видит кипу газет и писем. Хочет сохранить благоразумие, но не может остановить новый приступ бешенства. Еще шире растягивается ее и без того широкое лицо. Если ее земляки упрямы, как быки, то она вдвое упрямее. Если бы сейчас адвокат доктор Гейер увидел ее, сидящую с опущенной головой, с упорным, гневным взглядом, он не решился бы сказать, кто из этих двух баварцев одержит верх — министр юстиции или эта высокая девушка.

ПРОШЕНИЯ О ПОМИЛОВАНИИ

Перед министром юстиции Отто Кленком лежали два прошения о помиловании, вызывавшие интерес широких общественных кругов.

На одной из главных линий баварской железнодорожной сети сошел с рельсов курьерский поезд. При этом были убиты девятнадцать и ранен тридцать один человек. Причины крушения с точностью установить не удалось. Кое-кто усматривал причину в отсутствии предохранительных мероприятий; утверждали, что верхний настил пути был непригоден для новых, тяжелых паровозов. Ввиду того что в это время между центральным Управлением общегерманских железных дорог и Правлением баварского железнодорожного округа произошел ряд недоразумений, этот случай был крайне неудобен для баварских партикуляристов. Разрешение вопроса, было ли тут преступление или нет, имело, кроме того, значение и с точки зрения гражданской ответственности дороги. Если имело место преступление, дорога не несла материальной ответственности, в противном случае раненые и члены семейств убитых получили право на возмещение убытков. Железнодорожная администрация упорно отрицала свою вину и утверждала, что причиной несчастья является преступное покушение, на что, мол, указывает характер расхождения рельсов и тому подобные моменты.

Таково было положение вещей, когда баварской жандармерии удалось задержать подозрительного субъекта, который, как было доказано, в соответствующее время болтался близ места крушения. Этот человек, двадцати девяти лет от роду, по имени Прокоп Водичка, чех по национальности, у себя на родине уже неоднократно подвергался взысканиям за нарушение общественной тишины и порядка. В течение последних нескольких недель он бродил по Баварии, питаясь картофелем и другими плодами земли, иногда зарабатывая в придорожных кабачках несколько пфеннигов музыкой и пляской, ибо этот неуклюжий парень с бледным, пот-

ным лицом был страстным танцором и музыкантом, которого охотно слушали шоферы и кельнерши в кабаках. Случилось как-то ему отпустить несколько сочных большевистских шуточек: он-де покажет «большоголовым», устроит такое, о чем заговорят все кругом и о чем они прочтут в газетах. Твердо установлено было, во всяком случае, что его еще за час до несчастья видели вблизи места крушения. Кроме того, у него оказались подозрительные инструменты, вполне пригодные для того, чтобы расшатать шпалы и рельсы, что и могло привести к крушению. Подозрительно было и то, что после несчастья он поспешно удалился от места происшествия.

Баварский суд, перед которым ему пришлось предстать, счел, во всяком случае, его вину доказанной и приговорил его к десяти годам тюремного заключения. Баварская железнодорожная администрация была оправдана в глазах придирчивых северогерманских критиков, ее касса была освобождена от неприятных обязательств.

Но чешский бродяга нашел себе горячего защитника из круга, конечно, все того же доктора Гейера — некоего адвоката Левенмауля. В виновности Водички адвоката заставили усомниться, — как он объяснил суду, а затем и на столбцах оппозиционной печати, — прежде всего соображения психологического характера. Вначале, указывал адвокат, толстяк Водичка предположил, что его арестовали за какие-то другие преступления. Когда же ему предъявили обвинение в том, что он преднамеренно вызвал крушение, он сперва совершенно оторопел, а затем бурно, от души расхохотался, словно над остроумной шуткой. На фанатика, приносящего себя в жертву во имя идеи, он был мало похож, — а какой выгоды он мог ожидать от такого поступка? Защищаясь, он оперировал именно такими здравыми доводами. Ему было совершенно непонятно, как могли его заподозрить; то, что он в злополучное время шатался вблизи места происшествия, было, по его словам, чистой случайностью. Грозиться он действительно грозился, но разве это не было естественно в его положении? Его мясистое неглупое лицо казалось злым, но в то же время носило отпечаток лени и отнюдь не походило на

лицо человека, совершающего преступление просто из принципа. Он старался все это объяснить, бодро и не смущаясь, уверенный, что все его такие ясные аргументы должны послужить к его оправданию. Когда же он совершенно случайно узнал из газеты, насколько администрация заинтересована в том, чтобы причиной несчастия оказалось преступление, а не халатность железнодорожных властей, он вдруг с фанатизмом, произведшим на адвоката Левенмауля потрясающее впечатление, бросил всякие попытки защищаться. Если целая страна с шестимиллионным населением, — объяснил он адвокату, — заинтересована в том, чтобы заклеить его как преступника, то он не так глуп, чтобы одному вступать в борьбу с этими шестью миллионами. С этого момента он довольствовался тем, что с известным лениво-ядовитым остроумием глумился над баварской юстицией. Но именно это поведение обвиняемого и подкрепило убеждение адвоката в том, что бродяга Водичка непричастен к железнодорожной катастрофе.

Потерпев неудачу на суде, адвокат умно и настойчиво, не впадая, однако, в вызывающий тон, продолжал в печати борьбу за своего подзащитного. И вот теперь наконец перед доктором Кленком лежало тщательно обоснованное адвокатом Левенмаулем прошение о помиловании заключенного Прокопа Водички. Кленк был человеком, с которым можно было сговориться: вспыльчивый, но тупо-упорный лишь в тех случаях, когда задевались его личные интересы или интересы его родной Баварии. Последние в данном случае были достаточно ограждены фактом юридически обоснованного осуждения Прокопа Водички, особенно благодаря тому, что Водичка категорически воспротивился подаче кассационной жалобы Левенмаулем. Но дело в том, что адвокат учитывал характер министра, которому должен был импонировать этот наглый и неглупый субъект, и, подавая прошение о помиловании, весьма рассчитывал на успех.

Вопрос престижа в этом деле мало трогал доктора Кленка. Оппозиционная пресса в случае помилования, разумеется, начнет разглагольствовать о том, что, очевидно, особой уверенности в виновности Водички не

было и вопрос о крушении был и остался невыясненным. Но это все чушь, пустая болтовня. Это дело умерло; с ним благодаря законному приговору раз и навсегда покончено. Этот Водичка как таковой был ему совершенно безразличен. Единственным ощутимым последствием помилования было бы, как пометил на прошении поддерживавший его старейший и опытный референт, лишь то, что забота о бродяге Водичке с плеч Баварии перешла бы к Чехословакии, куда помилованного можно было бы выслать.

Пробегая эти строки, министр Кленк внезапно уклонился мыслями в сторону, увидел перед собой скрытые толстыми стеклами очков проницательные голубые глаза адвоката доктора Гейера, как будто бы не имевшего ни малейшего отношения к этому делу, его узкие нервные руки. Ловко подстроил эта собака Гейер штуку с выступлением свидетельницы Крайн, приурочив его к концу процесса! Этот хитрый ход понравился Кленку, особенно потому, что все же не подрывал уверенности в исходе процесса.

Сделав над собою усилие, министр снова запылся лежавшей перед ним бумагой. «Единственным ощутимым последствием помилования было бы...» Удивительно противный субъект этот Гейер! «Если принять во внимание, что все же имеются лишь косвенные улики...» Флаухер на его месте, наверно, отклонил бы прошение... С Левенмаулем можно ладить... Гейер, если прочтет о помиловании, скривит морду...

Крупными буквами, наискось через последнюю отпечатанную на машинке страницу прошения, красным карандашом Кленк медленно начертил: «Отклонить. К.»

Теперь Гейеру не придется кривить морду!

Зазвонил телефон. Какие-то второстепенные вопросы. Бросая в трубку ничего не значащие краткие ответы, министр вызывает в памяти лицо Прокопа Водички. Бледная толстая рожа с маленькими хитрыми глазками. Пожалуй, рожа даже довольно симпатичная. Итак, он будет и дальше сидеть в тюрьме, плести соломенные матрацы, маленькими хитрыми глазками шнырять по углам. Но он благоразумно будет выжидать свой срок, он не так глуп, чтобы пытаться бежать.

Голос в телефоне умолк. Министр кладет трубку. А право же, заключенный Водичка не так уж несимпатичен. Если поставить его рядом с этим тонкокожим, мигающим, глубоко омерзительным Гейером, он начинает казаться даже просто симпатичным. Толстым красным карандашом перечеркивает министр Кленк пометку «отклонить», замазывает ее совершенно. Твердо и четко он пишет еще более крупными буквами: «Удовлетворить. К.».

Второе прошение было подано кочегаром Антоном Горнауэром. Этот кочегар работал на «Капудинербрауэрей», одном из самых больших пивоваренных заводов, создавших мировую известность городу Мюнхену. В будни он работал восемь часов, в воскресенье — двенадцать. Он топил свой котел, следил за уровнем воды, за давлением пара, подбрасывал уголь. Стоял на своем посту. Восемь часов в будни, двенадцать часов в воскресенье. Дважды в день он поворачивал рычаг. Тогда горячий пар, температурой в сто тридцать градусов, направлялся в трубу, оттуда в люк, унося с собой по пути все, что могло засорить котел. Это был обычный способ очистки котла.

Однажды в воскресенье, когда кочегар, как обычно, повернул рычаг, он услышал дуплераздирающий крик. В котельную вбежали люди. «Заккрыть! Заккрыть!» Кочегар Горнауэр закрыл пар и выбежал во двор. Из люка вытащили рабочего. Несчастному, как оказалось, было велено вычистить люк. Когда он спустился на несколько ступеней вниз, его захлестнула волна горячего пара. Он умер на глазах кочегара, оставив после себя жену и четверых ребят.

На суде эксперты спорили об ответственности кочегара. Соответствовало ли оборудование всем обязательным постановлениям? Был ли кочегар юридически обязан справляться о том, работают ли в данное время в люке? Знал ли он, куда направляется выпускаемый им пар? Обязан ли был знать это? Завод «Капудинербрауэрей», на котором произошло несчастье, пользовался мировой известностью. Он экспортировал пиво во все концы света. Безукоризненная постановка его производства и соблюдение мер охраны труда были делом

чести не только его администрации, но и всей баварской промышленности. Страна была удовлетворена, когда суд установил, что вина падала на отдельного рабочего, а не на старинное, пользующееся общим уважением и приносящее тридцать девять процентов дивиденда предприятие. Дирекция, кроме того, по собственному почину, помимо положенного пособия, обязалась выплачивать семье сварившегося заживо рабочего двадцать три марки восемьдесят пфеннигов ежемесячно. Виновный кочегар Горнауэр был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Он принял это решение с тупой и мертвой покорностью ничего не понимающего человека. Ведь он много лет служил на этом заводе, много лет сряду ежедневно два раза поворачивал рычаг. У него была болезненная жена и двое худосочных ребят. И вот на столе лежало прошение о помиловании.

Директор и некоторые из крупных акционеров этого пивоваренного завода бывали в аристократическом «Мужском клубе», в котором иногда проводил вечера и Кленк. Дело носило гораздо более личный характер, чем дело Прокопа Водички. Если не виновен был кочегар Горнауэр, то были, значит, виновны тайные советники Беттингер и Динггардер, почтенные, солидные представители крупной буржуазии. Зато виновным оказался бы и Рейндль, которому Кленк охотно доставил бы такое удовольствие. Рейндль, правда, числился всего только членом наблюдательного совета «Капуцинербрауэрей», но фактически — и это знали все — был там полновластным хозяином. Заманчиво было снять с плеч действительно достойного сожаления человека несколько месяцев тюрьмы, особенно если при этом оказывалась возможность утереть нос Рейндлю, но, с другой стороны, ведь речь шла об исстари заслуженном предприятии, о значительнейшей отрасли баварской промышленности, об интересах всей Баварии. Кленк не мог позволить себе это маленькое удовольствие.

Мысли министра юстиции в ту минуту, когда он почти машинально крупными буквами выводил: «Отклонить. К.», витали уже далеко, витали вокруг предстоявшего ему в тот же вечер выступления по радио. Он любил себя слушать. Его низкий благодушный голос

производил хорошее впечатление. Тема его доклада — «Идеалы современного правосудия». Он надумал теперь, к концу процесса Крюгера и примерно после года своего пребывания в правительстве, обрисовать идеалы настоящей национальной юстиции, противопоставив их ложно понятым идеалам строго регламентированного, лишенного гибкости, не признающего исключений римского права.

ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ И ГОЛОС В ЭФИРЕ

Защитительную речь нужно строить так, чтобы она подействовала на чувства присяжных. В Верхнебаварской области бессмысленно апеллировать к разуму судей. Расчет надо строить скорее на их эмоциональных восприятиях. Адвокату доктору Гейеру легче было бы развить строго логический ход мыслей, с математической точностью доказать, как слабы были аргументы обвинения и сильны аргументы в пользу подсудимого. Но он вызвал в памяти лица присяжных: Фейхтингера, Кортези, Лехнера — и твердо решил владеть своими нервами, не проявлять своего отвращения к существующей системе. Надо говорить общими местами, способными задеть их за живое. Если депутат Гейер и еще больше Гейер-человек ощущал потребность громко кричать о чувствах стыда, отвращения и гнева, вызываемых в нем состоянием баварской юстиции, то Гейер-адвокат обязан был стремиться только к одному — к спасению своего подзащитного, и только. Благообразие требовало во имя этого скрывать свое возмущение, создать контакт с сидящими на скамье присяжных.

Он не напрягал своих мыслей. Сейчас он мог позволить себе эту роскошь. Ясный план защитительной речи был уже составлен. Рабочий кабинет, несмотря на все старания экономки Агнесы, уже снова имел неуютный и неприбранный вид. Всюду были разбросаны книги, бумаги. Ботинки он снял здесь, а не в спальне, и они, облепленные грязью, красовались посреди комнаты. Скинутый им сюртук был брошен на спинку стула. На столе, под бумагами, лежала плитка

шоколада, на радиаторе стояла недопитая чашка остывшего чая. Пепел от папирос валялся повсюду.

Гейер лег на диван. Заложив подвижные, нервные руки за голову, он уставился в потолок. Зачем он принял на себя защиту Крюгера? Стоило ли защищать отдельное лицо? Разве не было у него более важного дела? Кто же такой этот Крюгер, что ради него он не щадит себя, опустошает свою душу, стараясь комедиантскими способами воздействовать на идиотов-присяжных? Гейер еще сильнее замигал, машинально зажег папиросу и несколько раз затынулся, лежа на спине.

Что ему вообще надо в этом удивительно тупоумном городе? Ведь этот народ сам *любуется* своей омерзительной нелогичностью, блаженствует в студенистом хаосе своих представлений. Бог одарил их бесчувственным сердцем — большим, впрочем, плюсом на нашей планете. Он видел комика Бальтазара Гирля, мрачного шута, который с меланхолической псевдологикой упрямо копается в каких-то проблемах для дураков. На вопрос, например, почему он носит очки без стекол, Гирль отвечает, что это все же лучше, чем ничего. Ему объясняют, что усилению зрения способствует не оправа, а стекла. «И чему же тогда носят оправу?» — спрашивает Гирль. «Чтобы держались стекла», — отвечают ему. «Ну вот, — отвечает он, вполне удовлетворенный, — я ведь так и говорил, что это лучше, чем ничего». Он очень популярный комик, его слава распространяется далеко за пределы города. Ему, Гейеру, он противен. Но весь здешний народ именно таков, как этот человек с очками без стекол. Его удовлетворяет пустая оправа юстиции, даже если она болезненно врезается в тело. Внутреннего содержания ему не нужно. И для этого народа он, Гейер, лезет из кожи. Чего ради? К чему старается он очистить грязную машину судопроизводства, когда те, кого она давит, прекрасно чувствуют себя в своем навозе? Ему свойственна выходящая далеко за пределы логики и разума ненормальная, фанатическая потребность чистоты в вопросах права, потребность полной ясности. Отдавая себе отчет в неудовлетворительности всего аппарата, он желает хотя бы того, чтобы этот аппарат функционировал с механической точностью. За-

чем? Никто не скажет ему за это слова благодарности. Он похож на хозяйку, стремящуюся во что бы то ни стало навести чистоту в доме, где жильцы чувствуют себя уютно только в грязи и затхлой атмосфере. Он похож на свою экономку Агнесу. Эти люди чувствуют себя гораздо лучше при «национальной юстиции» своего Кленка.

Вот он лежит на диване, смертельно измученный напряжением, с которым приходится сдерживать свои ежеминутно готовые выйти из повиновения нервы. Разве не благоразумнее было бы в тиши и покое закончить «Историю беззаконий в Баварии»? О своей книге «Право, политика, история» он уже не смеет и думать.

Он лежит на спине. Папироса потухла. Глаза закрыты, но он так устал, что у него нет сил снять очки. Он дышит тяжело. Тонкая кожа лица, несмотря на лихорадочный румянец, кажется дряблой под покрывающим ее редким пушком. Он плохо выбрит.

Он лежит так некоторое время, стараясь ни о чем не думать, но четко работающая память вытягивает на поверхность все новые и новые вопросы и образы: какие-то стихи о справедливом суде из старинной индийской пьесы, остроты популярного комика, рассуждения Мартина Крюгера в одной из его работ о связи фламандского искусства с испанским, лица присяжных на его процессе. А среди них и лицо присяжного фон Дельмайера. Легкомысленное, бледное, заостренное книзу лицо страхового агента фон Дельмайера снова, заслоняя все остальное, витает в мозгу усталого человека, лежащего на диване. Лицо напоминает крысину мордочку: такое острое, с мелкими глупыми зубками. Да и визгливый пошлый смех этого человека имеет что-то общее с крысиным писком. Весь этот человек — грызущая, заразная крыса. А за ним, из-за его плеча выглядывает другое, еще более бледное лицо. Адвокат дышит так, что его вздохи звучат словно подавленное рычание или болезненный стон. Резким усилием он заставляет себя встать. Нет, так он не отдохнет. Он потягивается, зевает, пустым взглядом окидывает кабинет. Еще не поздно. Он мог бы, пожалуй, еще глубже продумать кое-какие места своей защититель-

ной речи. Но благоразумнее быть завтра свежим и сейчас, хотя время и непривычно раннее, лечь спать. Почти машинально надевает он наушники радиоприемника: ему хочется унести с собой хоть несколько тактов музыки. Но лицо его вдруг напрягается, взгляд становится острым, злым, взвешивающим. Он слышит низкий, жизнерадостный, насмешливый голос министра Кленка. «Абсолютного человеку достичь не дано. Нашим идеалом должно быть — перестроить нормы, оживающие только при соприкосновении с человеком, пронизать их национальным духом».

Адвокат и депутат ландтага доктор Зигберт Гейер медленно снимает наушники, необычно бережно выключает приемник. Его лоб покрыт пятнами. Он стирает рукой со лба пот, уже не кажется больше утомленным. Он вытаскивает из-под груды бумаг рукопись, на синей обложке которой виднеется надпись: «История беззаконий». Эта рукопись всюду следует за ним: из канцелярии в квартиру, из квартиры снова в канцелярию. Гейер перелистывает страницы, весь напрягается, что-то зачеркивает, пишет. Экономка Агнеса своими широкими, крадущимися шагами пробирается в комнату, нервным, скрипучим голосом твердит о том, что он снова не ужинал, что завтра у него трудный день, что так дальше продолжаться не может и что пусть он наконец поест. Он поднимает глаза, не видя смотрит куда-то мимо нее. Агнеса начинает кричать. Он не прерывает ее. В конце концов она удаляется. Проходит два часа. Он все еще сидит и пишет.

На следующий день, произнося свою защитительную речь, адвокат безукоризненно владел собой. Его руки не дергались, лицо не было дряблым, щеки не вспыхивали внезапным румянцем. Его резкий голос звучал не совсем приятно, но он держал себя в руках и говорил не чересчур быстро. Он видел перед собой лица людей, следивших за движением его губ. Упорнее всего он останавливал свой пронизывающий взгляд на лице антиквара Лехнера, и по тому, как часто пользовался Лехнер своим пестрым носовым платком, адвокат судил о правильности взятого им курса. Все эффекты попадали прямо в цель.

Правда, такой знаток, как адвокат Левенмауль, заметил, что доктор Гейер дважды отклонился от своей основной линии. Однажды он без надобности заговорил о бесчисленных соблазнах современной эпохи, об отрицании ею всякой дисциплины, о ее легкомысленной опустошающей, в сущности лишенной темперамента, погоне за наслаждениями. С трудом перешел он затем к излишнему и даже вредному утверждению, что и Мартин Крюгер был заражен этой жаждой наслаждений, но что у него она в значительной мере претворялась в искусство. Но не заметил адвокат Левенмауль того, что во время этого обличительного отступления взгляд доктора Гейера, соскользнув с лица антиквара Каэтана Лехнера, впился в бледное, угреватое лицо страхового агента фон Дельмайера, который, однако, не отвел при этом скучающего, насмешливо-наглого взгляда от быстро двигавшихся губ адвоката. Позднее Левенмауль заметил, что его коллега начал распрострапяться по общим вопросам, которые первоначально, несомненно, не входили в намеченный план речи, увлекся рассуждениями об этике в области права, очень, правда, темпераментными, но более подходящими для парламента, чем для присяжных заседателей. А случилось это именно тогда, когда в зале неожиданно появился министр юстиции.

Оба раза доктор Гейер быстро овладел собой. Даже враждебно настроенные газеты принуждены были признать, что произнесение известным адвокатом защитительной речи представляло собою эффектное судебное зрелище.

20

НЕСКОЛЬКО ХУЛИГАНОВ И ОДИН ДЖЕНТЛЬМЕН

На другой день после вынесения Крюгеру обвинительного приговора Иоганна Крайн, направляясь к доктору Гейеру, проходила по бульвару вдоль берега Изара. Короткое, по моде того времени, бледно-зеленое платье открывало ее ноги, крепкие, несколько полные

с точки зрения царившего в те годы вкуса. Она не торопилась, шла медленно. Песок поскрипывал под ее низкими каблуками. Веял свежий ветер; лаская взгляд, раскинулся город в веселом, ярком свете возвышенности. Иоганна любила этот город. Она наслаждалась дорогой и не без удивления отметила, что уже не ощущает гнева. Она шла бодро, вдыхая аромат раннего лета, окруженная молодой зеленью. Внизу быстро и мощно катились воды реки. Иоганна чувствовала себя спокойной, готовой к борьбе.

Из-за поворота дорожки показались четверо громко болтавших между собою молодых людей. Один из них был в спортивной куртке из серовато-зеленой материи. Они пристально оглядели высокую девушку. Один из них помахал тонкой тросточкой. Потом они обогнали ее, несколько раз оглянувшись, громко, с подчеркнутой развязностью засмеялись, с шумом уселись на скамейке. Иоганна Крайн на мгновение подумала, не повернуть ли назад или не свернуть ли на боковую дорожку. Но тут же заметила, что те четверо усталились за нее, явно выжидая, что она предпримет. Иоганна пошла прямо, мимо них, не ускоряя шага. «Конечно, это она!» — сказал один из них, в спортивной куртке. Тот, другой, с тросточкой, глядя на нее, громко присвистнул... Как только Иоганна прошла мимо, молодые люди поднялись, последовали за ней. Двое маленьких детей шли ей навстречу. Больше никого не было видно кругом. Она шла все так же медленно. Ее широкий лоб прорезали три гневные бороздки. Надо идти еще минуты три, затем эту дорожку должна пересечь другая, да, кроме того, вероятно, и эта дорожка не будет все три минуты такой безлюдной. Компания за ее спиной делает свои циничные замечания так громко, что она не может не слышать их. Они явно выжидают с ее стороны какого-нибудь ответа, и тогда скандал неизбежен. Но она будет благоразумной, не будет реагировать. Стоит показаться кому-нибудь на дороге, как она все равно избавится от этих мерзавцев. Вон там впереди уже виднеется кто-то. Кажется, прилично одетый человек. Она смотрит прямо вперед, на узкий, перекинутый через реку мост, и на целену тумана далеко за ним.

Фигура приближающегося человека становится отчетливей. Четверо молодых парней идут за ней вплотную, почти наступая ей на пятки. Их грубые, циничные голоса звучат у нее в ушах. По-видимому, они выпили. Идущий навстречу человек, должно быть заметив что-то неладное, ускоряет шаг.

— Барышня, вы что ж это сегодня так рано утром уже в поисках кавалера на ночь? Что, если б вам выбрать одного из нас? Мы тоже не хуже других выполним свою работу. Хоть взглянули бы на нас! Или, может быть, нужно представить вам удостоверение, что хоть раз лжесвидетельствовал?

Она продолжает идти все так же медленно. Но вот, когда идущий навстречу человек уже совсем близко, она все-таки ускоряет шаг, даже бежит ему навстречу так, что колышется ее юбка. Это худощавый человек, в хорошо спитом сером костюме, с резко очерченным лицом и рыжевато-белокурыми волосами.

— В чем дело? — спрашивает встречный чуть сдавленным голосом. — Что вам пужно от этой дамы?

Иоганна Крайн стоит возле него, протянув к нему руку, словно желая ухватиться за него, полураскрыв рот, — сейчас уже скорее напуганная, чем разгневанная.

— Ну, на гулящую девку смотреть, я думаю, разрешается? — говорит один из четырех.

Это звучит спокойно, пояснительно, почти добродушно, немножко пахнет отступлением. Но господин уже паскочил на него. Однако движение, которым он собирался подмять его под себя, не удалось. Господин, по-видимому, обучался приемам джиу-джитсу, но недостаточно основательно. Во всяком случае, он лежит на земле, а те четверо колотят и топчут его что есть мочи.

— Какое вам вообще дело? — кричат они. — Вы, верно, кот этой дамочки? — вопит один из них.

Позади них на дорожке показывается пожилая супружеская чета, да и впереди уже виднеются люди. Белокурый господин лежит на земле молча, не шевелясь. Иоганна Крайн кричит, кричит что есть мочи. Люди, видневшиеся впереди, ускоряют шаг; супружеская чета

останавливается; видимо, боясь оказаться впутанной в драку, поворачивает назад.

А те четверо оглядывают лежащего на земле. Он по-прежнему не шевелится, выглядит очень грязным и измятым, по руке и лицу текут тонкие струйки крови. Но он тихо дышит. Глаза закрыты.

— Получил, скотина, что следует! — неуверенно замечает один из парней.

— Вам, барышня, вовсе не из-за чего было так сразу вопить, — замечает тот, что в куртке. — Эти бабы вечно орут, словно их режут!

— Никто вас не собирался трогать, — говорит третий.

Но четвертый, не смущаясь и помахивая тросточкой, коротко обрывает разговор:

— Не взыщите, барышня!

И затем все четверо отступают в полном порядке, но весьма поспешно, в том направлении, куда скрылась супружеская чета, и как раз до того, как успевают подойти люди, приближающиеся с противоположной стороны.

Иоганна Крайн стоит на коленях возле лежащего. Песок колет ей колени. Подошли люди. Как-то сразу их собралось много: какой-то рабочий, влюбленная парочка из мещан, девочка-подросток с сумкой для книг, двое молодых людей, по-видимому, студенты, пожилая дама, ковыляющая с палкой в руке.

Велокурый господин приоткрывает глаза.

— Они ушли? — осторожно спрашивает он. Затем с некоторым трудом высоким сдвоенным голосом добавляет, обращаясь к Иоганне: — Вы испачкаетесь.

— Вы можете двигаться? — сыплются со всех сторон вопросы. — Не позвать ли врача? Санитара? Полицейского? Что, собственно, случилось?

Господин приподнимается, стопет и кряхтит. Поддерживаемый со всех сторон, становится на ноги.

— Благодарю, мне, кажется, ничего не нужно, — говорит он.

— Как они его отделали! — с возмущением восклицает дама, опирающаяся на палку. — Такой хороший костюм!

— Вот если б достать щетку...— бормочет белокурый господин, тщетно пытаясь стереть носовым платком кровь. Иоганна дает ему свой платок.

— Дамские платки для этого не годятся,— замечает он деловым тоном.

То, что он, пошатываясь, с лицом и руками, испачканными кровью, стоит, окруженный тесным кольцом зевак, нисколько не смущает его.

— Мне, право, больше ничего не надо, господа,— говорит он наконец.— Там у моста обычно стоят автомобили. Пять минут до них я вполне могу пройти. Да и вообще мне ничего, кроме воды и щетки, не понадобится.

— Так отделать человека! — не перестает повторять старушка с палкой. И под шум оживленного обмена мнениями белокурый господин направляется к мосту. Он взял Иоганну под руку, словно это само собой разумелось. Окружающие разочарованы: все кончилось, а подробностей узнать не удалось.

— Ее лицо мне как будто знакомо,— говорит один из студентов.

— А она не киноактриса? — мечтательно осведомляется девочка-подросток с сумкой для книг.

— Он сам напал на него,— авторитетно сообщает кто-то.

— Кто? На кого? — спрашивают другие, и осведомленный сообщает подробности.

— Поглядите только, как они его отделали! — не унимается старушка с палкой, и все в некотором отдалении следуют за белокурым господином, который, прихрамывая, идет, опираясь на руку Иоганны.

— Разве я не ловко разыграл все это? — говорит белокурый господин, мальчишески-шаловливо обращаясь к Иоганне.

— Как? Что? — удивленно переспрашивает Иоганна, в то же время стараясь очистить приставшую к ее платью грязь.

— После того как я первый раз схватил его слишком низко, я ведь уже не мог ничего поделать,— поясняет он.— Ясно, что разумнее всего было закрыть глаза и разыграть мертвого жука.— Он все еще сильно

прихрамывал.— Неужели вы сочли бы проявлением храбрости, если бы я предоставил им еще больше избить меня?

Иоганна невольно улыбулась.

— Кстати, вы знакомы с этими молодыми людьми? — спросил он, повернув к ней свое умное, несколько помятое лицо и лукаво поглядывая на нее.

— То есть как? — удивилась Иоганна, высоко подняв брови.

— Если вы ничего не хотите рассказать мне об этом столкновении, — заметил он, — то у вас, должно быть, на это есть свои соображения. А я был бы не прочь узнать подробности. Скажу вам, что я от природы любопытен. — Он снова лукаво и доверчиво поглядел на нее. — Ай! — вскрикнул он, вдруг сильно припадая на погу. Но когда она попыталась поддержать его, он сейчас же заворчал: — Да уберите же вашу руку! Вы только испачкаетесь в крови!

— Конечно, я этих хулиганов не знаю, — сказала Иоганна, — но они-то, должно быть, узнали меня.

— Как так — узнали? — своим сдавленным голосом спросил он. — Разве вас нужно обязательно знать? Кто же вы — кинозвезда? Или чемпионка по плаванию? Впрочем, мне ваше лицо действительно начинает казаться знакомым.

— Я рада, что мы добрались до автомобиля, — проговорила она, заметив, что его лицо снова страдальчески передернулось. — Эта история все-таки не прошла вам даром. Не лучше ли будет мне проводить вас?

— Ерунда, — сказал он. — Меня зовут Жак Тюверлен, — продолжал он после короткого молчания. — Если вам это будет приятно, можете справиться о моем здоровье. Мой номер найдете в телефонной книжке.

Она вспомнила, что где-то видела это имя напечатанным, но все же заставила Тюверлена повторить его по буквам.

— Меня зовут Иоганна Крайн, — проговорила она затем.

— Ах, так... вспоминаю! — подумав, отозвался он. — Но знаете, тогда, пожалуй, будет лучше, если вы действительно поедете со мной. Не ради меня, а принимая

во внимание создавшуюся обстановку.— И лицо его снова стянулось в бесчисленные складочки. Но он сразу же успокоился и выжидательно посмотрел на нее.

Она также взглянула на него и увидела, что у него широкие плечи и узкие бедра. Мотор был заведен. Поколебавшись немного, он сел в автомобиль.

— О, я не думаю, чтобы ко мне еще раз привязалась,— с опозданием произнесла Иоганна.— Эти четверо, вероятно, были пьяны. Здесьние люди в общем добродушны.

— Это ваше личное мнение,— сказал он.— Во всяком случае, при всем своем добродушии за последние годы они поубивали немало народу.— Он уже сидел в машине, мотор гудел.— Вы знакомы с джиу-джитсу? — спросил он. И так как она, смеясь, покачала головой, добавил: — Тогда вам, пожалуй, все же следовало бы поехать со мной.— Прищурившись, он глядел на нее лукавыми, немного сонными глазами.

— Но в двенадцать мне нужно быть у моего адвоката,— произнесла она, уже стоя на подножке автомобиля.

— Так-то оно вернее будет,— весело сказал Тюверлен, когда она села рядом с ним и машина тронулась.

Книга вторая

С У Е Т А

1. ВАГОН МЕТРОПОЛИТЕНА.
2. НЕСКОЛЬКО БЕГЛЫХ ЗАМЕЧАНИЙ О ПРАВОСУДИИ.
3. ПОСЕЩЕНИЕ ТЮРЬМЫ.
4. ПЯТЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ.
5. FUNDAMENTUM REGNORUM.
6. НУЖНЫ ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ.
7. ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В МЮНХЕНЕ.
8. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ К ДЕЛУ КРЮГЕРА.
9. СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ ЖЕНИХ.
10. ПИСЬМО В СНЕГУ.
11. «ПУДРЕНИЦА».
12. ЖИВАЯ СТЕНА ТАМЕРЛАНА.
13. СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ШОФЕРА РАТЦЕНБЕРГЕРА.
14. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ СПРАВОК.
15. КОМИК ГИРЛЬ И ЕГО НАРОД.
16. СВАДЬБА В ОДЕЛЬСБЕРГЕ.
17. СВЯЩЕННЫЙ ЛАРЕЦ КАЭТАНА ЛЕХНЕРА.
18. КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
19. ДАВИД ИГРАЕТ ПЕРЕД ЦАРЕМ САУЛОМ.
20. И ВСЕ ЖЕ НИЧТО НЕ ГНИЛО В ГОСУДАРСТВЕ БАВАРСКОМ.
21. РОЛЬ ПИСАТЕЛЯ.
22. ШОФЕР РАТЦЕНБЕРГЕР В ЧИСТИЛИЩЕ.
23. ПОЧНЫЕ БРОДЯГИ.

ВАГОН МЕТРОПОЛИТЕНА

Вагон номер четыреста девятнадцать берлинского метрополитена, покрытый наполовину красным лаком, с мягкой красной кожаной обивкой, наполовину желтым лаком, с деревянными скамьями, был набит до отказа. Наступил час окончания занятий. Люди стояли, держась за ременные петли, прижатые друг к другу, притиснутые к коленям сидящих. Они толкали друг друга локтями, старались занимать как можно меньше места, бранились, извинялись. Кто-то сильно пахнувший дезинфекционными средствами сидел в углу, откинув назад забинтованную голову и полузакрыв глаза. Какая-то дама посасывала конфеты, вытаскивая их из пакетика, другая ежеминутно роняла на пол то сумочку, то один из своих многочисленных свертков. Какой-то человек в очках, несмотря на свою осторожность, все время беспомощно натыкался на соседей; кто-то ловким приемом обшаривал чей-то карман. Какая-то дама увлеченно красила губы. Две молодые девушки беспокоили публику своими теннисными ракетками, а человек в синей блузе — похожим на пилу инструментом, который, по мнению большинства, вовсе не полагалось брать с собою в вагон.

Весь этот человеческий груз, хихикая, споря, совершая сделки, флиртуя, распространяя запах духов, с тупым, потухшим взглядом цеплялся за ременные

петли, в одинаковом механическом ритме следовал движениям мчавшегося поезда, шатался, покачивался при крутых поворотах, одинаковым движением век щурил глаза, когда поезд из освещенного электричеством туннеля вылетал наверх, в полосу ярких лучей вечернего июньского солнца.

Многие читали только что вышедшие иллюстрированные вечерние выпуски газет с разжигающими любопытство жирными заголовками. «Покушение на депутата Гейера» — гласил крупный заголовок в одной из газет. Другие газеты, наоборот, приводили это известие мелким шрифтом на второй странице, приберегая на первой странице место для «Злоупотреблений чиновников-социалистов».

Но, независимо от размеров заголовков и шрифта, читатель все же мог узнать, что ранним утром на одной из тихих улиц Мюнхена три каких-то субъекта напали на адвоката Гейера и избили его дубинками так, что он, окровавленный и в обморочном состоянии, остался лежать на земле. Нападавшие успели скрыться. Одна из газет выражала бурное возмущение тем, что в Мюнхене возможно такое нападение среди бела дня, и как на одну из причин одичания нравов указывала на явное потворство со стороны баварского правительства. Другая газета говорила лишь о «легком ранении» доктора Гейера и высказывала предположение, что все дело сводится к чьей-то личной мести. Каждый, утверждала газета, кто знаком с вызывающей манерой адвоката, которая недавно проявилась вновь на процессе Крюгера, если не одобрит, то, во всяком случае, поймет причину избиения.

Известие это было прочитано большинством пассажиров вагона номер четыреста девятнадцать берлинского метрополитена вечером 28 июня.

«Все дело в том, — подумал толстый пассажир, страдавший сильной одышкой, — что он чересчур лез вперед. Я с моим слабым сердцем не мог бы позволить себе подобные авантюры. Правда, эта штука создает рекламу. Но ценой таких треволнений, — нет, это слишком дорогое удовольствие!» Он вытер покрытое потом лицо, успокоил зашевелившуюся у его ног собаку и

твердо решил впредь, как и до сих пор, держаться по-дальше от политических процессов.

«А все оттого это,— подумал высокий видный господин в охотничьем костюме и высоких сапогах,— что эти евреи сами во всем виноваты. Зачем они вмешиваются в наши дела, которые их вовсе не касаются?»

«Мюнхен,— подумал толстяк с массивной тростью,— акции пивоваренных заводов... Не повлияет ли эта история на их курс? Если они не поднимутся еще, мне так и не видать автомобиля!»

Двое молодых людей, которые, склонившись над газетой, вместе прочли напечатанное в ней известие, взглянули друг на друга взволнованно и мрачно и продолжали сидеть молча, с расстроенными лицами.

— Когда реакционная сволочь нападает на рабочего,— высоким, взволнованным голосом произнес плохо одетый молодой человек в очках, обращаясь к двум другим,— а происходит это чуть ли не ежедневно,— об этом не печатают таким крупным шрифтом!

Какой-то стройный юноша в полувоенной куртке враждебно поглядел на говорившего, спрашивая себя, не вмешаться ли ему в это дело, но, увидя, что в этом вагоне он вряд ли привлечет на свою сторону большинство, удовлетворился угрожающим взглядом.

«Опять эта бесконечная политика!» — подумал человек с застывшим на лице выражением мужественности и с огромным перстнем на пальце и перевернул страницу газеты в поисках рецензии на вчерашнюю премьеру, где выступал его коллега.

— Я всегда это говорил,— взволнованной скороговоркой заявил господин еврейского типа, обращаясь к своей полной соседке.— Не нужно ездить летом на баварские курорты. Когда они почувствуют, что уменьшается число приезжих, то бросят выкидывать такие штуки!

— Если они будут выкидывать такие штуки,— с беспокойством шептала девушка в очках,— цены на масло пойдут еще выше. Сейчас уже фунт стоит двадцать семь марок двадцать пфеннигов. Я и так уже весь конец недели не могу давать Эмилию на завтрак хлеб с маслом.

«Не послать ли телеграмму с выражением протеста,— размышлял бледный, вегетарианского типа господин в пенсне и с огромным портфелем, задевавшим всех своими углами.— Если я этого не сделаю, скажут: «Вы никогда ничего не делаете вовремя»,— а если я это сделаю, а потом дело обернется иначе как-нибудь, бонзы будут брюзжать».

— Ну и времечко! — плакалась какая-то взволнованная дама, прочитав известие через плечо соседа.

— Кого казнили? — закричала ее полуглухая, дряхлая мамаша.

— Доктора Гейера.

— Это не тот ли министр, который устроил инфляцию? — кричала мать из противоположного конца вагона.

Кто-то попытался объяснить ей, в чем дело. Кто-то с возмущением требовал, чтобы перестали шуметь.

— Так, значит, это и есть министр! — с удовлетворением констатировала глухая.

На каждой остановке люди выходили из вагона, быстро направлялись к выходу, торопились к ужину, к женщине, к приятелю, в кино. Уже на ступеньках ведущей на улицу лестницы они успевали забыть о газетной заметке. Назойливый крик газетчика: «Покушение на депутата Гейера!» — звучал как нечто устарелое и скучное в ушах этих спешивших куда-то людей.

2

НЕСКОЛЬКО БЕГЛЫХ ЗАМЕЧАНИЙ О ПРАВОСУДИИ

Иоганна Крайн, следуя за экономкой Агнесой, вошла в спальню, где лежал больной адвокат Гейер. Тщетно стараясь смягчить свой визгливый голос, экономка плаксиво рассказывала, что с доктором Гейером нет никакого сладу. Всего только второй день, как он вернулся из больницы, а он уже не прочь был бы отослать сиделку и сразу же приняться за работу. На сегодняшний вечер, несмотря на запрещение врача, он

вызвал своего помощника, а на завтра — заведующего своей адвокатской конторой. С Иоганной, надо думать, он тоже собирается беседовать не о необходимой для больного диете.

Гейер, как только Иоганна вошла, отослал сиделку. Иоганна внимательно и приветливо глядела на худое, бледное лицо адвоката. Особенно четко выделялись теперь форма черепа, тонкий, заостренный нос, высокий лоб, глубоко впавшие виски. Голова была забинтована, щеки покрыты рыжеватым пушком, потускневшие голубые глаза казались больше обыкновенного. Не успела сиделка выйти, как он исхудалой рукой потянулся за очками, пользоваться которыми ему было сейчас запрещено. Как только он вооружился ими, то снова стал похож на прежнего энергичного и решительного человека.

О том, что произошло с ним, он говорил с подчеркнутым безразличием. Смеялся над бескопечными газетными пересудами. Покушение обошлось вполне благополучно. Сотрясение мозга уже почти прошло, рана над глазом не опасна. В худшем случае останется некоторая неподвижность бедренного сустава.

Сразу же, как упала температура и к нему вернулась способность ясно мыслить, он решил не принимать этой истории всерьез. Перебирая все отдельные моменты пережитого, он приходил к заключению, что держался хорошо. Услышав за собой в тишине безлюдной улицы быстрые шаги, он обернулся и в краткое, но для него длительное мгновение до нанесения удара уже знал, что сейчас будет, надо полагать, смертельно ранен. Он не ощутил тогда страха, не оказался трусом, сохранил спокойствие перед лицом опасности. Остался доволен собой.

Была, правда, во всем этом одна угнетавшая его подробность. Тогда, обернувшись, он увидел троих молодых людей. Он видел их всего только в течение доли секунды; к тому же тот, который интересовал его, укрывался за другими и нагнул голову. Все же адвокату почудилось, что он узнал его лицо, ветреное, наглое, насмешливое лицо с мелкими крысиными зубками. Быть может, это была лишь фантазия, бредовое

представление. Мысли адвоката часто, как ни боролся он с собой, витали вокруг этого лица. Добиться большей уверенности в этом вопросе совсем нетрудно; достаточно было бы назвать следователю имя страхового агента фон Дельмайера. Но если ветренный страховой агент был причастен к этой истории, то не мог не знать о покушении еще кто-то другой. А узнавать такую новость доктор Гейер не желал. Он предпочитал оставаться в неведении.

В общем, он отнесся к покушению довольно спокойно. С такими неприятностями должен был считаться всякий, кто выступал во имя какой-нибудь идеи. Если бы не то лицо, он испытывал бы даже некоторое удовлетворение от своего мученичества. Но стоило ему вспомнить лицо, как начинали болеть раны и острый бурав медленно сверлил череп. Что-то жгло глаза под закрытыми веками, и он лежал беспомощный и разбитый.

Спокойная, уверенная, сидела Иоганна среди некрасивой фабричной мебели, которою без любви и внимания была обставлена эта спальня. Всякое кокетство было ей противно, а подчеркнутое безразличие, с которым Гейер рассказывал о случившемся, производило на нее впечатление рисовки. Поэтому она почти не вставляла замечаний и скоро перевела разговор на дело Крюгера, ради которого и пришла.

Мартин Крюгер после приговора категорически запротестовал против кассации. Иоганна сочла этот отказ просто театральным жестом, обидчивым протестом против удара судьбы: чем мне хуже, мол, — тем лучше! Но сй так и не удалось переубедить его. Фатализм Мартина, по-видимому, имел какие-то глубокие корни. Она надеялась, что ясные доводы адвоката произведут на него более сильное впечатление, но за день до истечения срока подачи кассационной жалобы произошло нападение на Гейера. Его заместителю не удалось воздействовать на Крюгера. Сейчас срок был пропущен, и Мартина перевели в тюрьму Одельсберг.

Трезво и сухо изложил ей доктор Гейер положение вещей. О пересмотре дела, согласно параграфу триста пятьдесят девятому, речь может быть только в случае выявления новых фактов или доказательств, могущих,

в связи с приведенными ранее доказательствами, послужить основанием к оправданию обвиняемого. Ну, если б, например, можно было доказать, что шофер Ратценбергер дал ложную присягу. Он, доктор Гейер, разумеется, уже сделал попытку в этом направлении и подал соответствующее заявление. Но весьма мало вероятно, чтобы прокуратура возбудила дело против шофера, раз у нее хватает ума не возбуждать дела даже против нее, Иоганны Крайн. По-видимому, решено считать всю эту историю законченной. Хлопотать о помиловании в настоящее время почти что безнадежно. Едкие нападки внебаварской печати по поводу позорного приговора приносят в этом отношении больше вреда, чем пользы.

— Юридическим путем, таким образом,— резюмировал он свои доводы,— ничего для него сделать нельзя.

— Ну, а другим путем? — спросила Иоганна, направляя на него взгляд своих больших серых глаз и при этом медленно поворачиваясь к нему лицом.

Доктор Гейер снял очки, полузакрыв покрасневшие веки, откинулся на подушки. Он потратил слишком много сил. Чего ради, собственно говоря?

— Возможно, что вы могли бы воздействовать на правительство с помощью светских связей,— проговорил он наконец вяло.

В то время как Гейер произносил эти слова, Иоганна по странной случайности вспомнила полное лицо с подернутыми поволокой глазами и маленьким ртом, медлительный, осторожный голос. Она никак не могла вспомнить связанное с ним имя. Это был один из присяжных, тот самый, который вступился за нее, когда прокурор так дурацки приставал к ней. Иоганна взглянула на адвоката, утомленного, сильно исхудавшего, старого. Ясно было, что пора уходить. И все-таки она спросила его резким тоном:

— Скажите, доктор Гейер, как звали того господина, ну, того присяжного, который вступился за меня перед прокурором?

— Это некий коммерции советник Гессрейтер,— ответил адвокат.

— Думаете ли вы, что он мог бы что-нибудь сделать? — спросила Иоганна.

— Это не исключено, — сказал адвокат. — Я, правда, имел в виду других лиц.

— Кого, например? — спросила Иоганна.

В дверь постучались, — должно быть, экономка Агнеса напоминала о том, что пора уходить. Адвокат не без труда назвал Иоганне пять имен. Она аккуратно записала их и только после этого удалилась. Доктор Гейер заранее радовался посещению Иоганны. Теперь, после ее ухода, он лежал измученный. Приподнятая тонкая губа обнажала крепкие, желтые, сухие зубы. Его мучило воспоминание о том лице. Экономка Агнеса шепотом доказывала сиделке, что не следовало допускать к больному эту даму.

Перед домом на Штейнсдорфштрассе, где она жила, Иоганна застала Жака Тюверлена в его небольшом французском автомобиле. Она обещала ему сегодня поехать с ним в окрестности.

— Видите, — весело сказал он, — я был благодарен и дал только два сигнала. Затем я догадался, что вас нет дома, и вел себя совсем тихо. Если бы я продолжал трубить, пожалуй, сбежалась бы вся улица. Поедем к Аммерзее, хотите? — предложил он.

Она согласилась, — это спокойное, лишенное особенных красот предместье привлекало ее.

Тюверлен ехал не слишком быстро, уверенно правя машиной. Из-под больших автомобильных очков его помятое лицо светилось своеобразной мудростью, он был в прекрасном настроении, говорил много, с большой откровенностью. За время их знакомства они встречались уже дважды, но, полная забот, Иоганна как-то мало внимания уделяла его теориям. Сегодня она слушала более внимательно.

— Юстиция, — говорил он, в то время как автомобиль, наискось перерезая ровную местность, направлялся к смутно очерченным горам, — юстиция в периоды политических волнений — это нечто вроде эпидемии, которой следует остерегаться. Одного поражает грипп, другого — юстиция. В Баварии эта эпидемия особенно зловредна. Господин Крюгер, страдая пред-

расположением, должен был принимать профилактические меры. Ему не повезло. Очень жаль, но для общества это особого интереса не представляет; трагедии здесь нет.— Да, но ведь все это он ей уже говорил. И он стал объяснять ей различные приемы управления машиной.

Ее удивляет,— возразила она через некоторое время, так как была медлительна и часто отвечала не сразу,— ее удивляет, что он все еще испытывает желание встречаться с ней. Ведь ее интересы почти исключительно сосредоточены на деле Крюгера.

Жак Тюверлен сбоку поглядел на нее.— Это полное ее право,— спокойно заметил он, внимательно и приятно беря крутой поворот.— Ведь ее это занимает. Единственным оправданием человеческих действий является удовольствие, доставляемое действующему лицу его действием. Как только стоящий человек в какое-нибудь действие вкладывает элемент получаемого удовольствия, самое скучное дело становится интересным.

Его руки, правившие рулем, были сильны, покрыты веснушками и рыжеватыми волосками. Верхняя губа над крепкими зубами резко выступала вперед на странно обнаженном лице, слегка запавшие глаза над остро очерченным носом быстро перебежали с предмета на предмет, следили за дорогой, за пейзажем, за встречаемыми, за сидевшей рядом с ним женщиной.

— Я люблю говорить начистоту,— объяснял он своим звонким и в то же время сдавленным голосом.— Слишком долго и сложно изыскивать хитроумные обходные пути. Это как-то не подходит к нашему времени. Прямота — быстрее и удобнее. Итак, я сразу же расскажу вам о том, что однажды в жизни сделал большую глупость. Именно тогда, когда принял германское подданство. Какая-то сентиментальная демонстрация в пользу побежденного! Ослиная глупость в квадрате! Но в общем Лига наций, повысившая доход с моей женеvской гостиницы и курс моих швейцарских франков, дает мне возможность, не отказываясь от жизненных удобств, позволять себе говорить то, что есть. Мои писания пользуются у знатоков за границей почетом в такой же мере, в какой они непопулярны в

Германии. Мне они доставляют удовольствие. Я пишу медленно, с трудом, но читаю свои произведения с наслаждением и нахожу их превосходными. Прибавьте к этому, что я слышу богатым, и мне поэтому хорошо платят. По-моему, жить очень приятно. Я предлагаю вам, Иоганна Крайн, соглашение на песентиментальной основе: я, Жак Тюверлен, начинаю интересоваться делом Крюгера, в которое вы вложили элемент своего удовольствия, а вы интересуетесь тем, что доставляет удовольствие мне.

Они пообедали в деревенском трактире. Им подали густой суп, большой сочный кусок телятины, грубо и бесхитростно приготовленной, картофельный салат. Озеро расстилалось перед ними, широкое и светлое; горы позади него были подернуты туманом. Было тихо, и старые каштаны в саду трактира стояли недвижные. Иоганну удивило, с каким аппетитом ел худощавый Жак Тюверлен.

Затем они выехали на лодке в озеро. Он греб не напрягаясь и вскоре пустил лодку по воле волн. Затем они нежились на солнце. Тюверлен щурился. Он напоминал веселого, дерзкого мальчишку.

— Вы считаете меня бесстыдным за то, что я все выбалтываю? — спросил он.

Иоганна рассказала о своем посещении доктора Гейера. По мнению Жака Тюверлена, в мучениках всегда было что-то смешное. Физическое насилие в положении доктора Гейера принадлежало к риску его профессии. То, что мученики якобы приносят пользу делу, которому служат, — просто модное суеверие. Смерть человека — еще не доказательство его достоинств. Остров Св. Елены еще не делает Наполеона. Тот, кто не достигает успеха, обычно аргументирует мученичеством. Унавозить дело кровью, конечно, верное средство, но это должна быть кровь противника. Справедливость — лишь одно из последствий успеха. Справедливое дело — всегда синоним успешного.

Все это объяснял писатель Тюверлен Иоганне Крайн в лодке на Аммерзее. Иоганна слушала его, подняв брови. Ее, как баварку, коробили его слова, ей был неприятен его циничный, деловой тон.

— А в деле Крюгера вы все же согласны помочь мне? — спросила она, когда он умолк.

— Разумеется, — лениво ответил он, лежа на дне лодки и беззастенчиво оглядывая ее с ног до головы.

3

ПОСЕЩЕНИЕ ТЮРЬМЫ

Ехать в тюрьму Одельсберг, расположенную в Нижней Баварии, было далеко и неудобно. Инженер Каспар Прекль предложил Иоганне отвезти ее туда. Автомобиль, предоставленный в его распоряжение правлением «Баварских автомобильных заводов», был снабжен хорошим двигателем, но не отличался удобством. Шел дождь, и было довольно холодно. Плохо выбритый, одетый в кожаную куртку и с такой же фуражкой на голове, в напряженной, неизящной позе сидел Каспар Прекль рядом с высокой, свежей девушкой и высказывал резкие взгляды, облеченные в грубоватую форму. Иоганна не знала, как себя держать с ним. То, что он говорил, было неожиданно, полно фанатизма, неглубоко.

Молодой инженер, не имевший светского опыта, создал себе особую теорию, согласно которой, встречаясь с людьми, он обычно говорил только об их собственных делах, но никогда не говорил о своих, и тем менее об общих вопросах. Ведь люди обычно хорошо осведомлены о том, что относится к ним лично, и редко знают что-нибудь другое. Только таким путем от них можно почерпнуть интересные и полезные сведения. С Иоганной Крайн он поэтому говорил о женских делах — о браке, о женском труде, о моде. Он зло высмеивал институт брака, как глупое капиталистическое учреждение, издевался над представлением о том, что можно «владеть» другим человеком. Перешел к тому, как нелепо сейчас, после войны, пытаться сохранить фикцию «дамы». Разошелся, заговорил более тепло, убедительно, даже весело. Иоганна почувствовала, как исчезает стена, отделявшая их друг от друга. Но тут он

затял отчаянную ссору с возницей какой-то телеги, не услышавшим его сигнала и вовремя не свернувшим в сторону. Покраснел, начал кричать. Люди в телеге имели численный перевес и настроены были воинственно. Дело чуть не дошло до драки. Весь остальной путь Каспар Прекль был мрачен и молчалив.

Формальности, необходимые для впуска в тюрьму, длились бесконечно. «Вы родственница Крюгера?» — «Нет». Чиповник снова поглядел на вписанное в пропуск имя. «Ах, так...» Иоганна чуть не вспыхнула. Затем началось бесконечное стояние в холодной конторе и в мрачных коридорах, под любопытными взглядами писцов и надзирателей. Сквозь заделанное решеткой окно им удалось заглянуть во двор с шестью жалкими, замурованными деревьями. Наконец в приемную первым вызвали Каспара Прекля.

Иоганна ждала. Вернувшись, Каспар Прекль сказал, что не может дольше выносить эту обстановку и подождет ее у главных ворот. Он казался оживленным, менее мрачным, чем обычно.

Увидев Крюгера, Иоганна испугалась. Она ожидала найти его опустившимся. Испугало ее не то, что когда-то плотный, почти полный человек стоял теперь перед ней в болтавшемся на нем платье, с серым, обросшим щетиной лицом и лишенными блеска глазами, а то, что он так мирно улыбался. Жалобы она перенесла бы, с сетованиями справилась бы, но в этой спокойной улыбке на сером лице было что-то могильное. Это покорное принятие уничижения человеком, которого она знала таким живым и бурным, заставило ее растеряться и умолкнуть.

Доктор Гейер рассказывал ей, что на второй день после перевода сюда с Крюгером случился припадок буйства, перешедший в сердечный приступ. Врач склонен был считать этот припадок симуляцией. Однако ввиду того, что за последнее время несколько случаев «симуляций», к удивлению врача, окончились смертью «симулянтов», Крюгера из предосторожности уложили в лазарет. Доктор Гейер установил, что и после выздоровления больного отношение к нему осталось бережливым. У него сложилось такое впечатление, — говорил

адвокат Иоганне,— что Крюгер так же беспомощно дивится своей судьбе, как животное, попавшее в неволю. Таким и рассчитывала она пайти его. Теперь здесь, отделенный от нее решеткой, стоял серый, старый, ошустившийся и совсем чужой человек со странной, умиротворенной улыбкой. С этим человеком она путешествовала? И не раз? С ним спала? Это тот самый человек, который из озорства заставил бургомистра того провинциального города произнести забавный тост? Тот самый, который в баре «Одеон» надавал пощечин какому-то господину с весьма представительной паружностью только за то, что непристойные замечания этого господина по адресу писателя Ведекинда подействовали ему на первы?

Он очень рад ее приезду,— сказал человек за решеткой. О фактической стороне своей жизни он старался не говорить. Он не чувствует себя несчастным. По работе он не скучает. Все написанное им находит нигде не годной дрянью. Есть, в лучшем случае, лишь одно, о чем стоило бы писать. Об этом он говорил с Каснаром Преклем. Очень хорошо с ее стороны, что она борется за его освобождение. Он уверен, что она и Гейер выполняют все наилучшим образом. Извне его положение, вероятно, кажется хуже, чем здесь, среди этих степ. Его серое, вялое лицо сейчас, когда он произносил такие спокойные слова, не казалось ей похожим на лицо того человека, который прежде так страстно отстаивал свои положения. Он говорил туманно, миролюбиво, вежливо, бесцветно. Надзиратель не имел повода выпиваться. Она обрадовалась, когда надзиратель наконец заявил, что время свидания истекло. Вялый человек с серым лицом протянул ей сквозь решетку руку, несколько раз поклонился. Только совсем под конец она заметила еще одну перемену: он был коротко острижен.

По длинным коридорам почти бегом устремилась она к выходу, к главным воротам. Это спокойствие было страшнее любого буйного припадка. Она заблудилась, и ей пришлось повернуть назад. Через окно она увидела залитый дождем двор и шесть жалких, замурованных в нем деревьев. Сторож в зверинце однажды

уверял ее, что звери не чувствуют неволи. Бегая взад и вперед по клетке, они, десять тысяч раз пробежав расстояние в шесть метров, ощущают то же, что и покрыв расстояние в шестьдесят километров. Одна львица, произведшая на свет детеныша, целый день таскала его взад и вперед, очевидно желая унести его возможно дальше от берлоги, в которой он родился, и спасти от прожорливого отца. Зверь верил в пройденный путь и не замечал решетки.

Да, адвокат был прав: Мартин Крюгер, словно только что пойманный зверь, не отдавал себе отчета в своем положении.

Каспар Прекль весь был под впечатлением короткой беседы с Мартином. Его костлявое лицо с низко опускающимися на лоб волосами было крайне взволнованно. По его мнению, Крюгер был на подъеме.

— Он преодолеет все это,— убежденно заметил Прекль.— Вы увидите, он все преодолеет.

Единственное, что, по мнению Крюгера, имело значение и о чем он говорил с Преклем, была картина «Иосиф и его братья». Иоганна заметила, что розыски картины, быть может, следовало бы поручить какому-нибудь детективному бюро. Но оказалось, что Крюгер категорически воспретил это.

Иоганна все время вспоминала о том, каким странным, коммерчески-деловым тоном Мартин говорил с ней о ее деятельности в его пользу. Она и адвокат «выполнят все наилучшим образом»,— сказал он. А с Каспаром Преклем он вот говорил о картине «Иосиф и его братья».

На обратном пути Иоганна была молчаливее своего спутника. Прекль пытался объяснить ей, что в книгах Мартина хорошо и что дурно. То, что Мартин Крюгер называл их теперь «никуда не годной дрянью», было, конечно, преувеличением. Но было, пожалуй, неплохо, что он сейчас брал свои работы.

— Он все это преодолеет! — с уверенностью повторил Прекль, в упор глядя на Иоганну своими глубоко запавшими, горящими глазами.

Когда Иоганна, распрощавшись с Каспаром Преклем, поднималась по лестнице в свою квартиру, перед

ее глазами стояли три образа: серолицый, мирный, вялый человек за решеткой, горящие, глубоко запавшие глаза молодого инженера, шесть жалких, замурованных деревьев на тюремном дворе.

4

ПЯТЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ

Барон Андреас фон Рейндль, главный директор «Баварских автомобильных заводов», взглянув на часы, увидел, что уже почти половина одиннадцатого. В половине одиннадцатого он, согласно пометке на календаре, должен был принять своих директоров Отто и Шрейнера. Сейчас вспыхнет на телефонном аппарате сигнал, и секретарь доложит об их приходе. Г-н фон Рейндль не чувствовал большой охоты участвовать в предстоящем совещании. Технические подробности производства «Баварских автомобильных заводов»нисколько не интересовали его. Если он со своими служащими и говорил о них, то это было лишь простой формальностью, выполнением скучной обязанности.

Он порылся в куче писем и газетных вырезок, положенных секретарем на его декоративный письменный стол. Карие глаза без особого интереса скользнули по груде бумаг. Из всей массы он выбрал наконец ярко-зеленую обложку берлинского журнала. Белыми пухлыми пальцами раскрыл страницу с помеченной для него статьей под заглавием «Пятый евангелист». Он начинал, по-видимому, входить в моду у авторов фельетонов по экономическим вопросам. Печать проявляла интерес к его душевной жизни. Рейндль медленно читал, и его верхняя губа под густыми черными усами, морщась, выпукло выступала на мясистом лице.

«Господин фон Рейндль,— говорилось в статье,— генеральный директор «Баварских автомобильных заводов» и Акционерного общества дунайского пароходства, главный акционер пивоваренного завода «Капуцинербрауэрей» и газеты «Генеральанцейгер», совладелец целого ряда других предприятий, играющий ру-

ководящую роль среди баварских промышленников, несмотря на принадлежность к группировке партикуляристов, все же значительно отличается от обычного типа баварца. Сейчас ему около пятидесяти лет. В молодости он слыл тем, что в Мюнхене принято называть «фруктец», слыл блудным сыном. Он много путешествовал, проявляя при этом странные, необычные для баварца вкусы. Вернувшись в Баварию, господин фон Рейндль оказался вожакom немногих местных бонвиванов. Возможно, что с тех времен и укрепилось за ним прозвище «Пятый евангелист». Это прозвище, несмотря на его туманное значение, держится вот уже двадцать лет. Со своими блестящими черными волосами и пушистыми усами он как-то странно выделялся в мюнхенской обстановке, был молодым человеком с исключительно привлекательной внешностью, вероятно, унаследованной им от своей бабки Марианны фон Плачиотта, портрет которой король Людвиг I заказал для «Галереи красавиц» своей столицы. В то время он был предметом безграничного обожания мюнхенских дам, душой как мюнхенских празднеств и балов, устраиваемых верхушкой общества, так и гуляний в простонародных пивных погребках, одним из популярнейших людей в городе. Однако, невзирая на свое изящество, светские манеры, успех у женщин, этот отпрыск старинной, богатой и знатной семьи ни при дворе, ни в обществе, ни в «Купеческом клубе», ни в «Мужском клубе» никогда не пользовался действительными симпатиями.

Прочитав эти строки, барон фон Рейндль удивился. Никогда не замечал он того, что утверждал здесь автор фельетона, и никто не говорил ему об этом. Но теперь, уже немолодым человеком, яснее разбираясь в переломе, он готов был признать правоту берлинского журналиста и улыбнулся, не без чувства какого-то острого удовлетворения.

«Характер и судьба Андреаса фон Рейндля, — читал он дальше, — резко изменились, когда, вследствие преждевременной смерти старика Рейндля, в руки сына перешло управление широко раскинувшейся сетью предприятий. С изумительной энергией он с этой минуты, не отказываясь в то же время от бурной личной

жизни, окунулся в мир коммерческих дел. Уволил ряд старых служащих, своевременно учел выгоды, предоставляемые войной, и соответственно перестроился. Вопреки всем мюнхенским обычаям, завязал выгодные связи с тяжелой промышленностью Запада».

Вспыхнула сигнальная лампа телефонного аппарата. Рейндль не обратил на нее внимания. Поднявшись, грузный и массивный, зашагал он взад и вперед по комнате, не выпуская из пухлых бледных рук ярко-зеленого жупала. «Этот руководитель баварской промышленности,— читал он дальше,— мало что понимая в технике, острым чутьем сумел уловить, откуда дует ветер. Поставил на ноги первое германское общество воздушных сообщений, первый германский автомобильный завод. Когда во время войны главари промышленности производили между собой раздел Германии, Рейндлю была отведена в качестве «сферы влияния» Южная Германия. Однако господам с Рейна и Рура так и не удалось заставить этого деятельного человека ограничиться отведенной ему областью и отстранить его от других дел.

Он резко отличается от остальных представителей германской крупной промышленности. Подчас кажется, словно он производит автомобили не для того, чтобы делать деньги, и не для того, чтобы делать автомобили, а просто потому, что самый процесс организации производства доставляет ему удовольствие. Ему доставляет удовольствие создавать эту гигантскую смесь из автомобилей, газетных издательств, пива, националистических боевых союзов, судебных липов, настроений народа, отелей. Он оказывал широкую материальную поддержку искусству, но считался при этом только со своими собственными взглядами и настроениями. Когда незадолго перед тем парламент из тупого упрямства вычеркнул из бюджета дотацию Мюнхенской картинной галереи, Рейндль сам дал нужную сумму. Это он облегчил государству приобретение вызвавшей серьезные споры картины «Иосиф и его братья». Многие мюнхенцы подозревают в нем сторонника сумасбродных идей. Дела, вера, увлечение любовью и предметами искусства — все это в жизни

Пятого евангелиста сплетается вместе. Единственно ясными для наблюдателя движущими мотивами его действий были, наряду с пресловутой неуравновешенностью баварской натуры, любопытство, погоня за сильными ощущениями и сенсацией».

Окончив чтение, г-н фон Рейндль прошелся по комнате той легкой походкой, которая сохранилась у него с прежних лет и теперь уже не подходила к его слегка отяжелевшей фигуре. Он взглянул на картину «Похищение Европы», якобы принадлежавшую кисти Джорджоне, и она не понравилась ему. Даже и на знаменитый портрет своей матери работы Ленбаха он поглядел недоброжелательно. Вся комната вдруг показалась ему похожей на зал музея, а не на кабинет. Какая нелепость! Он заглянул в узкое зеркало, нашел, что лицо его обрюзгло и имеет нездоровый вид. Бросил на стол ядовито-зеленый журнал и произнес скорее со скукой, чем с досадой: «Болван!» Снова вспыхнул сигнал телефонного аппарата. Он снял трубку. Секретарь спрашивал, может ли г-н фон Рейндль сейчас принять господ директоров. Фон Рейндль ответил неожиданно высоким для своего грузного тела голосом: «Нет». И добавил, что просит зайти к нему инженера Каспара Прекля.

Директора, конечно, будут злиться на него за то, что он отослал их и вызвал этого молодого хулигана. Действительно, глупо, что он, Рейндль, уделяет время этому парню, когда весь его день заполнен делами до отказа. Прекль, конечно, набьет ему оскмину всякими техническими подробностями. У него наверняка разработан новый план выпуска его дешевых серийных автомобилей и тому подобные глупости. Он, Рейндль, потратит двадцать драгоценных минут. Благоразумнее было бы за это время вбить кое-какие принципиальные установки в тупоумные головы своих директоров.

Каспар Прекль явился. Он был в своей поношенной кожаной куртке, небрит. Уселся в неизящной позе довольно далеко от Рейндля, на краешке роскошного кресла. Весь сжавшись, недоверчивым взглядом глубоко запавших глаз впился в своего шефа. Вытащил проекты, чертежи. Объяснял с увлечением, пользуясь

в разговоре местным наречием. Скоро, увидев, что Рейндль плохо понимает, вышел из терпения, начал кричать. Все чаще и чаще вставлял в свою речь резкое, грубое: «Понятно?»

Как всегда, когда он имел дело с Пятым евангелистом, Прекль чувствовал, что ему как-то не по себе. Он отлично знал, что Рейндля не интересуют технические усовершенствования автомобильного завода. Удивительно было, что он принял именно его, а не директоров. Зачем его, Прекля, держали на этом предприятии? Почему, собственно, ему поручали разрабатывать все новые проекты, предоставляли возможность производить дорогостоящие опыты, раз их результаты все равно затем не применялись на практике? Он без конца возился со своим серийным автомобилем, который и в самом деле мог бы вытеснить с рынка американские машины. Должен ведь Рейндль понять, какие огромные возможности таились в этом проекте.

Ничего нельзя было прочитать на лице капиталиста, на этом бледном лице с резко выделяющимися густыми усами. Рейндль не понимал ни одного слова и ни одного слова не произносил. Но молодой инженер не хотел замечать, как безразличны были его объяснения этому грузному холемому человеку. Из всех сил пытаясь завладеть своим шефом, он старался объяснить ему вещи, которых тот вовсе не желал знать.

Господин фон Рейндль между тем грустными карими глазами с интересом рассматривал дыру — справа, у самого плеча — на кожаной куртке Прекля. Он ясно помнил, что видел эту дыру на том же месте уже с полгода назад. Побриться этот малый тоже не счел нужным. Его манера начесывать волосы на лоб не лишена была некоторого наивного кокетства. Странно, почему этот Прекль нравится женщинам? Артистка Клере Гольц, женщина, обладающая пониманием и вкусом, прямо в восторге от него. При этом она не могла не заметить, какой у него запущенный вид. Она даже шутила по этому поводу. От парня пахло, как от солдата в походе. Грубый, ядовитый юмор Прекля как будто не должен нравиться женщинам. Его окружала явно революционная атмосфера. Очевидно, парень до-

стигал успеха своими вульгарнейшими балладами. Когда он пел их звонким голосом, женщины просто теряли власть над собой. Рейндлю некоторые из них уже рассказывали об этом с подозрительным блеском в глазах. Собственно, он не прочь был бы пригласить как-нибудь Прекля, предложить ему спеть одну из своих баллад. Но ведь он, наверно, оборвет его, этот нахал.

Он все еще болтает о своем серийном автомобиле: сложный винегрет из сцепления и выхлопных газов. Должно быть, он сконструировал все это очень хитро. Он хитер. Наверно, он очень знающий инженер. Иначе остальные не ругали бы его так яростно. Хитрый парень, ловкач, голова! Головы — штука редкая в его родной Баварии. Но голова — трудно применяемая вещь в производстве. Все же он, Рейндль, коллекционирует головы. Пятый евангелист может позволить себе такую роскошь. Иногда ему даже удавалось из голов выколачивать прибыль.

Удивительно, что такой способный человек, как Прекль, не имеет ни малейшего представления о нем, Рейндле, и о его делах. Должно быть, он думает, что Рейндль действительно бог весть как интересуется его серийным автомобилем, всякими там сцеплениями и выхлопными газами. Все эти коммунисты с важностью разглагольствуют об «империализме», об «интернационализме капитала», а на практике такой вот парень наивно готов предполагать, что Рейндля интересует сцепление или выхлопные газы. Буду ли я выпускать серийные автомобили или нет, это, почтеннейший мой господин Прекль, зависит не от ваших конструкций, а от французского железного синдиката. Рабочая сила сейчас, во время инфляции, в Германии дешева, гораздо дешевле, чем вы можете себе представить, милейший! Теперь, как никогда, можно побить иностранную конкуренцию. Штука только в том, господин инженер, что выпуск вашей дешевой конструкции может осложнить отношения с американской автомобильной промышленностью. А решусь ли я осложнять эти отношения — это зависит от того, столкнутся ли с французами хозяева прирейнской и рурской про-

мышленности. А ты вот, братец, пристаешь со своими хитроумными сцеплениями!

Каспар Прекль, по-прежнему стараясь в новых выражениях и ярких красках объяснить своему хозяину подробности проекта, вдруг задал себе вопрос — чего ради, собственно, он изощряется перед такой скотиной? Да и вообще, совершенная бессмыслица, что он остается в этой стране. Почему он не уезжает в Москву? Там ведь ему, несомненно, было бы много легче осуществить свой проект серийного автомобиля. Там нужны инженеры, нужны такие люди, как он, марксисты до мозга костей. Чего ради он старается убедить эту жирную свинью, вместо того чтобы плюнуть на все?

Прожорливые губы пухлого человека, массивно и грустно сидящего против Прекля, внезапно раскрываются, как только инженер делает в своем докладе небольшую паузу, и шеф говорит:

— Послушайте, дорогой Прекль, вы мне когда-то рассказывали о своем друге Крюгере. Видались ли вы с ним с тех пор?

Каспар Прекль знает, что г-н фон Рейндль вовсе не специально для него говорит на верхнебаварском наречии, но и сегодня, как всегда, его еще больше, чем содержание вопроса, поражает в устах Рейндля диалект. Он глядит на грузного, словно замечтавшегося человека, сидящего перед ним. Затем вспоминает слова Иоганны Крайн — на днях она снова говорила ему, что, по ее сведениям, есть всего пять человек, из которых каждый в отдельности мог бы извлечь Мартина Крюгера из тюрьмы: кардинал и архиепископ города Мюнхена, министр юстиции Кленк, руководитель крестьянской партии и тайный правитель Баварии старик Бихлер, кронпринц Максимилиан и барон Рейндль. Он, Прекль, в свое время уже просил Рейндля вступить за Крюгера. Безрезультатно. Ему совершенно неясно сейчас, к чему клонится этот вопрос. Из предосторожности он отвечает грубо:

— Не понимаю, какое отношение это имеет к моему серийному автомобилю?

Рейндль сам сейчас удивлен тем, что задал Преклю такой вопрос. Ведь он совершенно не интересуется де-

лом Крюгера. Разве Крюгер когда-то не отпустил замечания о некоем «трехпфенниговом Медичи»? Конечно, он не предполагает мстить Крюгеру за его остроту, но с какой стати «трехпфенниговому Медичи» вызывать такого человека из беды?

Но именно так и бывает всегда, когда Рейндль встречается с этим молодым человеком. Его так и подмывает задеть какую-нибудь скользкую тему.

— Я мало что понимаю в выхлопных газах, дорогой Прекль,— примирительно говорит он после короткого молчания своим высоким елейным голосом.— Но я верю вам на слово, что ваши проекты прекрасны. Только поймите: разрешение вопроса о том, стоит ли сейчас расширять производство, зависит не только от качества ваших проектов. Что касается вашего друга, господина Крюгера,— продолжал он,— то, если не ошибаюсь, вы сами уже однажды говорили со мной о нем. Я тогда не мог ответить вам ничего определенного. Жаль, что мне как раз пришлось тогда уехать в Москву. С вашими товарищами, кстати сказать, совсем нельзя вести дела, дорогой мой. Для этого нужны слишком крепкие нервы. Уж очень они большие доктринеры и так по-мужички хитры. Этим они несколько напоминают наших с вами земляков, дорогой мой.

Каспар Прекль своими глубоко запавшими пронизывающими глазами глядел в мечтательные глаза Рейндля. Он вдруг заметил, что у этого человека злой лоб, и решил ничего не говорить в защиту Крюгера. Это все равно не принесло бы пользы. Он молчал, пока вдруг снова не раздался высокий, чрезвычайно любезный голос:

— Послушайте, дорогой Прекль,— не дадите ли вы мне прочесть песколько ваших баллад?

— Откуда вы знаете о них? — вспыхнув, с досадой спросил Прекль.

Выяснилось, что г-н фон Рейндль слышал о балладах Прекля от артистки Клеры Гольц. Прекль ничего не ответил, попытался слова перевести разговор на технические вопросы, но господин фон Рейндль неожиданно властным тоном заявил, что у него больше нет времени. Даже для баллад господина Прекля,— вежливо добавил

он. Каспар Прекль подумал, что так оно, вероятно, и есть на самом деле.

Он простился коротко и грубо. Он был отчасти недоволен собой: ему следовало использовать настроение Рейндля и согласно настойчивым советам своей подруги Анни добиться хотя бы каких-нибудь практических результатов — увеличения жалованья или чего-нибудь подобного. Но еще больше злил его сам Рейндль, его барская, невозмутимая, самоуверенная наглость. Все же он не мог скрыть от себя, что при всей искусственности Рейндля за его грустной маской толстяка скрывалось что-то интересное. Баварский выговор шефа тоже располагал Прекля в его пользу. Покидая неприятно декоративный кабинет, Прекль подумал, что в случае переворота он не без некоторого сожаления прикажет повесить Пятого евангелиста к стенке.

5

FUNDAMENTUM REGNORUM¹

Доктор Кленк и доктор Флаухер вместе возвращались с выставки летательных аппаратов. Флаухер спросил своего коллегу, министра юстиции, имеет ли он сведения о поведении Крюгера в тюрьме. Да, Кленк имел сведения. Заключенный Крюгер упорен. Заключенный Крюгер ведет себя вызывающе.

— Это похоже на него! — проворчал Флаухер. — Иного от этого чужака и ожидать нельзя было! В чем, желательно знать, это вызывающее поведение выражается?

— Крюгер улыбается, — пояснил Кленк.

Флаухер выразил удивление.

— Да, — продолжал Кленк. — Мне сообщают, что Крюгер вызывающе улыбается. Администрация неоднократно предостерегала его, но отучить от этой улыбки его не удалось. Они желали бы подвергнуть его наказанию.

¹ Основа государства (лат.).

— Это похоже на него! — снова проворчал министр просвещения Флаухер, потирая где-то между шеей и воротничком.

— Я лично, — заметил Кленк, — не очень-то доверяю проникаемости моих подчиненных. Не думаю, что инкриминируемая ему улыбка сознательно вызывающая.

— Несомненно, вызывающая! — настаивал Флаухер.

— Это чересчур упрощенное объяснение, — сказал Кленк, глядя на Флаухера. — Я предложил не подвергать Крюгера взысканию за его улыбку.

— Вы заразились гнусным зудом гуманизма! — возопил Флаухер, неодобрительно косясь на долговязого костлявого коллегу.

— Я думаю, мы его еще когда-нибудь помируем, — сказал Кленк, с усмешкой в уголках глаз поглядывая на фыркавшего от злости Флаухера. — Когда-нибудь, — успокоительно добавил он, видя, что Флаухер готов вспылить. — Не сегодня и не завтра. Избавиться от него мы избавились, а ведь мы вовсе не мстительны.

С этими словами он высадил Флаухера, так как они подъехали к зданию министерства просвещения.

В приемной Кленка ожидал доктор Гейер. Адвокат опирался на палку. Он отрастил себе рыжеватую бороду. На бледном лице резко выступал его узкий нос. «Строит из себя мученика за правду», — подумал Кленк.

Кленк охотно сталкивался с ненавистным адвокатом. Гейер являлся раза три-четыре в году по таким делам, по которым министр других бы не принял. Такие беседы, по существу, практических результатов не давали. Тем не менее оба они с нетерпением ждали встречи.

На этот раз Гейер явился по делу заключенного Трибшенера. Механик, специалист по точным приборам, Гуго Трибшениер в юности, испытывая нужду, совершил какие-то преступления против собственности и в возрасте двадцати лет был приговорен к двум годам тюрьмы. Отбыв наказание, он принялся за работу, упорно стараясь восстановить свое положение. Он проявил себя как один из лучших часовых дел мастеров в своем округе. Вскоре у него в небольшом северогерманском городке, где он жил, оказалось четыре мастерских по ре-

монта часов. В другом городе он открыл также часовую мастерскую для своего отца, кормил мать и поддерживал всю семью. Но тут началась война, и часовщик Трибшпер, как и все подвергавшиеся наказанию по суду, был поставлен под надзор полиции. Постоянные явки к полицейскому комиссару, атмосфера преступности, полиция, с которой он сталкивался на всех путях своей жизни. Население в начале войны отличалось чрезвычайным пуританством. Люди рады были возможности унижить этого человека, чересчур быстро выбившегося на поверхность. Презрительное отношение общества. Коммерческий бойкот. Разорение. Перегопьяемый органами надзора из одной местности в другую, оказавшись снова на дне, он как-то приобрел у приятеля, с которым впервые столкнулся во время явок в полицию, краденые серебряные ложки. Был пойман и снова предстал перед судом. Случилось это в маленьком прусском городке. Закон давал судьям право покарать виновного лишением свободы сроком от трех месяцев до десяти лет. К несчастью Трибшнера, в числе владельцев краденых ложек находились и лица судебного звания, которые и предстали на суде перед своими карающими преступление коллегами в качестве свидетелей. Кроме того, «зуд гуманности» был не в моде во время войны. Мерой наказания суд избрал десять лет тюрьмы.

Положение заключенных во время войны было не сладко. Пища и находившихся на воле была сокращена до минимума, тем более — в тюрьме. Зато и охрана также. Трибшпер был человек ловкий — ему удалось бежать. Однако в Гамбурге полиция напала на его след и после длительной погони по крышам арестовала его. Упав во время погони, он с переломом костей попал в госпиталь. Снова бежал и снова был арестован. Газеты полны были красочных рассказов о «герое взломов и побегов». Возмущенный гамбургский суд к десяти прусским добавил еще восемь гамбургских лет тюрьмы.

10 ноября 1918 года революция разбивает двери его тюрьмы. Трибшпер приобретает инструменты, необходимые часовщику, тщетно пытается бежать через закрытую голландскую границу. Его преследуют по всей

Германии. Доведенный нуждой до отчаяния, он в эту эпоху послевоенного развала и беспорядка, когда тысячи безнаказанно делают то же самое, опять покупает какое-то краденое добро. На баварско-чешской границе он, этот знаменитый «герой взломов и побегов», попадает в руки баварских властей и приговаривается к относительно мягкому наказанию — дополнительным четырьмя годам тюрьмы.

Заработав в общей сложности двадцать два года тюрьмы, после бесконечных переводов из одного места заключения в другое и годичного пребывания в кандалах Трибшенер наконец попадает в вестфальский город Мюнстер. На этот раз счастье улыбается ему. Директору мюнстерской тюрьмы понравился спокойный и искусный заключенный. Он предоставляет ему лучшую работу. Вскоре обнаружили необычайные способности арестанта Трибшенера: он умеет пустить в ход такие часы, починить которые не берется ни один мастер во всей стране. Вскоре его камера становится наиболее популярной мастерской на сотни километров в округности. Директор с удовольствием наблюдает за своим заключенным, вскоре разрешает ему без конвоя ходить в город, закупать материал, выполнять работы. Заключенный Трибшенер ходит по городу, не обращая внимания на многочисленные возможности бежать, связанный благодарностью директору. Подбирает материал, шлифует, сгибает пружинки, пригоняет колесики. Часы на башне мюнстерского собора четыреста лет назад были разрушены анабаптистами. Вот уже четыреста лет, как стрелки их неподвижны. Арестант Трибшенер, обывателям на радость, а специалистам на удивление, пускает их снова в ход.

Соборные часы города Мюнстера наделали много шума. Этот шум проникает в печать. Печать широко разевает рот, расследует дело часовых дел мастера Трибшенера, плачется о его судьбе, восхваляет его искусство, требует его помилования. Пруссия объявляет его помилованным, Гамбург тоже.

Но предшественник Кленка не избавил человека, помилованного Пруссией и Гамбургом, от баварской кары, ибо он пожелал продемонстрировать силу баварской

юстиции. Таким образом, помилование часовщика свелось к переводу из относительно приятной тюрьмы в Мюнстере в менее приятную тюрьму в Баварии. И вот теперь Гейер, в качестве баварского защитника Трибшенера, явился к Кленку, чтобы указать ему на единодушное мнение всей страны и просить министра отменить решение его предшественника.

Кленк был очень любезен с доктором Гейером. Предложил ему особенно удобное кресло, с подчеркнутым вниманием справился о его здоровье, спросил, не слишком ли мало он бережет себя, уже сейчас принимаясь за свои дела. Гейер, от досады еще больше бледнея, ответил, что преувеличенная радость многих, по-видимому, не вполне соответствует незначительности происшедшего с ним несчастья. Кленк в ответ своим могучим голосом заметил, что — да, злорадство сладостная вещь, и тут же спросил, разрешит ли ему господин депутат позавтракать в его присутствии. После чего он приказал дежурившему в приемной слуге принести ливерные сосиски и его любимое шерри. Адвокат довольно резко отказался принять участие в завтраке.

Что касается дела часовщика Трибшенера, то прежде всего министр юстиции высказал несколько общих замечаний, не без иронических выпадов по поводу теорий адвоката Гейера. Лично он, — сказал Кленк, — сожалеет, когда симпатичного самого по себе человека приходится из политико-юридических соображений держать в тюрьме. Впрочем, ведь тот баварский приговор довольно мягок. Кроме того, никто не может знать, пошло ли бы Трибшенеру на пользу пребывание на свободе. Абстрактные аргументы вроде приведенных Гейером суждений прессы, что здесь, мол, имеет место типичный случай, подлежащий помилованию, на него, Кленка, не производили сильного впечатления. Он дал распоряжение возможно лучше обращаться с Трибшенером. Ему лично, как он уже сказал, этот человек даже нравится. Он предполагает дать ему кое-какую работу. Починка часов мюнстерского собора — ловкая штука. Но и в одном из бывших вольных городов баварской Франконии есть башенные часы, остановившиеся еще во время Тридцатилетней войны. У него есть снимок с

этих часов. Не желает ли доктор Гейер взглянуть на него? Вот Трибшперу и будет дана возможность показать свое искусство.

Адвокат слушал молча, полный затаенного бешенства. Ему тоже пришлось видеть заключенного Трибшпера. Это был спокойный человек, худощавый, с густыми и такими светлыми волосами, что трудно было понять, белокурые они или седые. «Должно быть, седые», — подумал сейчас адвокат. Доктор Гейер понимал, что такое человечность и справедливость, но плохо понимал отдельного человека. Не было ничего невозможного в том, что Кленк прав, и это сознание наполняло адвоката бессильным бешенством. Он не ответил на самоуверенные речи Кленка, отстранившись от дальнейшего обсуждения вопроса почти невежливым пожатием плеч.

Кленк никак не реагировал на это и спокойно сидел, выжидая, нет ли у адвоката еще других дел к нему. И действительно, адвокат, с неимоверным усилием сжимая рукоятку палки и этим пытаясь удержать в покое нервно дергающиеся пальцы, вдруг неожиданно и как-то беспомощно спросил, имеет ли в настоящее время какие-нибудь шансы на успех просьба о помиловании доктора Крюгера? Кленк ответил задумчиво, очень вежливо, что он и сам уже задавал себе этот вопрос. Оппозиционная печать — он должен откровенно признаться в этом господину адвокату — чрезвычайно осложнила его положение в отношении этого дела. Дело сейчас так раздуто, что он, Кленк, не желал бы предпринимать что-либо без согласия на то всего кабинета министров в целом. Этот огромный костлявый человек с самодовольными карими глазами на удлиненном, гладко отполированном лице глядел с добродушной насмешкой на тщедушного, изможденного адвоката, щеки которого от еле сдерживаемой ненависти покрылись лихорадочным румянцем.

Слуга подал пухлые серовато-белые сосиски и бутылку шерри. Министр юстиции заметил, что ему, как государственному чиновнику, сказать господину депутату больше нечего, но что он охотно продолжит эту беседу просто как человек с человеком. Он просит раз-

решения переодеться. В этой черной штучке он чувствует себя неуютно. И, скинув сюртук, он надел свою любимую суконную куртку. Затем, еще раз предложив адвокату попробовать сосиски, пил себе стакан душистого желтоватого вина, обстоятельно, не торопясь, пил трубку. Итак, он читал превосходную статью господина Гейера в «Монатсхефте». Практической пользы мало от таких абстракций и теоретических построений. Все же на охоте, утром в ванне, во время дальних поездок на автомобиле он иногда пробует так, ради спорта, теоретически осмыслить вопросы, давно уже разрешенные его совестью и интуицией. Он высосал мясо из кожур сосиски, вытер губы, медленно, с наслаждением отпил несколько глотков вина. Откровенно говоря, у него иногда бывает впечатление, что доктор Гейер своими ядовитыми формулировками метит в него, Кленка. Но эти выпады не попадают в цель. Он признает, что в его положении, живя в этой части нашей планеты, не всегда легко вынести правильное решение. Бавария — или всегерманский союз, государство — или право, право — или справедливость. Можно сказать: сколько букв, столько и проблем. Но для того чтобы разобраться в этих проблемах, ему ни к чему даже искать поддержки в католической философии права, единственной философии, которая в эту эпоху политики насилия имеет смелость не подчиняться безусловно грубой силе фактов.

Доктор Гейер, волнуясь и тяжело дыша, не мог больше усидеть на стуле. Поднявшись, он, опираясь на палку, заковылял по комнате, прислонился наконец в какой-то странной, неестественной позе к стене, словно приклеенный к ней. Не переставал есть и пить, министр продолжал спокойно и беззаботно излагать свои взгляды. Он, Кленк, с уверенностью естественного испытателя знает: то, что он делает, полезно для Баварии. Это подходит стране, это хорошо, как хороши ее леса, хороши ее люди, ее электричество, ее кожаные штаны, ее картинные галереи, ее карнавалы и пиво. Это органическая, баварская справедливость. Право и этика, как утверждает некий северогерманский философ по имени Иммануил Кант, абсолютны и безусловны. А вот он, Отто

Кленк из Мюнхена, убежден в том, что право и почва, право и климат, право и народность составляют единое и нераздельное целое. Не исключена возможность,— это он готов признать как человек, не как государственный чиновник,— что Крюгер вовсе не лжесвидетельствовал. Он вообще по многим соображениям считает сомнительным делом становиться на защиту присяги, и Крюгеру он вполне сочувствует. С точки зрения чистого правосудия, может быть, было бы правильно, если бы он, Кленк, пошел к Крюгеру и заявил ему: «Ты, Мартин Крюгер, вреден для Баварии, и я, к сожалению, принужден застрелить тебя». При существующем положении вещей он, Кленк, твердо убежден, что его баварская справедливость — лучшая, какую только можно было бы здесь применять. Он принимает на себя ответственность. Справедливость — основа государства. Но именно поэтому справедливость в каждой стране должна быть соткана из того же материала, что и сама эта страна. Он с полным убеждением и чистым сердцем представляет здесь юстицию своей страны. И в то время как доктор Гейер, отступая все дальше, почти вдавился в стену, министр закончил: пусть господин депутат не беспокоится. Он, Кленк, спит совершенно спокойно, в то время как доктор Крюгер и часовщик Трибшнер томятся за тюремными стенами.

Кленк так и сказал: «томятся»; он причмокивая слюсиску, сидя верхом на стуле в своей суконной куртке, и его веселые карие глаза доброжелательно и фамильярно глядели в толстые стекла очков, из-за которых голубые и зоркие глаза адвоката следили за каждым движением министра. Гейер, прислушивавшийся к словам, грубо и самоуверенно вырывавшимся из плотных, жующих губ высшего представителя права в этой стране, почувствовал вдруг такое отвращение и стыд, что проглотил рвавшиеся из его уст фразы. Он заметил, что не чувствует еще себя достаточно здоровым для ведения философского спора, поблагодарил господина министра юстиции за полученные разъяснения, вышел, тяжело опираясь на палку. Кленк, уже не улыбаясь, отодвинул тарелку с остатками еды и принялся за свои бумаги.

НУЖНЫ ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ

Некто Георг Дурнбахер обратился к Иоганне Крайн с просьбой произвести графологический анализ одного почерка. Иоганне этот господин показался несимпатичным. Она отказалась, сославшись на перегрузку работой. Г-н Дурнбахер настаивал. В конце концов Иоганна согласилась и составила характеристику. В осторожных выражениях она упомянула об отрицательных качествах, усмотренных ею из образца почерка, и определила писавшего как человека с чрезмерно изощренным воображением, склонного обманывать не только других, но и самого себя.

Как выяснилось затем, просьба о составлении характеристики исходила от правительственного советника Тухера. Пламенно преданный старому режиму и, следовательно, противник Крюгера и Иоганны Крайн, он и характеристику заказал не для того, чтобы действительно проанализировать свой почерк, а в целях проверки знаний Иоганны Крайн. Результат анализа, в вежливой форме характеризовавший крупного государственного чиновника как мошенника, убедил его в том, что так называемое искусство Иоганны не что иное, как шарлатанство. Советник счел необходимым возбудить против Иоганны дело о шарлатанстве. Статьи, соответствующей такому преступлению, в германском законодательстве не было. Тем не менее баварская полиция оставляла за собой право возбуждать преследование за поступки, обозначаемые этим термином. Таким образом, против Иоганны было возбуждено дело о шарлатанстве, и ей, впредь до решения суда, запрещено было заниматься графологической работой.

Когда Иоганна рассказала о случившемся доктору Гейеру, тот отнесся к ее рассказу вяло, без видимого интереса. Не раз во время беседы он снимал очки, щурился, закрывал глаза. Это дело, объяснил он, как и все относящееся к ней и Мартину Крюгеру, давно уже из области юстиции перешло в область политики. Поэтому для разрешения этих вопросов остаются лишь те пути

светских связей, о которых он ей говорил. Впрочем, он не предполагает, что ее всерьез решили преследовать. Это только предостережение: ей хотят показать, что имеют против нее оружие на тот случай, если она не будет вести себя достаточно тихо. Если она будет хорохориться, то вместо пустякового дела о шарлатанстве могут возбудить дело о лжесвидетельстве. В области, на которую распространяется власть доктора Кленка, этого бессовестного насильника (лицо Гейера болезненно передернулось), все возможно.

— Остаются, следовательно, одни «светские связи», — задумчиво резюмировала Иоганна.

Она давно уже знала наизусть список из пяти имен, составленный для нее Гейером во время его болезни. Но люди из этого списка, их лица, знакомые ей по портретам, их жизнь, их среда — все это было недостижимо для нее. Она даже не знала, как за это взяться. И только в памяти ее каждый раз снова и снова всплывало лицо присяжного Гессрейтера.

Доктор Гейер молчал. Он вновь, по на этот раз почти с досадой, почувствовал сходство между этой высокой девушкой и той, давно умершей.

— Да, — произнес он наконец, — светские связи. Довольно расплывчатый совет. Но другого дать вам не могу.

Иоганна злилась на доктора Гейера. Ей говорили, что лучшего адвоката для ее дела не пайти. Но она находила его вялым, перешительным. Она поднялась. Большая, крепкая, стояла она перед доктором Гейером, глядя на его слегка искаженное нервной гримасой лицо и рассказывая о препятствиях, которые ей чинят. Посылки Крюгеру возвращаются назад или передаются ему, когда содержимое их успевает испортиться. Разрешение видеть его она получает лишь с бесконечными трудностями. Каждый раз ее спрашивают, на каком основании она оказывает ему поддержку.

— Да, на каком основании? — хмуро улыбаясь, переспросил адвокат. — Быть может, просто по праву человеколюбия или вашей дружбы с Крюгером? Таких оснований для баварских властей недостаточно. Связь между мужчиной и женщиной, для того чтобы быть при-

знанной властями, должна быть узаконена в отделе регистрации браков.

Иоганна закусила верхнюю губу. Тонкая насмешка адвоката задела ее. Его поза, жидкая рыжеватая борода, манера щурить глаза — все это раздражало ее.

— Я обвенчаюсь с ним, — сказала она наконец.

Помолчав, адвокат заметил, что для этого придется преодолеть ряд трудностей. Точных сведений о необходимых формальностях и о тех препятствиях, которые могут ей встретиться на пути, у него нет. Иоганна попросила его немедленно и с максимальной энергией принять все необходимое.

Оставшись один, Гейер откинулся на спинку стула. Красноватые веки его были опущены. Еще резче обозначилась неприятная улыбка, обнажив крепкие желтоватые зубы. Правда, он убедил самого себя в том, что все касавшееся Эриха раз и навсегда зачеркнуто, ликвидировано. Но оно не было ликвидировано, и, возможно, было бы лучше, если бы он сказал следовательно о том злосчастном лице, которое на долю секунды мелькнуло перед ним тогда, когда его ударили и он упал.

Адвокат доктор Гейер за последнее время изменился. Он меньше старался владеть своими нервами, давал волю своему раздраженному, полному иронии красноречию. Все заботы о пище, квартире, даже заботу о своих денежных делах он предоставил экономке Агнесе. Временами его охватывала страшная усталость. Тогда он сидел с потухшим взором, опустошенный. Но обычно такие приступы быстро проходили. Тогда он снова заговаривал о том, что следовало бы бросить практику, пожалуй, даже и парламентскую деятельность, и ограничиться впредь лишь литературной работой.

Последствия ли нападения так повлияли на доктора Гейера? Нет, ведь он и раньше знал, что его деятельность не безопасна, и ожидал даже худшего. То, что вызвало в нем такую перемену, должно быть, таилось глубже. Это было новое откровение, следствие внезапно брошенного взгляда.

Это был взгляд в доверчивые глаза доктора Кленка, взгляд на его мощный жующий рот. Взгляд в душу грубо обнаженного насилия, и он произвел на доктора

Гейера потрясающее впечатление. После той беседы он надолго замкнулся в себе, и его бдительный взор погас. Он проверял, подводил итоги и убеждался, что строил на песке. Правда, он давно знал о таком положении вещей, произносил на эту тему речи, высказывал по этому поводу остроумные, глубокие мысли. Но видеть незаконные собственными глазами ему пришлось теперь впервые. Теперь он понял: какое дело ему до Крюгера, какое дело ему до часовщика Трибшенера? Все триста случаев, приведенных в его книге «История беззаконий в Баварии», как бы четко, ясно и понятно даже для глупцов ни были они отпрепарированы, не имели никакого значения. Такими простыми средствами нельзя было подорвать «национальную юстицию» доктора Кленка.

Он, Зигберт Гейер, должен бороться тем же оружием, что и Кленк. Он тоже не будет больше интересоваться судьбой отдельной личности. Сентиментальностью было с его стороны стремление помочь отдельному человеку. Самому беззаконию попытается он нанести удар.

В глубине души он знал: поедет ли он в Берлин или даже в Москву во имя своих идей — символом насилия и беззакония для него лично навсегда останется один образ: маленькие, самодовольные глазки на грубом красновато-смуглом лице, крепкий жующий рот и суконная куртка.

Адвокат весь съежился в своем неуютном кресле. Наконец усилием воли овладел собой. Кряхтя, достал связку бумаг: «История беззаконий в Баварии от заключения перемприя 1918 года до наших дней. Случай № 237».

7

ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В МЮНХЕНЕ

Иоганна Крайн стояла на трамвайной остановке в ожидании голубого вагона, который должен был отвезти ее в Швабинг, к г-ну Гессрейтеру. Был туманный и прохладный вечер. В витрине магазина она при свете дуговых фонарей увидела свое отражение: вопреки

моде, почти не напудренное и совсем не накрашенное лицо.

Кто-то прошел мимо, поклонился вежливо, безучастно. Иоганна не могла вспомнить хорошенько имя. Это было лицо, какое в те времена часто отличало представителей господствующего класса, — умное, под широким лбом чуть-чуть сонные, осторожные глаза. Лицо человека, знавшее, как подвержены моде все суждения в эту эпоху, как они неустойчивы. Обладатели таких лиц, даже если считали дело Крюгера достойным жалости и гнева, отказывались тем не менее от гнева и жалости, ибо таких дел ведь слишком много. Иоганне это было известно, она знала свет и жизнь, но понять не могла. Потому что сама она, как ни будничным становилось горе, навлекаемое на людей юстицией, находившейся в те годы в полном подчинении у политики, ощущала его не менее остро. Возмущалась, все вновь и вновь вступала в бой.

Подошел лужный ей трамвай. Она уселась в уголок, машинально предъявила кондуктору билет, задумалась. Хотя Гессрейтер и не принадлежал непосредственно к тем пяти «могущественным», которые могли извлечь Мартина из тюремной камеры, все же он был подходящим для ее дела человеком. Разве, когда в минуты упадка духа она мысленно перебирала своих многочисленных знакомых, перед ней не всплывало всегда его лицо? То лицо, которое она увидела во время своих мучительных показаний в большом, переполненном зале суда. Удивленное лицо, даже несколько глупое от удивления. Но затем все же на этом лице раскрылся маленький плотоядный рот и оградил ее от грязного вопроса прокурора.

Да, она поступила правильно, позвонив ему по телефону и приняв без церемоний перепишительное приглашение поужинать у него. Сейчас, сидя в углу вагона, она испытывала некоторое волнение. Ужин у этого странного г-на Гессрейтера был для нее чем-то вроде дебюта, вступления на новый для нее путь. До сих пор, встречаясь с людьми, она говорила с ними на деловые, специальные темы или разговаривала просто ради удовольствия. Теперь она стояла перед необходимостью так

вот, за здорово живешь, чего-то требовать от совершенно чужого человека. Рано привыкшая к самостоятельности, она не любила признаваться, что не может одна справиться с каким-нибудь делом. Неприятной штукой были эти самые светские связи. Как же они создавались? Как можно было не платить услугой за услугу? Она пускалась в путь с целью создания этих связей, словно в неведомую страну в погоне за приключениями.

Мартин Крюгер нередко говорил, что она дурно воспитана. Это было, пожалуй, правильно. Она вызвала в памяти беспорядочный уклад жизни в доме отца, у которого провела большую часть юности. Скорее она, видит бог, воспитывала этого вспыльчивого, высокоодаренного человека, чем он ее. Занятый, вопреки здравому смыслу, воплощением в жизнь идей и планов, для которых время еще не созрело, он не находил досуга для таких второстепенных вещей, как хорошие манеры. А мать... Господи боже мой! Ленивая, интересующаяся только мещанскими сплетнями, она время от времени делала вдруг судорожные попытки привить Иоганне собственные, ею самую придуманные манеры, чтобы затем так же быстро отказаться от них. Второй поздний брак ее матери с владельцем колбасной Ледерером, давший дочери повод к разрыву с ней, — послужил только на пользу Иоганне. С ужасом вспоминала она, как жила эта стареющая жепщина, вспоминала ее вечные знакомства с бесчисленными любительницами сплетен, ее склоки, праздность, ее «дела», ее жалобы. Нет, многому у нее научиться нельзя было. О воспитании тут трудно было говорить.

Иоганна поглядела на ногти своей широкой, грубоватой руки. Ногти были не очень-то холеные. Однажды она предоставила с большой неохотой свои руки в распоряжение маникюрши. Ей было противно позволить постороннему человеку подрезать, подтачивать, красить ее ногти. Все же им не следовало быть такими грубыми и четырехугольными.

Она доехала до пужной ей остановки, прошла еще несколько минут пешком по плохо освещенным улицам. Но вот и дом г-на Гессрейтера, укрывшийся за каменной

оградой и старыми каштанами на краю Английского сада. Низкое старомодное здание, должно быть построенное каким-нибудь придворным в конце восемнадцатого века. Слуга провел ее по запутанным коридорам. Подчеркнуто старомодный по своей архитектуре, дом в то же время был снабжен всеми современными удобствами. Своеобразное здание показалось Иоганне немного странным и в то же время приятным.

Господин Гессрейтер встретил гостью сердечно и многословно, крепко пожимая ей руки. В роли хозяина он казался еще представительнее и изящнее. Он подходил к своему дому, как рак к своей скорлупе. Этот человек с мясистым лицом, лукаво и томно глядя на нее карими глазами, сообщил, что у него есть для нее сюрприз. Но прежде всего нужно поужинать.

Он непринужденно болтал, вплетая в свою речь дурашливые, любезные шутки. Он говорил на том же диалекте, что и она, употреблял те же слова. Они хорошо понимали друг друга. Он рассказывал о своем керамическом заводе и о том, что не вполне удовлетворен им. Прекрасно было бы производить одни лишь предметы искусства. Но люди не хотят этого, не дают человеку проявить свою волю. Вообще слава Мюнхена как города искусств — сплошное надувательство. Как, например, они опять обезобразили Галерею полководцев! Он все время жаждал узнать, что скрывается за лесами, заслонявшими заднюю стену. Теперь все открылось: ее убрали отвратительными желтыми жестяными щитами, украшенными железными крестами, — на каждую «утраченную во время войны область» по щиту. А на щиты навесили пестрые венки. словно мало им было изуродовать прекрасное строение важно выступающими львами и Памятником армии! Он добрый мюнхенец, но с этим варварством он не может согласиться. Сейчас, например, он носит с планом, — хотя в деловом отношении это никаких выгод не сулит, — организовать на своем заводе выпуск ряда очень оригинальных вещей работы молодого, никому еще не ведомого скульптора. В числе других — серию «Бой быков». Несколько позднее он в разговоре коснулся и процесса Крюгера. Оказалось, что во время процесса он уловил и тщательно запомнил ряд

мелких, не замеченных ею черточек, которые теперь мог привести ей, словно демонстрируя их сквозь увеличительное стекло.

В конце ужина, составленного г-ном Гессрейтером с умением зпатока, хозяина срочно вызвали к телефону. Он вернулся несколько смущенный. Одна милая и пользующаяся его большим уважением приятельница, как сообщил он Иоганне, предполагает еще сегодня приехать к нему с компанией друзей. Этой даме, проводящей сейчас большую часть времени в своем поместье на берегу Штарпбергского озера, он обещал сюрприз — тот же самый, что и Иоганне. Зовут эту даму — г-жа фон Радольная. Он надеется, что фрейлейн Крайн ничего не будет иметь против этих новых гостей. Иоганна, не колеблясь, ответила, что охотно готова остаться. Она поглядела на г-на Гессрейтера, нашла, что наступило время подойти к цели, не стесняясь рассказала ему о своем намерении завязать и использовать светские связи. Г-н Гессрейтер, сразу увлекшись, замахал руками, словно загребая ими воздух. Светские связи? Замечательно! Для этого он самый подходящий человек! Он рад, что она пришла к нему. Очень удачно, что он сейчас может познакомить ее с г-жой фон Радольной. Дело Крюгера находится в таком положении, при котором можно всем сердцем и умом принять в нем участие. Оно, если можно так выразиться, из области политической игры перешло в область человеческую.

Он все еще рассуждал на эту тему, когда появилась г-жа фон Радольная со своей компанией. Пышная, спокойная, уверенная в себе, она словно заполнила собой комнату. Без сомнения, она всегда и всюду сразу оказывалась неоспоримым центром внимания. То, как она несколько холодно, не стесняясь, испытующе оглядела Иоганну, не показалось девушке обидным. Катарина со своей стороны, с удовольствием отметив впечатление, произведенное ею на Иоганну, осталась довольна и усеялась около нее. Она знала, как тяжело было завоевать себе место в этом большом и опасном мире. Она вышла из низов, создала себе положение, чувствовала себя уверенно, но далось ей это нелегко, и до сих пор она всегда радовалась, если смелая женщина не давала сломить

себя. Она, разумеется, всей душой и безоговорочно сочувствовала методам, применяемым господствующим классом. Однако, завоевав себе положение, она умела, сталкиваясь непосредственно с частным случаем, проявлять терпимость с такой же простотой и естественностью, с какой была нетерпима, когда дело касалось общих положений. С интересом и полным пониманием слушала она историю трудного детства Иоганны, ее разрыва с матерью, ее работы, связи с Мартином Крюгером. Обе женщины — широколицая, с решительными серыми глазами, и пышная, с медно-красными волосами и сытым, многоопытным взглядом, — казались такими дружными, так медлительно и уверенно обменивались произносимыми протяжно, по-баварски словами, что склонный к оптимизму Гессрейтер уже не сомневался в конечном успехе Иоганны.

Постепенно, не упуская при этом ни одного слова г-жи фон Радольной, Иоганна присматривалась и к остальным гостям. Человек с добродушным, изрезанным жесткими складками лицом, походивший на крестьянина в смокинге, — это, значит, и есть художник Грейдерер. Испещренная рубцами, мопсообразная физиономия писателя Маттеи была ей знакома по иллюстрированным журналам. Розовощекий господин в пенсне, с седеющей бородой, — конечно, доктор Пфистерер, также писатель, а старик, с азартом в чем-то убеждавший его, — тайный советник, профессор Каленеггер. Хотя и склонный иногда к другим выводам, Пфистерер слушал его внимательно, почти благоговейно. Чрезвычайно интересно было наблюдать, как тайный советник все законы естествознания сводил исключительно к истории города Мюнхена, с маниакальным упорством отказываясь признавать значение таких фактов, как самодурство коронованных особ, рост транспорта, изменения в области хозяйства. Семь основных биологических принципов установил он, семь основных типов, на свойствах которых он строил историю города Мюнхена. Иоганна вновь и вновь поглядывала в сторону сухощавого старика с огромным горбатым носом, с трудом извлекавшего из самой глубины горла закругленные, готовые к печати фразы.

Каленеггер как-то внезапно умолк. В комнате неожиданно стало совсем тихо. Среди общего молчания г-н Гессрейтер, заявив, что теперь он наконец покажет им обещанный сюрприз, повел сгорающих от любопытства гостей в небольшой, увешанный картинами кабинет и зажег там свет. На одной из ровных серых стен, среди немногих других картин, гости увидели автопортрет Анны-Элизабет Гайдер. Рассеянный и в то же время напряженный взгляд умершей девушки был устремлен в продуманно и красиво освещенную комнату, на картину, висевшую на противоположной стене, в сочных тонах изображавшую верхнебаварский крестьянский дом. Не слишком стройная шея была как-то трогательно-беспомощно вытянута. Грудь и бедра расплывались в беловатом нежном тумане.

Охваченная двойственным чувством, стояла Иоганна перед портретом. Вот она, эта картина, причина стольких осложнений, всегда вызывавшая в ней неприязненное чувство. Спокойная, наивная и отталкивающая, висела она на стене. Стоявший около картины г-н Гессрейтер с добродушной и торжествующей улыбкой указывал на свое приобретение. Что, собственно, хотел доказать этот странный человек? Для чего он приобрел эту картину? Зачем он показывал ее сейчас? Иоганна переводила вопросительный взгляд с картины на г-на Гессрейтера и с г-на Гессрейтера опять на картину. Мысли ее заработали лихорадочно и поспешно, но она не могла прийти к определенному выводу. Долго молча стояла она перед портретом. Остальные гости тоже были смущены. Г-жа фон Радольная, подняв брови, глядела на вызвавшее столько шума и разговоров полотно. Она умела чувствовать искусство и отнюдь не была склонна безоговорочно подчиняться мнению газет. Но от портрета веяло чем-то неприличным, запретным — это было неоспоримо! У нее на такие вещи было безошибочное чутье. Несмотря на это, или, может быть, именно поэтому, картина представляла собой значительную ценность. Но следовало ли человеку с таким видным положением в мюнхенском обществе, как Пауль, именно сейчас приобретать такую картину? Это вызовет неудобство. Точно он специально хотел сказать: «а все-

таки» или «именно поэтому»! Точка зрения, понятная ей, как баварке, но не вызывающая к ней сочувствия.

Заговорил только Грейдерер. Он громко и грубовато-доброжелательно стозвался о картине. Старик Каленеггер безучастно сидел в своем кресле. Это не относилось к его специальности. Он сразу словно погас, казался бесконечно старым, почти древним. Равнодушное, лишенное настоящего понимания одобрение г-на Пфистерера не вылилось в слова. В конце концов умолк и художник Грейдерер. Около минуты длилось молчание. Слышше было только тяжелое дыхание обоих писателей. Все с каким-то любопытством искоса поглядывали на Иоганну Крайп, смутно ощущая, что в самом факте присутствия девушки в этом кабинете, перед этим портретом таится какая-то скользкая двусмысленность. С полного лица г-на Гессрейтера медленно исчезало выражение добродушной гордости. Его щеки обвисли, создавая впечатление беспомощности.

Внезапно среди царившей в компате тишины раздался злобный, ворчливый голос доктора Маттеи. Все это черт знает какая пакость, — заявил он. Даже и противники, по его словам, не осмеливаются отрицать способностей баварцев в области изобразительных искусств. Баварское барокко, баварское рококо, мюнхенская школа ваятелей, возглавляемая вейльгеймцем Крumpером. Готика Иерга Гангхофера или Мелескирхнера. Братья Азам. А также — разумеется! — классика эпохи Людвига I. Это законченно, прилично, исконно. А поверх всего этого теперь готовы посадить этакий вздор, такую дрянь. Черт знает какая пакость!

Все чувствовали, что эти грубые слова вырываются прямо из глубины души доктора Маттеи. Все присутствовавшие баварцы понимали писателя, из уст которого они привыкли слышать только желчные выпады, понимали его любовь к их родному краю. После своей вспышки писатель Маттеи с некоторым смущением, но злобно и упрямо уставился в пространство. Писатель Пфистерер покачал головой, успокоительно приговаривая: «Ну, ну». Г-н Гессрейтер в мучительной растерянности поглаживал выхоленные бакенбарды. Он подумал

о предметах, производимых его керамическим заводом: о бородатых гномах и гигантских мухоморах, особенно охотно выпускаемых его мастерами. Он натянуто улыбнулся, делая вид, что принимает злые слова доктора Маттеи за остроумную шутку.

Всем было приятно, когда в это тягостное мгновение в комнату вошел г-н Пфаундлер. Этот крупнейший представитель «увеселительной промышленности» был приглашен сюда г-жой фон Радольной. Он привез с собой также русскую даму, о которой уже несколько месяцев кричал на всех перекрестках. Пфаундлер представил ее гостям: Ольга Инсарова. И произнес это имя так, словно оно было известно на всем земном шаре. Дама оказалась просто худенькой, хрупкой женщиной с подвижным лицом, приятными, несколько искусственными движениями и скользящим взглядом слегка раскосых глаз. Доктор Маттеи сразу же обратил на нее свое благосклонное внимание, заявив, что живая танцовщица ему милей мертвой художницы, и все, вздохнув с облегчением, вернулись в библиотеку.

Иоганна с удивлением увидела, с какой безудержной жадностью доктор Маттеи завладел русской танцовщицей. Неуклюжему человеку с грубым, исполосованным шрамами лицом нелегко было противостоять гибкому юмору маленькой женщины, которая ловко ставила его в тупик и много смеялась, показывая влажные мелкие зубы. Миловидная молодая особа обнаруживала втрое больше остроумия, чем он, и безжалостно издевалась над своим собеседником.

— Ну, теперь Маттеи — конец! — добродушно констатировал Пфистерер.

Г-жа фон Радольная и Иоганна уже не разговаривали. Все наблюдали за беспомощными попытками доктора Маттеи парировать сыпавшиеся на него удары. Тот попытался увильнуть, перевести разговор в более привычную для него плоскость, неожиданно накинудся на Пфистерера, сделав резкий и убедительный выпад против розового оптимизма популярного писателя. Постарался задеть его за живое. Пфистерер, снискавший себе большую славу, никогда не мог понять, почему некоторые литераторы, чьи таланты он признавал всей душой,

никак не хотели считаться с его солнечным мирозерцанием, и добродушного человека это мучило, кололо в самое сердце. Почему ему отказывали в праве нести в народ свои утверждающие жизнь рассказы, доставлять свет и радость всюду — от королевского дворца до избушки углекопа? Он старался понять своих противников, уяснить себе их точку зрения. Но прямота и честность были здесь не к месту. Грубость, с которой доктор Маттеи нападал на него, граничила с подлостью. Лицо Пфистерера налилось кровью. Крепкие, плотные, стояли друг против друга оба писателя, рыча, словно разъяренные звери. Инсарова улыбалась, с любопытством, чуть насмешливо, с мальчишеским озорством облизывала язычком уголки губ. Но Иоганна со свойственной ей ровной сдержанностью вступилась за Пфистерера, и он быстро овладел собой. Его возмущение превратилось в грусть. Энергично тряс золотистой кудрявой головой, протирая запотевшие стекла пенсне, он стал жаловаться на злобные, разрушительные инстинкты некоторых людей.

В то время как Маттеи снова обернулся к бойкой русской танцовщице и с явным удовольствием уставился на нее своими крохотными, злобными глазками, Пфистерер подсел к Иоганне Крайн. Эта крепкая, добрая баварская девушка походила на героев его книг — такая же жизнерадостная, сердечная. Иоганна тоже чувствовала себя с ним приятно. Реальная жизнь, конечно, была совсем иной, чем в его книгах, и без золотого обреза. Но Иоганне было понятно, что многие люди заполняли свой досуг такими книгами, что горы казались им такими же лакированными, а горцы — такими же суровыми и честными, какими они казались Пфистереру. Она и сама не раз с удовольствием читала романы Пфистерера. Несомненно, с ним считались, к нему благоволили при всех германских дворах. Он, наверно, мог быть ей полезен. Она заговорила с ним о деле Крюгера. Постаралась разъяснить ему, осторожно, по возможности все смягчая, что здесь имел место произвол. Он, ничего не понимая, тряс своей большой золотокудрой головой. Он был поклонником старых, устойчивых форм; глубоко сожалел о революции. Слава богу, его родные баварцы были на

правильном пути восстановления старого порядка. Немножко доброй воли — и все образуется к общему удовольствию. Тому, что она рассказывает о какой-то печальной судебной ошибке, он — пусть она не сердится — с трудом может поверить. Он был очень любезен, полон сочувствия, задумчиво покачивал лохматой головой. Не следует так вот сразу объявлять своего ближнего негодяем. Недоразумения. Ошибки. Он займется этим делом. Прежде всего обсудит эту историю с кронпринцем Максимилианом, с этим чудесным, великодушнейшим человеком.

Господин Пфаундлер рассказал, что кронпринц зимой проведет некоторое время в Гармиш-Партенкирхене. Все едут в Гармиш. Агитация, проведенная им, Пфаундлером, в пользу этого курорта, приносит плоды. Увеселительное заведение «Пудреница», которое он собирается там открыть, не оставляет желать лучшего. Художники — господин Грейдерер и молодой автор скульптурной серии «Бой быков» — превзошли самих себя. Искусство восемнадцатого века — и при этом уютно! Облицовочные плитки с керамического завода господина Гессрейтера — прямо изумительны! Впервые в Германии в «Пудренице» выступит Инсарова. Г-н Пфаундлер говорил тягуче, негромко, но мышинные глазки под шишковатым лбом поблескивали такой фанатической убежденностью, что это придавало особенную силу его словам. Назвав имя танцовщицы, он поклонился ей — слегка, небрежно, по-хозяйски беззастенчиво, отчего ее лицо мгновенно утратило свою озорную живость, побледнело и увяло. Да, — закончил Пфаундлер, — Гармиш в эту зиму будет европейским центром.

Иоганна подумала, что и в ее интересах, вероятно, было бы отправиться в Гармиш. Светский зимний курорт. До сих пор такие штуки были ей безразличны, пожалуй, даже противны. Она поглядела на свои четырехугольные, отнюдь не холеные ногти. Люди, занятые работой, люди с осмысленным существованием там не к месту. Кроме того, это стоит, должно быть, кучу денег, а она из-за запрещения заниматься своей работой и так скоро сядет на мель.

Гости стали прощаться. Когда Иоганна, в отличие от остальных, собралась идти пешком, г-н Гессрейтер настоял на том, чтобы проводить ее. Гордо шагал он рядом с ней. Она произвела впечатление, продвинула свое дело. Он рассматривал это как свой личный успех. Весь он, грузный, с плавными движениями, был воплощенной уверенностью в будущем. Иоганна насмешливо и скептически на девять десятых убавила его надежды, но, готовая удовлетвориться и одной десятой, весело шла рядом с ним. Его массивность казалась ей неплохой защитой.

Во время довольно долгого пути он, болтая о всевозможных посторонних вещах, перешел наконец, после бесконечных словесных маневров, к вопросу об идиотском запрещении, наложенном на ее профессию. Заметил, что это, должно быть, создает для нее материальные затруднения. Он полагает, что без особой необходимости человек, очевидно, не станет анализировать мазню всякого там шута горохового. Вспомнив резкие и ясные фразы Жака Тьюверлена и наслаждаясь медлительным и осторожным негодованием своего спутника, Иоганна, немного помолчав, ответила, что — да, покупать картины, как это делает г-н Гессрейтер, ей не по средствам. Затем, без видимой связи, добавила, что во время рассказа г-на Пфаундлера у нее мелькнула мысль о поездке зимой в Гармиш. Г-н Гессрейтер выразил бурное одобрение. Гармиш! Это чудесная мысль! Там она может в непринужденной обстановке завязать любые связи, все люди там приветливы и хорошо настроены. Разумеется, ей следует ехать в Гармиш. Пусть она своевременно сообщит ему, когда поедет. Для него будет страшным разочарованием, если она не позволит ему быть ей там полезным. Она может на него положиться: он выполнит все, что она доверит ему, наилучшим образом. При словах «выполнит наилучшим образом» Иоганна слегка вздрогнула, как вздрогнула и тогда, когда он в нужную минуту заговорил о деньгах. Они подошли к ее дверям, и он остановился, держа крепкую руку Иоганны с квадратными ногтями в своей пухлой холеной руке, дружелюбно и настойчиво глядя поддер-

нутыми поволокой глазами в ее широкое, простодушное лицо.

Укладываясь спать, Иоганна улыбалась. С улыбкой вспоминала старомодные, приятные манеры фабриканта Пауля Гессрейтера, пыталась изобразить, как он широко, словно загребая воздух, размахивает руками. Окончательно решила ехать в Гармиш. Заснула, улыбаясь.

8

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ К ДЕЛУ КРЮГЕРА

Жак Тюверлен диктовал своей аккуратненькой, чистенькой секретарше очерк, посвященный делу Крюгера. Одетый в одноцветный свободный домашний костюм, он развешенной походкой прохаживался взад и вперед по комнате.

«Мартин Крюгер,— диктовал он,— не по душе правительству. У него взгляды, стоящие в противоречии с характером населения и с методами управления страной. Его взгляды на искусство также противоречат нравам и обычаям, милым сердцу консервативного горного племени, населяющего Баварскую возвышенность. То, что эти нравы и обычаи не соответствуют нравам и обычаям остальной Европы, что они основаны на условиях жизни далекого прошлого и потребностях мелких селений или отдельных дворов, патриархальны и поэтому нелогичны и нелепы,— не играет никакой роли. Тот факт, что Крюгер в своей области претворял в действие взгляды, соответствующие более широким и быстрым темпам развития, в то время как кругом культивировались узкие и ограниченные взгляды и формы жизни, все это, разумеется, дает правительству этой косной страны право отделаться от человека с неудобными воззрениями, как от преступника».

Из громкоговорителя неслись пронзительные звуки какого-то танца. Приятельница Тюверлена по телефону упрекала его за то, что он заставил ее ждать в ресторане. Он действительно совершенно забыл о ней, но свалил всю вину на свою секретаршу, хотя та и была

неповинна, так как Тюверлен ничего не сказал ей. Курьер издательства настойчиво требовал корректуру. Он не соглашался уйти: ему было приказано не уходить, не получив гранок. Жак Тюверлен любил шум во время работы. Секретарша терпеливо ждала. Он продолжал диктовать:

«Лучший, более деловой суд назвал бы действительные причины, на основании которых человек признается общественно вредным и, следовательно, подлежащим устранению. Человек поместил в народной картинной галерее произведения искусства, которые данному народу неприятны; его следует устранить и ради устрашения других — покарать. Но почему, — и это ложится пятном на баварский суд, — почему карать его не за помещение в галерее хороших картин, а за мнимую связь с женщиной, за ложную присягу, им не принесенную? Почему министр юстиции не заявит прямо и решительно: «Ты нам вреден, ты нам неприятен, ты должен убраться, тебя нужно уничтожить или, по меньшей мере, изолировать»?»

Пришел портной примерить новый смокинг. Курьер издательства ждал. Громкоговоритель хрипел и заливался. Из магазина спортивных принадлежностей звонили, сообщая о получении новых лыж.

«Несомненно, — продолжал диктовать Тюверлен, в то время как портной, с помощью булавок и мела, орудовал вокруг его широких плеч и узких бедер, — на Крюгера падает гораздо большая вина, чем на баварское правительство. Как человек образованный, он должен был знать, что совершает святотатство, приобретая для пылепешней Баварии настоящие произведения искусства. Кроме того, ему следовало знать, что, согласно изречению одного истинного мудреца, умный человек поспешно удирает за границу, если его обвиняют в том, что он спрятал к себе в карман Луврский музей. Тем поспешнее следовало ему удрать, если баварский суд обвинил его в том, что несколько лет назад он спал с женщиной, а затем отрицал этот факт. Итак, Крюгера защищать ни к чему. Все же остается только удивляться до комизма хитроумным приемам баварских юристов. Даже если допустить, что нельзя было устранить Крю-

гера, основываясь на настоящих причинах недовольства им, то разве не было бы все же приличнее обвинить его в преступлении из той же области, что и совершенное им, то есть в нарушении обычаев? Но кто же возьмется всерьез утверждать, что обладать женщиной, а затем под присягой отрицать это — поступок, не вполне согласный с местными обычаями?»

Таковы были основные тезисы очерка, которые писатель Жак Тюверлен, прохаживаясь взад и вперед по комнате и давая мимикой указания совершенно отчаявшемуся портному, диктовал секретарше. Он отпустил курьера, заказал по телефону в магазине лыжи, сговорился с обиженной приятельницей о встрече и отправил тезисы своей статьи Иоганне Крайн.

Пробежав глазами эти тезисы, Иоганна потемнела от гнева. Она не подумала о том, что трезвый, деловой Тюверлен, случись с ним нечто подобное тому, что случилось с Крюгером, главную вину стал бы искать в самом себе. Она не поняла, что Тюверлен написал эту статью, чтобы уяснить самому себе свое сложное отношение к этому вопросу, чтобы оправдать себя перед ней и перед самим собой. Статья показалась ей просто циничным издевательством над той борьбой, которую она вела за правое дело. Накануне она обещала Тюверлену встретиться с ним на следующий день. Теперь она решила отказаться от этой встречи, раз навсегда порвать с ним. Но, уже сняв телефонную трубку, Иоганна перерешила: она объяснится с ним начистоту.

На следующее утро у нее была встреча с Гейером. Она рассказала ему о вечере у Гессрейтера, о знакомстве с г-жой фон Радольной, о своем намерении ехать в Гармиш.

— Хорошо, — сказал доктор Гейер. — Это очень хорошо. Светские связи, как я вам говорил. К людям нужно подходить, применяя их собственные средства. Грызться с ними не стоит, так как у них зубы более крепкие.

Иоганне показалось, что адвокат отделяется общими фразами, словно дело Крюгера перестало его интересовать. Он сидел, закрыв глаза под стеклами очков. Иоганна закусила верхнюю губу, обозлилась. Тювер-

лен, адвокат... Серьезно делом Крюгера, по-видимому, интересовались только нищие духом. И вдруг Гейер сказал:

— Министр юстиции имперского правительства Гейнродт зимой поедет на две недели отдыхать в Гармиш. Если я напишу ему, он примет вас.

Он старался захватить ее своим прежним сосредоточенным взглядом. Но она не дала себя обмануть; взгляд лишь скользнул по ней.

Вечером следующего дня она ужинала с Жаком Тюверленом в ресторане Пфаундлера. Тюверлена удивил ее гнев по поводу его статьи.

— Само собой разумеется, что я стараюсь помочь вам, но это не мешает мне говорить то, что есть. Ведь только полезно видеть все в совершенно ясном свете. Кстати, я недавно имел случай познакомиться с министром Кленком. Необычайно симпатичный человек.

— Он защищает самое неправое дело в мире! — проговорила побледневшими губами, гневно глядя на него, Иоганна.

— Ну и что же? — спросил Тюверлен. — Случается, что хорошие люди защищают неправое дело.

— Надоели мне ваши афоризмы! — резко оборвала его Иоганна, бросая на стол салфетку.

Ноздри ее тупого носа вздрагивали. Удивительно, какие тонкие подвижные ноздри могут быть у такого вот тупого носа. Эта женщина правилась Тюверлену до чрезвычайности.

— Когда вы говорите, кажется, словно хватасья за осколки стекла! — продолжала Иоганна. — Вы хуже баварских судов!

Она встала, не кончив есть. Жак Тюверлен также поднялся и спросил, когда он снова увидит ее.

— Я уезжаю на несколько недель в Гармиш, — сказала Иоганна.

— Какое удачное совпадение, — заметил Тюверлен. — Я также намеревался скоро поехать в Гармиш.

Он проводил ее до выхода из ресторана, потом вернулся к своему столу и кончил ужин.

СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ ЖЕНИХ

Над рабочим столом заключенного Мартина Крюгера висел стенной календарь; выше, над ним — распятие, примитивная фабричная подделка под некоторые среднегерманские изображения Распятого, относившиеся к пятнадцатому веку. За этим столом большую часть дня сидел на табурете Мартин Крюгер, с серым лицом и руками, потрескавшимися от постоянного смывания с них клея. Нарезанная бумага, горшок с клеем, фальцовка, шаблон для сгибания дна. Заключенный Крюгер сидел так с утра до обеденного перерыва, затем до прогулки, затем до вечера. Он намазывал клей, вклеивал подкладку, сгибал дно, заканчивал кулек.

Поднимая глаза, он видел на высоте двух метров над каменным полом маленькое оконце, а за ним — пять вертикальных и два горизонтальных прута. Под окном на полке — несколько эмалированных сосудов: умывальный таз, мыльница, кувшин, кружка. Время от времени он вставал, прохаживался взад и вперед по тесному пространству камеры — четыре метра в длину, два в ширину. Два железных засова и очень крепкий замок запирали плотную дубовую дверь. Голые стены были окрашены в светло-зеленый цвет,верху — выбелены. Он знал наизусть все малейшие полосы, оставленные кистью; следы двух вытасненных гвоздей были замазаны краской. Рядом с полкой, на картоне, оклеенном белой бумагой, было написано: «Мартин Крюгер, № 2478 по реестровой книге, 3 года». Кроме того, здесь была также помечена дата начала отбывания наказания и конечный срок его. Затем еще: «Учинение ложной присяги, § 153». В углу стояла белая кадка для отправления естественных потребностей и, что совсем удивительно, висел градусник. Для письма — аспидная доска и грифель. В бумаге и чернилах ему пока было отказано.

Все вновь и вновь перелистывал он четыре брошюры, висевшие в углу камеры на нитке, пропущенной через продырявленные углы: книжка о борьбе с туберкулезом и алкоголизмом, книжка о страховании на случай смерти и потери трудоспособности, вдвойне нелепая

в период инфляции книжка «О способах сбережения» и брошюра в черной обложке «Правила для заключенных».

Давно уже знал он все, что запрещено. Знал, что во втором абзаце главы о дисциплинарных наказаниях выпала буква, а на вклеенном дополнении о прогрессивной шкале наказаний было большое бурое пятно. Он знал наизусть каждую букву, вместе с сеткой бумаги, на которой она была напечатана. Запрещалось выглядывать в окно, сноситься с другими заключенными путем разговора, переписки или знаков. Запрещалось меняться, принимать или раздавать подарки. Запрещалось разговаривать с надзирателями, петь, свистеть и вообще производить шум. За каждое нарушение правил грозили определенные кары: уменьшение пищевого пайка, лишение койки, заключение в железную клетку, темный карцер.

В дополнении приводились выдержки из министерских циркуляров, касавшихся «прогрессивной шкалы наказаний». При хорошем поведении заключенные через определенный промежуток времени могли быть переведены на «ступень вторую». На ступени второй разрешалось получать газету и даже разговаривать во время прогулки по двору.

Посетителей Мартину Крюгеру разрешено было принимать раз в три месяца. Допущение свидания с лицами, не состоявшими с ним в родстве, как, например, с Иоганной Крайн и Каспаром Преклем, нужно было считать проявлением особой снисходительности властей, и Крюгер с жадностью считал дни, отделявшие его от следующей встречи с Иоганной и Преклем. Свидание длилось пятнадцать минут. Между посетителями и заключенным была решетка.

Письма Крюгеру на ступени первой разрешалось получать и писать раз в два месяца, на ступени второй — раз в месяц. Все письма проходили цензуру. За недозволенные сообщения налагались строгие взыскания. Нередко заключенному сообщали лишь имя и адрес отправителя адресованного ему письма. Самое письмо, содержание которого оставалось арестованному неизвестным, подшивалось к делу.

Однажды Мартин Крюгер попросил разрешения явиться к директору тюрьмы. Он стоял в коридоре с другими заключенными, выстроившимися в два ряда. Надзиратель ощупал его, чтобы удостовериться, нет ли при нем каких-либо инструментов или холодного оружия. Крюгер вошел в кабинет директора и согласно правилам назвал свое имя и номер.

— Что вам угодно? — спросил директор, маленький подвижный человек в пенсне, с высохшим пронырливым лицом и щетинистыми усиками. Его звали Фертч. Он состоял в чине обер-регирунгсрата, получал содержание по двенадцатому разряду и находился в таком возрасте, что ему для завершения карьеры оставалось всего несколько лет. В течение этих немногих лет должен был решиться вопрос, добьется ли он чего-нибудь в жизни. Он мечтал получить чин министриальрата, получить оклад по тринадцатому, высшему, разряду и затем уйти на пенсию с производством в министриальдиректоры.

Об окладе министриальдиректора, персональном окладе, выходящем за пределы каких бы то ни было разрядов, он и мечтать не смел. Остаться же тем, чем он был, — остаться обер-регирунгсратом, — это представлялось ему концом всего, концом бесславным и безрадостным. Его жизнь прожита напрасно, если ему суждено остаться обер-регирунгсратом. Итак, он жаждал сделать карьеру, ждал с каждым днем все более нетерпеливо, высматривал возможность показать себя, вечно был настороже. Его губы постоянно шевелились, отдельные торчавшие вокруг них волоски вздрагивали, придавая его физиономии какое-то сходство с кроликом.

— Итак, что вам угодно? — спросил он.

Он был полон любопытства и в то же время недоверия, особенно по отношению к этому субъекту номер две тысячи четыреста семьдесят восемь, этому пресловутому Крюгеру. Мартин Крюгер желал получить разрешение на выписку книг.

— Вам, вероятно, недостаточно книг тюремной библиотеки? — спросил директор.

Губы, обросшие колючими волосками, вздрагивали, и вместе с ними вздрагивали волоски, торчавшие из маленького носа. Директор был хитер. Его «пансио-

неры» применяли множество уловок, это было в порядке вещей, но он все-таки оказывался всегда хитрее их. Посылка книг неоднократно служила предлогом для того, чтобы передать арестованному либо получить от него контрабандным путем какие-нибудь сообщения. Приходилось тщательно просматривать книги, чтобы убедиться, не скрыто ли в переплете и не спрятано ли между двумя склеенными страницами какое-нибудь письмо. Это было весьма затруднительно.

— Нет ли у вас еще каких-либо желаний? — спросил Фертч.

Он любил едко и весело подшутить над своими «пансионерами».

— Есть, несколько, — ответил Крюгер.

— Скажите-ка, милый мой, — с подчеркнутым благодушием спросил Фертч, — вы не пробовали задать себе вопрос, в каком, собственно, качестве вы здесь находитесь: в качестве ли ученого литератора или отбывающего наказание арестанта?

Такая просьба со стороны заключенного ступени первой, по мнению Фертча, граничила с цинизмом. Он, Фертч, еще должен обдумать, не следует ли за такую наглость наложить взыскание. Отдает ли себе г-н Крюгер отчет, что в таком случае будет исключена всякая возможность сокращения наложенного на него по суду наказания?

Крюгер, несмотря на многократные замечания, вызывающе улыбаясь, поправил его:

— Я рассчитываю не на «сокращение наказания», милостивый государь. Я рассчитываю на оправдание и реабилитацию.

На эти непонятно дерзкие слова и особенно на это «милостивый государь» человек с кроличьей мордочкой не нашелся что ответить.

— Марш! — скомандовал он, глотая слюну.

Широкая, слегка сутулая серо-коричневая спина Крюгера медленно скрылась за дверью.

Удивительно, что после этого случая Крюгер не был наказан и даже, после посещения какого-то инспектирующего важного чиновника, был продвинут на ступень

вторую. Казалось, действовали какие-то влияния, стремившиеся смягчить приводимое в исполнение наказание, но тут же они сталкивались с другими, более суровыми течениями. Ходили слухи, что министр юстиции не стремится к особо суровому содержанию заключенного, но зато желает этого — не имеющий, правда, к делу прямого касательства — министр просвещения доктор Флаухер. Директор тюрьмы Фертч внимательно ловил всякий памак, чтобы прислужиться к членам кабинета, словно собака, во время хозяйской трапезы следящая за движениями своего господина из опасения упустить могущий выпасть на ее долю кусочек.

На ступени второй Крюгеру разрешили во время ежедневной прогулки разговаривать с одним из товарищей по заключению. Ему стали довольно часто передавать письма или, во всяком случае, сообщали их содержание, пропуская лишь места, считавшиеся недозволёнными. В таких случаях обер-регистратор Фертч читал ему письма своим монотонным голосом, с ироническими подчеркиваниями, часто запинаясь, так как пропуски нередко начинались посреди предложения. Однажды он прочел Крюгеру письмо инженера Прекля. Каспар Прекль писал: «Дорогой доктор Крюгер! В свободное время я работаю над статьей «Искусство и техника». Не падайте духом. Вам многое еще нужно поставить на свое место. Думаю, что моя статья поправится вам. Как только разрешат, я пошлю вам свою рукопись».

— Этому господину придется еще повременить,— благодушно вставил Фертч.

— «Я напал на след «Иосифа»...— На этом директор оборвал чтение. Остальное, по его мнению, явно пахло условным воровским жаргоном. В дураках Фертч не собирался оставаться. Мартин Крюгер поблагодарил, улыбаясь своей спокойной, вежливой, до самой глубины души раздражавшей директора улыбкой, и вышел из канцелярии менее вялой походкой, чем всегда.

Из тюремной библиотеки Крюгеру был выдан один из томов «Жизни животных» Брема. Он целиком погрузился в чтение этой книги. Трижды перечел ее от первого до последнего слова, прочел о странствиях лем-

мингов, о воинственном духе и стадном инстинкте диких ослов, о простодушии слонов. Когда наступил срок возвращения книги, он так настойчиво стал просить, чтобы ее не отнимали, что ему оставили ее еще на неделю. В тот день, когда пришло письмо от Каспара Прекля, он читал о сурках, об отсеве и убийстве старых и больных животных, к которым прибегают здоровые перед тем, как переселиться в зимнее жилье. Он прочел о том, как они поддерживают свое тело жиром, а жилье укрепляют землей, камнями, глиной, травой и сепом и о том, как затем время холодов они проводят, лежа в покоем на смерть оцепенении, неподвижные и застывшие, выдыхая в тридцать раз меньше углекислого газа, чем летом, экономя таким образом в тридцать раз больше кислорода и ожидая в этом разумном состоянии самонаркоза наступления теплого периода.

Этой ночью Крюгеру приснилось, будто он, разлепившись, отдыхая после трудной и удачно завершенной работы, сидит в одном из кожаных кресел в своем кабинете, небрежно проглядывая какой-то модный роман. Внезапно раздастся телефонный звонок, и чей-то голос говорит: «Не правда ли, вы то лицо, которое интересуется библейской картиной некоего Ландгольца?» — «Да», — поспешно отвечает Крюгер. «В таком случае я мог бы...» — продолжает голос, но тут связь прерывается. Крюгер немедленно звонит на телефонную станцию и спрашивает, откуда ему звонили, но там грубо набрасываются на него: если он еще раз позволит себе такую наглость, на него будет наложено тяжелое взыскание. Вслед за этим ему снова звонят. Слышится тот же голос, он произносит те же слова, — и на том же месте разговор прерывается. На этот раз Мартин Крюгер уже не решается позвонить на станцию. Он вспоминает, что у него нет проездного билета, и с беспокойством начинает рыться по всем карманам, но билета не обнаруживает. Он говорит себе, что его долг, несмотря ни на что, позвонить на станцию, но не решается это сделать. Ему звонят в третий раз, и снова на том же месте разговор прерывается.

Несколько дней спустя его снова вызвали в контору.

Лицо маленького директора испещрилось тысячью саркастических складочек, волоски вокруг губ и те, что торчали из носа, вздрагивали, выражая иронию, когда он собрался читать письмо.

— Поздравляю вас, номер две тысячи четыреста семьдесят восемь,— произнес он в виде вступления.— Вам делают предложение!

Против обыкновения, он затем не назвал отправителя, а сразу же приступил к чтению: «Дорогой Мартин! Я считаю своевременным привести в исполнение нашу давнишнее решение и путем брака узаконить наши отношения. Мой юрист объяснил мне, что для этого и в настоящих условиях не может встретиться препятствий». Человек с кроличьими усами не мог удержаться, чтобы короткой иронической паузой не подчеркнуть слов «в настоящих условиях». «Я предприму все необходимые подготовительные шаги». Заключенный, с губ которого уже в самом начале чтения сбежала обычная вызывающая улыбка, заметно вздрогнул, услышав эти слова письма. «При ближайшем свидании, надеюсь, смогу сообщить тебе все в окончательной форме».

— Подписи мне читать вам, верно, ни к чему, номер две тысячи четыреста семьдесят восемь? — лукаво добавил директор.— Кстати сказать, эта дама права: у нас не раз заключались браки «в настоящих условиях». Поздравляю вас! Для вас получена также и посылка. Ввиду того, что вы теперь жених, я выдам вам ее, невзирая на некоторые сомнения, внушаемые мне вашим поведением.

Крюгер сильно дрожал. Слова с трудом вырывались из его горла.

— Благодарю,— сказал он. И добавил:— Нельзя ли мне взглянуть на письмо?

— Не думаете ли вы, что я подделал его? — с иронией спросил Фертч.— Вот оно! — И он швырнул Крюгеру письмо.

Оно было написано на машинке, походило на коммерческий документ и выглядело так же безразлично, сухо и неокрыленно, как и тот стиль, каким его писала Иоганна Крайн.

Плохие дни наступили затем для Мартина Крюгера. Голая камера наполнилась пестрыми картинами прошлого. Вот стоит перед ним Иоганна Крайн, сильная, со смелым лицом, крепкими ногами, потом появился яркий южный ландшафт, потом — большие белые листы его рукописей, покрывающиеся быстрыми буквами, от которых поднимался чуть едкий запах блистательной, не до конца честной работы. Все это принесло беспокойство в его камеру. Исчезли «Иосиф и его братья». Этот красочный туман тревожил его во сне, заставлял его руки дрожать, когда он клеил свои кульки.

В ближайший дозволенный для отправки письма срок Крюгер послал ответ Иоганне Крайн. Он благодарил ее. Он еще подумает хорошенько. Это определено нехорошо для нее, а может быть, нехорошо и для него. «Ломака! — подумал директор, проверяя содержание письма. — Впрочем, возможно, что между ними все это заранее условлено. Ну, меня-то они все равно не проведут!»

10

ПИСЬМО В СНЕГУ

Иоганна лежала в снегу, наслаждаясь, ни о чем не думая, отдыхала. Согласно моде того времени она была одета по-мужски, в лыжный костюм с длинными шароварами. Иоганна собиралась отдохнуть лишь несколько минут. Она не отстегнула даже ремешков лыж: деревянные полозья их торчали под углом к распростертому на снегу, одетому в синее, телу.

Вот уже восемь дней, как она жила в Гармише. Г-н Пфаундлер был прав: этот курорт нынче стал местом встречи «большеголовых» всего света. Но из лиц, близких к кругу г-жи фон Радольной, от которых она ожидала особенно многого, не было еще никого. Необходимость ждать мало беспокоила ее. С детства она много жила в горах и радовалась возможности походить на лыжах.

Лежа в снегу, Иоганна почувствовала, что в кармане у нее что-то захрустело. Письмо, врученное ей

как раз перед тем, как она села в поезд, поднимавшийся к Гохэку. Она, не читая, сунула в карман это письмо с печатью Одельсберга, почтовой станции тюрьмы, где сидел Крюгер. Удивительно, как это за все время она ни разу не вспомнила о нем.

Но теперь она прочтет письмо. Доносящийся до нее крик мешает ей. Это начинающие лыжники тренируются с инструктором. Вот она скатится в долину и там, а то и по пути, прочтет письмо. Она двинулась вперед по широкому свободному пространству. Встретился лесок. Его можно было объехать. Она закусила верхнюю губу, избрала более короткий и рискованный путь. С трудом пробралась сквозь деревья. Выбравшись из леса, снова, не снимая лыж, опустилась на снег. Теперь впереди оставалась лучшая часть пути — длинная, мягко спускающаяся дорога. Иоганна, улыбаясь, лежала в снегу и отдыхала, глубоко дыша в блаженной усталости. Вдруг она сделала над собой усилие, вся подобралась. Сейчас вот она прочтет письмо. Это, паверно, ответ на ее предложение обвенчаться.

Сунула руку в карман и не нащупала в нем письма. Стянула перчатку, снова порылась в кармане. Письма не было — она потеряла его. Неприятно было сознавать, что письмо Мартина Крюгера валяется где-то в снегу. Должно быть, она обронила его в лесу. Надо поискать. Возможно, что ей удастся найти его, вернувшись по своим же следам. Правда, солнце уже садится, скоро все окутает густой туман. Мартину Крюгеру не часто разрешается писать. Для него разрешение писать — целое событие.

Из леса показалась какая-то фигура. Мужчина, грузный, но нельзя сказать чтобы неизящный, в лыжном костюме кофейного цвета. Вот он подъехал ближе, остановился, глядя на нее подернутыми поволокой глазами; улыбаясь, стянул теплую, шерстяную, покрытую сосульками перчатку, протянул руку, сказал: «Здравствуйте».

Да, Пауль Гессрейтер приехал раньше, чем собирався. Вероятно, с его стороны было легкомыслием оставить без надзора свой керамический завод сейчас,

в период инфляции, когда ежечасно нужно было следить за колебанием закупочных и продажных цен. Но это ему теперь совершенно безразлично. Раз она уже целую неделю здесь, то и он вовсе не намерен дольше терять время. В гостинице ему сказали, что она уехала в Гохак. Он звонил туда по телефону и, не застав ее там, просто-напросто покатил вслед за ней в горы. Ну разве он не молодчина, что почуял, где она, и выбрал дорогу через лес?

Человек в кофейном костюме был весел, как мальчишка, и болтал без умолку. Так вот — в одном поезде с ним приехала целая компания: Пфаупдлер, художник Грейдерер, а также и Рейндль — Пятый евангелист. Несимпатичный субъект, кстати сказать, препротивный! — кисло добавил он. Через несколько дней приедет и г-жа фон Радольная. Говорила ли уже Йоганна с министром юстиции Гейнродтом? Ну, это Гейер устроит. Йоганна как можно скорее должна сходить с ним в «Пудреницу» — это повое пфаундлеровское увеселительное заведение. Через два-три дня здесь прохода не будет от знакомых. В нынешнем году он только два раза ходил на лыжах. С этой дурацкой инфляцией решительно ничего не успеваешь. Доллар стоит уже сто девяносто три пятьдесят. Кстати, он педаром катил по ее следу: он кое-что пашел. Поставив одну лыжу ребром, он изящным жестом руки в заиндевшей перчатке протянул ей письмо из Одельсберга.

Йоганна взяла письмо, поблагодарила. Вскрыла конверт. Прочла. Три бороздки прорезали ее лоб. Мрачно глядели ее серые глаза, когда она рвала письмо Мартина Крюгера. Сотни мелких лоскутков бумаги, разлетаясь, казались грязными и ненужными на широкой белой снеговой поверхности.

— Едем! — сказала Йоганна.

Позже, в ванне, смывая чувство тяжести от грубой теплой одежды, она обдумывала написанное Крюгером — разобрала все, фразу за фразой. Как он ломался, как он хотел, чтобы ему навязывали то, к чему он сам стремился! Она надеялась, что хоть в камере он бросит рисовку. А он пишет такое вот письмо! Теперь оно,

разорванное на сотню мелких лоскутков, валяется в снегу.

Легко здесь, в удобной комнате гостиницы в Гармише, критиковать письмо, написанное в Одельсберге, где за окном шесть замурованных между стенами деревьев. Легко предъявлять требования человеку с серым лицом, когда сам имеешь возможность ухаживать за собой, хорошо питаться, радоваться солнцу и снегу.

Она сидела перед туалетным столиком, подтачивая, полируя ногти. Видно было, что они еще недавно были запущены, но скоро станут миндалевидными и будут отливать молочным блеском.

За обедом тетка своим громким голосом сообщила ей о появившейся в американском журнале подробной статье, посвященной делу Крюгера. Г-жа Франциска Аметсридер была благоразумная женщина и крепко стояла в жизни на своих коротких энергичных ногах. Участие ее в борьбе Иоганны, правда, ограничивалось сочными афоризмами общего, поучительного характера. Все же она производила благоприятное впечатление своей представительной фигурой и ясным, смелым взглядом, когда, наклонив вперед огромную мужеподобную голову с коротко подстриженными черными волосами, сообщала какому-нибудь интервьюеру подробности дела Крюгера и Иоганны Крайн, перемешивая свою речь здравыми сентенциями и красочными характеристиками баварских политических деятелей и журналистов.

Теперь она желала побеседовать с Иоганной. Ограничиваясь общими местами, она заговорила о склонности света делать сопоставления морального порядка там, где они, в сущности, вовсе не к месту. Например, хотя бы между роскошной жизнью Иоганны в обстановке гармишской зимы и арестантскими буднями в Одельсберге.

Иоганна не мешала ей говорить, слушала довольно вежливо и без всякой досады. Она часто теперь беседовала с теткой Аметсридер, терпеливо вдаваясь во всякие мелкие подробности. Все же о своих приготовлениях к венчанию с Мартином Крюгером она не сказала тетке ни слова.

«ПУДРЕНИЦА»

Директор Пфаундлер провел г-на Гессрейтера и фрейлейн Крайн по всем помещениям «Пудреницы», хвастая тем, с какой ловкостью использован каждый уголок, как хитро всюду устроены скрытые от глаз ниши, ложи, «укромные уголки», как он их называл. Ему немало пришлось повоевать с художниками — Грейдерером и автором серии «Бой быков», пока они не согласились устроить эти «укромные уголки» так, как он хотел. Они и против такого количества облицовочных плиток возражали, эти дурни. Хотели, чтобы все было изящно, нежно, как подобало для восемнадцатого века. «Прекрасно,— говорил им Пфаундлер,— разумеется, «Пудреница». Ясно! Но ведь главное в конце концов — это уют! Ну, а теперь, когда все готово, скажите-ка сами, сударь вы мой, разве эти господа художники не имели такого же основания быть довольными, как и хозяин предприятия? «Пудреница», восемнадцатый век — и в то же время уютно!» По-дедовски изящно скользили ноги по желтоватым и голубым плиткам — изделиям гессрейтерского завода. Создавая настроение, манили гостей «укромные уголки». Тут у чопорной иностранной публики неизбежно должны были раскрыться сердца.

И сердца раскрывались. Все места были заняты. Казалось, все приезжающие в Гармиш проводят вечера в «Пудренице».

Сейчас здесь исполнялась тщательно подобранная эстрадная программа. Г-н Пфаундлер провел своих мюнхенских друзей на особенно удобные места, указав им «укромный уголок», из которого они могли, оставаясь почти незамеченными, видеть все. Иоганна сидела рядом с г-ном Гессрейтером, почти не разговаривая. Медленным взглядом обводила она разодетых людей, болтавших на самых разнообразных языках о всевозможных мелких, незначительных приятных вещах. Ее внимание особенно привлекла худощавая женщина с нервным, оливкового цвета лицом и орлиным носом. Очевидно, она знала многих из присут-

ствовавших в зале, для многих у нее наготове были веселые замечания, она часто подносила к уху трубку своего настольного телефона, но на Иоганну не глядела. Иоганна между тем не сводила с нее глаз и однажды заметила, как женщина на мгновение, считая, что никто не наблюдает за ней, вдруг ужасно вся изменилась. Оживленное, умное лицо ее внезапно посерело, стало безнадежно усталым, похожим на лицо глубокой старухи. Эта худая дама, как объяснил господин Пфаундлер, была знаменитой чемпионкой по теннису Фенси де Лукка. Да, г-н Гессрейтер сразу узнал ее. Он видел однажды де Лукка во время игры. Изумительно, по его словам, это тренированное, напряженное тело в момент прыжка! Она, вот уже два года, чемпионка Италии. Но многие ждут, когда она уступит свое место; долго ей своего первенства не удержать. Телефон на столе Иоганны зазвонил. Ее приветствовал художник Грейдерер. Она не видела его. Он подробно объяснил ей, где расположен его столик. Да, там действительно сидел художник, создавший «Распятие», среди шумной компании девиц легкого пошиба и, глядя на Иоганну, пил за ее здоровье. Он имел в смокинге очень странный вид. Добродушную, крепкую крестьянскую голову подпирал белый воротничок, руки как-то нелепо высывались из белых манжет. Затем он по телефону сказал что-то Гессрейтеру. Иоганна видела, как подмигивают его хитрые глазки и как хохочут девицы легкого пошиба. Нет, ему успех не пошел впрок. Гессрейтер считал, что он явно опускается в круг «зайчат», как Грейдерер называл своих дешевых девиц. Пфаундлер заметил, что придворный штат художника Грейдерера и его мамы обходится недешево. Господин художник умеет набивать себе цену. Ему, Пфаундлеру, тоже пришлось выложить Грейдереру немалый куш. Но, во-первых, сейчас инфляция, а во-вторых, слава художника — это такая штука, которую он бы не принял в обеспечение долга. «Инфляция, впрочем, не будет тянуться до бесконечности», — туманно добавил он.

Над переносицей Иоганны обозначились три вертикальные бороздки. Разве сама она не жила здесь, в

Гармише, не по средствам? С тех пор как она зарабатывала больше, чем на самое необходимое, она уж не рассчитывала боязливо расходов, но и не швыряла деньгами. Сейчас ей нужны были деньги, которые можно было бы тратить не считая. В то время как во всей остальной Германии гибли от голода, здесь, в Гармише, наслаждались излишеством и изобилием. Здесь жили главным образом иностранцы, которые благодаря инфляции могли, в сущности за гроши, купаться в роскоши. Никто не спрашивал о ценах. Только тетка Амётсридер мрачно покачивала своей огромной мужеподобной головой и в сильных выражениях предсказывала грядущую катастрофу. Что останется делать Иоганне, когда до конца будет исчерпан ее текущий счет в бапке? Просить денег у Гессрейтера? Она сбоку поглядела на г-на Гессрейтера, который сидел рядом с ней, спокойный, веселый, медленно отбивая пальцами такт музыки. Очень трудно так вот, ни с того ни с сего, попросить у человека денег. Она еще никогда не пыталась это делать. Г-н Гессрейтер поглядел на Иоганну своими подернутыми поволокой глазами. Он указал ей на человека, изощрявшегося сейчас на эстраде. Это был своего рода музыкальный клоун. Он остроумно и зло искажал знакомые музыкальные мотивы. «Когда-то, — с насмешкой пояснил Пфаундлер, — этот человек был революционером в своей области. Его программой была автономия художника-исполнителя. Он утверждал, что для настоящего артиста оригинал — то есть в данном случае произведение композитора — лишь сырой материал, из которого он имеет право создать все, к чему он чувствует себя призванным. Его своеобразная, вызывавшая споры интерпретация классической музыки пользовалась огромным успехом у одних и вызывала бешеные нападки других. Затем он постепенно надоел публике. А теперь вот, — закончил Пфаундлер, — он стал артистом кабаре — и хорошо сделал!»

Не будучи очень музыкальной, Иоганна рассеянно прислушивалась к изощрениям человека на эстраде. Ей казалось, что на нее обращают больше внимания, чем в начале вечера. Она вскользь сказала об этом

Гессрейтеру. Тот ответил, что давно уже наблюдает за художником Грейдерером и видит, как тот таскается от столика к столику, разнося по залу подробности истории Иоганны Крайн. Все чаще взгляды обращались к укромному уголку, где она сидела.

Снова зазвонил ее настольный телефон. Голос в трубке просил Иоганну взглянуть в сторону ложи Фенси де Лукка. Красивым жестом смуглая женщина подняла бокал. Ее лицо озарилось ярким, теплым светом. Так, на глазах всего зала, следившего за ее жестом внимательнее, чем за происходившим на сцене, Фенси де Лукка, не сводя с Иоганны своих темных мятежных глаз, выпила за ее здоровье. Иоганна вспыхнула от радости. Ее серые глаза засветились благодарностью к знаменитой итальянке, так подчеркнуто выражавшей сочувствие ей, никому не известной, и ее делу.

Но вот зал, впервые за весь вечер, погрузился во тьму. На эстраде появилась Инсарова. Это было первое выступление танцовщицы перед действительно требовательной публикой. Болтовня Пфаундлера должна была, разумеется, служить лишь рекламой. Он выкопал эту Инсарову в каком-то невзрачном кабачке в Берлине, в районе Фридрихштадт, где она подвизалась в качестве шансонетки. Сейчас он со страстным интересом проверял, оправдается ли его чутье, жадными мышиными глазками наблюдал за производимым ею впечатлением. Ее худощавое покорное тело без особых претензий на искусство скользило по эстраде, слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамиллярно ласкали зрителей. В обычно бесцеремонно-шумном зале стало тихо. Англосаксы сидели выпрямившись, один из них, собиравшийся набить трубку, отложил ее в сторону. Инсарова разыгрывала какую-то несложную пантомиму, сентиментально и бесстыдно, как показалось Иоганне, пожалуй, даже глуповато, во всяком случае, банально. Маленькая эстрада была теперь вся погружена в темноту. Проектор выделял танцовщицу из мрака, выхватывая также небольшой сектор зрительного зала, в сторону которого актриса внезапно повернулась, танцуя. По залу пробежало беспокойство. Все

глядели в сторону, освещенную прожектором. Там, выделенный из мрака снопом лучей, сидел слащавого вида молодой человек, безусловно не актер, один из их среды, из публики. Да, не могло быть сомнений — для него плясало это тоненькое, возбуждавшее желания существо там на эстраде, на него глядели ее влажные, слегка раскосые глаза, для него изгибалось ее покорное тело. Беспокойство возрастало. Слащавый юноша сидел все так же невозмутимо, потягивая свое питье. Неужели он не замечал глядевших на него из мрака завистливо-любопытных глаз? Худенькую женщину на эстраде охватывала все более страстная покорность, ее щеки западали, придавая лицу что-то детское, ее пляска с обнаженной, бесстыдной, зовущей мольбой тянулась к неподвижному человеку за столиком. В конце концов она без сознания упала на пол. Легкие вскрики женщин. Мужчины приподымаются, музыка умолкает. Занавес, однако, не опускается. После нескольких полных напряжения, волнующих мгновений женщина с улыбкой поднимается с пола; пляшет так же чувственно и бесстыдно, как и вначале, обнажая мелкие влажные зубы, кажется юной и хорошенькой; слегка раскосые глаза беспомощно, нагло и фамильярно ласкают зрителей. Еще несколько тактов, и она кончает. Молчание, затем отдельные свистки, затем — гром бешеных рукоплесканий.

— Рискованная штука! — говорит г-н Гессрейтер.

Пфаундлер с удовлетворением фыркает, прощается, улыбаясь. Он очень гордился своим чутьем. Если нюх, его главное дарование, обманывал Пфаундлера (что случалось очень редко), то это огорчало его больше, чем потеря денег. Сегодня пример Инсаровой доказал, что нюх у него тонкий.

Не успел он отойти, как г-н Гессрейтер неожиданно спросил:

— Правда ли, что вы выходите замуж за доктора Крюгера?

При этом он не глядит на Иоганну. Его темные глаза устремлены куда-то в зрительный зал, полные холёные руки играют стаканом. Иоганна не отвечает.

Лучи света отражаются в ее блестящих ногтях. С непроницаемым видом глядит она в пространство. Г-н Гессрейтер не знает даже, слышала ли она его вопрос. Нет, это не так: он, конечно, знает, что она слышала. Знает также, что эта высокая девушка интересуется его больше, чем он желал бы. Он не хочет себе в этом признаться. Он и не думает позволить проснуться в себе таким чувствам. Такой бонвиван, как он, занят совсем иными вещами, и, обращаясь к Иоганне, он отпускает циничное замечание по адресу одной из голых девиц, выступающих сейчас на пфаундлеровской эстраде.

Иоганна все с тем же непроницаемым лицом заявляет, что устала. Но в то время как г-н Гессрейтер, слегка задетый этими словами, предлагает проводить ее домой, подоспевший откуда-то Пфаундлер настаивает, чтобы они еще посмотрели игорные залы и прежде всего «интимный зал» во время игры. Он просит их, заклинает, пока наконец Иоганна не сдается.

В «интимном зале» г-н Гессрейтер быстро отыскал для себя и Иоганны хорошие места. Поставил большую сумму. Проиграл. При ближайшем удобном случае поставил снова. Сказал, глядя на руки банкмета:

— Итак, вы выходите за Крюгера. Странно.

Он продолжал играть задумчиво, меланхолически, сильно рискуя. Много проиграл. Предложил Иоганне принять участие в его игре. Иоганна сидела рядом, не испытывая интереса к игре, которой не понимала. Она думала о том, что это большие деньги, что на них можно было бы много недель прожить в Гармише. Вдруг за ее спиной оказалась Инсарова, поздоровалась с неожиданной сердечностью, горячо стала советовать Иоганне принять участие в игре Гессрейтера. Гессрейтер поставил сразу целую грудку игральных марок, пробормотав, что это для Иоганны. Иоганна рассеянно глядела на лица игроков, на пухлые руки Гессрейтера, на нервный, выразительный профиль Инсаровой, наклонившейся к ней, сопровождавшей игру Гессрейтера восторженными восклицаниями и обнажавшей при этом мелкие влажные зубы.

Иоганна не следила за игрой. Ей казалось, что Гессрейтер в большом проигрыше. Внезапно он заявил, что теперь довольно — игра, по-видимому, ей наскучила. Он пододвинул к Иоганне большую пачку кредиток и марок, пояснив, что это ее доля. Иоганна взглянула на него, удивленная. Инсарова, резко побледнев, переводила взгляд с одного на другого. Куча денег, лежавшая перед Иоганной, представляла собой значительную сумму. Даже в том случае, если ей еще на месяцы будет запрещено заниматься своей профессией и как бы дорого ни обошлось пребывание в Гармише, ее текущий счет не так-то скоро будет исчерпан. Она взглянула на Гессрейтера. Тот стоял с подчеркнуто безразличным видом, держа остаток денег в руках. Его бакп чуть-чуть вздрагивали. Он определенно нравился Иоганне, — он умел красиво давать деньги.

Затем он проводил ее до гостиницы. Идти было недалеко. Была ясная морозная ночь.

Инсарова, стоя у окна игорного зала, глядела им вслед. Она казалась осупувшейся, усталой. Около нее стоял Пфаундлер, в чем-то ее убеждая. Взгляд его крохотных мышиных глазок под шишковатым черепом неустанно скользил по ее худенькому телу.

Навстречу Иоганне и Гессрейтеру шел человек. Бесформенный в своей толстой шубе, он шел, не глядя по сторонам, один в эту светлую, снежную ночь, и походка его казалась неестественно легкой при его массивной фигуре.

— Пятый евангелист! — сердито прошептал г-н Гессрейтер. — Заваривает здесь какую-то подлую кашу с одним из рурских угольных божков!

При слабом свете Иоганна смутно разглядела над темно-коричневой шубой мясистое лицо, верхнюю губу и густые, выпуклые черные усы. Г-н Гессрейтер неуверенно поднял руку к шляпе, как будто собираясь поклониться. Но прохожий не заметил его или не узнал, и г-н Гессрейтер воздержался от поклона.

Молча прошел он с Иоганной остаток пути.

— Итак, вы выходите замуж за Крюгера, — проговорил он наконец. — Странно, странно.

ЖИВАЯ СТЕНА ТАМЕРЛАНА

Иоганна Крайн в сопровождении адвоката Гейера отправилась к имперскому министру юстиции Гейнродту, ненадолго прибывшему в Гармиш для отдыха. Доктор Гейнродт остановился не в одном из больших, шикарных отелей Гармиша, а в недорогом и простом пансионе «Альпийская роза» в конце главной улицы, тянувшейся через оба сливающиеся вместе поселка — Гармиш и Партенкирхен.

Министр юстиции принял своих гостей в небольшом кафе, принадлежащем пансионату «Альпийская роза». Это был прокопченный табачным дымом зал с круглыми мраморными столиками и плюшевыми диванами вдоль стен, жарко отапливаемый большой изразцовой печью. По стенам тянулись гирлянды альпийских роз. Над ними в бесчисленном повторении плясали, ударяя себя по ляжкам, парни в зеленых шляпах и девушки в широких юбках и узких корсажах. За мраморными столиками сидели мелкие буржуа в нескладной зимней одежде — в шالях, охотничьих куртках, крылатках, — такая в кафе жирное пирожное. Доктор Гейнродт был приветливый господин в очках, с добродушной окладистой бородой. Он любил, когда поражались его сходством с известным индийским писателем Тагором. Он долго и мягко глядел своим гостям в глаза, помог Иоганне снять жакет, дружески похлопал Гейера по плечу. Затем они устроились за одним из круглых столиков в углу на бархатном диване; беседуя, пили кофе. Кругом сидели другие посетители, которые, стоило им только напрячь слух, могли слышать каждое слово.

Иоганна была молчалива, больше говорил адвокат доктор Гейер, а больше всех — министр юстиции. Он проявил себя человеком удивительно образованным, читал большинство книг доктора Крюгера, очень его ценил, бесконечно скорбел о его участи. Он вполне готов был допустить, что Мартин Крюгер невиновен. Но министр обладал широким кругозором и был склонен к обобщениям, в которых затем безнадежно увязал. Иоганна устала. Ее до тошноты раздражала эта без-

действенная, всепонимающая кротость. Из тончайших и остроумных рассуждений министра она успела уловить лишь, что мыслимы случаи, когда по отношению к человеку во имя права приходится совершать несправедливость, что власть, опирающаяся на успех, сама создает право и что в конце концов порою бывает гораздо важнее сам факт существования какого-то спора, чем его исход.

В небольшом зале было нестерпимо жарко. Входили и выходили люди. Альпийские розы с девушками в широких юбках и парнями в зеленых шляпах вились вдоль стен. Звенели кофейные чашки. Седая кроткая борода министра поднималась и опускалась, его глаза, глаза доброго дядюшки, благожелательно останавливались на загорелом широком лице Иоганны, понимали и прощали неугомонного мученика Гейера, молчаливость и досаду Иоганны, медленное обслуживание гостей в маленькой кондитерской, всю жизнь этого свежего, роскошного зимнего курорта посреди обнищавшей части света.

Адвокат и министр вели оживленный остроумный спор по вопросам философии права. Беседа давно уже уклонилась в сторону от вопроса о докторе Крюгере. Просто два свободомыслящих юриста разыгрывали перед случайной зрительницей интересный турнир. Какая-то странная скованность охватывала Иоганну от этого рокового всепрощения кроткого старца, который с самыми добрыми намерениями гнуснейшие судебные решения топил в море многословного понимания, несправедливые, бесчеловечные приговоры укутывал в вату своей благожелательной философии.

Иоганна многого ждала от этой встречи с министром юстиции, о человеколюбии которого всюду говорили. Его присутствие здесь и послужило для нее одним из главных поводов поездки в Гармиш. И вот она сидит в этом жалко убранном душном зале, где после живительного свежего воздуха человека охватывает вялая лень и все начинает казаться мрачным и безнадежным. Какой-то старичок макает в кофе пирожное и говорит, другой человек, более молодой и нервный, занятый тысячью других вопросов, тоже говорит, а Мартин Крю-

гер в это время сидит в камере, — четыре метра в длину и два в ширину, — и его счастливейший час в течение дня — это час, проводимый среди шести замурованных деревьев.

Плечи Иоганны опустились. Чего ради сидит она здесь, с этими людьми? Чего ради сидит она в Гармише? Все совершенно бессмысленно. Смысл имело, быть может, уехать в деревню, работать в поле, родить ребенка. Министр настроился между тем на поэтический лад. Его монотонный, поучающий голос вещал:

— Диктатор Тамерлан в стену, окружавшую его владения, замуровывал живых людей. Стена правосудия достойна таких человеческих жертв!

Но вот адвокат Гейер перешел в решительное наступление. Он был в ударе. Его зоркие, настойчивые голубые глаза не отпускали собеседника, его голос, не слишком громкий (чтобы не привлечь внимания окружающих), звучал твердо и убедительно. Он говорил о бесчисленных мертвецах — жертвах мюнхенских судебных процессов, о расстрелянных и заточенных в тюрьмы, об осужденных за убийство, но убийства на самом деле не совершавших и о бесчисленных убийцах, не привлекавшихся к ответу за убийство. Он не забыл и мелких подробностей. Не забыл о мебели, описанной у жены осужденного за какой-то нелепый проступок, — описанной на покрытие очень крупных судебных издержек за время затянувшегося процесса, которых она не могла уплатить. Не забыл и о расходах на казнь расстрелянного по обвинению в государственной измене, возмещения которых сейчас вторично требовали у матери расстрелянного — «уплатить в недельный срок во избежание продажи с торгов имущества».

Одурманенная болтовней старика и царившей в комнате жарой, Иоганна с трудом могла уследить за быстрыми словами адвоката. Странно: второстепенные подробности производили на нее большее впечатление, чем значительные факты. Чудовищно число бессмысленно убитых, с желтым лицом и продырявленной грудью, наспех закопанных ночью в лесу и неотомщенных. Страшны цифры расстрелянных, словно при охотничьей облаве, целыми партиями в каменоломне, брошенных в

яму и посыпанных сверху известкой, и неотомщенных. Страшны были убитые, валявшиеся у стены казармы, послужившие мишенью десятку равнодушных ружейных дул, невинные, но убитые во имя права. Но она задыхалась от ярости при мысли о чиновничьей руке, предъявлявшей матери счет за пули, израсходованные на расстрел сына.

Министр, как ни порицал он приведенные факты, все же готов был понять и их. Под звуки маленького оркестра, состоявшего из скрипки, цитры и гармоник, он и эти «судебные ошибки» влил в общее море понятия права. Необходимо соблюдать автономию судей; без нее нет твердого права. Все же он, Гейнродт, насколько это было возможно без нарушения основных принципов, всегда старался смягчать жестокость приговоров.

Но по делу Крюгера он ничего сделать не может. Формального повода к вмешательству налицо нет. По какому праву стал бы он вмешиваться в дела своего баварского коллеги? Иоганна страхнула наконец охватившее ее оцепенение и с горячностью восстала против речей кроткого человеколюбивого старца, будто слоим песка прикрывавших всякий вопль страдания. Неужели, по его мнению, нет способа освободить невинного из стен одельсбергской тюрьмы? Неужели любой человек может быть отдан во власть самодурства всякого судебного чиновника?

Здесь — известный риск, на который общество, вступая в определенные общественно-договорные отношения, должно идти, — пояснил министр, отечески снисходительно принимая ее волнение и неподобающе резкий тон. По служебной линии, как им уже было сказано, он ничем в деле Крюгера помочь не может. Он советует обратиться к землевладельцу доктору Бихлеру, чрезвычайно влиятельному лицу, умному, не обращающему внимания на вопросы престижа, человеколюбивому.

Министру подали пачку газет. Продолжая беседу, он не переставал коситься в их сторону. Кельнерша принесла счет. Адвокат Гейер долго, как коллега с коллегой, прощался с министром. Иоганна почувствовала в своей руке вялую руку старца. После этой беседы ей

хотелось пройтись одной, подышать свежим морозным воздухом. Но доктор Гейер присоединился к ней. Прихрамывая, шел он рядом, уговаривая и убеждая полную сомнения и досады женщину в том, что у него лично осталось от беседы с министром благоприятное впечатление. Красивая, хорошо одетая женщина и прихрамывающий мужчина с выразительным утомленным лицом привлекали к себе взоры прохожих.

В зале гостиницы, где они пили чай, адвокат также привлекал внимание посетителей. Однако он не мог бы — он чувствовал это — конкурировать с изящными профессиональными танцорами, привлеченными Пфаундлером специально для вечернего чая. В те годы распространился обычай, согласно которому женщинам, любившим повеселиться в общественных местах, предоставлялись в распоряжение профессиональные танцоры. Здесь в гостинице, где жила Иоганна, было четверо таких господ. Один — венец, белокурый, несколько полный, но подвижный, с улыбкой на губах; другой — мужественное, резко очерченное лицо, стройная, подобранная фигура, монокль — северогерманец; третий — брюнет, невысокого роста, насмешливый и в то же время сентиментальный взгляд — румын; четвертый — худощавый, несколько развинченный, спокойный — норвежец. Эти четверо, таким образом, находились в распоряжении танцующих дам. Искусно и строго безлично проделывали они бурные движения модных в те годы негритянских танцев. Их кожа, волосы, ногти были выхолены, костюмы безукоризненны, — женщина в их объятиях производила выигрышное впечатление. Каждый танец учитывался и вписывался в подаваемый даме счет, наряду с пирожным и кофе.

Доктор Гейер силился вернуть себе в глазах Иоганны блеск, утраченный им, как ему казалось, после беспечной беседы с министром. Прежде всего он дал ей ряд практических указаний, каким способом добиться встречи с этим могущественным нижнебаварским кротом, доктором Бихлером. Добраться до него можно было, только когда он путешествовал. А путешествовал слепой Бихлер часто: он любил делать «большую политику», рыл соединительные ходы к Парижу и Риму.

И тут адвокат доктор Гейер окунулся в такую область, где он в наиболее ярком свете мог показать свои способности. В то время как наемные танцоры изящно и бесстрастно изгибали свои тела, он принялся в тоне излюбленного им римского историка Тацита четко, страстно логично разбирать перед Иоганной структуру баварской политики. Бавария недаром согласилась на составленную Гуго Прейсом конституцию Германии. Баварцы, правда, бранятся, ворчат, отплеиваются по адресу этой конституции, но немногие, остающиеся в тени фактические правители Баварии, вроде экономического советника Бихлера, прекрасно знают, что эта конституция выгодна именно баварцам. Ибо они на практике истолковали конституцию так, что именно они превратились в основную движущую пружину имперского механизма. Они выдвигают кандидата на пост военного министра. С успехом комментируют конституцию так, что до происходящего в Баварии всей Германии нет дела, но что одновременно все происходящее во всей Германии требует санкции и утверждения Баварии. Отдают дань своей страсти к потасовкам, избивая членов международных комиссий, а счет для уплаты представляют общегерманскому правительству. Они отдают дань своей страсти к театральности, издеваясь над четко выраженными постановлениями общегерманского правительства и осыпая своих сторонников пелеными званиями и титулами. Отдают дань своей ребяческой упорной страсти к самовластью и партикуляристскому развитию, отказываясь от проведения в жизнь общегерманских амнистий и создавая автономные «народные суды», служащие для устранения всех неугодных своему правительству лиц. Они ведут сепаратную внешнюю политику, заключают особые договоры с Римом и вынуждают общегерманское правительство выражать свое согласие. Строят свое лучшее сооружение — Музей техники — на средства всей страны, но подчеркивают, что оно создано Баварией, и в праздничные дни украшают его баварскими флагами, отказываясь вывешивать общегерманский флаг. Их унитаризм в экономике заключается в том, что они вымогают у общегерманского правительства гораздо

бóльшие денежные субсидии, чем составляет их доля участия в общегерманских расходах. Недаром поэтому человек, который вершит всеми делами, — а именно пиянебаварский крот, доктор Бихлер, — чувствует себя не только баварским, но и общегерманским диктатором.

Все это адвокат доктор Гейер четко и красноречиво, не отвлекаясь второстепенными вопросами, излагал Иоганне. Он сидел весь подобравшись. Его глаза из-под толстых стекол очков сосредоточенно глядели прямо вперед, обтянутые тонкой кожей руки лежали неподвижно. Иоганне, не особенно интересовавшейся государственными вопросами, невольно передалось то волнение, с которым адвокат деловито и в то же время страстно, горя холодным огнем, излагал перед нею свои мысли. Она задавала себе вопрос, почему же этот человек, сумевший заставить ее, баварку, посмотреть на свою страну его глазами, растрачивал свои большие силы на будничные мелочи, вместо того чтобы заниматься научными изысканиями и обнародовать их результаты. Она мысленно поставила рядом с адвокатом Гейером министра Гейиродта: оба годны лишь на то, чтобы видеть вещи такими, какие они есть, но оба не в состоянии претворять свои выводы в действие.

Господин Гейер умолк. Он помешивал ложечкой чай, слегка потел, протирал очки, сидел с несчастным видом, изредка оглядывая кого-нибудь из проходивших пронизывающим взглядом. Наемные танцоры вели, тащили, швыряли своих дам — дико и в то же время бесстрастно и корректно. Кто-то, пройдя по залу, приблизился к их столику. Молодой человек, прекрасно одетый, — очень белые зубы, худощавое лицо, насмешливое и легкомысленное. Легкий запах сена и кожи, неповторимый запах каких-то мужских духов разнесся вокруг, как только он подошел. Заметив молодого человека, доктор Гейер вздрогнул, нервно замигал. Руки его заходили ходуном. Молодой человек нагло-фамильярно, слегка насмешливо кивнул адвокату и, устремив светлые дерзкие глаза на Иоганну, склонился перед ней. Адвокат сделал над собой усилие, постарался сохранить внешнее спокойствие, не глядел на юношу, глядел только на Иоганну. А она, — да, она, Иоганна Крайн,

для которой он только что рассыпал столько искусства и остроумия, — поднялась, чтобы пойти танцевать с чужим, совершенно чужим, пахнувшим сеном и кожей, легкомысленным, подозрительного вида господином. Ведь она не могла знать, что это был Эрих Борнгаак, его сын.

Лишь тогда, когда она уже отошла от столика, чтобы дать этому мальчику возможность тащить, швырять и вести ее по залу, доктор Гейер поддался сдерживаемому до сих пор с таким трудом порыву бурного волнения. Что делал мальчик здесь, в Гармише? Был лыжным тренером? Обделывал какие-нибудь спекулятивные, связанные с инфляцией дела? Занимался извлечением выгод из отношений с дамами, жаждущими сильных ощущений и обладающими солидными чековыми книжками? Он очень давно не видел Эриха. Мальчик появлялся через неопределенные промежутки времени, а затем снова исчезал. Когда танец кончится, Эрих, наверно, вернется к его столику. Тогда он спросит его. Или так просто поговорит с ним о каких-нибудь пустяках. Сейчас Эрих ограничился только молчаливым поклоном, доктор Гейер не слышал его голоса. Вернувшись к столу, он наверно, раскроет свои красные губы, и доктор Гейер услышит его голос. Иначе опять могут пройти годы.

Глупости! Довольно. Кончено. Он сегодня же вечерним поездом выедет обратно в Мюнхен. Но не следует ли ему посоветовать Иоганне остерегаться своего кавалера? Глупости. Предлог. Разве он — опекун этой решительной девушки? Она лучше его во всем разбирается. Он не стал дожидаться возвращения Иоганны. С трудом поднялся. Видно было, что несгибающаяся нога сильно затрудняет его движения. Он сегодня выедет вечерним поездом в Мюнхен. Он прошел через зал, прихрамывая, усиленно мигая, и лицо его уже не казалось таким выразительным. Скрылся за дверцей лифта.

Молодой человек, проводив Иоганну к столику и заметив отсутствие адвоката, улыбнулся очень красными губами — многоопытно, пренебрежительно. Мгновение помешкал, решая: не подсесть ли ему к Иоганне. Без

стеснения оглядел ее светлыми дерзкими глазами. Поклонился наконец несколько небрежно, сказал, что поселок невелик и встретиться, наверно, им еще придется. Удалился, оставив после себя странный аромат сена и кожи.

Иоганна сидела еще затем некоторое время одна за своим столиком, слегка возбужденная танцем. Видела среди сплетения альпийских роз пляску людей в зеленых шляпах, между ними какие-то желтые лица, — вероятно, мертвецов, а позади всех — министр юстиции Гейнродт, часто, изысканно кланяясь, предъявлял счета осиротевшим родственникам.

13

СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ ШОФЕРА РАТЦЕНБЕРГЕРА

Ресторан «Серенький козлик», в котором шофер Ратценбергер и его единомышленники имели свой «стол завсегдатаев», носивший название «Здесь всего вдоволь», помещался в переулке на окраине старого города. За столом Франца-Ксавера Ратценбергера постоянно встречалось человек двенадцать мужчин — монтеры, извозчики, некий булочник, а также владелец маленькой типографии. Пили много пива, ели рубленное легкое под кислым соусом, картофельный салат, телятину, рассуждали о городских делах и делах государственных: об отцах города, о трамваях, о приезжих, о революции, о духовенстве, о монархии, о боге, о Ленине и о погоде. Завсегдатаи, собиравшиеся за этим столом, составляли неизменное ядро посетителей ресторана; если бы не они — хозяину пришлось бы, пожалуй, закрыть свое заведение, существовавшее свыше семидесяти лет.

Владелец типографии Гшвендтнер в последнее время часто приводил с собою двух братьев — боксера Алоиса Кутцнера и его брата, монтера Руперта Кутцнера. Алоис, тяжеловесный, неуклюжий, тупой, боксер старой школы, сидел облокотившись на стол, слу-

шал, часто вздыхал, ворчал что-то себе под нос, пыхтел, был неразговорчив. Тем большее красноречие проявлял его брат, монтер, в настоящее время безработный. Его звонкий, иногда почти истерический голос звучал так, словно он дакламировал. Слова легко, без труда слетали с его широких бледных губ. Свою речь он сопровождал выразительными жестами, которые, по-видимому, перенял от сельских проповедников. Его охотно слушали. У него на все была своя точка зрения, с которой все государственные вопросы разрешались удивительно просто: во всех невзгодах, по его мнению, виновны были Иуда и Рим. Как легочные бактерии разрушают здоровое легкое, так и германский народ разрушается международным еврейским финансовым капиталом. И все пойдет хорошо и наступит полное благоденствие, как только выкурят этих паразитов. Когда монтер Кутцнер умолкал, его бледные губы с торчащими над ними крошечными темными усиками и напояженные, разделенные пробором волосы на почти лишенной затылка голове придавали его лицу какую-то маскообразную, мертвую пустоту. Но стоило ему открыть рот, как все его лицо начинало подергиваться в какой-то странной, почти истерической подвижности. Горбатый нос внушительно поднимался и опускался, и его обладатель умел возбудить среди сидевших за столом завсегдатаев энергию и оживление.

Слухи о красноречивом Руперте Кутцнере, придумавшем до гениальности простые средства очистить и оздоровить общественную жизнь, скоро облетели весь город. Слушать его речи приходили все новые и новые люди. Владелец типографии начал выпускать небольшую газетку, выражавшую взгляды Руперта Кутцнера. Правда, его идеи в напечатанном виде производили в достаточной мере жалкое впечатление. Все же газета помогала лучше запечатлеть в памяти слова энергично размахивающего руками оратора. В ресторан «Серенький козлик» притекало все больше и больше народу. Хозяин ресторана, владелец типографии, боксер и два шофера основали партию «Истинные германцы», во главе которой стал Руперт Кутцнер, называвший себя теперь уже не монтером, а политическим писателем.

Франц-Ксавер Ратценбергер по-прежнему занимал свое место за столом завсегдаев «Здесь всего вдоволь». Вначале он был недоволен все возраставшим в ресторане оживлением. Но, будучи, как и большинство жителей Баварской возвышенности, любителем всего театрального, всякого озорства и веселья, он постепенно привык к новым условиям, и в конце концов они стали даже доставлять ему удовольствие. Простые, легко доступные идеи Руперта Кутцнера были ему по душе. Кроме того, близость с Рупертом Кутцнером вновь усилила уважение, приобретенное Ратценбергером в известных кругах благодаря его выступлению в качестве главного свидетеля на процессе, носившем определенную политическую окраску. Кутцнер постоянно выставлял его мучеником, подвергшимся в связи со своими показаниями гнусным нападкам и подозрениям противников.

Стол завсегдаев «Здесь всего вдоволь» принимал, таким образом, горячее участие в спорах, возбуждаемых красноречием Руперта Кутцнера. Трезвость марксистских идей, если они вообще слыхали о них, отталкивала этих мелких буржуа, программа же Руперта Кутцнера удовлетворяла их потребность в романтике. Всюду мерещились им тайные союзы и заговоры: стоило понизиться тарифу таксомоторов — и они уже видели в этом руку франкмасонов, евреев, иезуитов.

Нечему поэтому удивляться, если за столом «Здесь всего вдоволь» горячо обсуждались всевозможные романтические вопросы. Есть ли, например, подробные указания о способах, коими евреи завладели миром? Жив ли еще баварский король Людвиг II, который, по утверждению жаждавших власти родственников, в припадке душевной болезни бросился в Штарнбергское озеро, что, однако, отнюдь не достоверно? Действительно ли евреи вместе с палой римским заварили кашу мировой войны?

Эти вопросы каждый раз снова подвергались широкому обсуждению. Приводились красочные подробности и точные цифровые данные о состоянии евреев, занимавших видное положение в финансовом мире.

Основой этих цифровых данных служили не заключения научного характера, не сведения, почерпнутые из бухгалтерских книг или налоговых данных, а просто чувства. В душе шофера Ратценбергера, например, представление о еврейских богатствах запечатлелось с особой силой с тех пор, как он в иллюстрированном журнале увидел снимок с надгробного памятника некоего Ротшильда, известного еврея-финансиста. Княжески пышный памятник послужил для него олицетворением роскошной жизни этих людей и стал вечным источником зависти.

Надгробными памятниками Ратценбергер по особым, личным причинам вообще чрезвычайно интересовался. Дело в том, что его старшая сестра, умершая в девичестве, большую часть оставшегося после нее наследства предназначила на сооружение на ее могиле медного ангела солидных размеров. Материальные обстоятельства обширной семьи Ратценбергеров впоследствии сложились весьма неважно. Оставшиеся в живых пятеро, братья и сестры Ратценбергера, изрядно голодали во время войны и в начале инфляции. Семья одного из братьев, Людвига Ратценбергера, численностью в семь человек — мужчины, женщины, дети, — ютилась в одной комнате. Между разными ветвями семьи создались враждебные отношения. Братья и сестры следили друг за другом, стремясь захватить деньги, которые можно было выручить за медного ангела. Ангел был средних размеров, а пожалуй, даже очень большой ангел. Он в печали склонил большущую пальмовую ветвь и одет был в широкое, ниспадавшее пышными складками платье, содержащее много меди. Ангелу, когда государство ощущало недостаток в меди, по закону надлежало превратиться в пушку. Однако, благодаря ли случайности или, как полагали родичи шофера, благодаря связям Франца-Ксавера с местной полицией, ангел при всеобщей сдаче меди как-то уцелел. Права собственности по отношению к нему были довольно неопределенны. Но зато вполне определена была совершенная кем-то (подозрения падали на Людвига, сына Франца-Ксавера) попытка стащить надгробный памятник, и попытка эта не увенчалась успехом лишь из-за

тяжести ангела. Долго следили друг за другом семьи Ратценбергеров, выставляли на кладбище постоянные сторожевые посты. Какой-то практичный человек посоветовал продать ангела и поделить деньги. Но так как девица, над останками которой склонился этот ангел, оставила по себе добрую память и так как (что еще важнее) формы раздела трудно было установить, то отказались и от такого решения этого вопроса. В связи с этой семейной распрей, в которой Франц-Ксавер Ратценбергер принимал горячее участие, однажды даже ранив одного из своих братьев в голову, — о чем упоминалось и на процессе Крюгера, — шофер проявлял особый интерес к надгробным памятникам, и мавзолей того Ротшильда запечатлелся в его душе, словно грандиозный символ завидной мощи.

В городе Мюнхене в те годы жило несколько евреев, носивших фамилию Ротшильд. Шофер Ратценбергер, как и все жители Баварской возвышенности склонный к романтизму, в своем воображении привел этих Ротшильдов в связь с гордым надгробным памятником. С особой горячностью он утверждал, что одним из членов семьи магнатов Ротшильдов является владелец небольшого шляпного магазина в центре Мюнхена. В ответ на указание, что вряд ли такой богатый человек будет заниматься примериванием шляп на головы покупателей, шофер Ратценбергер, разрезая по всем правилам искусства редьку на ломтики, заявил, что именно это и подозрительно и что в этом как раз проявляется злокозненная хитрость всей этой сволочи. Но приятели продолжали выражать сомнения. Шофер Ратценбергер пришел в ярость, отшвырнул редьку, соль и нож и предложил своим друзьям немедленно выбить окна в магазине этого распроклятого Ротшильда, а его самого исколотить. Предложение было встречено довольно холодно, а булочник даже решил выступить в защиту владельца шляпного магазина, которому в течение нескольких лет поставлял хлеб: этот Ротшильд, по его словам, был вполне приличный человек, и маловероятно, чтобы это он устроил войну. Шофера Ратценбергера охватил приступ тихой ярости. Он взглянул на булочника. Затем отпил пива.

— Смерть Ротшильду! — произнес он, обтирая с усов пивную пену и со злобой глядя на булочника. Он, Ратценбергер, наверняка знает, что Ротшильд принадлежит к тайному союзу. Он однажды в своей машине возил этого Ротшильда вместе с каким-то галицийским раввином. Разговор между ними не оставлял никаких сомнений. Сказав это, он отпил пива.

Столь явная ложь вывела из себя обычно тихого булочника. Это был худощавый, унылого вида человек с грушеподобным шишковатым черепом и зобастой, как это часто встречается в Баварии, шеей. Он отпил пива. Затем спокойно проговорил:

— Собака ты, лжесвидетель подлый!

Шофер Ратценбергер, собиравшийся опустить на стол кружку, замедлил свое движение. Его рот несколько мгновений оставался раскрытым, щеки порозовели, как у ребенка. Он поднял голову.

— А ну-ка, повтори еще! — сказал он.

Теперь все стихли. Дело в том, что все здесь знали, почему Ратценбергера обозвали «подлым лжесвидетелем». Однажды вечером, — было это через несколько месяцев после процесса Крюгера, а именно в день «поминовения усопших», когда братья и сестры Ратценбергер не могли сговориться относительно доли участия в расходах на фонарики и бумажные цветы для украшения медного ангела и распря между ними разгорелась с новой силой, — в ресторан «Серенький козлик» явился один из братьев Франца-Ксавера. Началась брань, посыпался град отборнейших ругательств, и в пылу ссоры брат обозвал Франца-Ксавера подлым лгуном. Его показания насчет Крюгера, — кричал он, — тоже ложны, и сам он ему, своему брату, в этом признался, да еще хвастался этим. Человек пять присутствовало при этом происшествии, среди них и булочник. Они ясно слышали слова брата, тот свое заявление повторил неоднократно и в разных вариациях: то с шипящей угрозой, то злобно крича, но в общем совершенно недвусмысленно. Да и Франц-Ксавер особенно не оспаривал слов брата. Он только огрызался: «Что? Что я такое? Лгун?» Свидетели оградились ничего не значащими восклицаниями и поглядыванием

друг на друга. Ведь шофер Ратценбергер свои показания давал во имя поддержания порядка и нравственности. Не полагалось относительно этих показаний иметь свое собственное мнение, измеряя их обычной меркой. Все же слова брата шофера глубоко запечатлелись в памяти свидетелей, и они сейчас понимали, на что булочник намекает, обзывая «подлым лжесвидетелем» мученика, бесстрашно дававшего свои показания.

Итак, все молча и напряженно усталились на худого и унылого булочника и порозовевшего шофера, который, произнеся: «А ну-ка, повтори еще», — замер в ожидании, приподняв и выставив вперед голову.

Булочник ответил спокойно, упрямо и уныло:

— И повторю: собака ты, лжесвидетель подлый! — после чего шофер не спеша — как при замедленной киносъемке — встал и поднял пивную кружку, чтобы разбить ее о голову противника. Противник тоже поднял кружку и опустил ее, так же неторопливо, по с достаточной силой, и притом первым, на голову Франца-Ксавера.

В то время как шофер валился наземь, быстро и с удивительной ясностью промелькнула перед ним вся прожитая им жизнь. Как он с визгом, окровавленный и грязный, с другими мальчишками играл в цветные камешки и, играя, обманывал их. Как в школе после неудовлетворительного ответа, спасаясь от розог, приносил господину учителю пиво с меньшим количеством пены, чем остальные. Как он, будучи уже механиком, из-за недобросовестности, склочничества и лени терил одно место за другим. Как связался с Крещенцией и наградил ее ребенком, как влил своему сынишке Людвигу первый глоток пива. Как он вынужден был пойти воевать, вначале болтался в тылу по польским кабакам и публичным домам, много раз при помощи хитроумной подмены приказов отправляя на смерть товарищей, пока в конце концов все же не оказался засыпанным землей в разбитом снарядами окопе. Как лежал в лазарете, используя свое право на ничегонеделание, и это время было, пожалуй, самой счастливой полосой в его жизни: пива, хоть и жидкова-

того, было вдоволь, женщины стоили недорого. Как он на деньги невесты купил машину, а потом колотил жену, орал по всякому поводу. Как он не раз мчался в роскошных чужих машинах со своим мальчиком Людвигом сквозь окутанный ночным мраком Форстенридовский парк, впуская стада кабанов «королевской охоты». Как отомстил автомобилисту, прорезав шину. Как на Изаре, с криком: «Прощай, чудный край!» — соскочил с парома. Из-за медного ангела передрались с родными. Как подстроил дело с Крюгером, оказав большую услугу отечеству. Как он, окруженный уважением, полезный член общества, сиживал в «Сереньком козлике» за столом завсегдатаев. Все это вновь пережил шофер, в то время как кости раздробленного черепа врезались ему в мозг. Приятно было все это еще раз пережить: хорошая была жизнь; он с удовольствием прожил бы ее и в третий и в четвертый раз. Но ему ничего не оставалось, как свалиться тяжелым своим туловищем вперед, похрипеть немного и скончаться.

Увидев Ратценбергера лежащим между кружкой пива и приготовленной, но несъеденной редькой, остальные почувствовали себя подавленными. Булочник, правда, ограничился словами: «Получил теперь свое, глупый баран!» Общее озлобление тут же сосредоточилось на напочнике Ротшильде, послужившем причиной смерти заслуженного шофера.

Похороны Ратценбергера были обставлены с большой пышностью. Это был человек, не побоявшийся сказать правду и за это подвергшийся преследованиям со стороны «чужаков» и красных. Но он, не смущаясь, исполнил свой долг, был олицетворением настоящего пемца. «Истинные германцы» устроили траурный парад, и Руперт Кутцнер произнес пламенную речь. Молча, с замкнутым выражением на красивом лице, слушал юный Людвиг Ратценбергер речи, произносимые в честь его отца. Вот они добились своего — укорючили его отца, эти враги проклятые — Иуда и Рим! Но живет на свете он, Людвиг, и он им еще покажет! «Истинные германцы» заказали надгробный памятник для могилы Ратценбергера, да такой эффектный, что лучшего не мог бы пожелать и сам усопший. Барельеф

изображал катящееся колесо — намек на профессию покойного — и на колесе человека, поднявшего для клятвы руку, — намек на его мужественный поступок.

Следствие по отношению к булочнику было проведено быстро и поверхностно. Ведь случай был ясный: ссора разыгралась из-за еврея Ротшильда. Булочник защищал еврея. Шофер, естественным образом раздраженный травлей, которой он подвергался, вспылил. Потасовки были не редкостью в баварских кабаках. Булочник был достаточно умен, чтобы не распространяться о подробностях. Он повторял со спокойным, печальным выражением лица: «Да, вот бывает, бывает...» Стоял, понутив в тупой задумчивости шишковатую грушеобразную голову. Был приговорен к небольшому наказанию.

Но хотя на открытом заседании суда об этом и не было сказано ни словечка, все же слухи о настоящей причине гибели Ратценбергера поползли по предместьям Гизингу и Гайдгаузену, и заставить их утихнуть, несмотря на возведение покойного шофера в сан мученика, оказалось невозможным. Они достигли также и ушей вдовы Кресценции Ратценбергер. Грубая ругань поднималась между нею и юным Людвигом Ратценбергером, решительно захватившим в свои руки власть в доме, не выносившим ханжеских ухваток матери и свято чтившим память отца. Он гневно заявлял, что слухи о лжесвидетельстве отца объясняются гнусными происками политических противников. Его дикий повелительный крик в конце концов заставлял бедную женщину умолкнуть. Но она знала то, что знала. Ведь ей усопший признавался в том же, в чем признавался и своему брату. И вдова в его смерти видела кару и знак свыше. Она была набожна, любила покойного мужа и не могла удовлетвориться заупокойными богослужениями. Ее грызла мысль о том, что он сидит в чистилище, а может, и еще где-нибудь похуже. Однажды, под влиянием виденного кинофильма, она просила его публично покаяться в том зле, которое он причинил Мартину Крюгеру. Но вместо ответа он только дал ей оплеуху. Теперь он был мертв, она простила ему побои и вся была преисполнена заботой о его душе. Она обратилась за

советом к духовнику. Неприятно удивленный священнослужитель посоветовал ей молиться и служить панихиды. Но это не удовлетворяло ее. Часто она проводила ночи без сна, размышляя о том, как ей помочь покойному.

14

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ СПРАВОК

Население земного шара составляло в те годы 1800 миллионов человек, из них белокожих около 700 миллионов. Культура белых считалась лучше других. Европу принято было считать лучшей частью света. Происходил медленный сдвиг центра тяжести в сторону Америки, где жило около одной пятой всех белых людей.

Белые создали между собой разного рода границы, часто искусственные. Они говорили на разных языках. Группы в несколько миллионов человек имели каждая свое особое паречие, непонятное другим. Они искусственно усиливали противоречия между отдельными индивидуумами и группами и по всяким поводам воевали друг с другом. Правда, среди них начинало распространяться сознание, что убивать людей не следует. Все же многими владела примитивная страсть к убийству себе подобных. Воевали, например, по причинам национального характера, то есть потому, что родились в разных местах земной поверхности. Приводили в действие групповой аффект, объявляли добродетелью считать неполноценными людей, родившихся за пределами установленных властями территориальных границ, и стрелять в них в указанное властями время. Такие и им подобные добродетели, с малых лет прививаемые детям, объединяли в понятие «патриотизма». Другим поводом к войне служили у белых моменты социологические. В этой борьбе играли роль такие понятия, как «прибавочная стоимость», «эксплуатация», «класс», «пролетарии», «буржуа». Но и здесь разграничение было произвольным, для вождей партий было не просто установить, какие качества определяют принадлежность их

носителя к числу сторонников или противников их группы.

Образ жизни той эпохи не отличался гигиеничностью. Люди жили, тесно сжатые вместе в гигантских домах из камня и железа, плохо проветриваемых, почти лишенных зелени, безобразно сгрудившихся. В Северной Америке 25,9 процента людей жило в городах с населением, превышающим 100 000 жителей, в Европе — 13,7 процента, в Германии — 26,5, а в Англии — 39,2 процента. Вдыхали дым сушеной, медленно тлеющей травы, носившей название «табак», отравляя воздух себе и окружающим. В большом количестве поедали мясо убитых животных. Но употребление в пищу человеческого мяса вывелось даже у белых. Потребление алкоголя было в Америке запрещено, но запрещение это всеми обходилось, так что в рождественскую ночь одного из этих годов в одном лишь Нью-Йорке двадцать три человека умерло от потребления суррогатов спиртных напитков.

В Европе в то время насчитывалось 463 миллиона жителей. 63 миллиона падало на Германию, на страны с населением, говорящим по-немецки, — 72 миллиона, на Баварию — 7. Городов с миллионным населением, говорящим на немецком языке, было четыре: Берлин, Вена, только что создавшийся центральный город Рурской области и Гамбург. В Баварии — ни одного. Городов с населением свыше 100 000 насчитывалось в Германии 46, в Баварии — 3. На каждую тысячу жителей приходилось в Германии 652,1 протестантов, 330,6 католиков, 9,2 лиц иудейского вероисповедания. В Баварии жило 2 миллиона лютеран, 5 миллионов католиков, 55 000 лиц иудейского вероисповедания. В год, когда разбиралось дело Крюгера, в Германии умерло 379 920 человек, из них покончило с собой — 14 352. Таким образом, из каждых 100 умерших 4 кончили жизнь самоубийством.

Доходами с сельского хозяйства в Германии тех лет существовало 14 373 000 работоспособных с семьями, 25 781 000 человек — доходами от ремесел и промышленности. В Германии доходами от ремесел и промышленности существовало 41,4 процента работоспособного

населения, от сельского хозяйства — 30,5 процента. В Баварии же 43,8 процента жило доходами от сельского хозяйства, а от промышленности всего 33,7 процента. Привести сколько-нибудь осмысленные цифры заработной платы тех лет крайне затруднительно, так как, благодаря хитроумной афере, называвшейся инфляцией и состоявшей в чрезмерном выпуске банкнот, ценность и покупательная способность немецких денег с каждым днем понижалась, отчего большая часть населения при номинально возрастающей заработной плате вела жизнь, полную голода и лишений. Из общего состава населения Германии, по самым скромным подсчетам, 64,2 процента, соответственно своему жизненному уровню, могли быть причислены к так называемому пролетариату. Однако сами причисляли себя к этой группе, если судить по результатам голосований, всего 43,6 процента; в Баварии — 29,1 процента.

667 884 немца были заняты работой на почте и железных дорогах; в гостиницах, ресторанах и питейных заведениях — 650 897 человек. Рыбаков было 24 805, врачей — 40 150, писателей — 8257, повивальных бабок — 15 043. В Берлине были официально зарегистрированы 13 502 профессиональные проститутки.

Германские железные дороги перевезли в тот год 2381 миллион человек. Общее число легковых автомобилей составляло 88 000. Воздушными путями сообщения воспользовались 21 000 человек. В те времена на всем земном шаре начинали придавать значение техническому мастерству, а также усилению и усовершенствованию способов сообщения. Но транспорт организовывался в соответствии с интересами военной касты и желаниями отдельных заинтересованных лиц, владельцев больших капиталов. Из 11 669 существовавших на земном шаре летательных аппаратов — 874 служили для пассажирского сообщения, 1126 — для обучения пилотов, 9669 были военными машинами.

В большом почете были телесные упражнения. Их главной целью было установление рекордов. Каждую физическую способность старались специализировать. Особый интерес привлекал бокс, упражнение, при котором чрезмерно тренированные мужчины, руководству-

ясь особыми правилами; избивали друг друга. Популярны были также так называемые шестидневные гонки — состязания, во время которых отдельные лица шесть дней подряд на довольно примитивных машинах, движимых силой ног, отмеряли на арене возможно большие расстояния. Эти профессиональные спортсмены недолго могли пользоваться силой своих рук и ног. Чрезмерно развитая сила пожирала самое себя: они преждевременно старились и умирали.

Образование того времени шло по пути идеалов эпохи Возрождения, основываясь на греческой и латинской литературе в трактовке гуманистов. О мудрости Востока, которая нашла свое выражение в книгах и произведениях искусства, в истории и формах жизни, среди белокожих было известно лишь нескольким сотням ученых исследователей. Официальная этика нецветных народов основывалась на воззрениях, изложенных евреями в их древних классических книгах. Комментировалась, а иногда и видоизменялась эта этика в зависимости от военных, хозяйственных, национальных потребностей данного правительства. Большая часть учебного материала, преподносимого детям в школах, была неприменима в практической жизни. События прошлых лет регистрировались на основании каких-то малопонятных принципов, в соответствии с датами рождения или вступления на престол князей и тому подобных фактов. Зависимость событий от экономических факторов в школах тщательно скрывалась. В отличие от этого, создавшееся новое, революционное течение старалось все происходящее на земле каталогизировать соответственно социологическим и хозяйственным понятиям. Таким образом, сторонники этого течения все свое мировоззрение строили на социологических или экономических моментах. На одной шестой части поверхности земли даже создавали государство на основе учения социологов Маркса и Ленина, а именно СССР, Союз Советских Социалистических Республик, обычно называемый Россией.

Одним из существенных средств познания для лучших умов того времени служил хитроумный метод, придуманный венцем Зигмундом Фрейдом, — так называе-

мый психоанализ. Другими понятиями, при помощи которых пытались, с точки зрения познания вселенной, осветить явления жизни, были понятие относительности, научная база для которого была создана германским профессором по фамилии Эйнштейн, затем понятие расы, основанное на чувстве и менявшееся в зависимости от колеблющихся групповых аффектов, и прежде всего — понятия нормирования и типизации. Ввиду того что применение этих последних понятий к вопросам хозяйства и промышленности оказалось довольно удачным, стали делать попытки применения их во всех областях практического мышления. Обосновать эти понятия пытались даже при помощи фотографии. Некто Фрэнсис Гальтон сфотографировал «лицо времени». Он изготовил десять по возможности одинаково ориентированных фотографических портретов своих современников, совершенно одинакового размера, затем по этим десяти отдельным снимкам изготовил новый негатив, получив таким образом «средний портрет», запечатлевший характерные черты нормального типа. Американский исследователь Бодвич при соответственно укороченной экспозиции снимал целый ряд объектов — один поверх другого на одну пластинку. Таким образом усиливались черты общие, сглаживались индивидуальные. С документальной точностью обрисовывался нормализованный тип человека того времени. Полученное таким путем «среднее лицо» было, по господствовавшим в те времена взглядам, красивее, чем лицо индивидуальное.

Если среди белых еще совсем недавно принято было все вопросы пола считать центром душевной жизни человека, то теперь в центре всего начали ставить факторы социологические, экономические и политические, отодвигая сексуальные моменты в сторону. Законодательство защищало и поддерживало моногамию, ставило в исключительное положение и подвергало презрению проституцию, затрудняло принятие противозачаточных мер, запрещало изгнание плода, создавало непонятные мероприятия по содержанию внебрачных детей, карало за нарушение супружеской верности. На практике в то же время широкие слои населения, при молчаливом попустительстве правительств, принимали

меры к сокращению деторождения, прибегая к противозачаточным средствам или изгоняя нежеланный плод. На практике среди белых существовали также величайшая половая анархия и разврат. Нигде между законом и жизнью не было такого разрыва, как в этой области. Все сочинители комедий в те времена черпали свой материал из противоречий между естественным влечением и существующими обычаями — с одной стороны, и законодательством и официальной моралью — с другой.

Формы жизни были неопределенны и неустойчивы. Специальная комиссия одного американского института прикладной психологии установила, что на 1000 человек, возможно более однородных по своему классовому составу, приходится: в Китае 4 невежливых, в Скандинавии — 88, в Англии — 124, в Америке — 204, в Германии — 412, в Баварии — 632.

Что касается политики белых, то страны с низким числом неграмотных предпочитали демократические формы правления, страны же с высоким числом неграмотных — диктатуру. В демократически управлявшейся Германии приверженцы феодального понятия власти — правые партии — численностью несколько превосходили сторонников государственного уклада с более подчеркнутым социальным характером — партии левые. Малоимущие в материальном отношении входили в большинство случаев в левые партии, малоимущие умственно — в правые. Из немецких писателей, стяжавших себе известность и вне пределов господства немецкого языка, 27 придерживались левого направления и 1 — правого. При выборах в рейхстаг в верхнебаварско-швабском избирательном округе на долю левых партий пало 19,2 процента поданных голосов, в Берлине — 61,7. Подписчиками правых газет из 100 мюнхенских студентов состояло 57, из 100 мюнхенских офицеров — 91, из 100 гамбургских рабочих — 2, из 100 зарегистрированных проституток Берлина — 37. Подписчиками левых газет из 100 мюнхенских студентов состояло 19, из 100 мюнхенских офицеров — 2, из 100 гамбургских рабочих — 52, из 100 зарегистрированных проституток Берлина — 5.

Идиотов и кретинов от рождения в Германии было 36 461, из них в Баварии — 11 209. Расходы германского государства на военные нужды составляли 338 миллионов золотых марок, на литературу — 3000 марок, на борьбу с венерическими заболеваниями — 189 000 марок.

Правосудие Германии тех лет мало было связано с практической жизнью и совсем не было связано с мировоззрением эпохи. Оно базировалось частью на правовых нормах, изложенных четырнадцать веков назад в кодексе римлян, частью же на нравственных принципах, две тысячи лет назад запечатленных в канонических книгах иудеев. Кроме законов государственных, силу имели еще 257 432 полицейских циркуляра, частично изданных в шестнадцатом веке, незнание которых грозило карой каждому, находившемуся на германской территории.

В тот год в Германии числился 9361 судья, из них в Баварии — 1427. Во всей Германии за ложную присягу осуждены были 1251 человек, за преступления против нравственности — 3439 человек, за нанесение опасных для жизни ранений — 24 971, за искусственное изгнание плода — 3677 человек. Процент приговоров за разного рода насилия в Баварии был выше, чем во всей остальной Германии. Что касается отбывания наказания, то здесь больше внимания уделялось душам заключенных, чем их бранный плоти. При 1732 исправительных заведений и тюрьмах Германии было занято больше священников, чем врачей. На государственной службе при тюрьмах состояло священников 125, врачей — 36.

Все страны бледнокожих, особенно же Соединенные Штаты Америки, тщательно собирали статистические данные об этих и всевозможных других вещах, издавая составленные ими сводки в виде объемистых ежегодников, но не делая из них каких-либо практических выводов.

Таковы были белые люди, которых земной шар в те годы кружил в пространстве и которые составляли две пятых его человеческого населения.

КОМИК ГИРЛЬ И ЕГО НАРОД

Большой зал «Минервы» — простонародного варьете вблизи главного вокзала — был переполнен: выступавший сегодня после длительного перерыва комик Бальтазар Гирль пользовался широкой популярностью. Слушатели состояли главным образом из мелких буржуа, людей среднего достатка, «тричетвертилитровых рантье», как их называли, так как их средств не хватало на целый литр пива. Они сидели в резком свете строгого зала, разукрашенного фресками патристического и мифологического содержания, курили сигары или трубки, в антрактах наслаждались звуками большого духового оркестра. Во время действия они закусывали. Этот один вечер должен был вознаградить их за целую неделю лишений. И вот они ели сосиски разных сортов: белые, без кожи, сочные, туго набитые в оболочку, коричневато-красные, тонкие и толстые. Ели также телятину, приготовленную просто, без кулинарных ухищрений, жареные почки, антрекот с картофельным салатом. Ели огромные клецки, приготовленные из муки и печенки, жареные телячьи ножки, крепдели, редьку. Из женщин многие пили кофе, макая в него «хворост» самых разных видов: трубчатый, с раздутыми краями, паровой, толстый, сочащийся жиром. Все это подавалось в посуде производства «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын», в большинстве случаев с излюбленным голубым узором — горчаника и эдельвейса. Зал был полон дыма, ровного медлительного шума, запаха пива, пота, людей. Пожилые бюргеры сидели уютно и удобно, любовные парочки устроились свободно, без стеснения и блаженствовали. В большом числе в эту массу мелких буржуа были вкраплены крупные чиновники и другие «большоголовые»: дело в том, что комик Бальтазар Гирль упрямо ограничивал свои выступления простонародными увеселительными заведениями.

Иоганна Крайн, сидя с Гессрейтером и адвокатом доктором Гейером за одним из столиков, покрытых

красными в пашечку скатертями, чувствовала себя приятно. От пребывания в Гармише у нее остались неплохие воспоминания, и оно, вероятно, было полезно для ее дела. Но все же было приятно сейчас сидеть здесь, в Мюнхене, есть грубовато приготовленный шницель, ощущать стесняющее соседство трех толстых, болтающих, курящих, подкрепляющихся бургеров, перед тем как завтра рано утром выехать в Одельсберг и там в три часа дня приобрести право впредь именоваться «г-жа Иоганна Крюгера».

Узнав из газет о позорной смерти шофера Ратценбергера, она не ощутила ни злорадства, ни облегчения. Это известие она восприняла скорее как знамение. Пребывание в Гармише, — даже если считать, что оно было полезно для дела Крюгера, — пустая жизнь зимнего курорта, преувеличенный интерес к спорту, значение, придаваемое платью, отели, «Шудреница», г-н Гессрейтер, молодой и легкомысленный Эрих Борнгаак — все это наполняло ее постоянно возрастающей нервной тоской.

Прочитав заметку о смерти своего противника, свидетеля Ратценбергера, она с удвоенной энергией принялась за приготовления к венчанию с Крюгером, поспешно, к большому удивлению тетки Аматсридер, выехала в Мюнхен. Пауль Гессрейтер, несмотря на ее протесты, настоял на том, чтобы сопровождать ее. И вот она сидела здесь, собираясь послушать комика Гирля. Провести весь вечер в ожидании, ничем не отвлекаясь, было бы чересчур тяжело. Завтра она выйдет замуж за Мартина Крюгера.

За эти два дня, проведенные в Мюнхене, она узнала, что дело по обвинению ее в шарлатанстве приостановлено. Власти, должно быть, никогда особенно серьезно не относились к этому делу, но Иоганне это их отступление показалось знаменательным. Дело Крюгера представлялось здесь иным, чем в беззаботной атмосфере Гармиша. Здесь оно не казалось уже предметом политической игры или делом упрямства и спорта. Скорее было в нем нечто, таившее в себе какие-то требования, давление, что-то гложащее и не ослабевавшее ни на минуту. Жаль, что здесь не было Жака Тювер-

лена: сегодня ей были бы по душе его резкость и тонкое остроумие.

Она окинула взглядом лица окружающих — тупые, спокойные лица. В сущности — добродушные. Казалось, легко можно было бы вырвать из их лап невинного Крюгера. Но она лучше знала этих людей, — недаром принадлежала сама к их племени. Она знала, какое упрямство они способны были иногда проявить. Непонятно почему, их охватывало вдруг раздражение, и тогда уже ничто не могло поколебать их бессмысленное, звериное упрямство.

На эстраде появился комик Бальтазар Гирль. Позади виднелся потрепанный бархатный запавес, красный с золотом, аляповатый и неимоверно грязный. Перед этим занавесом сидело несколько музыкантов из оркестра, и среди них — долговязый, тощий, грустный комик Бальтазар Гирль, грубо загримированный, с нелепо белым, похожим на огурец посом и красными клоунскими пятнами на щеках; он, словно муха, прилип к своему жалкому стулу. Худые икры, вылезавшие из несуразно больших сапог, он искусно обвил вокруг ножек стула. Изображалась репетиция оркестра. Комик Гирль сначала играл на скрипке, но ввиду отсутствия товарища, играющего на барабанах, он взялся исполнять и его партию. Это сложно. Вся жизнь — сложная штука. Бесхитростного, миролюбивого человека всюду подстерегают проклятые козни, которые нужно разрушать. Вот, например, у дирижера сползает на сторону галстук — нужно ведь обратить его внимание на это. Это трудно сделать во время игры. Можно было, правда, быстро и убедительно ткнуть разок-другой смычком в направление галстука. Однако дирижер не понимал этих знаков. Приходилось приостановить игру. Но тут сбивался весь оркестр. Нужно было начать сначала. А тут опять сползал галстук. Вообще немыслимо было людям попятать друг друга. Простейшие вещи становились загадочными. Речевых средств не хватало, а тут еще приходилось играть на двух инструментах. Не хватало рук, не хватало ног, не хватало языка. Трудно было жить на этом свете. Оставалось только с тихим упрямством заниматься своими печальными делами. Имеешь вполне

правильные мысли и представления, а другие не понимают тебя или не желают понять.

Пришла, например, на ум мысль о велосипедисте. И вот в самом деле мимо несется велосипедист. Разве не удивительно? Но остальные не желали считать это чем-то удивительным. Да, — заявляли они, — если бы, дорогой ты мой, тебе пришла бы, к примеру, в голову мысль о самолете и как раз мимо пронесся бы самолет — вот это уж, пожалуй, было бы в самом деле удивительно. Но, господа мои почтенные, появился ведь не самолет, а просто-напросто велосипедист. А тут еще музыкальные инструменты — хотя бы литавры, которые именно тогда, когда займешься скрипкой, требуют обслуживания, или человек на эстраде, который должен все время бить в барабаны и требовать совета и указаний, или еще сбивающийся на сторону галстук дирижера, которому нельзя было позволить сбиваться, мысли, которые нужно было привести в порядок, молча, без надежды добиться понимания, упорно, упрямо. Задача с велосипедистом, с которой никак не развязаться. Ведь это был так-таки не самолет, это был велосипедист. А теперь началось какое-то безумие. Оркестр стал играть увертюру к «Поэту и крестьянину». Темп был бешеный, и музыканты все сразу же сбились. Но он, Гирль, человек добросовестный. Погрузив в страницы нот свой белый, похожий на огурец, оседланный очками нос, он попадал в бурный поток, барахтался изо всех сил и в этом потоке тонул. Остальные перегоняли его, бешено неслись мимо. Он не сдавался — трудился, зарабатывая себе на хлеб, трудился за троих, и это был так-таки не самолет, это был велосипедист. А галстук опять сползал на сторону. Дикая штука! Убийственно серьезный, сухой, полный безнадёжного отчаяния, замотав икры вокруг ножек стула, он с печальным и тихим упрямством, добросовестно трудился. Зрители кричали, вопили, бесновались от хохота, валились со стульев, задыхаясь, захлебываясь пивом и давясь едой.

Странно, как перед простодушной убедительностью этого зрелища стирались все грани между зрителями.

Сглаживались их индивидуальные заботы и индивидуальные радости. Иоганна не думала уже о Мартине Крюгере, не думал Гессрейтер об аляповатых длиннобородых гномах и гигантских мухоморах своей фабрики, не думал и министр Кленк о предполагаемых в ближайшее время значительных изменениях в подведомственном ему личном составе, не думал и тайный советник Каленеггер о все учащающихся яростных нападках на его теории относительно слонов в зоологической коллекции. Точно так же как их головы в равномерном движении следовали за каждым движением актера, так и сердца их с одинаковым злорадством реагировали на бесплодные усилия хмурого человека на эстраде. Да, все многообразные интересы тысячи людей в этом переполненном зале топили в общем шумном восторге, вызываемом неудачами раскрашенного шута, с хмурым усердием напрягавшего все свои силы.

Один только доктор Гейер сохранял способность к критике. Раздосадованный, полный пренебрежения, сидел он за столиком, время от времени постукивая о пол изящной палкой, нервно краснел, находил всю эту штуку удивительно глупой, вполне подходящей к умственной неполноценности народа, среди которого злая судьба пазначила ему родиться. Его пронизывающий взгляд из-за толстых стекол очков переходил с невзрачного человека на эстраде к министру Кленку, который сидел, — неуклюжий, в суконной охотничьей куртке и с трубкой в зубах, — извлекая из своей широкой груди целые потоки оглушительного хохота. Взгляд доктора Гейера и его мысли уже не возвращались к эстраде. Они оставались прикованными к смеющемуся человеку в зрительном зале. Партия предлагала доктору Гейеру мандат депутата рейхстага; он проявлял чрезмерную, доставлявшую неудобства деятельность, от него хотели избавиться. Да и его самого привлекал оживленный город Берлин. Но трудно было покинуть Мюнхен, оторваться от наслаждавшегося победой врага.

Подумать только! Враг еще издевается над ним. Поклонился, посмел поклониться, приподнял стакан и выпил за его здоровье. И древний Каленеггер с тупым,

бессмысленным взглядом последовал примеру министра, отпил, поклонился.

Публика, стеснившись в душном зале, наслаждалась второй сценой, разыгрываемой комиком Гирлем. Это было изображение пожара и прибывших для тушения пожарных. Пожарные все вновь и вновь забывают о том, что происходит пожар. Они увлечены разговором о вещах, кажущихся гораздо более важными, — установлением степени родства: есть ли Губер, о котором говорит один из них и дочь которого учится играть на рояле, именно тот Губер, о котором говорит другой. Владелец горящего дома тоже интересуется такими вопросами. Серьезно обсуждаются и тут же демонстрируются качества одного из насосов, в то время как рядом с этим превосходным, но именно из-за демонстрирования не приводимым в действие насосом рушится горящий дом. Зал дрожал от восторга и веселья, министр хохотал своим громовым хохотом, Иоганна и Гессрейтер веселились. Тайный советник Каленеггер, сидя за одним столиком с министром и какими-то неизвестными ему горожанами, в закругленных, готовых к печати фразах разъяснял антропологическую основу юмора баварского комика. Он говорил о галечном человеке, издавна жившем в галечном треугольнике между Швабингом и Зендлингом, о лессовом человеке на востоке и западе, и альпийском человеке на юге, о торфяном человеке на севере, в районе Дахау. Точно также как в Мюнхене существует лессовая флора, существует и мюнхенский лессовый человек, характер которого определяется почвой. И выражением такого лессового человека является комик Бальтазар Гирль. Мюнхенские обыватели спокойно слушали объяснения Каленеггера, считая их учеными и хитроумными, ограничиваясь время от времени восклицаниями вроде: «Да, да, соседushка!»

Оркестр заиграл бравурный заключительный марш. Г-н Гессрейтер проводил Иоганну домой на Штейнсдорфштрассе. Он почти не разговаривал. Чуть ли не до последней минуты он надеялся, что Иоганна откажется от своего намерения обвенчаться с Крюгером. Он не считал себя особенным знатоком людей, но все же

отлично видел, что ее решение продиктовано не чувством внутренней близости к Крюгеру, а просто упрямством, чем-то вроде: «А вот пусть будет так!» Поговорить с Иоганной об этом прямо он не решался. Свое отношение к этому вопросу он мог выразить лишь скверным настроением, передавшимся и ей. От его предложения отвезти ее в Одельсберг в своем автомобиле Иоганна отказалась весьма решительно.

Просто отвратительно, как все осторожно скользят по поверхности, когда речь заходит о ее отношениях с Крюгером. Проклятая скромность! Хорошо было бы, если бы вместо распылчатого, склонного к утешениям Гессрейтера рядом с ней сидел здесь развязный, резкий Тюверлен. Она не видела его с тех пор, как, возмущенная его циничными афоризмами, встала тогда в ресторане из-за стола. Он, наверно, не стал бы деликатно скрывать свое мнение по поводу ее намерения. Никто не привел ни одного сколько-нибудь конкретного довода против ее предполагаемого брака. Хоть бы этот Гессрейтер высказал в конце концов что-нибудь конкретное.

Но г-н Гессрейтер сидел рядом с ней, томный, занятый своими мыслями, и проделывал тростью из слоповой кости какие-то странные загибающие движения, словно помешивая ею кашу. Машина как раз проезжала мимо Галереи полководцев, и, хотя ее почти и не было видно в темноте, г-н Гессрейтер бросил на красовавшиеся там чудовища полный несправедливости взгляд. Не из-за его ли керамического завода Иоганна относилась к нему как к чему-то неполноценному? Не из-за производившегося ли там безвкусного хлама? Но ведь тут можно было подыскать много оправданий. Он с толком собирал настоящие произведения искусства, не терпел у себя в доме ни одной вещи своего собственного производства. И он сам и весь свет одобряли его образ жизни. Неужели следовало уступить дело другому? Иоганна была благоразумная девушка; разумеется, она должна была понять его точку зрения. Он взвешивал в душе: показать ли ей свою фабрику, своих рабочих, свои машины? Разве есть у него основания стыдиться? У него даже есть основания гордиться.

Он не скроет от нее ни длиннобородых гномов, ни гигантских мухоморов, но зато покажет ей и серию «Бой быков». Он был человек, способный нести ответственность за то, что делал. Приняв окончательное решение, он пригладил бачки, повеселел, стал разговорчивее.

Комик Бальтазар Гирль в своей уборной снимал с себя грим. Хмурый, сидя на грубой деревянной табуретке, он при помощи вазелина удалил с носа белую клейкую массу, со щек — ядовито-алый румянец. При этом он тихонько ворчал себе под нос, жалуясь, что пиво недостаточно теплое: он страдал желудком и мог пить пиво только подогретым. Его подруга, изображавшая брандмейстера, решительного вида особа, все еще одетая в форму пожарного, старалась успокоить его. С ним было трудно: он всегда был чем-нибудь угнетен. Она уверяла его, что пиво имеет как раз предписанную температуру. Но он маловразумительно ворчал что-то о глупых бабах, которые всегда хотят оставить за собой последнее слово. Ему, конечно, сказали о том, какая изысканная публика собралась сегодня, и он, при всем своем напускном безразличии, зорко следил за производимым впечатлением и бесился, когда мельчайшая частица его остроумия пропадала впустую. Сейчас он ругался по адресу этих баранов, восхищавшихся им. Что ему с того? Неужели они думают, что его забавляют собственные шутки? Черта с два! Он был полон своим родным Мюнхеном. Он тосковал по большой комедии, в которой мог бы отразить себя, свой Мюнхен и весь мир. Но этого они не могли понять, эти болваны, эти идиоты пустоголовые!

Угрюмый, со впалыми щеками и скучающим лицом, высохший, в болтавшихся, как на вешалке, длинных подштаниках, стоял он посреди комнаты, жалкий, прищурясь глядел на свою подругу, пил и не переставая тихо бранился. Наконец (несмотря на большой заработок, он был скуп и не позволял себе роскоши взять такси) подруга повела его к трамвайной остановке. На площадке вагона он прижался к подруге от страха перед возможностью прикосновения чужих людей.

СВАДЬБА В ОДЕЛЬСБЕРГЕ

На этот раз Иоганна поехала в одельсбергскую тюрьму по железной дороге. Поездка была сопряжена со многими неудобствами. Дважды пришлось пересаживаться. Вагоны в этих медленно ползущих, переполненных поездах были старые и грязные. Инженер Каспар Прекль, так же как и г-н Гессрейтер, предлагал отвезти ее в Одельсберг в автомобиле. Но в глубине души Иоганна, несмотря на неудобства, связанные с поездкой по железной дороге, была рада, что погода помешала поездке в автомобиле. Ей было, пожалуй, даже приятно, что тюремное начальство не допустило Каспара Прекля в качестве свидетеля при венчании. При своем настроении она не испытывала желания быть в обществе этого резкого, одержимого своими идеями и отличавшегося дурными манерами человека. Зато она оказалась незащищенной от назойливости репортеров. Не сумев выманивать у нее какие-либо замечания, которые они могли бы использовать, они стали досаждают ей тем, что дерзко глазели на нее, громко обменивались замечаниями на ее счет и щелкали своими фотоаппаратами.

Вот наконец и пустынная дорога, ведущая к тюрьме. Плоский, скучный ландшафт, напоминающий ненакрытый стол. Обнаженный, одинокий куб тюрьмы, равномерно продырявленный крохотными оконцами, еще сильнее подчоркивающими высоту стен. Огромные безобразные ворота, караул, помещение, в котором проверяют документы, длинные, пахнущие плесенью коридоры. Вид во двор с шестью замурованными деревьями.

Иоганну провели в кабинет директора. Кроличья физиономия обер-регистратора Фертча была преисполнена важности, усики торопливо шевелились, следуя быстрому движению губ, торчавшие из носа волоски вздрагивали. Все лицо находилось в суетливом движении. Он упорно размышлял над тем, что скрывалось за этим браком, какие хитроумные мотивы таились за первоначальным отказом и всем ломанием, рисовкой и фокусами заключенного номер две тысячи четыреста семь-

десять восемь. Но он так и не мог ни до чего додуматься. Где-то в этой истории — это директор Фертч чуял ясно — должна была таиться возможность выудить какую-то пользу для его, Фертча, карьеры. Эта свадьба, во всяком случае, пахла сенсацией. Он охотно использует ее. Он решил держаться просто, благодушно. Приготовил также несколько острот, которые при случае могли попасть в печать.

— Значит, вот как! — сказал он Иоганне с быстро скользнувшей и обнажившей испорченные зубы улыбкой.

В комнате находились еще полный, все время конфузившийся человек в длиннополом сюртуке и с толстой часовой цепочкой на животе — бургомистр близлежащего торгового местечка, который должен был официально оформить регистрацию брака, — и учитель, приглашенный для занесения записи в книгу. Приехавшие вместе с Иоганной репортеры стояли вдоль стен. Иоганна сердито переводила взгляд с одного на другого, медленно поворачиваясь к ним лицом.

— Могу я до венчания повидаться с Крюгером? — сухо и деловито спросила она.

— К сожалению, это не разрешается, — ответил директор. — Мы и так пошли на всевозможные поправки. При подобном же случае другому арестованному после венчания было разрешено получасовое свидание, вам же я разрешил свидание в течение часа. Думаю, что вы вполне успеете наговориться!

Иоганна ничего не ответила, и в маленькой комнате стало совсем тихо. На стенах висели докторский диплом директора, фотография, изображавшая его офицером, и портрет фельдмаршала Гинденбурга. В стороне, держа фуражки в руках, стояло несколько тюремных служащих. После долгих переговоров Крюгеру было разрешено пригласить в качестве свидетеля при венчании арестанта Леонгарда Ренкмайера, его товарища по прогулкам между шести деревьев. Вторым свидетелем должен был быть надзиратель, человек с квадратным спокойным и не жестоким лицом. Он подошел к Иоганне, представился, дружелюбно протянул ей руку.

— Я думаю, пора начинать,— сказал бургомистр и, несмотря на то что на стене висели часы, поглядел на свои грубые карманные.

— Да,— ответил директор.— Введите...— он сделал паузу,— жениха.

Репортеры осклабились. В комнате сразу стало шумно.

— Не робейте! — совсем неожиданно и так, чтобы не слышали остальные, шепнул Иоганне надзиратель, исполнявший обязанности свидетеля.

В комнату ввели Мартина Крюгера и Леонгарда Ренкмайера. Крюгеру для такого случая разрешили снять арестантское платье. При поступлении в одельсбергскую тюрьму он был одет в серый летний костюм. Он и сейчас был в этом костюме. Но он очень похудел и теперь, зимой, в стенах Одельсберга, производил какое-то странное впечатление в этом изящном прошлогоднем сером костюме. Ренкмайер был в серо-коричневом арестантском платье. Выпуклыми светлыми глазами поспешно оглядел он собравшихся, отвесил несколько быстрых поклонов, был чрезвычайно возбужден. Этот человек, любивший поговорить, жаждавший показать себя, сразу почуял сенсацию: инстинкт подсказал ему, что стоявшие вдоль стен господа — журналисты. Это был для него знаменательный день. Каждое движение, каждый взгляд в эти короткие мгновения были драгоценным добром, которым потом в долгие серые месяцы будет питаться этот общительный человек.

— Прошу, господин бургомистр,— произнес директор.

— Да, да,— ответил толстый бургомистр, слегка одергивая длинный черный сюртук. Учитель, смахнув капли пота с верхней губы, обстоятельно раскрыл огромную книгу. Бургомистр осведомился о согласии брачующихся. Мартин Крюгер оглянулся кругом, увидел директора, надзирателей, Леонгарда Ренкмайера, выстроившихся вдоль стен репортеров; внимательно поглядел на Иоганну, заметил, что она очень загорела; затем он произнес: «Да!» Иоганна ясно и четко также ответила: «Да»,— и закусил верхнюю губу. Учитель вежливо по-

просил брачащихся и свидетелей внести свои подписи в большую книгу.

— Пожалуйста, только не вашу девичью фамилию, а фамилию вашего супруга, — сказал он Иоганне. Репортеры при слове «супруг» захихикали. Быстрым почерком без утолщений изобразил свою изящную подпись Леонгард Ренкмайер, наслаждаясь сладостным чувством, что все глядят на него, что газеты будут рассказывать об этом его действии.

Иоганна Крайн-Крюгер, вдыхая спертый воздух, наполнявший тесную комнату, стоя в кругу надзирателей, державших в руках фуражки, рядом с директором и бургомистром, машинально, лишь бы отвлечься, следила за вырисовывавшимися на бумаге линиями подписей — перовыми, широкими, тонко выведенными буквами Ренкмайера, сжатыми, неуклюжими, жирными линиями почерка надзирателя. И в то же время она избегала взглянуть на подпись Мартина.

Теперь все обступили новобрачных. Их поздравляли, пожимали им руки. Мартин Крюгер принимал все это спокойно, любезно. Репортеры при всем желании не могли уловить в его поведении ни упрямства, ни проявления отчаяния, ни чего-нибудь еще такого, что могло бы пригодиться для газетной заметки. Зато Леонгард Ренкмайер немедленно попытался завязать с ними разговор. Однако после первых же его слов директор вмешался вежливо и решительно, и праздник Леонгарда Ренкмайера на этом кончился.

Мартина Крюгера и его жену увели в приемную, где Крюгеру разрешено было еще в течение часа побеседовать с женой в присутствии надзирателя. Один из репортеров спросил директора, не будет ли Крюгеру дана возможность осуществить только что заключенный брак. Оберрегирунгсрат Фертч с нетерпением ждал, чтобы Мартин или Иоганна обратились к нему с соответствующей просьбой, и был разочарован, что этого не случилось. Он на этот случай специально придумал несколько остроумных возражений. Теперь, быстро-быстро поднимая и опуская свою кроличью губу, он поспешил выложить любовно подготовленные шуточки хотя бы репортерам.

Разговор Иоганны с Мартином Крюгером тянулся вяло и часто прерывался. Благожелательно настроенный надзиратель старался не слушать, но время уходило, а они не умели использовать его. Они почти не говорили ни о чем личном. Иоганне было стыдно, что она так холодна. Но что могла она сказать этому человеку, сидевшему напротив и глядевшему на нее, словно взрослый на ребенка, с мудрой приветливой улыбкой? Как, собственно говоря, она должна была вести себя с ним?

— Как ты загорела, Иоганна, — дружески, несомненно без всякого укора, скорее даже весело произнес Крюгер. Но ей в ее смущении показалось, что она улавливает какую-то нотку упрека. В конце концов она принялась передавать ему теорию Каспара Прекля о влиянии фильма, подвижного изображения, на живых и о том, что восприятие подвижного изображения должно в корне изменить восприятие зрителем неподвижной картины. Мартин как-то без связи с предыдущим заметил, что единственное, чего ему действительно недостает, — это возможности увидеть некоторые фильмы. Ему хотелось бы посмотреть зоологические фильмы. Он рассказал ей о своем увлечении «Жизнью животных» Брема. Рассказал о леммингах, этой кургузой, короткохвостой породе полевых мышей с маленькими, скрытыми в шерсти ушами и семенящем бегом. Об их загадочных странствиях, когда они, чудовищными стадами, словно свалившись с неба, появляются в городах северной равнины, и ни реки, ни озера, ни даже море не в состоянии приостановить их дальнейшее вторжение. Эти вызывавшие столько разговоров, возникавшие по неразгаданным причинам роковые странствия, все участники которых погибали под влиянием неблагоприятной погоды или чумы, уничтожались волками, лисцами, хорьками, куницами, собаками или совами, — очень занимали его. По мнению Брема, — добавил он с легкой усмешкой, — несомненно, неправильно считать, что причины этих «переселений народов» заключаются в недостатке пищи и носят экономический характер. Затем он тоном легкого превосходства заговорил о теории Каспара Прекля. Надзиратель, начавший наконец

прислушиваться, был поражен тем, что муж в такой обстановке разговаривает с женой о подобных вещах.

Мартин рассказал ей еще о своем намерении написать большую книгу о картине «Иосиф и его братья». Оттолкнувшись от этой картины, он собирался развить свои взгляды на значение, которое в наш век может иметь искусство. Он рассказал ей также о том, что у него недавно явилась одна совершенно новая идея, такая новая и значительная, что она с трудом могла бы сейчас встретить понимание. Все же ему очень хотелось высказать эту мысль, хотелось бросить ее, как бросают в море запечатанную в бутылку записку, чтобы она достигла какого-то человека будущего. Но именно тогда, когда ему пришла эта мысль, он как раз в виде наказания был лишен права писать. У него не было бумаги, и он не мог записать свою мысль. Между тем она была органически связана со своей словесной формулировкой, как улитка со своей раковиной, и умирала, как эта улитка, лишенная раковины. Он чувствовал, как его идея постепенно меркнет. Она была ему ясна, а теперь ее уж нет, и он не скоро снова найдет ее. Он рассказывал ей это приветливо, без гнева и сожаления, рассказывал с такой поверхностной, бесплотной ласковостью, что Иоганне становилось холодно. Надзиратель стоял около них, недоумевая.

Иоганна была рада, когда кончился час свидания и она могла распрощаться. Она удалялась по коридору быстро, все ускоряя шаг, в конце концов чуть не бегом. Очувтившись на улице, вновь увидев этот плоский ландшафт, она глубоко, с благодарностью вдохнула холодный воздух и, освобожденная, почти весело зашагала сквозь какую-то смесь дождя и грязного снега по дороге к вокзалу.

17

СВЯЩЕННЫЙ ЛАРЕЦ КАЭТАНА ЛЕХНЕРА

Антиквар Каэтан Лехнер, присяжный заседатель в процессе Крюгера, ехал в голубом трамвайном вагоне из центра города к себе домой, на Унтерангер. Пятидесятипятилетний мужчина — полный, с круглой головой,

белокурыми баками, зобастый — досадливо хмурился, громко сморкался в свой пестрый, в синюю пашечку платок, ворчал себе под нос, ругая подлый холодище, пытался движением согреть упрятанные в шерстяные перчатки руки и обутые в резиновые высокие сапоги ноги. На нем было коричневое пальто и долгополый черный сюртук из толстого сукна, уже много лет служивший ему для всех торжественных случаев жизни. Ведь он возвращался домой с очень важного делового свидания, к тому же еще свидания с иностранцем, с голландцем. Он долго колебался, не надеть ли ему цилиндр. Но цилиндр показался ему чересчур торжественным, и он удовлетворился будничной зеленовато-серой шляпой, украшенной сзади, по местному обычаю, кисточкой из шерсти дикой козы.

Добравшись до Унтерангера, он увидел, что никого из детей нет дома. Он заменил мокрые резиновые сапоги туфлями и торжественный сюртук — вязаным жилетом. Анни, конечно, путается где-нибудь со своим «чужаком», с господином инженером, этим самым Преклем. А Бени, наверное, торчит на каком-нибудь заседании своего дурацкого заводского комитета. «Собака красная! Собака!» — ворчал Лехнер, пододвигая ближе к печке глубокое, им самим реставрированное кресло. Он был вдовцом, чувствовал потребность излить свою душу. Особенно сегодня, после беседы с голландцем. И вот приходится сидеть в одиночестве. Ясное дело — растишь детей, а вот когда хочется разок поговорить, ни одного из них нет на месте.

Дело с голландцем, священный ларец, «комодик», полмиллиона. Чушь. Конечно. Он не хочет больше об этом думать. Пусть его оставят в покое. Чтоб отделаться от этих глухих мыслей, Лехнер постарался ясно представить себе лица детей. Собственно говоря, Бени быстро опять выбился на дорогу. Вся эта история, конечно, была просто мальчишеством, юношеским заблуждением, как совершенно верно заметил духовный отец. Ведь в конце концов все дело в том, что Бени хотелось учиться играть на рояле. Иначе этот соплик никогда не стал бы связываться с «Красной семеркой». Он по характеру

вовсе не «политик». Его показания были, конечно, правдивы: в списки этого коммунистического кружка он попал потому, что в задней комнате «Гундсгугеля», где собиралась эта «Красная семерка», был рояль. О покушении на взрыв, за которое потом чрезвычайный суд приговорил всех членов организации к тюремному заключению, Бени, разумеется, и понятия не имел. Он как будто теперь снова начинает входить в колею, после того как ему, по ходатайству его преосвященства, сократили срок заключения больше чем вдвое. У него даже и служба хорошая есть на «Автомобильных заводах», и лекции он слушает в Высшей технической школе. Сломить его тюрьмой им не удалось. А вот все-таки довели мальчишку до того, что он теперь настоящим большевиком сделался, паршивец такой.

Анни тоже ничего себе зарабатывает. Аккуратненькая она такая, хорошая девочка. То, что она с кавалером гуляет, так это уж так в здешних краях принято, на это сетовать не приходится. Только что кавалер — вот этот самый «чужак» Каспар Прекль, вот это обидно. Просто свинство.

Каэтан Лехнер встал и, шаркая ногами, заходил взад и вперед по комнате. На стенах висели снимки, сделанные им в молодости, — снимки с разных кресел, столов, с ярко освещенной зеркальной галереи, с часовой цепочки, украшенной многочисленными брелоками. Каждая деталь была любовно выделена. Против воли г-н Каэтан Лехнер снова вспоминал о деле. «Голландец, паршивый этакий», — проворчал он себе под нос.

Ибо на сей раз — он знал это — дело шло всерьез. Если он теперь не продаст ларца, то уж никогда не сделает этого. Тогда, значит, Роза, покойница-то, не права была, и он, Каэтан Лехнер, просто тряпка. И правы тогда дети, которые хоть и не смеются, но строят недоверчивые, замкнутые физиономии, если он уверяет, что еще когда-нибудь выбьется в люди. Если он и на этот раз не продаст ларца, то никогда не будет принадлежать ему дом, тот желтоватый дом, на Барерштрассе, давно желанный дом.

В общем, если он даже и не продаст «комодика», дела идут не так уж плохо. Он подмазывает гостинич-

ных портье, и богатые приезжие, которых они посылают, потом не жалеют о дальнем пути до Унтерангера. Теперь, во время инфляции, в город нахлынула масса иностранцев. А он, Каэтан Лехнер,— хитрец: он запрашивает с них неслыханные цены. Но судьба, Каэтан Лехнер, еще хитрес, и хоть ты за одни сутки повышаешь цены втрое, полученные тобой деньги за этот же срок успевают обесцениться в четыре раза.

Каэтан Лехнер фыркнул носом, высморкался, приложил руки к печке, подкинул дров, хотя ему и без того было жарко. Да, иностранцы платят хорошо, но он любит свои вещи и неохотно расстается с ними. Сколько труда, утомительной беготни, пота стоили ему они! Он рыщет за ними по ярмаркам, по специальным базарам старых вещей. Заглядывает в квартиры бюргеров и окрестных крестьян. У него есть некоторые вещи — мебель, кресла, столы, стулья, горки, комоды,— он просто сросся с ними. Некоторые из них, казавшиеся безнадежно поломанными, он чинил, любовно и тщательно, как хороший хирург безнадежного пациента, на которого уже почти что махнули рукой. А тут вот приходят эти идиотские иностранцы и соблазняют все возрастающими ценами. Итак, теперь за ночь, за какие-нибудь двенадцать часов он должен решить — расстаться ли со своей любимой вещью, с «комодиком», который он не согласился уступить даже художнику Ленбаху.

Каэтан Лехнер тяжело дышит в слишком сильно топленной комнате. Сердце его не очень надежно: это большое, жирное сердце, расширенное от поглощаемого пива, ослабленное неприятностями, причиняемыми детьми и попутками все-таки выбиться в люди. Да и зоб — тоже не большое удовольствие. Каэтан Лехнер сидит, перегнувшись вперед, сопя, положив руки на колени, и вдруг резким движением хватает коричневое пальто, накидывает его на плечи и быстрым, неловким шагом направляется из теплой комнаты в холодную лавку.

Вот он стоит, ларец. Это хороший ларец, действительно красивая вещь, подобной которой не найти. И был он — но этого антиквар Лехнер не знал — сделан когда-то в Сицилии, где в ту пору было сильно влияние

сарацинов, норманскими мастерами. Затем он был куплен германским королем Карлом IV, Карлом Люксембург-Богемским, для реликвий какого-то святого, потому что этот король очень любил реликвии. Позже «комодик» стоял в церкви в Богемии. В нем хранились какие-то обломки костей и железные щипцы. Эти кости, по уверению продавца, в то время, когда на них еще было мясо, принадлежали поименованному в календаре святому, которому язычники переломали их за то, что святой соблюдал свою веру, а железными щипцами они выдирали у него из тела ключья мяса. В день этого святого его останки показывали народу. Их почитали, к ним прикладывались, они творили чудеса. Когда началось восстание гуситов, священнослужители с ларцом бежали на запад. Щипцы затерялись, кости рассыпались и рассеялись по ветру. Священный ларец прошел через много рук. Это был искусно сделанный ларец, не бросавшийся в глаза. Благородная работа — львиные лапы из бронзы, врезанные в дерево, отливавший матовым блеском металл. В семнадцатом веке этот ларец приобрел, не ведая его родословной, в числе многих других предметов неизвестного происхождения, еврей по имени Мендель Гириш. Когда ларец был опознан как предмет церковной утвари, еврея посадили в тюрьму, подвергли пыткам, сожгли за осквернение христианских святынь. За обладание его наследством боролись церковные власти и курфюрст. В конце концов пришли к добровольному соглашению, что ларец остается за светской властью. Курфюрст Карл-Теодор подарил его одной из своих любовниц, танцовщице Грациэлле, хранившей в нем свои драгоценности. Когда она впала в немилость и обеднела, ларец приобрел придворный кондитер Плейхенэдер. Его наследники продали ларец. Вместе со всяким хламом он попал к старьевщикам на мюнхенскую ярмарку старых вещей, где его двадцать два года назад рассмотрел и купил антиквар Каэтан Лехнер.

И вот ларец стоял теперь в антикварной лавке Каэтана Лехнера на Унтерангере. Кругом была нагромождена старая мебель, канделябры, изображения мадонны, деревенские украшения, оленьи рога, огромные рамы от картин, старинные, покрытые красками холсты, гигант-

ские ботфорты. Но Каэтан Лехнер не видел этих вещей. Его водянисто-голубые глаза беспомощно, страдальчески, влюбленно, и все же уже готовые к предательству, глядели на ларец. Тут ничего не поделаешь: проклятый голландец не отставал, хоть сдохни, не отставал! Каэтан Лехнер запросил такую бессовестную цену, что самому страшно стало. Полмиллиона марок. Но ничего не помогло: голландец все же согласился. Возможно, что голландец подсчитал, что полмиллиона марок, при переводе на голландскую валюту, составит ведь всего пять тысяч гульденов. А Каэтан Лехнер, когда он услышал утвердительный ответ голландца, онемел. Вытирая со лба пот, он промычал непонятные слова на баварском диалекте, пока наконец, выведенный из терпения голландец не заявил ему недвусмысленно: либо г-н Лехнер завтра не позже десяти часов доставит ему в гостиницу ларец, либо сделка не состоится.

Ночная тишина и холод царили в лавке антиквара. Каэтан Лехнер не замечал этого. Он зажег все электрические лампочки, так, чтобы ларец был хорошо освещен. тщательно вытер красные потрескавшиеся руки, нежно погладил ларец. Полмиллиона — большие деньги. Но и ларец — хорошая штука. Собственно говоря, ларец был безмолвным свидетелем всей жизни Каэтана Лехнера. Он вспомнил о том, как собирался когда-то заниматься искусством, фотографией. Его честолюбие не удовлетворялось фотографированием чего-то крупного — мебели, человеческих лиц. Нет, интересно было именно запечатлеть мелочи — пивную кружку, коллекцию жуков, «хлам с душой», как назвал это однажды художник Ленбах, — вот в этом таилась его сокровенная мечта. С такими вещами он возился и не находил себе покоя, пока не добивался того, чтобы все мельчайшие, действовавшие на настроение особенности предмета выступили в настоящем свете и запечатлелись в памяти зрителя. И в том, что не на этом искусстве построил он свою жизнь, в том, что он отказался от него, был виновен ларец.

Он разыскал его примерно через полгода после первой встречи с Розой Гюбер. Роза была молчаливая, набожная девушка, католичка с непоколебимо твердыми

взглядами на жизнь. Настоящая, хорошая женщина. Каждое произнесенное ею слово попадало в точку. Вместе с нею создать свой домашний очаг — вот цель, которую с первого дня поставил себе Каэтан Лехнер. Сопротивление Розы, решившей выйти замуж лишь за человека с твердым положением, только разжигало его мужицко-баварское упорство. Она гуляла с ним, без сомнения любила его. С мягкой грустью вспомнил он чудесные утренние часы в «Китайской башне», своеобразном ресторанчике в Английском саду. Как он там кружил в танце свою Розу в толпе всякого неприятия мелкого люда — служанок, кучеров, портных, сторожей, почтальонов, которые ранним утром, до того как отправиться к обеду, плясали здесь среди зелени под звуки духового оркестра. Роза охотно делила с ним подобные развлечения, но замуж выйти не соглашалась. Так обстояли дела к тому времени, когда Лехнер случайно на одной из ярмарок среди всякого неужного хлама увидел ларец. Сердце у Лехнера тогда еще было здоровое и крепкое, и все же нелегко было ему скрыть от продававшей ларец старьевщицы охвативший его восторг. Но вот, когда «комодик» оказался у него в комнате, стал его собственностью, когда пришел еврей-антиквар и предложил ему за него восемьсот марок, тогда только у Розы раскрылись глаза на то, что он, Каэтан Лехнер, собой представляет. Она пошла за него, вложила все свои сбережения в его лавку на Унтерангере.

Часто с тех пор являлся у Лехнера соблазн продать ларец, но он противился, считая, что эта вещь приносит ему счастье. Менялись стоявшие вокруг него статуи мадонны, чепцы, сундуки, кресла, доспехи и мундиры, но прекрасный, на радость знатокам, красовался в лавке старинный ларец. Но вот Роза умерла. Пожалуй, — нередко думал он теперь, — хорошо, что она умерла, и ей не пришлось пережить этих последних лет — гнусную жратву и еще более гнусное пиво военного времени, дурацкую связь Анни с «чужаком» и особенно историю с мальчуганом.

Это было величайшее свинство. Когда Лехнер вспоминал о травле, которой тогда подвергли мальчишку,

перед его глазами тускнела металлическая отделка ларца, словно грязью покрывалось благородное его дерево. Каэтан Лехнер был консерватором, стоял за покоем и порядок, но ему все же было ясно, как божий день, что обвинение против «семерки» выдвинули только потому, что правительству нужен был материал, подтверждавший необходимость сохранения «гражданской обороны». Ради этого нужно было превратить его Бени в каторжника. Каэтан не был чрезмерно горячим католиком и при жизни жены только ради нее и ходил в церковь. «Эй, старушка, не дури!» — извлекал он из своего зобастого горла припев добродушной народной песенки, когда Роза чересчур далеко заходила со своей набожностью, и при этом он весело подталкивал жену в зад. После приговора, вынесенного сыну, несмотря на то что освободить его из тюрьмы помог духовный отец, религиозные чувства Каэтана окончательно увяли. Нет, на бога полагаться нельзя было, а духовный отец не умел посоветовать ему, как вести дела: продать ли «комодик» или нет. Полмиллиона — большие деньги. Если ему не повезло с детьми, то хоть желтоватый дом господь бог должен ему подарить. От этого дома он не может отказаться, он должен его получить. Ведь выбиться в люди пужно. Если это и теперь не удастся, ну, это уж будет безобразие. Старик чуть ли не с угрозой поднял взор к огромному деревенскому распятию, висевшему рядом с ларцом. Он, Лехнер, должен стать домовладельцем. Хозяином именно того желанного желтоватого дома на Барерштрассе. Пернрейтер, нынешний владелец, — бесстыжий скряга, но перед цифрой в полмиллиона он не устоит. До того как отправиться к голландцу, Лехнер сегодня еще раз ходил полюбоваться домом. Постоял около него, простучал стены, ощущал старинную бронзовую надпись на воротах. Поднялся по лесенке, поглаживая перила, просмотрел дощечки с фамилиями жильцов — четыре фарфоровые, две эмалированные, две медные — внимательно, как осматривал когда-то предметы, которые собирался фотографировать.

Старик, стоявший среди ночи перед ларцом в туфлях и коричневом пальто, ощутил острый холод лавки. Тем не менее он все еще не решался потушить свет. Так

он стоял, почесывая рыжеватые бакенбарды, и его голубые глаза, которые он никак не мог отвести от ларца, сердито поблескивали. Да, завтра вечером он вот так же будет стоять здесь, в своей лавке на Унтерангере, но «комодика» здесь уже не будет. Неприятная мысль. Домов на свете много. Пятьдесят две тысячи домов было в одном Мюнхене. А «комодик» был только один. Второго такого нет. «Голландец паршивый, черт собачий!» — выругался он, тяжело вздыхая, и направился в теплую комнату.

И вот он снова сидит в глубоком кресле, еще и еще раз взвешивает все доводы за и против продаж. Мало радости, если он сейчас продаст «комодик». Но если он его не продаст, то также радости мало. Он подумал: «Да, да, решение тяжелое, и времени немного». Утром рано он должен пойти к голландцу — или отказаться от мечты о желтоватом доме. Он подумал также, что утро вечера мудренее, что второго такого случая не представится, и о том, что он уже не юноша. А также о том, что копейка рубль бережет. Мысленно он уже видел себя в черном сюртуке, представляющимся жильцам своего дома в качестве его нового владельца. Затем — как он сообщает о покупке дома своим приятелям по «Клубу любителей игры в кегли». Они станут насмехаться над ним, но сами будут злиться, а он пустит им пыль в глаза, и они будут лопаться от зависти.

Антиквар Каэтан Лехнер поднялся с кресла, крихти оделся. Вот тебе и радости отцовства! Человеку, когда у него есть желание поговорить, приходится зимой, на ночь глядя, идти из дому. Он отправился в свой «Клуб любителей игры в кегли» с твердым намерением умолчать перед приятелями о своих планах относительно «комодика» и покупки дома. Если он скажет им, они будут дразнить его.

Затем он все же сказал, и его дразнили.

В этот вечер он выпил довольно много и на обратном пути ругательски ругал своего сына Бени, паршивца этакого, красную собаку. Войдя в переднюю своей квартиры, он услышал ровное дыхание спящего Бени. Не зажигая света, он, хотя и сильно был под хмельком, стащил с себя высокие резиновые сапоги, чтобы не раз-

будить парня, и осторожно пробрался к себе в кровать. Уже засыпая, он извлекал из своего зобастого горла тихие звуки старинной полузабытой песни: «Эй, старушка, не дури!»

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Возвратясь в Мюнхен после оформления брака с Мартином Крюгером, Иоганна попыталась заняться своей работой. В Гармише она время от времени испытывала острое желание вновь сидеть перед своим аппаратом и ждать со страхом и напряженным интересом того мгновения, когда в линиях почерка вдруг откроется ей характер писавшего. Но сейчас, сидя в привычной комнате перед своим письменным столом, она находила все скучным и бессмысленным. Ей вспомнился раздражающий голос Гейера, когда он спросил ее: «Да, на каком основании?» Вспомнилось, как ее злило, что он щурит глаза, и как она быстро ответила ему: «Я обвиняюсь с ним». Она старалась представить себе лица Жака Тюверлена, тетки Аметсридер, знакомых из Палас-отеля в Гармише, когда они узнают из газет о ее браке. «Кажется, я сделала глупость!» — повторила она несколько раз, и над переносицей у нее прорезались три вертикальные складки. «Кажется, я сделала чертовскую глупость!» — сказала она наконец, против своего обыкновения, вслух.

В последующие два дня она отказалась от нескольких заказов — собственно, без всякой причины — и без особого увлечения занялась теоретическими вопросами. Удивительно кстати пришлось вторичное приглашение г-на Гессрейтера осмотреть его завод.

«Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» была расположена в одном из предместий города. Большое, безобразное строение красного цвета. Г-н Гессрейтер провел Иоганну по чертежным залам, конторским помещениям, машинным отделениям, мастерским. На его заводе работали преимущественно девушки, изможденные, пятнадцатилетние и семнадцатилетние. Весь

огромный корпус был пропитан каким-то кисловатым запахом. В мастерских этот запах сгущался до такой удушливой остроты, что Иоганна невольно задавала себе вопрос, как могут рабочие вообще когда-либо избавиться от этого запаха, вывести его из одежды и волос. Во время обхода г-н Гессрейтер говорил не умолкая, острил. Несмотря на жару, он не скинул шубы. Рабочие любили его. Он говорил с ними на местном наречии, болтал всякий вздор. Они охотно позволяли ему отрывать их от работы, относились к нему благодушно. Зато в конторе приход его был встречен без особого удовольствия: здесь, когда владелец и его гости собрались уходить, служащие вздохнули с таким облегчением, что это могло показаться даже невежливым.

Под конец г-н Гессрейтер показал Иоганне склады. Тут были пагромождены художественные изделия, предназначавшиеся для отправки за границу: девушки с кружками, черпающие воду из источника; олени и дикие козы; карлики с длинейшими бородами; трилистники чудовищных размеров с сидящими на них нагими, стыдливými девственницами с крылышками за спиной, как у стрекоз; аисты, в натуральную величину, перед пещерами, которые должны были служить цветочными горшками; гигантские мухоморы с красными, испещренными белыми пятнами, шапками. Каждый сюжет в сотнях, в тысячах экземпляров. Чудовищная коллекция, распространявшая кисловатый запах. Иоганна глядела вокруг с каким-то неприятным ощущением. Вид этих предметов и терпкий запах сдавили ей горло. Чувство тошноты ползло от желудка кверху. Г-н Гессрейтер продолжал без умолку болтать, смеялся надо всем, расписывал ей, как все эти штуки будут выглядеть в квартире какого-нибудь провинциала или среди разноцветных стеклянных шаров в саду американского фермера. Тростью с набалдашником из слоновой кости он указывал то на один, то на другой предмет. Замечания его были полны юмора. Даже и Мартин Крюгер не мог бы в более ярких красках издеваться над этой выставкой.

После осмотра завода Иоганна собралась домой, но

Гессрейтер воспротивился этому. Он хотел во что бы то ни стало показать ей еще ряд смелых проектов, сделанных молодым художником, в особенности серию «Бой быков». «Производство таких вещей технически осуществить не просто, — объяснил он. — Прибылей от этого, во всяком случае, ждать не приходится». Гессрейтер увлекся, объясняя, что ему особенно нравится в этих проектах. Он твердо решил, по его словам, выдвинуть молодого скульптора. Иоганна оставалась молчаливой и на обратном пути произнесла лишь несколько общих, ничего не значащих фраз. Она не могла заставить себя отнестись к виденному ею гигантскому зданию с его захватывающей дыхание атмосферой и лживой скульптурой с той веселой беззаботностью, которой был полон г-н Гессрейтер. Вероятно, у нее не хватало на это юмора. Следы кисловатого запаха его завода пристали и к самому г-ну Гессрейтеру.

Она обрадовалась, когда по возвращении домой нашла у себя телеграмму доктора Пфистерера, извещавшего ее о том, что кронпринца Максимилиана ожидают в ближайшие дни в Гармише. Он советовал ей не упускать такого благоприятного случая. В тот же день она выехала в Гармиш. Вечером у нее произошло краткое, но резкое объяснение с теткой Амётсридер, узнавшей из газет о ее браке. Она пообедала одна у себя в комнате.

На следующее утро она на катке (Иоганна любила, хотя и не очень хорошо умела, кататься на коньках) встретила с Жаком Тюверленом. «Алло!» — крикнул он, делая вид, словно никогда не было памятного вечера в ресторане Пфаундлера, когда она, в гневе встав из-за стола, вышла и оставила его одного. Тюверлен как ни в чем не бывало пригласил ее позавтракать вместе с ним. Иоганна, также ни единым словом не упоминая о том вечере, приняла приглашение. Весело сидела она около него. Он глядел на нее, лукаво щуря свои почти лишенные ресниц глаза. В маленьком буфете при катке в Гармише они дружно завершили ту трапезу, которую начали еще в Мюнхене.

Быть может, у Гессрейтера и были свои преимущества, но в нем было что-то непрозрачное, мутное, от

чего она чувствовала потребность защититься; к тому же еще эти отвратительные воспоминания о кисловатом запахе его завода. Здесь же, глядя на голое, забавное лицо Тюверлена, на его худощавое, лишенное жира тело, его костлявые, покрытые рыжеватым пухом руки, она обрела возможность говорить свободно. Тут перед ней был настоящий, «проветренный» человек, с которым можно было говорить без утайки. Приятно было после такого долгого перерыва снова быть с ним вместе. Она чувствовала, что они подходят друг другу.

Ему приходится возиться со всякими мелкими неприятностями, — рассказывал он, продолжая с аппетитом есть и весело шурясь на солнце. — Между ним и его братом идет спор по поводу размера его доли в доставшемся им по наследству отеле в Женеве. Брат явно наддувает его. Ему, должно быть, впредь не придется жить так независимо в финансовом отношении, как до сих пор. Но, по-видимому, это не особенно беспокоило его. Пока что он устроился в небольшом домике в лесу, на горе. Он нередко спускался вниз на лыжах, также и по вечерам, во фраке или смокинге, перекинув за плечи лакированные туфли. Он рассказывал все это своим звонким, чуть сдавленным голосом, наслаждаясь стоявшей перед ним рюмкой вермута. Тепло и радостно глядели на него серые решительные глаза Иоганны. Она очень нравилась ему, и он сказал ей об этом.

Писатель Тюверлен занялся усиленной тренировкой на учебном лугу у Гохэка. Он крепко стоял на лыжах и бегал на них хорошо, но как попало. Теперь же он старался приобрести известный стиль, усвоить преимущества «арльбергской школы», с которой до сих пор не был знаком. С увлечением, терпеливо, весело дискутировал он с преподавателем лыжного бега. Его сдавленный смех часто разносился по снежному полю. Никто не смеялся веселее над своими падениями, чем он сам.

Иоганна была в хорошем расположении духа. Одельсберг остался позади. Позади и давящий, тяжелый Мартин Крюгер и фанатик Гейер. Сумрачный, непостижимый г-н Гессрейтер при встрече поглядывал на нее, и в его глазах с поволокой она читала упрек: у нее

почти не оставалось для него времени. Она совершала прогулки на лыжах с Жаком Тюверленом, ходила с ним в «Пудреницу», бывала у него в его домике на опушке леса, часто, к неудовольствию тетки Аметсридер, вместе с ним обедала в гостинице, где жила. Они беседовали долго и откровенно. Но о деле Крюгера Иоганна не говорила. О том, что она обвенчалась с Крюгером, она также не упоминала; она не знала, читал ли он об этом.

19

ДАВИД ИГРАЕТ ПЕРЕД ЦАРЕМ САУЛОМ

Инженер Каспар Прекль, небритый и злой, в совершенно не подходящей для этой погоды обуви, шагал по главной улице зимнего курорта Гармиш-Партенкирхен, покрытой смесью из грязи, снега и дождевой воды. Газеты не преувеличивали: это местечко, средоточие лени и роскоши среди окружающей всеобщей нужды, не могло не вызывать раздражения. Прекль приехал сюда после полудня. Поездка по размокшим, скользким дорогам, покрытым тающим снегом, была сопряжена с затруднениями. В пути у него произошла какая-то нелепая мелкая поломка, которую пришлось устранять в Вейльгейме, где он отчаянно поругался с механиком. Если бы не баварское наречие, несколько смягчившее вейльгеймца, он проучил бы этого мрачного и странного человека с худым, не баварского типа лицом.

Эта поездка была вообще непростительной глупостью. Директор «Баварских автомобильных заводов» Отто с довольно кислым выражением лица сообщил ему, что барон Рейндль желает поговорить с ним и просит его как-нибудь приехать в Гармиш, в Палас-отель, где он предполагает пробыть дней восемь — десять. Так неужели он, Прекль, должен был скакать сюда, словно собака по первому зову хозяина или словно какой-нибудь подхалим? Мрачный, своей небрежной одеждой вызывая удивление встречных, шагал Прекль в этот ранний вечерний час по улице нарядного курорта. Снег и дуговые электрические фонари создавали какое-то

неприятное освещение. Из кафе и ресторанов доносились звуки джаз-банды: было время «чая и танцев». Слуги Палас-отеля — рассыльные мальчишки и портье — с насмешкой и любопытством уставились на подозрительного субъекта в разорванной пропотевшей кожаной куртке, спрашивавшего барона Рейндля.

Однако барон Рейндль был дома и — кто бы подумал! — тотчас же принял посетителя. У него в Гармише, — любезно, почти дружески объяснил он молодому инженеру, — происходят совещания с некоторыми французскими и американскими промышленниками. Сейчас есть некоторые шансы на то, что он возьмется за выпуск преклевских серийных автомобилей. Пятый евангелист расхаживал по комнате, высокий, полный, в фиолетовом халате, в домашних туфлях без каблуков. Огромная голова с блестящей черной шевелюрой поднималась над тяжелой фиолетовой массой. В комнате было очень тепло. Г-н фон Рейндль предложил Преклю снять кожаную куртку. Позвонил, приказал подать чай. Улегся на диван так, что между ним и инженером оказался маленький, изящный столик. Натянуто и неловко сидел Прекль против огромного, массивного человека, лежавшего на диване.

Слушая быструю, грубоватую, полную технических подробностей речь Прекля, Рейндль помешивал ложечкой чай, в ответ на вызывающее преклевское «понятно?» лениво кивал головой, перелистывал какую-то толстую книгу, разглядывал свои снаружи узкие, а с внутренней стороны мясистые руки, крошил печенье, ни в малой мере не стараясь скрыть свою рассеянность. Прекль с возмущением отметил этот недостаток внимания со стороны своего хозяина.

— Вы намерены слушать меня или читать? — резко спросил он наконец.

— Я намерен пить чай, — вежливо ответил Рейндль, не откладывая книги.

Он позвонил и приказал вошедшей горничной потушить часть ламп, так как в комнате чересчур светло. То, что этому человеку было лень сделать самому даже такую мелочь, возмутило Прекля. Он помолчал. Рейндль отпил несколько глотков очень сладкого чая, в то время

как Прекль, хоть и не успел еще отогреться с дороги, не прикасался к своей чашке. Затем Пятый евангелист спросил неожиданно, с большим оживлением:

— Скажите, вы не согласились бы спеть мне кое-что из ваших баллад?

Прекль почему-то не вспыхнул. Он не сказал в ответ на это что-либо вроде: «Вы меня ради этого так срочно вызвали?» Ему даже показалось, что он только и ждал этого вопроса, и он для того лишь и приехал в Гармиш, чтобы спеть Пятому евангелисту свои баллады.

Он заметил поэтому:

— Это не удастся. Для этого необходимо иметь под рукой банджо или что-либо подобное.

— Ну, это мелочь! — с оживлением воскликнул г-н фон Рейндль. И сейчас же отдал соответствующее распоряжение.

Через десять минут инструмент был доставлен, и эти десять минут оба просидели молча, с нетерпением выжидая, что произойдет дальше.

Взяв в руки банджо, Прекль подошел к дверям и включил все лампы. Затем, став посреди комнаты, резким, некрасивым голосом, под дребезжащие звуки инструмента, принялся чрезмерно громко, на неприкрашенном народном диалекте декламировать свои баллады. Содержанием этих баллад были будничные переживания маленьких людей, будничные переживания на фоне большого города, никогда еще до сих пор не изображавшиеся так тонко и зло, папюшные дерзостью, беззаботные и в то же время полные настроения, никогда в таком виде не слыханные. Фиолетовый человек лежал на диване, внимательно следя за каждой фразой, то выпячивая верхнюю губу с блестящими черными усами, то расслабляя мускулы мясистого лица, выражавшего смесь возмущения, насмешки, уважения, досады и удовольствия. Инженер Прекль не сводил с него глаз, швырял ему прямо в его холерное, пухлое лицо свои грубые, простонародные стихи. Затем, вытащив на середину комнаты один из нелепых золоченых стульев, он уселся на нем дерзко, немного по-мальчишески, под ярким светом ламп, так, что ясно и резко выступил каждый кустик щетины на

небритом худом лице. Резиновые подметки попошенных коричневых ботинок пачкали уличной грязью роскошный ковер. Фиолетовый человек слушал неподвижно, и только мускулы его лица то напрягались, то снова расслаблялись. Выпуклые глаза его уставились на Прекля, на его худую шею с выступающим кадыком, вытягивавшуюся над мягким цветным воротничком.

Стук в дверь. Г-н фон Рейндль не ответил. Каспар Прекль, не смущаясь, продолжал выкрикивать свои стихи. Вдруг совершенно неожиданно, прямо посреди строфы, фиолетовый человек произнес, не двигаясь с места, тихо, но очень четко:

— Убавьте, пожалуйста, свет!

Инженер Прекль сразу оборвал чтение, но продолжал сидеть на месте.

— Позвоните вашей горничной.

— Благодарю,— ответил г-н фон Рейндль.

— Что ж, вы предполагаете начать выпускать мои серийные автомобили? — спросил после короткого молчания Каспар Прекль.

— Думаю, что нет,— ответил г-н фон Рейндль очень любезным тоном, полуприподнявшись и с легкой улыбкой глядя на инженера Прекля.

— Прошу вас уволить меня,— сказал Каспар Прекль.

— Вы уволены,— ответил Пятый евангелист.— Но ведь вы не притронулись к чаю,— добавил он с упреком.— Надеюсь, вы отужинаете со мной?

— Думаю, что нет,— произнес Каспар Прекль. Он бережно поставил в угол инструмент.

— Где моя куртка? — спросил он.

Г-н фон Рейндль позвонил. Прислуга сообщила, что куртка господина инженера находится в вестибюле.

Г-н фон Рейндль встал, с обычной для него искусственной живостью подошел к шкафу, вынул большую книгу в кожаном переплете. Это было роскошное издание сонетов Шекспира.

— Разрешите преподнести вам это,— сказал он, обращаясь к инженеру.

Каспар Прекль рассеянно взял в руки большую книгу.

— Вы издавали ваши баллады? — спросил г-н фон Рейндль.

— Да, — ответил Прекль, — в двадцати экземплярах.

— Могу ли я получить экземпляр? — спросил г-н фон Рейндль. — Я предлагаю вам за него сто английских фунтов.

Сто английских фунтов стоили в тот день в Германии 107 068 марок. В Мюнхене каравай хлеба стоил 8 марок, фунт какао — 24 марки, хорошая суконная куртка — 350 марок, простой костюм — 375—725 марок. Дамское пальто можно было приобрести уже за 190 марок. За 100 английских фунтов можно было купить дом. Лежа неподвижно на диване, фиолетовый человек глядел на инженера своими карими непонятными глазами, ждал ответа. Но Каспар Прекль ничего не ответил.

Расставшись с Рейндлем, Прекль, раздосадованный, уселся в вестибюле отеля. Охотнее всего он в эту же почь уехал бы назад, в Мюнхен. Но дороги начинали покрываться неблагоприятным для автомобиля ледком. И вот он должен был, так как у него с собой было мало денег, сидеть в этом до отвращения роскошном отеле, потому что его пребывание здесь оплачивалось за счет Рейндля. Он был болваном из болванов, что отказался от службы. Его подруга Анни ужаснется, узнав об этой глупости. Автомобиль тоже придется, уходя, вернуть заводу. Он должен был по крайней мере принять предложенные сто фунтов. Ну что ж, он просто пошлет Рейндлю оттиск баллад, а взамен ста фунтов оставит себе машину, на которой сейчас ездит. Он злился, глядя на проходивших через вестибюль полуобнаженных женщин с навешанными на них драгоценностями, которых хватило бы на пропитание целой семьи. Глубоко запавшими глазами он хмуро глядел на мужчин, одетых, как полагалось представителям господствующих слоев населения, в черные вечерние костюмы. Грудь и шея этих мужчин были стеснены неудобными накрахмаленными белоснежными рубашками и воротничками. У него мелькнула мысль зайти к Иоганне Крайн. Но он, не замеченный, увидел ее, когда она проходила мимо, опираясь на руку

одного из таких черно-белых субъектов, так же, как все эти важные дамы, напудренная и одетая в вечернее платье,— и отказался от мысли поговорить с ней.

Преколь поужинал в боковом помещении, рассчитанном на местных жителей и представлявшем собою что-то вроде пивнушки. Там ему пришлось поскандальить, так как никто не хотел верить, что за него платит барон Рейндль. После этого к нему вернулось хорошее настроение, и он забрел в какое-то кафе, где, дымя трубкой, принялся за чтение газет. Потребовал, чтобы ему принесли «Роте фане», резко оппозиционную берлинскую газету. К его удивлению, газету эту здесь получали, однако, как заявил кельнер, сейчас ее читает вон тот господин в углу. Каспар Преколь увидел, что господин этот читает какую-то другую газету, но около него высится целая кипа газет. Преколь подошел к нему и спросил, свободна ли «Роте фане».

— Нет,— ответил господин высоким, сдавленным голосом.

— Когда же она освободится? — спросил Преколь.

Господин поглядел на него прищурившись.

— Может быть, через час, а может быть, через два,— весело ответил он.

Каспар Преколь взглянул на говорившего. Увидел резко очерченную рыжевато-белокурую голову, лишенное растительности помятое лицо, широкие плечи и крепкое тело. Каспар Преколь был крайне раздражен и чувствовал потребность в разрядке. Не обращая внимания на явную опасность, он разыскал в грудѣ наваленных на столе газет «Роте фане». Господин схватил палку, к которой была прикреплена газета, с другого конца, Каспар Преколь, крепко держа захваченный им конец, поднял руку.

— Бросьте,— своим сдавленным голосом весело произнес господин, внимательно следя при этом за каждым движением Преколя.— Если вы незнакомы с приемами джиу-джитсу,— ваше дело безнадежно.

Глядя на господина, Каспар Преколь не мог не согласиться в душе с этими словами.

— Да, кстати, зачем вам «Роте фане»? — продол-

жал незнакомец.— Если вы действительно серьезно интересуетесь политическими вопросами, то можете сесть за этот стол и здесь читать газету.

Каспару Преклю жизнерадостный господин понравился, и он подсел к нему. Господин вежливо подал ему «Роте фане», прищурясь, поглядел, что именно Прекль читает, и увидел, что это была статья о роли художественных музеев в большевистском государстве.

— Не находите ли вы,— спросил господин,— что этот субъект пишет чепуху?

— Боюсь,— холодно ответил Прекль,— что едва ли найдется десяток людей, способных сказать по этому поводу что-нибудь дельное; это еще не исследованная область.

— Я потратил год,— оживленно, своим сдавленным голосом прокрипел собеседник,— чтобы прийти к заключению, что марксизм имеет в моих глазах смысл, а затем еще год, чтобы прийти к выводу, что он в моих глазах смысла не имеет.

Каспар Прекль мельком взглянул на него своими глубоко запавшими глазами и снова уткнулся в «Роте фане».

— Трудность для меня заключается в том,— продолжал Тюверлен,— что я стою между классами. Ведь я — писатель.

— Дадите вы мне спокойно читать? — мрачно, но тихо спросил Каспар Прекль.

— В настоящее время,— весело продолжал скрипеть господин,— я придерживаюсь того мнения, что самым ясным мотивом моих действий служит забава. Чистая забава, понимаете? Существует знаменитая анология забавы в одном из драматических произведений древности. Забава там понимается примерно как перечеркивание цивилизующего разума естественным влечением. Была эта пьеса написана человеком по имени Еврипид, и называется она «Вакханки». Она случайно не знакома вам?

— Нет, не знакома,— ответил Прекль, откладывая газету в сторону,— но я готов согласиться с вами, что эта статья — крайне неудачна.— Он внимательно по-

глядел на своего соседа по столу. — Да, что это вы сейчас за чепуху тут болтали о забаве и социологии?

Так писатель Жак Тюверлен и инженер Каспар Прекль начали оживленный разговор о марксизме.

— Вы самый нелогичный человек, какого мне когда-либо приходилось встречать, — произнес в конце концов Тюверлен. Он заказал много крепких напитков и пил с явным наслаждением. Прекль, против своего обыкновения, поддержал компанию. Оба говорили очень громко — Прекль своим резким, крикливым голосом, Тюверлен своим сдавленным, — так что остальные посетители — кто с удовольствием, кто неодобрительно — поглядывали на них. Время от времени Прекль с силой ударял переплетенным в кожу томом шекспировских сонетов, подарком капиталиста Рейндля, по мраморной доске стола.

Они говорили о материалистическом понимании истории, о буржуазной и пролетарской идеологии, о паразитарном существовании художников в современном обществе, о начинающемся переселении народов, о смеси европейской цивилизации и азиатской культуры, об источниках ошибок системы мышления, построенной на одной лишь социологической основе. Спорили горячо, с увлечением. Много пили при этом, и изредка один из них даже выслушивал возражения другого. В конце концов Тюверлен потребовал, чтобы ему принесли открытку, и на мокром липком столике кафе «Верденфельз» Жак Тюверлен, временно проживающий в Гармиш-Партенкирхене, написал господину Жаку Тюверлену, временно проживающему в Гармиш-Партенкирхене, в Палас-отеле, открытку следующего содержания: «Дорогой господин Жак Тюверлен, не забывайте, что Вы не нуждаетесь в чьей-либо поддержке и потому не обязаны обладать классовым сознанием. Не забывайте никогда, что Вы существуете лишь для того, чтобы найти выражение своему собственному я, и только своему я. Искренне уважающий Вас, Ваш преданный друг Жак Тюверлен». Когда кафе закрылось, выяснилось, что оба они проживают в одной и той же гостинице. Дело в том, что Тюверлену в конце концов показалось неудобным из домика в горах,

где он жил вначале, пробираться ежедневно по снегу вниз, в Гармиш, и вечером снова возвращаться наверх. Он пригласил Прекля зайти еще к нему посидеть. Вдыхая холодный ночной воздух, прошли они короткий путь до гостиницы. Дойдя до места, Тюверлен должен был пройти часть пути обратно: оказалось, что он забыл опустить открытку. Сидя в комнате Жака Тюверлена, они долго еще спорили, пока соседи со все возрастающей энергией не стали выражать возмущения по поводу поднятого ими крика. Собеседники осылали друг друга бранью и не могли ни до чего договориться. Расставаясь с Тюверленом, Прекль, до этого предполагавший рано утром выехать в Мюнхен, решил остаться до вечера в Гармише и условился встретиться с писателем еще раз, чтобы продолжить беседу.

20

И ВСЕ ЖЕ: НИЧТО НЕ ГНИЛО В ГОСУДАРСТВЕ БАВАРСКОМ

Иозеф Пфистерер, писатель, житель Мюнхена, временно пребывавший в Гармише, пятидесяти четырех лет от роду, католик, автор двадцати трех увесистых романов, четырех театральных пьес и тридцати восьми среднего размера новелл, послал Иоганне телеграмму о предстоящем приезде кронпринца Максимилиана, надеясь, что теперь ему, Пфистереру, в Гармише удастся проводить много времени в ее обществе. Между тем он везде встречал ее в сопровождении этого пошляка Жака Тюверлена. Доктор Пфистерер охотно признавал достоинства других людей, но Тюверлен был ему просто противен. Вспыльчивый баварец, глядя на голое, помятое лицо швейцарца, приходил в раздражение. Присутствие этого субъекта отравляло ему удовольствие от встречи с Иоганпой.

Но и другие причины подтачивали основы его принципиального оптимизма. Дело в том, что процесс Крюгера, при ближайшем изучении, начинал казаться все более сомнительным. Трудно было не видеть в нем

сознательного искажения самого понятия права. Пфистерер верил в свой народ, верил в своих баварцев. Ему просто больно было усомниться в беспристрастии симпатичного ландесгерихтсдиректора Гартля. А Кленк, стоящий незыблемо, словно дуб, неужто он действительно просто наглый преступник, способный засадить в тюрьму человека с большими заслугами только за то, что тот не соглашается с его программой? Невероятно. И все же приходилось верить. Он не мог отделаться от этой мысли, склонял непокорную шею, словно желая своей поросшей густыми кудрями головой оттолкнуть нечто невидимое. У него и раньше было не совсем благополучно с сердцем, теперь же он все чаще страдал одышкой, мир омрачился для него.

Неизменно происходили у него резкие стычки с доктором Маттеи. Неуклюжий человек в пенсне, с исполосованным шрамами, злым мопсообразным лицом чувствовал себя в Гармише неуютно. Он тосковал по своему дому на Тегернзее, по своей охоте, своим собакам, оленьим рогам, по своим трубкам, свосму лесничему, по своим медлительным, хитрым крестьянам. Но Инсарова не отпускала его. Он учился когда-то медицине, придерживался в отношении женщин крайне материалистических взглядов, основанных на самой примитивной физиологии, отпускал сочные остроты при упоминании о какой-либо эротической связи. Хрупкая русская танцовщица поглядывала на него своими раскосыми глазами, облизывала кончиком языка уголки губ, говорила что-нибудь весьма утонченное, от чего баварец отмахивался, как от самой низкопробной и аффектированной фельетонной остроты. И... не уезжал. Издеваясь над самим собой, он посылал танцовщице поклад, цветы, фрукты. Был зол на весь свет. Ругал Пфаундлера последними словами, устраивал ему безобразные сцены за то, что тот недостаточно выдвигает Инсарову.

Обычно миролюбивый Пфистерер теперь прямо-таки искал поводов для столкновений с Маттеи. Каждый из них обливал грязью образ жизни соперника, его творчество, его успех, его тело и душу. Остроты доктора Маттеи были крепче и грубее, но и Пфистерер знал, где

самое чувствительное место противника. Кругом предлагают пари, — рассказывал он своему врагу, — что он, Маттеи, не добьется от Инсаровой желаемого; но хотя очень многие добивались у этой русской танцовщицы желаемого, все же никто не соглашался держать против. Доктор Маттеи выпивал свое пиво, выпускал в лицо собеседника дым сигары, говорил, что, если даже Крюгер и выйдет из тюрьмы, Пфистереру не попасть в кровать к Иоганне Крайн. Оба стареющих полнокровных человека сидели друг против друга, пыхтя и склоняя головы, словно собираясь боднуть.

Сердце Пфистерера жгла эта мысль: неужели могут думать, что он добивается справедливости по отношению к Крюгеру ради женщины? Он сидел за своей рукописью. Обычно слова лились у него прямо из сердца. Он радовался, когда эпизоды увлекательно и тонко сплетались друг с другом. Но сегодня события как-то не подчинялись ему, они были жестки и не укладывались в рамки сюжета. Не удавалось сдунуть каверзные затруднения, как пылинку. Судьбу белокурой деревенской девушки Врони, попавшей в город, претерпевшей здесь ряд злоключений, но в конце концов встретившейся с художником, оценившим в ней исключительный талант и женившимся на ней, — эту вот судьбу он не мог закруглить, оформить с обычной для него радостной легкостью и убежденностью. Широкое смуглое лицо Иоганны с тремя складками над коротким тупым носом и серыми гневными глазами становилось между ним и созданными им образами. Нет, к сожалению, он делом Крюгера интересуется не из-за женщины. Ему было бы легче, если бы нечто неладное происходило в нем самом. В этом можно было бы покаяться, положить этому предел. Но что-то неладное творилось с его родной страной. Сомнения, впервые возникшие в нем, когда его честные баварцы устроили вдруг революцию, теперь сильнее впивались в душу. Неправда царила на земле, неправда царила в его родной Баварии. Она выпирала наружу, она не стыдилась света солнца, как выразился кто-то. Слышен был вопль ее, но неправду не заставляли замолчать. Нет, он должен был вступить с этим в борьбу.

Аппетит его убывал, одышка усиливалась. Он ходил мрачный и озабоченный, резко обрывал свою приветливую, покладистую жену, так что полная, кругленькая дама совершенно терялась.

Все они, пребывавшие теперь опять в Гармише,— он, Маттеи, Гессрейтер,— были злы на Тюверлена. Его неустойчивость, несерьезность, дешевая терпимость, способность легко отступить от высказанного положения, если оно оказывалось неприемлемым для собеседника, его небрежное изящество — все это раздражало баварцев. Это просто блоха,— говорили они,— не имеет веса и скачет. Гессрейтер был обижен неудачей, постигшей его опыт с осмотром керамического завода. Он замкнулся в себе, отмалчивался, дулся на Иоганну за явное предпочтение, оказываемое ею Тюверлену: она была просто неблагодарной.

Он снова ближе сошелся с г-жой Радольной, выглядевшей очень эффектно на фоне гармиской зимы. Видная и красивая в своем лыжном костюме, тренировалась она на спортивных площадках, простая и уверенная в себе, оживленная и порозовевшая от пропущенного солнцем морозного воздуха. По вечерам, во время танцев в залах больших местных отелей, она оказывалась неоспоримым центром всеобщего внимания. Немало лучей из ореола претендента на престол, охотно проводившего время в ее обществе, падало и на нее. Она была очень умна и сейчас, как и прежде, покровительствовала Иоганне Крайн. Обе женщины встречались ежедневно. Контрасты в их внешности подчеркивали прелесть обеих — спокойную, пышную, медноцветную красоту Катарины и полную свежести и решительности красоту Иоганны.

Прошло больше недели, пока доктору Пфистереру и г-же Радольной удалось добиться, чтобы кронпринц Максимилиан принял Иоганну. В сопровождении Пфистерера отправилась она на виллу, где жил Максимилиан. Больших надежд Иоганна не питала. Тем приятнее была она удивлена простым и сердечным сочувствием, выраженным ей со стороны кронпринца. Они сидели все вместе, эти трое коренных баварцев,— принц, женщина и писатель, и, изъясняясь на одном и том же

местном наречии, советовались о том, как помочь человеку, который одному из них был близок, выпутаться из — увы! — чрезвычайно сложного положения. У доктора Пфистерера сердце ширилось при взгляде на этих земляков — смелую женщину и княжески благожелательного мужчину. Таяли его опасения, легче дышала грудь. Революция была тяжелой полосой, но теперь, глядя на обоих этих людей, Пфистерер верил, что все снова пойдет хорошо. Он чувствовал, что завтра сумеет привести судьбу белокурой и жизнерадостной Вропи к благополучному концу.

Когда, откланявшись, они возвращались домой, Иоганна сияла не менее Пфистерера. Она горела желанием рассказать Тюверлену об этой встрече, явно сулившей успех. Все еще ни слова не обронила она при нем о Мартине Крюгере, о своих планах, переписке, хлопотах, о разговоре с министром Гейнродтом; даже о браке своем с Мартином Крюгером она не сказала ему ни слова. Было вполне возможно, что Тюверлен ничего не знал об этом. Быть может, она молчала потому, что сама себе казалась немного смешной со своими безуспешными судорожными попытками спасти Крюгера? Разве не вела она эту борьбу совсем по-дилетантски? Говорить с Тюверленом об этом деле она, во всяком случае, собиралась лишь тогда, когда сможет сообщить ему что-нибудь определенное, открывающее какие-нибудь перспективы. Сейчас, после беседы с принцем, ее дело потеряло несколько смешную романтическую окраску, которую Тюверлен, — пожалуй, справедливо, — отмечал. Теперь у нее под погами была твердая почва. Теперь для нее будет наслаждением обясниться с швейцарцем начистоту по вопросу о Мартине Крюгере.

Она не признавалась себе в том, что и другие причины удерживали ее до сих пор от этого объяснения. Мартин Крюгер был не первым мужчиной в жизни Иоганны. Жак Тюверлен нравился ей. Когда она видела его широкие плечи, его узкие бедра, сильные, покрытые легким пушком руки, его умное, скептическое, светлевшее при взгляде на нее лицо, — единственным сдерживающим началом была для нее мысль о Мар-

тине Крюгере. Во время танцев, когда она ощущала прикосновение тела Тюверлена, здороваясь и прощаясь, когда он задерживал ее руку в своей, она чувствовала, что ей мешает мысль о человеке за решеткой. Она знала, что самому Мартину Крюгеру понятие физиологической верности показалось бы неважным, пожалуй смешным, но образ человека, сидевшего в Одельсберге, как-то нестерпимо мучительно проникал во всякую попытку более интимного общения с Тюверленом.

После того как она хоть чего-то добилась для Мартина, ей стало казаться, что она уплатила какой-то долг. До сих пор, когда она бывала с Тюверленом, она чувствовала себя как должник, швыряющий деньги третьему лицу, в то время как кредитор его погибает в нужде. Сейчас мысль о человеке среди замурованных деревьев не служила больше для нее тормозом.

Вернувшись домой после встречи с кронпринцем, она сейчас же отделалась от Пфистерера, постаралась избежать встречи с теткой Амелсридер. Бросилась искать Тюверлена. Искала его в гостинице, на спортивной площадке. Чем дольше ей не удавалось найти его, тем настойчивее становилось ее желание выяснить с ним до конца вопрос о Крюгере. Ее венчание с ним было глупостью; но это была необходимая глупость, благодаря которой достигалась бóльшая свобода. Все это она должна была объяснить Тюверлену. Куда же он провалился? На катке его не было, не было и в маленьком кафе «Верденфельз», где он обычно читал газеты. Кто-то сказал ей, что будто бы видел Тюверлена еще с каким-то господином на шоссе, которое вело за пределы местечка. Иоганна направилась на шоссе, встретила знакомых, не стесняясь отделалась от них. Дошла до окраины Гармиша и вошла, наконец, в кондитерскую «Альпийская роза». Среди ползучих стеблей альпийских роз, на фоне деревенского танца парней в зеленых шляпах и девушек в пышных юбках, сидела она за чашкой жидкого шоколада и ждала Тюверлена.

РОЛЬ ПИСАТЕЛЯ

А в это время писатель Жак Тюверлен шагал по шоссе плечо к плечу с инженером Каспаром Преклем на расстоянии примерно часа ходьбы от кондитерской «Альпийская роза». Они горячо спорили на ходу, почти не удостаивая вниманием прославленный зимний пейзаж, время от времени скользя и падая на гладком подмерзшем снегу. Жак Тюверлен — в шароварах, опускавшихся ниже колен и оставлявших открытыми икры, в прошитых тройным пвом, защищавших от воды и снега, подбитых гвоздями ботинках, Прекль — в длинных брюках навыпуск, в ботинках на резиновых подметках, не очень-то подходивших для горной зимы. Голоса обоих мужчин — звонкий, крикливый голос Прекля и небрежный, сдавленный — Тюверлена — разносились по морозному воздуху, прерывались, когда один из них падал, и сейчас же раздавались вновь, так как оба были увлечены беседой.

Инженер Прекль повелительно требовал от Тюверлена, чтобы он либо создавал активизирующую, политически насыщенную революционную литературу, либо вообще ничего не писал. Неужели в момент величайшей перестройки всего мира имело смысл фиксировать жалкие, мелкие чувствования отмирающего общества? Творить санаторную, курортную поэзию, в то время как земной шар раздирала классовая борьба? Если когда-нибудь спросится: «Что же ты делал в это время?» — что тогда придется ответить? Изысканные, пахнущие старомодными духами эротические безделки, модные игрушки, никому не нужные через какие-нибудь десять лет? Окажется, что человек не уловил смысла эпохи, что в то время, когда мир пылал в огне, он занимался изучением душевных переживаний домашних зверьков... Литература, если она хочет жить и дальше, должна надувать свои паруса ветром эпохи. Иначе она просто перестанет жить. Писатель должен создавать документы своей эпохи. В этом его роль. Иначе его существование не имеет смысла.

Такие положения выдвигал инженер Каспар Прекль, шагая в своей пропотевшей, не по сезону легкой кожаной куртке, бок о бок с писателем Жаком Тюверленом, по шоссе, ведущему от Гармиш-Партенкирхена к югу. Прекль усиливал атаку, выкрикивал свои требования прямо в лицо собеседнику, время от времени спасаясь от встречных или обгонявших их санок прыжком в грязные придорожные сугробы.

Тюверлен слушал его внимательно, не мешал договаривать до конца, дважды даже пропустил небольшие паузы, не используя их для возражения. Лишь когда Прекль кончил, Тюверлен осторожно начал говорить. Итак, его собеседник видит роль писателя в том, что тот должен создавать документы, отражающие эпоху, накапливать и сохранять существенное, имеющее значение для истории. Но где его собеседник берет свои мерилы? Он лично, например, не так нескромен, чтобы считать единственно правильными свои взгляды на исторический процесс. Но еще менее правильными кажутся ему взгляды собеседника. Ведь последний так одержим своим пониманием исторического процесса, что не допускает и мысли, чтобы кто-либо мог иначе расценивать основные факторы истории. Ему, Тюверлену, например, столкновение старой азиатской культуры с молодой варварской культурой Европы и начавшееся под влиянием более удобных способов передвижения новое переселение народов со всеми сопутствующими ему явлениями кажутся гораздо более важными, чем социологическое расслоение и перестройка Европы. Он вынужден настойчиво предложить своему собеседнику разочек попытаться расценить текущее десятилетие не под излюбленным им экономическим углом зрения, а именно под этим новым углом зрения переселения народов и смешения культур. Он настоятельно рекомендует ему творить, становясь именно на эту и только на эту точку зрения.

Все это он произнес своим сдавленным, немного смешным голосом, но не без решимости. Он считал нужным еще добавить, так как его собеседник, несомненно, резко отвергнет такой совет, то и он решительно отрицает за кем-либо право навязывать ему мировоззре-

ние, из которого он черпает свои образы. Его мировоззрение не обязательно ни для кого другого. Но для него самого оно обязательно. И дерзостью было бы оспаривать его право на собственное мировоззрение. Он, во всяком случае, не имеет дерзости считать свое понимание основных движущих моментов эпохи обязательным и для других. Такие претензии он предоставляет людям, обладающим властью, политикам, священникам и дуракам.

Все это Тюверлен считал нужным добавить, но сделать это ему не удалось. Они дошли уже до самой окраины местечка, дорога здесь суживалась, и на них, звеня колокольчиком, с такой быстротой налетели санки, что Тюверлен едва успел отскочить в сторону, а Каспар Прекль оказался втиснутым во входную дверь дома на противоположной стороне дороги. Когда они снова очутились рядом, Прекль уже не мог больше владеть собой. Он не мог дослушать до конца всю эту явную ерунду, должен был немедленно разбить всю эту наглую бессмыслицу. Вряд ли, — начал он насмешливо, — он, Прекль, чего-нибудь достигнет, следуя любезному предложению своего собеседника и руководствуясь в своей работе релятивистской, эстетизирующей точкой зрения последнего. Дело в том, что он, — да разрешит ему это его собеседник, — занимается конструированием автомобилей. И ни черта ему здесь не поможет, если он свою работу будет строить, ориентируясь на столкновении китайской и англосаксонской культур. Кстати, его имя — Прекль, Каспар Прекль, и работает он, — но останется там уже недолго, — на «Баварских автомобильных заводах». А его имя — Тюверлен, — сдавленным голосом сообщил собеседник.

— Вот как? — произнес более сдержанно, почти вежливо Каспар Прекль, так как имя было ему знакомо. — Никто не требует, — сразу же резко продолжал он, — чтобы он, Прекль, или господин Тюверлен заняли определенную позицию по отношению к азиатско-европейской проблеме. Ни он, ни Тюверлен, находясь на своих местах, не могут тут ни помочь, ни чему-либо помешать. А вот другая установка, установка экономическая, может для них обоих быть плодотворной. Он,

Прекль, например, исходя из этого положения, нашел конструкцию автомобиля, доступного маленькому человеку. И Тюверлен также — иначе он себе этого и представить не может, — став на марксистскую точку зрения, мог бы работать с большей свободой, разумнее и легче. Столкновение Европы и Азии — это тема для послеобеденного эстетского чая. Другая борьба, борьба экономическая, актуальная для каждого, ежедневно и всюду окружает их. Все люди расщеплены на два класса, борющихся друг против друга. Идет гражданская война. Эта гражданская война — естественная тема для писателя Тюверлена, и не к чему от нее трусливо прятаться. Он не может углубляться в созерцание китайского фарфора, когда кругом трещат пулеметы. «Здесь Родос, здесь прыгайте!» — требовал он. И в то время как проезжавший мимо извозчик, глядя на него, удивленно покачивал головой и ворчал про себя: «Вот осел несчастный!» — он еще несколько раз повторил своим резким голосом: «Здесь Родос, здесь прыгайте!»

Тюверлен многое мог бы возразить по этому поводу. Мог бы сказать, что он по природе человек не воинственный — свойство, общее у него примерно с четырьмястами миллионами азиатов, — что экономические вопросы внутренне менее остро затрагивают его, чем так важно именуемые вопросы идеологической надстройки, и что он и не думает здесь прыгать. Но вдруг он заметил, что Каспар Прекль перестал его слушать. Лицо молодого инженера внезапно исказила гримаса. С острой ненавистью уставился он на мчавшиеся ему навстречу санки, в которых сидел грузный, закутанный в тяжелую шубу человек с блестящими черными усами, вежливо склонивший покрытую меховой шапкой голову в сторону молодого инженера. Не отвечая на поклон, Прекль в упор, все с тем же выражением ненависти, глядел на грузного господина. Затем, когда сани проехали мимо, он обратился к Тюверлену и угрюмо заявил, что ему нужно вернуться. В такую дрянную погоду и днем нелегко добраться на автомобиле до Мюнхена, и ему пора ехать.

На обратном пути в гостиницу он сыпал едкими, циничными замечаниями по адресу попадавшихся на встречу нарядных женщин, по-модному одетых в элегантные спортивные костюмы.

— «Презренный край, порочная долина!» — продекламировал он с тем же выражением мрачного цинизма на лице, и Тюверлен не мог решить, строка ли это из сонетов Шекспира, роскошные издания которых накануне носил при себе инженер, или же из другого любимого Преклем лирика.

Прекль выкатил из гаража свой автомобиль. Машина, и так уж достаточно неказистая на вид, сейчас еще была забрызгана грязью, так как Прекль не распорядился, чтобы ее вымыли. Он поднялся наверх к себе в комнату и принес свои вещи, завернутые в газету: гребенку, губку, зубную щетку. Кроме того, еще роскошное издание сонетов Шекспира. Тюверлен ожидал, что молодой инженер, который очень заинтересовал его, условится с ним о новой встрече в Мюнхене, но Прекль молчал, углубленный в себя. Заводя машину, он старался ответить самому себе на вопрос, к чему, собственно, он приехал в Гармиш. Свой проект выпуска серийных автомобилей он не продвинул ни на шаг. Даже с Иоганной не пришлось ему поговорить. Он был идиотом из идиотов, что не взял предложенных Рейндлем ста фунтов. Анни с полным правом будет бранить его. Выходило так, что он прикатил в Гармиш специально для того, чтобы пропеть некоему господину фон Рейндлю свои баллады. Домой он привезет известие о своем увольнении и сонеты Шекспира.

Прошло довольно много времени, пока удалось завести на таком холоде мотор. Жак Тюверлен стоял около автомобиля в своих широких коротких штанах, небрежный, изящный и высказывал замечания, полные знания дела: ему не раз приходилось ездить по зимним дорогам.

Наконец мотор заработал. Отъезжая, Каспар Прекль вдруг резко, поучительным тоном заметил, что и учение Будды, кстати сказать, не что иное, как примитивный, научно еще недостаточно обоснованный марксизм.

В прекрасном настроении, возбужденный спором, Тюверлен той же дорогой пошел назад и увидел в кондитерской «Альпийская роза» сидящую за столиком Иоганну Крайн. Обрадовался возможности с ней, понимающей собеседницей, продолжить спор, не законченный с Преклем. Он вошел в кондитерскую. Своей раскачивающейся походкой приблизился к высокой цветущей девушке в сером костюме и распахнутой серой меховой куртке, которая перелистывала иллюстрированный журнал.

Иоганна сидела так уже больше часа под сенью ползучих альпийских роз, среди поглощавших сбитые сливки обывателей. Шоколад, от которого она время от времени отпивала глоток, был невкусен. Все же на дне ее чашки уже показался излюбленный узор завода «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» — горчанка и эдельвейс. Машинально разглядывая линии знакомого рисунка, сызнава перелистывая страницы скучных иллюстрированных изданий, Иоганна ждала. Полная до краев своим успехом у кронпринца, она сразу же, как только вошел Тюверлен, принялась с увлечением рассказывать. Он рассеянно слушал, поддакивал, отпустил несколько мягкопренебрежительных замечаний по адресу претендента на престол, — был весь поглощен своей беседой с Каспаром Преклем. Увидав ее, сидящую за столиком, красивую, высокую, цветущую, он ощутил острую потребность высказать ей свои мысли, излить весь протест, пробужденный в нем неудержимым натиском его молодого собеседника.

— Понимаете вы этого парня? — сказал он. — Жизненной энергии в нем во сто раз больше, чем во всех здесь кругом, а он всем своим страстным умом упирается в одну точку. Если бы медик, скажем, или юрист какой-нибудь потребовали от него, чтобы он расценивал мир исключительно с медицинской или юридической точки зрения, этот малый, наверно, просто дал бы им по физиономии. А вот если требует этого экономист, он соглашается. Он не хочет понять, что мировоззрение начинается только за пределами класса. Разве не чудеснейшее ощущение глядеть со стороны на

заключенных в узкие рамки модного сейчас понятия классов? А между тем этот парень, вероятно, и не пуждаясь в этих рамках, сам себя в них втискивает.

Иоганна с трудом глотнула.

— Личное вмешательство принца — несомненно, только вопрос времени, — сказала она. — У меня по этому делу было по меньшей мере два десятка деловых свиданий, из которых, кроме болтовни, ничего не вышло. Теперь я, наконец, начинаю ощущать почву под ногами. Понимаете, Тюверлен, как это важно для меня?

— Знаете, — проговорил Тюверлен, раскачивая бокал с вермутом, в котором звенели льдинки, — если бы это был малоспособный человек — ну, все было бы понятно. Но ведь я верхним чутьем знаю, что этот сопляк высоко одарен. И вот нате же, этот осел цепляется за полы своей удобной теории! Я, кажется, не склонен к первозности, но, знаете, Иоганна, эта история меня просто волнует. Он не желает, — говорит он, — сидеть на подпиленном суку буржуазного общества. А с меня, — сказал я ему, — с меня достаточно, если какой-нибудь человек, какое-нибудь событие или идея обостряют мое жизнеощущение. Я тогда передаю это впечатление дальше. Но он называет такое отношение к жизни «буржуазной ленью». Он-де не позволяет себе так легко подходить к разрешению вопроса. Он считает необходимым сначала проверить, способна ли почва выдерживать тяжесть будущего. Молокосос!

Иоганна страшно радовалась встрече с Тюверленом. Несколько часов ждала его. Собственно говоря, она с самого приезда в Гармиш ждала случая поговорить с Тюверленом о Мартине Крюгере, о том, что она сделала и что было — она сама этого точно не знала — героизмом или упрямством, глупостью или порядочностью. Неужели он ничего не замечал? Ведь он смотрел на нее, говорил с ней, глядя ей прямо в лицо. Неужели он не замечал, что она предлагает ему себя? Что она бросилась бы ему на шею, если бы он только этого пожелал? Неужели он был так глуп, что ничего не видел?

Да, он был так глуп, потому что был писателем. Все возражения, которые он не мог пустить в ход во время

спора с Преклем, потому ли, что они тогда не пришли ему в голову, или потому, что он не мог их сразу сформулировать, или потому, что второстепенное выдвинулось тогда на место более важного, — все эти возражения он сейчас в четких и резких формулировках выбрасывал перед умолкнувшей, замкнувшейся в себе, обиженной Иоганной. Он находил удачные обороты, с каждой минутой становился оживленнее, веселее. Перешел к своим планам. Рассказал ей о своей книге «Маркс и Дизраэли», резкой и, вероятно, весьма несправедливой, которую он в ближайшее время собирался выпустить. Он изобразил этих двух людей, живших в одну и ту же эпоху, в одном и том же городе, переживших одни и те же события. Изобразил разворачивавшиеся вокруг них исторические события по возможности беспристрастно и сухо, а затем показал, как они совершенно различно отражаются в мозгу обоих. А сейчас он набрасывал план большой радиопьесы «Страшный суд». Некий суд, подобие Страшного суда, расследует факты из жизни так называемых знаменитых людей. Начинается спор между отдельными личностями, принадлежавшими к одной и той же эпохе, разница в возрасте которых определяется разницей их склада, так что один может быть старше другого на тридцать тысяч лет. Ни один не может ничего доказать, каждый уверен в своей правоте, каждый по-своему прав. А затем оказывается, что перед этим «Страшным судом» правота каждого в отдельности все же не доказана.

Об этой радиопьесе Тюверлен рассказывал с силой и оживлением, отнюдь не скептически и спокойно, вплетая сюда же множество резких выпадов по адресу инженера Прекля, которого, впрочем, тут же называл единственным «индивидуумом с человеческим лицом», встреченным им на этом зимнем курорте. Но все это ему пришлось рассказывать весьма мрачной слушательнице. Иоганна не проявляла интереса к его работе, о которой в другое время слушала бы с увлечением. Она глядела на его волосатые руки и находила их безобразными, глядела на его подвижное помятое лицо и находила его похожим на клоунскую рожу.

Она старалась проникнуть в его душу. Мужчина способен свое творчество, свое дело четко отделять от своего отношения к женщине, способен на то время, когда творческий процесс захватывает его, забыть женщину. Она давно поняла это. Но сознание Иоганны не могло помешать тому, что верхняя губа ее поджималась, а серые глаза наполнялись гневом. Какое безобразие, что она настолько не умеет скрывать свои чувства!

Она была зла на этого человека, не проявлявшего никакого участия ни к ней, ни к ее успеху. Она была зла на себя за то, что для нее так важно участие именно этого человека. Она была зла на него и на себя за то, что они сидели здесь оба друг против друга, замкнутые каждый в самом себе.

Она увидела г-на Гессрейтера, входившего вместе с г-ном Пфаундлером в кондитерскую «Альпийская роза». Раздраженная, сердитая, она как-то нелепо бросила Тюверлену: «Простите, я мало понимаю в этих вещах» — и, поднявшись, отошла к Гессрейтеру. Тот уже слышал от Пфистерера об успехе у кронпринца, искал Иоганну по всему местечку и сейчас встретил ее многословными поздравлениями. Он был очень польщен тем, что она бросила Тюверлена, и окружил ее атмосферой внимания, поклонения, тепла — всем тем, в чем отказал ей Тюверлен. И она забыла о керамическом заводе с его гномами и мухоморами, перестала ощущать кисловатый запах, исходящий от г-на Гессрейтера.

Тюверлен, когда она так неожиданно покинула его, сначала был озадачен. Ах, верно, она рассказывала ему об этом болване, к которому обращалась, а он, очевидно, не слушал с подобающим интересом. Он мог бы несколько внимательнее отнестись к ней. На нее приятно было смотреть, она нравилась ему; все в ней нравилось ему, даже ее гнев, хотя он и был, вероятно, пелепым. Но разве не бросила она его уже раз вот так — одного за столиком? Он улыбнулся, забыл о ней. Он разгорячился во время спора и сейчас не был один: он был с своими мыслями и планами.

Господин Пфаундлер заметил человека, углубленного

в работу. Он давно уже носился с проектом поставить в Мюнхене грандиозное обозрение, такое, какие пользовались эти годы повсеместным успехом. С точки зрения деловой это не имело никакого смысла: Мюнхен не был мировым центром, он был даже не очень большим городом. Но, с другой стороны, старинные художественные традиции, пресловутая склонность к изобразительному искусству. Черт знает как ловко было бы именно здесь облагородить обозрение, которое завладело подмостками во всем мире. Он много зарабатывал на все усиливавшейся инфляции и уже несколько месяцев колебался, вложить ли ему деньги в такое вот облагороженное обозрение или в фильм, изображающий страсти господни. Сейчас, увидев сидящего за столиком Тюверлена, он вдруг принял решение. У него было хорошее чутье. Он с первого взгляда определил, что Тюверлен — самый подходящий для него человек. Этот интернациональный разболтанный субъект — как раз такой тип, какой нужен для обозрения: он трезво глядит на вещи и в то же время способен на выдумку. Г-н Пфаундлер подошел к нему, попросил разрешения присесть, заказал и для себя рюмку вермута. Заговорил с начиненным планами Тюверленом с проекте постановки обозрения. Что ж, Тюверлен, весь во власти мучительного и сладостного процесса творчества, готов был согласиться на предложение г-на Пфаундлера. У него давно уже была в запасе идея обозрения, а у этого Пфаундлера достаточно предприимчивости. Он спросил г-на Пфаундлера, может ли обозрение носить политический характер. Тот осторожно ответил, что оно может иметь и политический оттенок. В меру, разумеется, в меру, в самом общем виде. Улыбающийся Тюверлен набросал план обозрения, построенного по схеме одной из пьес Аристофана. Он был еще под впечатлением разговора с Преклем. Центральной фигурой обозрения он предлагал сделать местного комика Бальтазара Гирля. Г-н Пфаундлер выразил восторженное согласие: он, Пфаундлер, Бальтазар Гирль и умница Тюверлен — да это просто с ума сойти, что за обозрение получится! Таким обозрением можно и берлинцам нос утереть! Тюверлен предлагал нечто

вроде «Касперля в классовой борьбе». Но это было не по душе г-ну Пфаундлеру. Он имел в виду что-нибудь вроде «Выше некуда!» — что особенно должно было относиться к женским костюмам. Но он был человеком опытным: с художниками следовало обращаться осторожно. Он предложил поэтому поставить обозрение под двойным названием: «Касперль в классовой борьбе, или Выше некуда!» — надеясь, что при его настойчивости и напористости ему постепенно удастся вытеснить мотив «Касперля в классовой борьбе». Он заказал вторую рюмку вермута, третью, но не для себя. Он пытался перевести Тюверлена на рельсы своих пожеланий. Тюверлен, видевший его насквозь, уступчиво замешивал эти пожелания в свое тесто. Он вышел из кондитерской «Альпийская роза» в обществе предпринимателя Пфаундлера, с твердой решимостью написать текст обозрения.

Иоганна, все время с необычайной серьезностью и теплотой беседовавшая с Гессрейтером, к великой радости последнего, поглядев вслед уходившим, вновь стала молчалива.

22

ШОФЕР РАТЦЕНБЕРГЕР В ЧИСТИЛИЩЕ

В эти зимние дни, в то время как курс доллара на берлинской бирже поднимался со 186,75 до 220 марок, широко разбегавшимися кругами стали распространяться слухи о признании покойного шофера Ратценбергера в том, что он на процессе Мартина Крюгера давал ложные показания. Дело в том, что умерший шофер, невзирая на предполагавшийся на его могиле роскошный памятник, никак не мог найти себе покоя. Все чаще являлся несчастный своей вдове Кресценции. Кресценция Ратценбергер была родом из сельской местности, ей не раз приходилось слушать полные ярких образов проповеди о чистилище, видеть картинки, на которых наглядно были изображены поджариваемые в пламени грешники. Но не в духе такой картинки, с опаленными волосами, ресницами и усами, с

шипящим жиром и пузырями на розовой коже, являлся ей покойный Франц Ксавер. Нет, он являлся ей в гораздо более жутком виде — окруженный пламенем, но невредимый, всегда с одинаково страдальчески простертыми к ней розовато-восковыми руками. И тихим, стеклянным, неестественным голосом он скулил и плакал о том, что принес тогда ложную присягу и придется ему теперь до тех пор мучиться в огне и серном дыму, пока не будут опровергнуты его ложные показания.

Вдова Кресченция лежала, обливаясь потом, в тяжелой сердечной тоске. Кому могла доверить она свое горе? Ее четырнадцатилетняя дочь Кати была добродушна, кротка, часто смеялась. Она блаженствовала, когда ее подводили к воде, часами с идиотской улыбкой могла смотреть на зеленоватый Изар, в волны которого однажды, воскликнув: «Прощай, чудный край!» — прыгнул ее отец. Но у нее в голове не все было в порядке, она была придурковата и ни в коем случае не подходила для того, чтобы слухом и сердцем своим воспринять душевные муки вдовы Кресченции. Мальчишка Людвиг тоже не способен был понять страдания матери. Он стал теперь большим баринком. Руперт Кутцнер, вождь «истинных германцев», которому его с каждым днем все больше богатеющая партия предоставила теперь в распоряжение автомобиль, сделал стройного благообразного юношу своим шофером. И вот мальчуган восседал теперь за рулем, когда серая машина, которую знал весь город, стояла у подъезда в ожидании Руперта Кутцнера. Отсвет славы его шефа, этого великого человека, падал и на Людвига. Неподвижный под взглядами толпы, сидел он, согретый сознанием своей значительности и значительности своего вождя. Он жил, правда, еще с матерью в одном доме, но, когда она робко начинала говорить с ним о своем горе, Людвиг, веруя в священную миссию и героическое мученичество отца, резко, в грубых выражениях обрушивался на нее. Козни врагов и гнусная клевета евреев и иезуитов, — кричал он, — совсем свели ее с ума. Его видения он коротко и ясно называл дурацкими бреднями. Духовный отец тоже говорил нечто подобное, но,

как человек образованный, вместо простонародного «бредни», употреблял научное слово «галлюцинации». Он упрекал мать Людвиг в гордыне за то, что она считала себя достойной иметь видения, спрашивала, не считает ли она себя умнее его, и в заключение, резко обрывая, заявлял, что вполне достаточно заупокойных богослужений.

Но духовный отец ошибался. Заупокойных богослужений было недостаточно. Шофер Ратцепбергер в чистилище не находил себе покоя. Жуткий и страшный, являлся он все чаще, окруженный пламенем, невредимый, словно розовая восковая кукла, и неестественным, стеклянным голосом повторял все то же, обзывая свою вдову дурой, и, как часто случалось и при жизни, грубо толкал ее кулаком в зад.

А признание его разбегалось кругами. Ресторан «Гайсартен» посещал некий Зельхмайер, ученик наборщика из типографии Гшвендтнера, спокойный, задумчивый юноша. Управляющий типографией терпеть его не мог, придирался к нему и даже бил. Зельхмайер перенес свою неприязнь к управляющему на кутцнеровскую газету, которую ему приходилось набирать. Смотрел на нее все более критически, и когда его, наконец, выкинули из типографии Гшвендтнера, он переселся в «Гундскулгель», где, как и прежде, собиралась «Красная семерка». Дело в том, что «Красная семерка» снова воскресла под другим именем. Она росла и процветала. Царившие кругом вызванные инфляцией нужда и безработица, несмотря на кровавую расправу после разгрома Баварской советской республики и на принимаемые правительством меры, все вновь пополняли ряды коммунистов. Большим уважением в «Красной семерке» пользовался, хотя никаких официальных функций там не выполнял, электромонтер Бенно Лехнер, служащий «Баварских автомобильных заводов». Красивый молодой человек со здоровым, загорелым лицом и щегольскими короткими усами никогда не кричал и не грозил — не то, что другие. Ему только что минуло двадцать лет, он был верхнебаварец и все же был всегда сдержан, рассудителен, серьезен. Проклятая история с его игрой на рояле в «Красной семерке» и

заключением в исправительную тюрьму, которым тогда наградил его чрезвычайный суд, не сделала его человеком, озлобленным на весь мир. Он многое передумал в стенах тюрьмы, многое перечитал; стал серьезен, осмыслителен. Если за одно желание учиться игре на рояле он мог попасть в тюрьму, то виноваты в этом были не отдельные люди: причиной был весь существующий ныне социальный строй. Браниться, стучать кулаком по столу — такими мерами ничего не изменишь. Он редко раскрывал рот в «Гундсугеле», зато, когда он говорил, остальные прислушивались к его словам. Многие указывали, что наиболее осмысленные выступления коммунистов в Мюнхене происходили по инициативе молодого Бенно Лехнера.

К нему с безграничной преданностью привязался и типографский ученик Зельхмайер. Ему же рассказал он о том, что в «Гайсартене» шепотом говорят о лжесвидетельстве шофера Ратценбергера. Бенно Лехнер внимательно выслушал его. Он дружил с Каспаром Преклем, знал, что такое тюрьма, и обрадовался возможности помочь Мартину Крюгеру, другу Каспара Прекля. Вместе с товарищем Зельхмайером он отправился к вдове Кресценции Ратценбергер.

Покойный Франц Ксавер побудил этих людей прийти к вдове Кресценции и подтвердить, что его показания на суде были ложны. При этом новом знаменнии вдова ощутила священный трепет, с облегчением вздохнула, вновь обрела силу бороться с павалившеюся на нее тяжестью. Молодому Лехнеру не пришлось потратить много слов, чтобы убедить ее в том, что сейчас по вине шофера Ратценбергера в тюрьме томится невинный человек и что она во имя правды обязана помочь живому. Вдова Кресценция тут же, часто всхлиывая, заявила, что господа совершенно правы: покойный ей также признавался, что тогда на процессе давал ложные показания. К сожалению, как раз в этот момент, раньше, чем удалось добиться от вдовы каких-либо письменных подтверждений, подоспел молодой Людвиг Ратценбергер. Начались крики и потасовка, во время которой Людвиг Ратценбергер откусил коммунисту Зельхмайеру мочку уха.

А весть о признании шофера Ратценбергера разбежалась кругами. Перейдя от вдовы Кресценции к товарищам Зельхмайеру и Лехнеру, она достигла ушей Каспара Прекля. Препроводив в больницу Зельхмайера, Бенно Лехнер сразу же довел обо всем до сведения своего друга, инженера Прекля. Затем инженер вместе с Бенно Лехнером поспешил сообщить о признании Ратценбергера адвокату доктору Гейеру.

Доктор Гейер отнесся к известию скептически. Усиленно мигая, он своим звонким, неприятным, срывающимся голосом стал объяснять, что добиться возобновления процесса — вещь и вообще-то всегда очень и очень сложная, а в данном случае почти безнадежная. Вопрос о принятии предложения о возобновлении процесса, согласно § 367 «Порядка уголовного судопроизводства», разрешается тем самым судом, приговор которого в силу этого предложения подвергается сомнению. Следовательно, в данном случае — тем самым баварским судом, который осудил Крюгера. Нужно доказать, что свидетель Ратценбергер, подтверждая под присягой свои показания, допустил с заранее обдуман-ным намерением или вследствие небрежности нарушение закона о присяге. Обычно же суды признают факт лжесвидетельства лишь тогда, когда оно подтверждено осуждением сомнительного свидетеля. Свидетель Ратценбергер, к сожалению, умер, не дождавшись привлечения его к суду. Неужели г-да Прекль и Зельхмайер полагают, что г-н ландесгерихтсдиректор Гартль, даже в случае письменного клятвенного подтверждения вдовой Ратценбергер своего показания, признает его действительно законным поводом? Во всяком случае, пройдет очень продолжительное время, пока удастся собрать материал, могущий достаточно прочно с юридической точки зрения подкрепить требование о возобновлении дела. Гейер предоставлял Каспару Преклю решить вопрос о том, следует ли немедленно сообщить о случившемся Мартину Крюгеру и Иоганне.

Людвиг Ратценбергер после драки с обоими коммунистами окончательно покинул квартиру матери. Вдова Кресценция осталась одна со своей придурковатой до-

черью, находя все же некоторое утешение в посещениях покойного, который являлся, правда, все еще в кольце огня, но уже не скуля и умоляя, а чуть ли не улыбаясь. Она не решалась еще письменно подтвердить свое устное показание, но и не отказывалась от этого окончательно, успокаивала, обещая сделать это в будущем.

А признание покойного Ратценбергера между тем разбегалось кругами. Каспар Прекль поехал в Одельсберг.

Обращение, применявшееся по распоряжению обер-регирунгсрата Фертча к заключенному Крюгеру, за это время несколько раз резко менялось. Ему без объяснения причин время от времени вдруг оказывали послабления, которых его затем так же неожиданно лишали. Вызывались эти изменения колебаниями политического курса. Руководящая клерикальная партия страны считала по определенным мотивам нужным заключить союз с националистическими партиями. Заигрывали — особенно министр Флаухер — с шовинистической партией монтера, ныне политического писателя, Руперта Кутцнера — с «истинными германцами». Ввиду того, однако, что вожди этой партии, в большинстве весьма молодые люди, были склонны к дерзости и пытались захватить всю руку, как только им протягивали один палец, руководящие лица — и особенно министр Кленц — считали необходимым время от времени проявлять по отношению к ним некоторый холодок. Директор тюрьмы, обер-регирунгсрат Фертч, напряженно прислушивался к каждому дуновению ветерка, доносившемуся из кабинета министров, и всякое колебание ощутительно отзывалось на содержании заключенного Крюгера. Мельчайший оттенок в настроении кабинета отражался на качестве пищи, количестве часов сна, разрешении и запрещении пребывания на воздухе, приеме посетителей, пользовании письменными принадлежностями.

Продержав его некоторое время вдвоем с Леонгардом Ренкмайером, Фертч внезапно снова перевел Крюгера в одиночную камеру. Это была та самая хорошо памятная ему камера — белая кадка для естественных

надобностей, брошюра с правилами борьбы с туберкулезом, коричневое пятно во вклеенном «Дополнении к прогрессивной шкале наказаний». В самом низу стены, в углу, какой-то заключенный, помещавшийся за это время в камере, начертил крохотный похабный рисунок, в противоположном углу — строчку из молитвы.

Мартин Крюгер внимательно, так как времени у него было достаточно, разглядывал то самое распятие — примитивную фабричную подделку под некоторые средневековые изображения Распятия, относившиеся к пятнадцатому веку. Он сравнивал его с «Распятием» художника Грейдерера, улыбался. Приятно было видеть здесь перед собой фабричное изделие, а не картину художника Грейдерера. Он садился на табуретку, затем с полчаса шагал взад и вперед по камере. Ему — поблажка или наказание? — не давали работы. Мысли его тянулись медленно, равномерно, не бунтуя, успокоенные.

Когда ему вернули его рукописи, он почувствовал себя совершенно счастливым. Ему давно уже не нужна была репродукция картины «Иосиф и его братья». Он восстановил для себя самые мельчайшие ее детали. Только лица одного из братьев не хватало ему: оно запечатлелось у него в памяти — добродушное, испуганное и в то же время упрямое, — по все же не воспроизводилось с полной ясностью. Он охотно повидал бы картину, еще охотнее — художника. Но он и так был доволен и не скучал по ночным телефонным звонкам. Он знал, что если есть хоть какая-нибудь возможность напасть на след художника, это будет сделано инженером Каспаром Преклем. Давно уже эта картина стала для Мартина Крюгера чем-то большим, чем просто произведение искусства. Спокойствие, примиренность со своей судьбой пришли к нему под влиянием яркого представления о картине.

Прекрасно было иметь возможность писать вот так, как сейчас. Никто не ожидал, ни для кого не было важно, чтобы он писал. Важно это было только для него самого. Часто он писал одно только предложение за целый день работы. Прекрасно было иметь время. Не

запечатлевать на бумаге ничего, что бы не было убеждением, мыслью, живой жизнью. Отгонять образы, не проникающие за черту, где начинаются мысли. Человек сидел на табуретке — в серо-коричневой одежде, коротко стриженный, окруженный картинами, образами, мыслями. Бродил среди стен, снега и шести деревьев. Видел высохшее, жадно приносящееся лицо директора. Слушал торопливо скачущие слова болтливового Ренкмайера. Ел. Писал.

О, эти тихие, тихие часы в камере, когда не было ничего, кроме покоя, насыщенного зарождающимися мыслями, которым он мог дать вызреть, не торопясь никуда, в лукавой тиши, чудесной для созерцания и рождения образов. Он сидел так, расслабив тело, расслабив мозг, сидел, исполненный покоя и готовности.

Каспар Прекль внес бурю в эту умиротворенность, ибо то, что он, постоянно прерываемый надзирателем и вынужденный ограничиваться намеками, рассказал о признании шофера Ратценбергера, снова разбило стены камеры, перебросило человека в серо-коричневой одежде назад, в то время, когда он занимался изучением Алонсо Кано из Кадикса, изящного портретиста семнадцатого века. Потрясло его до самой глубины. До сих пор на все попытки освободить его, о которых рассказывали ему Гейер, Прекль, Иоганна, он отвечал кроткой и какой-то далекой улыбкой. Их слова соскальзывали с него, как вода с клеенчатого плаща. Это известие внезапно разорвало толстый слой ваты, которым он себя окутал. Снова встала перед ним жизнь — путешествия, картины, море, солнце, женщины, успех, танцевальные залы, прекрасные здания, театр, книги. Инженер Прекль, возлагавший большие надежды на сосредоточенную замкнутость Крюгера и ожидавший, что, освободившись от своего чересчур легкого отношения к жизни и работе, Крюгер создаст себе собственное, твердое, беспощадное мировоззрение, — испугался глубокого, не находящего выражения в словах, волнения Крюгера. Нет, Крюгер еще не переродился, иначе этот чисто внешний шанс не мог бы так невероятно потрясти его. И без того стесненный присут-

ствием надзирателя, Каспар Прекль перевел разговор на другое, заговорил об усилиях, сделанных им, чтобы разыскать картину художника Ландгольца «Иосиф и его братья». Фамилия художника, как оказалось, была вовсе не Ландгольцер, он только прикрывался чужим именем. Настоящее его имя — Фриц-Ойген Брендель. Он инженер. На след этого инженера Бренделя Каспару Преклю теперь удалось напасть. Прекль был уверен, что разыщет его.

В другое время это известие взволновало бы Мартина Крюгера до самой глубины души, сегодня оно не вызвало в нем никакого интереса. Он был охвачен глубоким, затруднявшим дыхание волнением, так что Прекль пожалел о том, что сообщил ему о признании шофера. Исчезла без следа умиротворенность последних недель. Крюгер не мог усидеть на месте, рукопись его стала ему безразлична. Он бегал взад и вперед, то снимал, то вновь натягивал серо-коричневую тюремную куртку. Он думал об Иоганне Крайн, был безмерно возмущен тем, что она забавляется в Гармише, в то время как он сидит здесь. Пипца казалась ему невкусной; в нем вызывал отвращение привкус соды, которую примешивали к ней, чтобы ослабить эротические настроения заключенных. Сильное физическое влечение к Иоганне охватило его. Он видел ее обнаженной, ощущал прикосновение ее крепких грубоватых детских ладоней. Он кусал свои руки, испытывал отвращение к своему телу, к своему опустившемуся виду, к своему запаху. У него стало прежнее безудержно властное лицо. Затем оно внезапно смешно и жалко исказилось, превратившись в вялую маску беспомощного старика. Он начал писать Иоганне письмо, полное сладострастия, горечи, нежности, оскорблений. Он сидел на полу, грыз ногти, проклинал шофера Ратценбергера и инженера Прекля. Этот день был самым нестерпимым из всех проведенных им в заключении. Он разорвал письмо к Иоганне Крайн: цензура директора ни за что не пропустила бы его. Он подсчитывал, сколько еще времени ему придется просидеть здесь. Оставалось еще много месяцев, очень много не-

дель, бесконечно много дней. Он не спал в эту ночь. Он сочинял письмо Иоганне.

На следующий день он в течение нескольких часов обрабатывал текст письма, стараясь сделать его таким, чтобы оно проскочило через цензуру директора. Обер-регирунгсрат Фертц наслаждался, читая это необыкновенное письмо; его кроличья мордочка усиленно дергалась. Он прочел письмо несколько раз, постарался запомнить отдельные места, чтобы щегольнуть ими в обществе особо уважаемых граждан соседнего местечка, с которыми дважды в неделю он обычно встречался за одним и тем же столиком в ресторане. Затем он сделал на письме пометку о том, что оно «не допущено к отправке», и приложил его к делу.

23

НОЧНЫЕ БРОДЯГИ

Господин Пфаундлер, несмотря на свое желание сделать «Пудреницу» увеселительным заведением более светским и привлекательным для космополитической публики, в определенные дни считал необходимым придавать ей характерно баварскую окраску. Как известно, только в Мюнхене можно было изготавливать пиво, — это зависело от состава местного воздуха и воды; точно так же только в Мюнхене — и это зависело от характера его жителей — можно было устраивать празднества без натянутости и кривляния, создавать настроение, настоящее веселье. Такие непритязательные, грубовато-простые маскарады Пфаундлер устраивал довольно часто. В отношении костюмов каждый раз объявлялся новый лозунг, ни для кого, впрочем, не обязательный, так что никто не был связан и всем все было дозволено.

Идея этих небольших балов имела успех. Приезжие иностранцы принимали в них восторженное участие. Для оформления таких балов г-н Пфаундлер привлекал художника Грейдерера и создателя серий «Бой быков», которые и разрешали возложенную на них задачу с

большим усердием и вкусом. Г-н Пфаундлер не жалел денег, — эти вечера были его любимым детищем. Специально ради них он выписывал из Мюнхена мелких художников, художественных ремесленников, всякую «скотину» — молодых людей, умевших веселиться с соблюдением приличий. Привозил их на свой счет в Гармиш, предоставлял им полное содержание.

На этот раз вечер был устроен под лозунгом «Ночные бродяги». Удачный лозунг: кто и что только не бродит по ночам? Кто не хотел особенно напрягать воображение, мог, следуя излюбленной моде тех лет, явиться просто в пижамах.

Черт возьми, что только сделали господа художники с «Пудреницей»! Куда девался весь восемнадцатый век, благородная плиточная облицовка, весь налет светской изысканности!

Сегодня под искусно нарисованным, усыпанным звездами небом с зелеными и красными фонариками виднелась астрологическая лаборатория; жуткий бесовский шабаш, с дикими чертенятами, с полными наивного бесстыдства аншетитными ведьмами; пламя чистилища из развевавшихся желтых и красных бумажных змей, внушавшее трепет и страх. Здесь была и преисподняя, и река Стикс с искусно покачивающимся челном (переправа: для местных жителей — двадцать марок, для иностранцев — десять центов). «Интимный зал» был превращен в лунный ландшафт, грандиозно пустынный, гротескный и романтический, украшенный плакатами с сочными баварскими поговорками. При желании дешево и приятно отдохнуть от всех этих страхов можно было пройти в «пивную», особенно любовно отделанную художником Грейдерером. Полотнища, разрисованные сине-белыми ромбами баварского герба, образовывали уютный шатер. Здесь было много зелени, развевающихся флажков, забавных рисунков, благодушно-жизнерадостных изречений, веселивших душу.

Через час после начала «Пудреница» заполнилась до последнего укромного уголка. Картина была недурная. Не обошлось и без некоторой дозы извращенности, которую г-н Пфаундлер охотно примешивал для «зна-

токов». Черное, закрытое, с длинным плейфом платье, плотно облегавшее хрупкое покорное тело Инсаровой, даже и самому суровому наблюдателю не могло бы показаться неприличным, а между тем действовало так, что мышинные глазки под шипковатым черепом самого Пфаундлера, хоть он и успел до тонкости изучить свою танцовщицу и все ее «штучки», загорелись похотливым восторгом. Манера, с которой фон Дельмайер и его друг демонстрировали свои костюмы «дам сомнительного поведения», также производила особое впечатление именно благодаря своей дерзкой скромности.

Но таких костюмов было немного. Основным тоном была грубоватая, безобидная веселость, баварская жизнерадостность.

Хотя, казалось, желание г-на Пфаундлера было удовлетворено полностью, он все же проявлял нервозность и странную даже для него грубость, особенно по отношению к своим любимцам. Ну, хотя бы по отношению к г-ну Друкзейсу, изобретателю шумовых инструментов и забавных игрушек, создавшему в своей области прямо эпохальные новшества, например, катушки клозетной бумаги, начинавшие при отрывании листков играть популярные мелодии: «Будь верен и честен» и «В прохладном гроте». Г-н Пфаундлер и представить себе не мог, чтобы на серьезно организованном и претендующем на высокое качество балу можно было обойтись без г-на Друкзейса, и поэтому предложил ему сконструировать для бала «ночных бродяг» несколько особенно остроумных, неожиданно производящих музыку предметов. Несмотря на это, он грубо оборвал заслуженного изобретателя, когда тот позволил себе задать ему какой-то вполне невинный вопрос.

Настроение г-на Пфаундлера было испорчено отсутствием одного лица на этом балу, где собралось столько людей самого изысканного общества. Он зашел так далеко, что написал, хотя писать для него было тяжелым делом, собственноручное приглашение этому лицу. Тем не менее Пятый евангелист не явился в прошлый раз, не считав нужным явиться и на этот вечер. Г-н Пфа-

ундлер чувствовал себя оскорбленным. Он грубо набросился на изобретателя Друкзейса, затем выругался по поводу того, что до сих пор нет этого растяпы Гессрейтера и толстухи Радольной. Вся эта публика, которая весь век без дела сидит на собственном задѹ, всегда оказывается наименее аккуратной.

Когда же оба они со значительным опозданием все же явились, выяснилось, что для опоздания у них были вполне уважительные причины: они надеялись, что им удастся привезти с собой кронпринца Максимилиана. Но принцу в последнюю минуту пришлось неожиданно отбыть. «Политическое положение»,— объяснил г-н Гессрейтер медлительно, туманно и не вполне вразумительно. Насколько г-н Пфаундлер мог понять, вожди левых партий на тайном совещании решили добиваться плебисцита по вопросу о лишении бывших владельцев князей их имущественных прав, и принц после продолжительных телефонных переговоров с графом Ротенкампом и землевладельцем Бихлером поздно вечером спешно отбыл в Мюнхен.

Господин Пфаундлер проводил г-на Гессрейтера и его подругу к приготовленному для них столику. Он внимательно оглядел г-жу фон Радольную. Не пользовалась ли она рентой, которая подходила под понятие имущества, подлежащего конфискации? Не была ли она одной из тех, кому непосредственно угрожало установление левых партий? Но она была невозмутима. Она сидела за столиком, спокойная, царственная, окруженная уважением, с медно-красными волосами, высоко зачесанными над широким лбом, с полными обнаженными руками, роскошная в своем черном платье, варварски усыпанном огромными драгоценными камнями. Она изображала сегодня какую-то дальневосточную богиню ночи. Принимала участие в разговоре, спокойно, любезно отвечая на многочисленные приветствия из шумного, наполненного весельем зала.

В душе она была охвачена паникой. Закон о конфискации... Революцию она пережила спокойно, втайне посмеиваясь над глупыми бунтовщиками, довольствовавшимися переменой ярлычка и не думавшими—

идиоты они такие! — покушаться на действительную власть, на собственность. А теперь вдруг, после такого долгого промежутка времени, им все же пришло это в голову. Неужели это было возможно? Неужели они посмеют? Всерьез покушаться на собственность, на священное право собственности? В Германии!.. В Баварии!.. Один факт возникновения такой мысли был бесстыдством, бесстыдством, переходящим всякую меру. С царственным видом, грузная в обилии своей плоти, восседала она за столиком, отвечала на почтительные поклоны, спокойно шутила, но в душе была опустошена, беспомощна. Не угадал ли уже кто-нибудь перемену? Не пошли ли уже разговоры? Она знала свет: все покидали того, кого покидал успех. Она находила это вполне естественным.

Она оглядела г-на Гессрейтера, сидевшего рядом с ней. Он был весь в черном. На нем были черные атласные штаны до колен, длинные черные чулки, черная куртка, доверху закрывавшая шею, застегнутая огромной жемчужиной. По его словам, он изображал ночь и старался походить на одного из героев умершего сто лет назад немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана, которого очень ценил. Он походил на слегка разжиревшее изысканное привидение. Гессрейтер не мог скрыть своего беспокойства. Она знала его, знала, что причиной этому не гнусное политическое выступление этих болванов. Он искал кого-то, кого не видел здесь. Она обычно была спокойной женщиной и охотно прощала ему всякие мелкие грешки, — сегодня она ощущала досаду. Подло было с его стороны нервничать не по поводу закона о конфискации, а из-за Иоганны Крайн. Она сидела спокойная, в блеске своего идолоподобного наряда. Обдуманно медлительно, в то время как взоры окружающих были обращены на нее, высвободила она из медно-красных волос какое-то мешавшее ей украшение, обратила свое красивое лицо с ярко очерченным ртом и широким носом к доктору Пфистереру. Костюм Пфистерера был несложен: поверх старомодного фрака он накинул венецианский плащ и с трогательным усилием старался приспособить к этой церемониальной

одежде свое нескладное тело, привыкшее к суконной куртке и негнувшимся кожаным штанам.

— Видели ли вы, кстати, Иоганну Крайн? — спросила его г-жа фон Радольная. — Вы не знаете, явится ли она сегодня?

Все были озадачены. Г-жа фон Радольная и Иоганна были дружны. Если кто-нибудь мог быть осведомлен о планах Иоганны, то прежде всего — г-жа фон Радольная. Г-н Гессрейтер, кроме того, знал, что она говорила с Иоганной об ее костюме. Что же скрывалось за этим язвительным вопросом?

Пфистерер сначала удивленно промолчал, скользнув по г-же фон Радольной непонимающим и тревожным взглядом.

— Ведь вы, кажется, очень дружны с госпожой Крюгер? — нисколько не смущаясь, продолжала г-жа фон Радольная своим звучным голосом.

— А вы разве *не* дружны с ней? — спросил наконец Пфистерер, и это прозвучало как-то глуповато. — Если не ошибаюсь, мы все дружески относимся к ней, — продолжал он, с вызывающим видом оглядываясь кругом.

Катарина все с той же ровной, спокойной улыбкой заметила, что недавно в американской газете натолкнулась на резкую статейку по адресу Иоганны, которая-де весело проводит время на зимних курортах, в то время как муж ее сидит в тюрьме.

— Я полагаю, — благодушно добавила г-жа фон Радольная, — что такого рода нападки и помешали Иоганне явиться на сегодняшний вечер.

Господин Гессрейтер сидел, испытывая нарастающую досаду. Чего добивалась Катарина? Диалог с ничего не подозревавшим Пфистерером мог иметь только одну цель: показать и ему и другим, что она отстраняется от Иоганны. Должно быть, ее поведение было связано с этим дурацким «политическим положением». Если у Катарины и были основания отказаться от дальнейшей защиты интересов Иоганны, то зачем же она подчеркивала это в такой бестактной форме? В общем, это не было похоже на нее. Неужели она делала это ему назло? Он отпил большой глоток вина,

— Вы, должно быть, забыли, Катарина, — произнес он наконец, не глядя на нее и с некоторой торжественностью, — ведь госпожа Крюгер определенно сказала вам, что будет сегодня. Я пойду погляжу, здесь ли она, — закончил он чуть охрипшим голосом, глядя на Катарину подернутыми поволокой глазами. С некоторым трудом поднялся, отошел.

Нет, в огромном главном зале со звездным небом, с красными и зелеными лунами Иоганны определенно не было. Г-н Гессрейтер внимательно заглядывал в многочисленные ложи и «укромные уголки». В черном костюме ночи, с тростью из слоновой кости, между танцующими осторожно, с тяжеловатым изяществом лавировал слегка ожиревший призрак, озабоченный и хмурый. Впервые за долгие годы их близости он не на шутку сердился на Катарину. Такой сознательной, направленной в определенную цель злобы он никогда не замечал в ней. Он тосковал по Иоганне, испытывал такое чувство, словно обязан был что-то загладить по отношению к ней.

Рассеянно отвечал он на многочисленные приветствия, на шуточные замечания по поводу его костюма. Обменивался машинально, с привычной условной сердечностью, рукопожатиями, не переставая искать. Он искал ее на «шабаше», в «чистилище». В «преисподней» кто-то ударил его по плечу — какой-то мужиковатый субъект, полуобнаженный, украшенный цветами, с губной гармоникой, в фантастическом венке на мужлцком черепе, державший в руках палку от метлы, оканчивавшуюся еловой шишкой, окруженный сильно обнаженными девицами легкого пошиба.

— Мое почтение! — произнес этот субъект.

Это был художник Грейдерер. Он был, по его словам, Орфеем. Орфеем в аду. Окружавшие его девицы из предместья, «зайчата», на этот вечер превратились в нимф. Художник Грейдерер заявил, что чувствует себя удивительно хорошо. Он сыграл несколько тактов на губной гармонике и похлопал, чтобы подчеркнуть дионисовский стиль, палкой от метлы, которую называл «тирсом», по пышным задкам своих «зайчат».

Художнику Грейдеру вся обстановка праздника и царившая вокруг суматоха были как раз кстати. Он искал способа забыться. Его терзали заботы. С трудом удавалось ему поддерживать широкий уклад жизни «в стиле Возрождения», который он считал достойным художника. С опозданием выплачивалось жалованье компаньонке и шоферу его старушки матери. Старые картины свои он почти все продал; оставались лишь второсортные вещи, не вполне удачные, малоинтересные. Конъюнктура ухудшалась. Нового Грейдеру мало что удавалось придумать. Бурная жизнь не шла ему впрок. Его хитрое, морщинистое, мужицкое лицо передко выражало усталость. Он был фаталистом. Ему не везло, потом повезло. Если сейчас не везет, — значит, потом опять дела пойдут лучше. Во внутреннюю связь между качеством его картин и выпавшим на их долю успехом он не верил. Пока, во всяком случае, дела еще не так плохи. Почему же не использовать это?

К нему присоединился профессор фон Остерпахер, представительный и декоративный, в черном костюме испанского гранда. Судьба художника Грейдерера, захваленного тем самым Крюгером, который его, Остерпахера, назвал «декоратором», доставляла профессору глубокое внутреннее удовлетворение. Они уселись рядом — полуобнаженный баварский Орфей со своими лимфатичными «зайчатами» и почтенный, весь в черном бархате, баварский гранд. Гранд усадил одну из девиц к себе на колени, дал ей отхлебнуть шампанского, пожелал узнать, каковы дальнейшие художественные планы его коллеги. Грейдерер рассыпался в жалобах на создавшуюся конъюнктуру. Лучше всего сейчас, по его словам, шли птичий дворы и распятия. А ему вот хочется разок написать нечто совсем иное. Он мечтает, например, изобразить одну из фигур баварского крестьянского театра, хотя бы вот оберфернбахского апостола — нечто подлинно крестьянское и в то же время патетически-библейское. Это и будет — птичий двор и распятие, слитые воедино. Какого мнения почтеннейший коллега: подходит ему, Грейдеру,

такой сюжет? Профессор Бальтазар фон Остернахер медленно спустил с колен «зайчонка», помолчал. Этот сюжет,— размышлял он,— мог получиться у Грейдерера удачно. Это могло, насколько он его знал, дать его творчеству новый толчок. Г-н фон Остернахер с трудом проглотил слюну, помялся, выпил, подумал немного.

— Да, театр...— мечтательно произнес он.— Мы, баварцы, всегда питали влечение к комедии.

Он думал о тех возможностях, которые открылись бы перед крупным реалистом, действительно решившимся изобразить такого крестьянского актера, его неуключий пафос, его жалкое, вымученное представление о возвышенном. Он тщательно почистил свой бархатный плащ, испачканный пьяным коллегой.

Господин Гессрейтер между тем продолжал свои поиски среди шумной толпы костюмированных и неокостюмированных крупных буржуа, авантюристов, богатых дам, девок крупного и мелкого калибра, одетых в красные фраки музыкантов, исходящих потом под своими масками деревенских чертей, кельнеров, наемных балльных танцоров, которым вечер сулил значительный доход, среди инструментов изобретателя Друкзейса, среди флиртующих пар, шумного баварского уюта, северогерманской грубой брани, серпантина, скрипучей музыки, всевозможных блесков, среди легких женских взвизгиваний, среди истерического и грубо-полнокровного веселья — по всей фантастически разукрашенной «Пудренице».

Увидев наконец Иоганну, он ощутил острую боль. Она сидела в малом игорном зале, том самом, в котором он не так давно дал ей возможность принять участие в его банке и который сегодня должен был изображать карикатурный мертвый лунный ландшафт. Там в уголке, в одном из особенно укромных гнездышек, над которым красовалась надпись: «На земле — и ад и вой, на луне — королевский баварский покой»,— сидела Иоганна в обществе двух молодых людей, из которых один был знаком г-ну Гессрейтеру. Это был присяжный заседатель фон Дельмайер — легкомысленный фон Дельмайер, страховой агент и, кроме того, руководи-

тель бесчисленных сомнительного свойства предприятий. Второй был очень похож на него, только лет на восемь моложе, совсем молодой, с таким же вызывающим, насмешливым выражением лица, такими же бесцветными, водянистыми глазами. Впрочем, глаза были несколько иные. Их взгляд внезапно сосредоточивался, концентрировался, вливался. Где же г-н Гессрейтер уже видел однажды эти глаза?

Как могла Иоганна сидеть в обществе этих субъектов? Как могла она смеяться, болтать, снисходительно относиться к их хихиканью, к их деланно светскому тону? Такая женщина, как она! Г-н Гессрейтер жадно, восторженно, как гимназист, вглядывался в ее широкое, открытое лицо, на котором отражалось каждое душевное движение. Она была настоящим человеком, умевшим фанатически и крепко постоять за свое дело, без надрыва и изломанности. Мюнхенская женщина, землячка, которой по праву можно было гордиться. Настойчивая, с инстинктивным чувством приличия, со способностью к неподдельному гневу, который не был просто дешевой позой, а серьезным переживанием. Густые шелковистые брови, четко выделявшиеся на широком лице. Крепкие, грубоватые детские руки. Продолговатые глаза с решительным взглядом. Она не стала придумывать какой-нибудь бросающийся в глаза наряд. Ее стройное тело, плотное, но не отягченное жиром, ее прекрасная кожа безыскусственно и просто оттенялись черным платьем. Г-н Гессрейтер ощутил острое желание пожать ее руку, встретиться подернутыми поволокой глазами с ее ясным взглядом. Но досада на ее собеседников удерживала его. Он решил пройти мимо ее столика. Если она выразит при виде его радость, — он подсядет к ней.

Она ограничилась приветливо-небрежным кивком. Оскорбленный, прошел он мимо.

Да, Иоганна Крайн находила удовольствие в болтовне со своими легкомысленными кавалерами. Это были веселые, беззаботные ребята, их слова легко скользили туда и сюда, всегда по поверхности. При других условиях ее, вероятно, не позабавили бы откровенные костюмы женщин из бара, в которые были на-

ряжены эти сомнительные типы. Но сегодня ее радовала всякая легкая и ни к чему не обязывавшая возможность отвлечься. Хорошо, конечно, быть самостоятельным человеком; но иногда, — вот, например, хоть в такую минуту, когда захлестывала волна грязной газетной клеветы, — все же приятно иметь кого-нибудь, с кем можно поговорить. Без обилия точных, острых, неудобных слов. Здесь был бал «ночных бродяг» — неужели же ей надо было задумываться над тем, с кем она сидит? Она слушала самодовольные речи обоих; они, обнявшись, сидели перед ней — слегка подмалеванные юношеские лица, подчеркнуто извращенные. Их жизнь, их характеры без труда воссоздавались по их речам: они подружились в окопах — старший из них, фон Дельмайер, и младший, с молочно-белым лицом, Эрих Борнгаак. «Неразлучные» — звали их иногда, или «Кастор и Поллукс». Они быстро разгадали обман. Совершали геройские поступки просто так, от скуки. Разучились верить во что бы то ни было. Бисмарк, бог, черно-бело-красное, Ленин, национальные требования, движение бойскаутов, экспрессионизм, классовая борьба, — полагали они, — все одинаковый обман! Жрать, хлестать вино, спать с женщиной, немного ночных ресторанов, немного кино, бешеная езда в автомобиле, смокинг хорошего покроя, высмеивание почтенных людей, новый танец, новая американская песенка, их дружба — вот это жизнь! Все остальное, о чем принято говорить, — газетная передовица. Несмотря на разницу лет, они были очень похожи друг на друга: оба — долговязые, у обоих — бледные, расплывчатые, лишепные четкого контура, заостренные кинзу лица. У Георга фон Дельмайера был высокий, свистящий смех; у Эриха Борнгаака — внезапно врывающийся взгляд. В остальном они почти не отличались друг от друга. Они сыпали короткими бесстыдными анекдотами. Они сами, весь их круг, Мюнхен, вся Германия, война, весь мир — в их рассказах превращались в какую-то муравьиную возню, пустую, жалко-похотливую, полную бессмысленной суеты. Они предавали друг друга трижды в минуту и готовы были друг ради друга позволить разрезать себя на куски. Они сидели в

своих костюмах женщин из бара, карикатурно обнявшись. Нельзя было и представить себе, чтобы они могли жить один без другого. Они рассказывали деловито, перебивая друг друга. Иоганна сидела против них, высокая, красивая, заинтересованная, с едва заметным выражением неодобрения.

Внезапно молодые люди заговорили о процессе Крюгера. С какой-то холодной, нагло доброжелательной фамильярностью. Иоганна словно ощутила удар. Гнусно было видеть свое дело разжеванным и расплеванным грязными устами этой мрази. Но она не подала вида. Своими спокойными, доверчивыми глазами присматривалась она к лицу этой самоуверенной извращенности. Как странно, что люди могли быть так молоды и так лишены всякой веры. На этом сухом, жестком цинизме не могло уже произрасти ничто, здесь ничто не могло пустить корни — ни чувство, ни идея.

— Раз такой адвокат, как доктор Гейер, взялся вести дело, — неожиданно заявил Эрих Борнгаак, уставившись на крашенные, паманикюренные ногти своих тонкокожих рук, — заранее можно было быть уверенным, что ничего хорошего не получится. Знаете, — внезапно добавил он, впиваясь в Иоганну взглядом, — что доктор Гейер мой фактический отец.

Иоганна так растерянно уставилась в глаза юноши, что г-н фон Дельмайер беззастенчиво разразился своим плоским свистящим смехом.

— Доктор Гейер, — звучал дальше тонкий насмешливый голос Эриха, — давал кое-какие деньги на его, Эриха, воспитание. Он сам, впрочем, не верил в это отцовство, у него есть основания не верить.

Теперь она вдруг почувствовала, что с нее довольно. Она жаждала свежего воздуха. Ничто уже не способно было удержать ее, она рвалась прочь от этого нелепого «лунного ландшафта», рвалась поговорить с Жаком Тюверленом.

Тюверлен между тем попал в плен к г-ну Пфаундлеру, и тот, охваченный действенной энергией великого организатора, настойчиво пытался привить Тюверлену

свою идею обозрения, вытравить из него все радикальное, политическое. Неплохо было бы поставить и наивно-роскошный фильм о страстях господних с хитрым расчетом на Америку. Но сейчас ему засело в голову мюнхенское обозрение. Он ясно видел его своим мысленным взором. Этот «Касперль в классовой борьбе» — разумеется, нелепая фантазия. А вот «Выше некуда!» — это было нечто добродушно-мюнхенское, здесь слышался плеск зеленого Изара, ощущался вкус пива и ливерных сосисок. На этой основе можно было построить облагороженное обозрение. Кроме того, если основной мотив «Выше некуда!» применить в отношении женских костюмов, создавалась возможность внести и затаенный оттенок благодушной эротики. «Строить, пиво варить, свинячить» — это исконно мюнхенское изречение должно было придать всему обозрению свой специфический привкус. Г-н Пфаундлер отеческим тоном убеждал писателя Тюверлена. Тюверлен не любил рядиться в маскарадный костюм. Его помятое, лукавое лицо с прищуренными глазами выделялось над корректным крахмальным воротничком и корректным смокингом. Г-н Пфаундлер, напротив, имел довольно необычный вид. Жирная грудь его была обвита цепью распорядителя. Бумажная корона украшала хитрый пишкловатый череп. Крохотные, глубоко сидящие мышинные глазки блестели: он выпил сегодня свежего, сверкающего мартовского пива, хотя обычно предпочитал вино. Инсарова, покорная и греховная в порочной роскоши своего узкого, обтекавшего ее тело закрытого платья, сидела рядом с ним, странно съезжившись, словно озябая.

Пфаундлер похлопывал Тюверлена по плечу. Ласково, словно больного ребенка, уговаривал его. Пусть он откажется от своих политических фокусов и напишет порядочное обозрение. Если уж у кого есть для этого данные, то именно у него. Он, Пфаундлер, чувствует это, нюх у него тонкий. Художник должен стоять «на башне более высокой, чем вышка партии» — это старая мудрость!

— Не устраивайте историй, — убеждал он. — Ставьте на «более высокую башню». За дело!

Инсарова чуть раскосыми глазами глядела в помятое лицо Тюверлена, незаметно отодвигаясь подальше от г-на Пфаундлера. Тюверлен отвечал, что политикой особенно не интересуется. Им руководит только желание использовать такую удачную возможность: поставить актера с таким дарованием, как у комика Бальтазара Гирля, в обстановку сегодняшнего дня, со всем его многообразием, в обстановку классовой борьбы. В этом он видит источник настоящего, законного смеха. Г-н Пфаундлер был по-прежнему настроен скептически. Комик Бальтазар Гирль великолепен как приправа. Однако нужно подавать не только горчицу, но и колбасу. Главный гвоздь всякого обозрения, в том числе и облагороженного мюнхенского, — это голые девочки.

В гущу пфаундлеровской эстетики ворвались звуки музыки, приглашавшей к фансеу. Тюверлен, прервав дебаты, поднялся, готовясь танцевать с Инсаровой.

Фансеу был групповым танцем, давно вышедшим из моды в остальной Германии. В Баварии он сохранился, приспособился ко вкусам населения, считался гвоздем всех мюнхенских балов. Длинной цепью выстраивались танцующие друг против друга, держась за руки, двигались друг другу навстречу. Кланялись, обнимались и, тесно обнявшись, бешено кружились на месте. Женщин с криком поднимали на сплетенных руках, кружились с соседкой, кружили свою визави, кружились в буйном вихре, громко выкрикивая названия фигур сложного танца. Обливались потом, кричали от восторга, с блестящими глазами. Кружились, кружились, ощущая на сплетенных руках женские бедра, вокруг шеи кольцо женских рук. Целовались, мяли женское тело, глотали шампанское, утоная в волнах музыки гигантского оркестра.

Не было ни одного баварца, не участвовавшего в этом танце. Даже г-н Пфаундлер не мог отказать себе в этом удовольствии. Бумажная корона его съехала набок, цепь болталась на жирной груди. Но мышинные глазки, четко и быстро подсчитывая, бегали под нависшим шишковатым черепом, скользили взглядом по Тюверлену и Инсаровой, несколько растерявшейся от незнакомого танца. Изячно и сильно кружил художник

Бальтазар фон Остернахер свою даму, теннисистку Фенси де Лукка. Взоры многих следили за знаменитой парой. Чемпионка тенниса в объятиях бархатного гранда казалась особенно тонкой, смелой и извращенной. Она изображала орхидею, расцветающую, как она уверяла, только ночью, что, впрочем, оспаривалось всеми. Гордая, веселая, бесстыдная, в тесно облегавшем ее темно-красном платье, она изредка слегка вскрикивала от страха или удовольствия, склоняя свою голову с хищным профилем. Г-н Гессрейтер танцевал франсез с г-жой фон Радольной, оба довольно молчаливые, несколько торжественные, далекие от окружающего, танцевали со знанием дела. Многие иностранцы также принимали участие в танце, тщательно стараясь не спутать сложных фигур, подбрасывая вверх женщин, неловко, но с увлечением. Карикатурные, с пресыщенной улыбкой на устах, стояли в рядах танцующих одетые в костюмы женщин из бара г-да Эрих Боригаак и фон Дельмайер. Танцевал и ландесгерихтсдиректор Гартль, честолобивый судья, известный по процессу Крюгера. Он был богат, проводил обычно субботу и воскресенье в своей вилле в Гармише. В годы инфляции, когда существовавшим на твердое жалованье чиновникам жилось нелегко, он приглашал погостить к себе кое-кого из своих коллег. Сегодня он троих своих гостей притащил на бал «ночных бродяг». Все четверо высоких гостей участвовали во франсезе; это был почтенный танец, испытанный еще во времена молархии. Доктор Прантль из верховного окружного суда при каждом поклоне произносил: «Делу время — потехе час», на что его визави отвечал: «Тяжек труд — всел досуг». Доктор Гартль во время танца объяснял своей даме, что в эти времена всеобщей распущенности нравов приходится при всей терпимости проявлять строгость. Он и его коллеги вчетвером за последние годы вынесли приговоров в общей сложности на две тысячи триста пятьдесят восемь лет тюрьмы.

Музыка гремит фортиссимо. Восторженные крики «ночных бродяг». Пролитое вино. Кельнеры у покинутых столиков, чтобы нагнать счет, выливают шампанское в ведерки для льда. Жара. Увядающие цветы.

Запах кушаний, потеющих мужчин, разгоряченной женской плоти, тающей косметики. Неистовствующие музыканты. Изобретатель Друкзейс, во всех углах приводящий в действие свои приборы. За столиком один, с «зайчонком» на коленях, сидел Орфей-Грейдерер, увенчанный виноградными листьями, все более пьянеющий, бормоча себе под нос что-то нечленораздельное, отбивая при этом ногою такт.

Неожиданно Тюверлеп оказался лицом к лицу с Иоганной. Она танцевала наискосок от него с Пфистерером. Он не старался скрыть свою радость. После разговора в кондитерской «Альпийская роза» ему почти не приходилось встречаться с ней. В тот раз он не совсем понял, почему, собственно, она так обиделась. Он не проявил достаточного интереса к дурацкой аудиенции у кронпринца, которую она так ярко расписывала. Ну ладно, он тогда находился под непосредственным впечатлением интересной беседы, хотел продолжить эту беседу с ней. Неужели это было достаточным основанием, чтобы дуться? Он пытался воздействовать на нее разумными доводами. Однако Иоганна, всегда стоявшая за справедливость, на этот раз не поддавалась разумным убеждениям. «Нет так нет!» — сказал он себе, пожимая плечами. Его занимал спор с инженером Преклем, занимали литературные планы, обозрения для Пфаундлера, да к тому же еще приведение в порядок денежных дел: происки брата грозили ему потерей всей его доли наследства. Его жизнь была полна до краев.

Сейчас, стоя напротив Иоганны, согласно правилам танца обнимая ее, чувствуя прикосновение ее тела, он вдруг понял, как сильно ему все время не хватало ее. Он теперь уладит всю эту глупую историю, снова восстановит прежние отношения. Разве он просто «кавалер» какой-нибудь? Неужели его можно упрекнуть в склонности к внешнему лоску? Нет, его несколько не пугает, если она, прорезав лоб тремя бороздками, снова отвадит его. Он перестал оказывать должное внимание своей русской партнерше, старался продлить свыше положенного времени все фигуры с Иоганной.

Франсез продолжался. Началась уже последняя часть танца, когда все под тихую-тихую музыку обра-

зуют длинную цепь и подхватывают под руку своих соседей, с тем чтобы, когда музыка грянет форте, цепью же решительным шагом двинуться на противоположную цепь. Музыка неистовствовала. Черно-бархатный гранд Остернахер уже не был стар. Во время всей этой части танца он высоко вскидывал вверх свою даму, темно-красную орхидею Фенси де Лукка, словно одержимый, с надувшимися жилами, в бурном вихре кружил ее над своей головой, смеющуюся, болтающую ногами, кричащую, задыхающуюся. Тягучий, непрерывающийся восторженный крик стоял в воздухе. Иоганна уже не противилась Тюверлену. Счастливая, чувствовала она, как постепенно растворяется напряженное ожидание, всегда наполнявшее ее при мысли о Жаке Тюверлене. Весь вечер, нет, собственно с самого дня ее беседы с кронпринцем Максимилианом, она не переставая ждала его. Она не возражала, когда по окончанию танца он, просто отвернувшись от Инсаровой, увлек ее в один из многих «укромных уголков».

Она укрылась там, возбужденная танцем, жарой, праздничным весельем, мужчинами и особенно тем мужчиной, который сидел перед ней. Ни тени воспоминания не осталось у нее о Крюгере — ни о веселом, дурашливом, каким он был четыре года назад, ни о том, серолицем, за решеткой. Она видела умное, помятое лицо Жака Тюверлена, с выдающейся вперед верхней челюстью, его крепкие, поросшие рыжеватыми волосками, веснушчатые руки, видела его, изящного в своем смокинге, болтливое, свободного в движениях, внимательного, видела, что он горячо желает ее. Его мальчишеское, голое, клоунское лицо силилось казаться чистосердечным и лишь слегка насмешливым. Она чувствовала себя очень близкой ему, она знала: сейчас она сумеет говорить с ним.

Тут мимо них прошли, чуть усмехаясь, оба легкомысленных друга.

И сразу, в то же мгновение выплыли все старые, только что еще бесконечно далекие мысли: наглая газетная клевета, тягучая безнадежная борьба за Мартина Крюгера, теперь ее мужа. Почти физическим было это ощущение, она видела Крюгера здесь же, за столом.

И так внезапно порвалась связь с Тюверленом, что и он, обычно плохой наблюдатель таких душевных движений, вздрогнул, поднял глаза.

И хотя она охотнее всего сейчас ушла бы с Жаком Тюверленом куда-нибудь подальше от Гармиша, куда угодно, в большой город, в затерянную в снегах деревушку, к нему в комнату, в его постель, она стала говорить ему злые, язвительные слова, которые должны были задеть его. Против своей воли. Но она не могла удержаться. «Нечто», сидевшее тут же с ними за столом, не потерпело бы другого.

Тюверлен как-то раньше рассказывал ей о своих спорах с братом из-за наследства. Не смешно ли, когда человек, высказывающий такие резкие критические суждения о самых разнообразных людях, об организации их дел, об организации государств, — не смешно ли, — спросила она, — если такой человек жалко пасует при устройстве своих собственных дел? Не смешно ли, что человек, столь уверенный в своем здравом смысле, только тогда начинает заботиться о своих денежных делах, когда уже поздно? Ее нападкам не было конца. У нее было такое ощущение, словно все другие мысли, например мысль о Мартине Крюгере, и даже это «нечто», сидящее с ними за столом, — исчезают, когда она едко нападает на Тюверлена.

— Раньше, — сказала она, — когда вы, сосредоточив хоть на четверть часа свое внимание, могли спасти сотни тысяч, вы и не подумали о ваших делах. Вы говорите о безалаберности других. А сами вы что делали? Если это не снобизм, рисовка, аффектация, то разве это не во много раз нелепее того, что делают другие? Тем, другим, приходится туго. Они должны сидеть и смотреть, как вместе с падением денег тает их состояние. А вам, Тюверлен, с вашей швейцарской валютой было много легче. Другие справляются с государственными делами, а вы со своим братом справиться не можете. Литератор вы, Тюверлен, сноб, бог весть что о себе воображающий. В самом простом практическом деле любой шофер такси разберется лучше вас.

Господин Тюверлен слушал. Позволял себе мягкие, кротко-насмешливые, нерешительные возражения. Он

страстно желал ее, охотнее всего избил бы ее сейчас, ужасно злился на нее. Она сама страдала от своей глупой злости, но не могла остановиться. Напротив, продолжала все язвительнее насмехаться над ним. Он тоже стал отвечать более резко. Они сидели друг против друга, готовые к борьбе, выискивая наиболее чувствительные места, чтобы больнее ранить друг друга. Перебирали все, что знали друг о друге. Добрались до дела Крюгера. Оказалось, что Тюверлен отлично знал о положении вещей, — разумеется, и о том, что она обвенчалась с Крюгером. Он стал издеваться над этим «сентиментальным жестом». Пустил в ход вещи, которые она ему рассказывала, доверяя их ему и только ему.

— Не будем обманывать самих себя, Иоганна Крайн, — сказал он. — Мученик Крюгер для вас давно уже стал просто неудачником, безразличным вам, посторонним человеком, почерк которого вы не решаетесь анализировать, страшает собственного разочарования.

Не дожидаясь ее ответа, он подозвал кельнера, велел принести ему бутылку шампанского, сказал, что должен поговорить с Пфаундлером. Расплатился, встал, оставил ее одну за столом с шампанским.

Писатель доктор Пфистерер между тем бродил по залу, раздосадованный, озабоченный, во власти тяжелых мыслей. Беседа с кронпринцем вновь укрепила в нем поколебленную было веру в его добрый народ. Но кронпринц уехал. Такой порядочный, надежный человек — и все же, если вдуматься хорошенько, не сдержал своего королевского слова. У него для Иоганны нашлись одни только фразы, как и у всех остальных. Свершалось беззаконие, все терпели его, покрывали, лицемерили. Склонив рыжевато-седую голову, бродил этот широкоплечий человек по залу. Фрак нескладно сидел на его лишенной гибкости фигуре, нелепо окутывали его складки венецианского плаща. Его маленькая, кругленькая, кроткая жена озабоченно лавировала вокруг него. Он тяжело дышал, не находил удовольствия в этом празднике. Но домой-то уж безусловно отправиться не хотел. Там всякие жизнерадостные Ценци, Зеппли, Врони ожидали его художественного резца. Они выйдут удачно, это ра-

зумелось само собой: ведь он набил на этом руку. Но радости опи ему уже не доставляли.

Он очутился в конце концов в «пивной», за столиком Орфея-Грейдерера. Тот хихикнул, благожелательно назвал Пфистерера «главным поставщиком баварского уюта». Указал рукой на синие-белые ромбики на стеновых полотнищах. «Синее и белое — это баварские цвета!» — заявил он подчеркнуто, убежденно, многозначительно. Оба собеседника курили друг другу фимиам. Художник Грейдерер доверчиво пытался разъяснить своему соседу, как скучно работать для рынка. Г-н Пфистерер в задумчивости утвердительно кивал головой. Но это подтверждение неожиданно возмутило Грейдерера. Его настроение круто изменилось. Он обозлился, его крохотные глазки коварно и весело загорелись среди жестких складок мужицкого лица. Тихо, с затаенным ядом, скрипучим, неприязненным голосом он произнес:

— Видите ли, соседюшка, существуют два вида творческого воздействия — глубокий и широкий.

Он повторил это несколько раз, упорно похлопывая растерявшегося Пфистерера по колену, пока тот окончательно не омрачился.

Вслед за этим художник Грейдерер направился в уборную. Он сильно покачивался, костюм Орфея на нем пришел в беспорядок. Опираясь на свою украшенную словой шишкой палку, он склонился вперед. Его стало рвать. В промежутках между спазмами он настойчиво старался убедить в чем-то ландесгерихтсдиректора Гартля. Он, Грейдерер, знает, что «большеголовые» его никогда не любили. Но теперь за ним успех, и пора стать любезнее. Синее и белое — это баварские цвета, а майские жуки гадят зеленым. Почтеннейший господин судья — известный ловкач, он должен теперь выпить с ним и с «зайчатами» шампанского. Доктор Гартль слушает внимательно, — он тоже словно в тумане, — философски-грустно усмехаясь над разложением этой республиканской эпохи. «*Sacatum non est pictum*»,¹ — поправил он художника.

¹ «Нагадить — не значит написать картину» (лат.).

Иоганна, когда Тюверлен покинул ее, осталась сидеть бледная, закусив верхнюю губу. Такого исхода она все-таки не ожидала. Она радовалась этому вечеру, была уверена, что в такой обстановке сумеет положить конец глупому недоразумению с Тюверленом. А теперь своей бесконечной глупостью она все окончательно погубила. При этом ведь прав был он. Она сама была себе противна из-за своего неимоверно глупого поведения, а он был ей противен потому, что был прав. Каковы, кстати, ее собственные денежные дела? Много хуже и запутаннее, чем его.

В эту атмосферу гнева, раскаяния, стыда осторожно вкралось черное, изысканное, слегка ожиревшее привидение — г-н Гессрейтер. Тогда, при осмотре «Южногерманской керамики», он сделал ошибку. Он сознавал это: вся вина была на его стороне. А теперь вот Иоганна Крайн сидела здесь, подавленная, явно нуждающаяся в утешении. Представлялся удобный случай все загладить. Когда он увидел ее, у него сразу как-то тепло стало на душе. Он с радостью понял: чувство, которое он питал к Иоганне, было нечто большее, чем то быстро вспыхивающее желание обладать женщиной, которое сразу успокаивается, стоит лишь провести с ней ночь. Он был уже не молод, жизнь, полная наслаждений, сделала его чувства вялыми и спокойными. Он уже и не надеялся, что когда-нибудь еще способен будет загореться. С искренней нежностью принялся он ухаживать за Иоганной, полный сочувствия и бережной сердечности. А она после резких и безжалостных слов Тюверлена радостно отдалась его церемонной заботливости. Он был любезен, со вкусом и по-своему, немного старомодно, лукав и весел.

Он очень сердился на Катарину за ее враждебность к Иоганне. Он ощущал отчужденность между собой и г-жой фон Радольной острее, чем когда-либо за все долгие годы их связи, чувствовал резкое различие их характеров. Он нарочно постарался пройти мимо нее, с особой сердечностью обняв рукой Иоганну, подчеркнуто интимно в чем-то убеждая ее. Катарина видела это. Видела также, что это увлечение Гессрейтера не та-

ково, чтобы ограничиться сегодняшним вечером. Она усмехнулась, величественная в идолоподобной роскоши своего наряда, усмехнулась с горечью, почти с удовлетворением. Итак, Пауль тоже уходил от нее. Он тоже — бессознательно, разумеется, но подчиняясь естественному инстинкту, отдаляющему людей от тех, которым не везет, — покидал ее теперь, когда ее рента оказывалась под угрозой.

К Иоганне и Гессрейтеру присоединились Фенси де Лукка и Пфистерер. Фенси де Лукка была удовлетворена и счастлива. Ее костюм орхидеи произвел именно тот эффект, который должен был произвести. Спорт, тренировка, бесчисленные требования, выдвигавшиеся ее положением чемпионки, целиком заполняли ее жизнь, не оставляли ей времени думать о своей женственности. В этот вечер она наслаждалась сознанием, что может — стоит ей только захотеть — правиться и как женщина. Ее волнующее, неуловимо извращенное сходство с цветком производило желанный эффект. Дальше идти она не хотела; это было вредно, она не могла позволить себе эту роскошь.

Они удалились в «лунный ландшафт», уехали в одном из пфандлеровских «укромных уголков», в том самом, где Иоганна недавно сидела с обоими ветреными друзьями. Грустный, особенно нежный с Иоганной, выбитый из обычной колеи Пфистерер, удовлетворенная, насытившаяся успехом чемпионка тенниса Фенси де Лукка, постепенно приходившая в себя в обществе Гессрейтера Иоганна, ошастливленный мягкостью Иоганны Гессрейтер — создавали среди шума все больше распоясавшихся «ночных бродяг» тихую, обособленную группу. «Лунный ландшафт» уже не казался Иоганне таким нелепым. Они говорили мало, им было приятно, что они собрались здесь вместе.

Фенси де Лукка машинально повернула рычажок радиоприемника. Оказалось, что как раз в это время откуда-то передавали последние известия. Голос в приемнике рассказывал о каком-то большом съезде, о выступлениях в парламенте, о локауте, о железнодорожной катастрофе. Затем сообщил, что адвокатом доктором Гейером подано прошение о пересмотре дела Мартина

Крюгера, ввиду того что шофер Ратценбергер в присутствии ряда свидетелей заявлял, что его показания на процессе о лжесвидетельстве Мартина Крюгера были ложны. Далее голос сообщил еще об оползне в районе какой-то плотины, о падении аэроплана, о предстоящем повышении почтового и железнодорожного тарифа.

Когда голос заговорил о процессе Крюгера, Иоганна сразу встрепенулась. Другие — тоже. Никто не мог толком разобрать, что означало это сообщение. Но если доктор Гейер, до сих пор относившийся к этому вопросу так скептически, теперь во всеуслышание сообщал о подаче прошения, это значило, что есть шансы на удовлетворение, и это был шаг вперед, успех. Все это сразу поняли. Иоганна разругалась, просияла, привстала с места. Голос в приемнике все еще говорил и сообщал сейчас о новостях спорта, но никто уже не слушал. Фенси де Лукка с непосредственной сердечностью протянула Иоганне свою смуглую руку. Пфистерер, чувствуя, что гора свалилась с его плеч, воскликнул: «Черт побери! Наконец-то успех!» Гессрейтер со значительным видом подтвердил это. Иоганна поднялась. Она с взволнованным лицом стояла, окруженная нелепо-благодарными лунными чарами художника Грейдерера, под плакатом с изречением о луне и королевском баварском покое. Порывисто кивнув остальным, она с просветлелым лицом вышла из комнаты. Теперь все будет хорошо, теперь она чувствует почву под ногами. Все изменилось. Она должна сказать это Тюверлену.

Но Тюверлен уже несколько времени назад вернулся к себе в гостиницу. Раздеваясь, он сейчас размышляет о том, не лучше ли ему снова перебраться в домик в лесу на горе.

Иоганна между тем торопливо пробирается по залу. Ищет. Она вся во власти нового счастливого поворота судьбы. Сияет. Ищет точно так же, как полтора часа назад искал ее г-н Гессрейтер: в «башне астролога», на «шабаше ведьм», в «чистилище», пока, наконец, не наталкивается на г-жу фон Радольную. Г-жа фон Радольная со свойственной ей спокойной небрежностью любезничает с профессором фон Остернахером. Иоганна стре-

нительно прерывает ее. Катарина, после Тюверлена, одна из немногих, кто порадуется ее радости. Иоганна порывисто и торопясь, не совсем связно, пожалуй даже не очень вразумительно, рассказывает ей о полученном хорошем известии. Катарина, всегда быстро соображающая, сразу улавливает в чем дело. Она смотрит на Иоганну с высоты своего идолоподобного величия, спокойно, с любопытством. Говорит:

— Вот как? Ну что ж, поздравляю. Будем надеяться, что все окончится хорошо.

И снова оборачивается к черно-бархатному гранду Остернахеру. Иоганна глядит на нее, по ее широкому лицу с туго натянутой кожей пробегает судорога.

— Дело будет пересмотрено,— тихо повторяет она.

— Да, да, я поняла,— говорит г-жа фон Радольная: нотка нетерпения звучит в ее низком голосе.— Будем надеяться, что все будет хорошо,— повторяет она с подчеркнутым безразличием.— Скажите, пожалуйста, дорогой профессор...— продолжает она беседу с черно-бархатным.

Да, г-жа фон Радольная уяснила себе свое положение, избрала определенную тактику. Она выбралась из низов, карабкалась вверх изо всех сил, далось ей это нелегко, и вспоминать об этом она не любила. Теперь она наверху, а тут снова собираются отнять у нее приобретенное. О, она будет защищаться! Она не злой человек, конечно, нет, она всегда была терпимой. Но если хотят отнять ее деньги,— тогда конец спокойному благодушию. Сейчас всякий, так или иначе принадлежащий к этой банде, покушающейся на ее деньги,— враг. Мартин Крюгер — враг. Иоганна — враг. Отнять ее ренту! Она ничего не имеет против Иоганны. То есть, если взглянуть в корень, не совсем так. С сегодняшнего вечера, с той минуты, как Гессрейтер так демонстративно прошел с Иоганной мимо нее, она имеет кое-что против Иоганны. Всякий пытающийся похитить нечто принадлежащее ей — ее враг. Она выяснит и отношения с Паулем. Она избегает по возможности сцен, она всегда отлично ладила с Паулем, несмотря на неопределенность его характера. Но теперь она хочет вовремя добиться

полной ясности. Во всяком случае сейчас она отнюдь — отнюдь, милая моя! — не заинтересована в пересмотре дела Крюгера. Она отпила смешанного с красным вином шампанского, кинула приветливый взгляд на уже слегка утомленную буйным весельем толпу.

Когда г-жа фон Радольная так неожиданно отвернулась от нее, Иоганна не сразу поняла в чем дело. Не сжались даже ее полные губы, не прорезались, как бывало обычно, гневные бороздки на лбу. Она отступила на два шага, все еще не отводя глаз от ложки, медленно повернулась, пошла по залу, словно ослепшая, пошатываясь, так, что могли подумать, будто она выпила лишнее, а г-н Гессрейтер — по-прежнему очень торжественный в своем изысканном, делавшем его похожим на привидение костюме — робко семенил рядом, опасаясь, что она вот-вот рухнет на пол.

Известие о предполагаемом пересмотре дела успело уже распространиться среди присутствующих. Гессрейтер делится этой новостью то с одним, то с другим. Его сообщения принимают с холодком. Поведение г-жи фон Радольной произвело желанное действие. Гессрейтера выслушивают с какой-то неловкостью, с безразличной улыбкой, с натянутым, безучастным: «Вот как? Поздравляю». Иоганна чувствует себя отворачивающейся. Почему издеваются над ее успехом, подвергают ее парализующему сомнению? Прежде ведь все ей желали удачи. Она не совсем понимала в чем дело, ощущала глубокое отворачивание к окружающим ее трусливым, безличным, судорожно прячущимся за свою веселость людям.

Господин Гессрейтер вполголоса уговаривал ее, осторожно, исполненный сочувствия, нежности и желания. Последовал за ней, когда она, ни с кем не прощаясь, устремилась к выходу.

Как-то совсем неожиданно, когда портье выпустил их, закутанных поверх необычных костюмов в теплые шубы, через вертящуюся дверь, Иоганна Крайн и г-н Гессрейтер оказались под ясным морозным небом с тихим полумесяцем и мирными звездами.

У подъезда стояли сани. Г-ну Гессрейтеру пришла в голову внезапная мысль. Горячо принялся он убеждать

Иоганну не возвращаться сразу домой, а проехаться в эту тихую ночь подальше, проветриться после шума и духоты бала. Он говорил деловито, размахивая руками, словно загребая ими воздух. Но ему вовсе незначем было так стараться. Иоганна просто кивнула головой, уселась в сани.

В санях он окружил ее мелочной, излишней заботливостью. Она сидела, тепло укутавшись в огромную меховую полость, постепенно успокаиваясь, с удовлетворением чувствуя себя под надежной защитой. Бесшумно, не слишком быстро скользили сани среди снежного ландшафта. Безучастный, незыблемый в веках, стоял зубчатый полукруг гор в ровном свете полумесяца, успокоительный в своей неизменности после парочитой судорожной суеты «Пудреницы». Тихую умиротворенность создавали морозная, ровная тишина, бесшумное движение саней. Крупы лошадей равномерно вздымались из-за широкой спины кучера. Г-н Гессрейтер молчал. Из его круглого полуоткрытого рта легкими струйками пара вырывалось дыхание. Своими карими глазами с поволокой он нежно поглядывал на молодую женщину.

Шоссе извивалось по карнизу над глубокой пропастью — Чертовым ущельем. Внизу по дну ущелья были искусно проложены дорожки. Скрепленные между собой деревянные планки, тропинки, вырубленные в чудовищно высоких, испещренных щелями скалистых стенах, пробитые в камне туннели, осыпаемые мелкой водяной пылью низвергающегося водопада. Теперь все оледенело, перила местами были сломаны — зима сделала непроходимыми смелые, хитроумные пути через ущелье. Но Чертово ущелье должно было оставаться доступным для приезжих. На завтрашний день было обещано открытие зимнего пути. Сейчас ночью целые толпы рабочих лихорадочно трудились, чтобы назначенный для открытия срок мог быть выдержан. Они висели на выступах скал, освещенные колеблющимся светом ручных фонарей, подвергаясь жестокой опасности на этой скользкой поверхности, где при малейшем неверном шаге им грозило падение и неминуемая гибель. Одни висели, поддерживаемые товарищами или

привязанные веревками, другие — цеплялись особыми крючьями. Они колотили, ковали, крепили для того, чтобы на следующий день приезжие господа между чашкой утреннего кофе и дневным чаем с танцами могли, не подвергаясь риску, пройти среди ледяных чудес ущелья.

Работавшие махали руками и добродушно приветствовали снизу поздних проезжих; в своей работе они не видели ничего особенного. Г-н Гессрейтер отвечал веселыми шутками в их духе и на их наречии. В то же время он напряженно и почти со страхом думал, не пожелает ли Иоганна вернуться раньше, чем они досудят до Гризау. Она зыбла, была разбита, утомлена надеждой, разочарованием, всем пережитым. Он осторожно притянул ее ближе к себе. Она сейчас же прижалась головой к его шубе. Он задышал чаще, почувствовал свое сердце. Ее присутствие окрыляло его воображение. Он размышлял о грандиозном расширении своего предприятия. Он совершит вместе с Иоганной деловую поездку. Осмотрит южнофранцузские керамические заводы. Порожденная германской инфляцией дешевизна труда как рабочих, так и художников даст ему возможность создать неслыханный демпинг. Он завоюет американский Запад. Каждому фермеру мюнхенская керамика! Он осуществит проект скульптора — автора серии «Бой быков». Расширение производства ходового безвкусного товара позволит ему заняться и серьезным искусством. «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» распространит сферу своего влияния от Москвы до Нью-Йорка.

Они приехали в Гризау. Кучер спросил, поворачивать ли обратно. Гостиница стояла, укутанная мраком, в глубине засыпанной снегом широкой долины. Гессрейтер взглянул на утомленную женщину, прильнувшую к его шубе. Несколько неуверенно, но нарочито развязно и словно это разумелось само собой, он приказал кучеру позвонить. После долгого ожидания показался заспанный слуга, особенно обозленный тем, что гости, позволившие себе разбудить его, оказались к тому же даже не американцами, располагающими полноценными деньгами. Крупные чаевые, сунутые ему Гессрейтером, сде-

ляли его покладистее. Да, господа могут получить горячий чай. Иоганна ни словом не выражала ни отказа, ни согласия. Большой зал казался странно безжизненным: слуга включил только часть ламп. Они сидели в уголке, затерянные, сближенные обширной пустотой зала и скудным освещением. С мороза здесь казалось тепло. Приятно расслаблялось затекшее от долгой езды тело. Нет, не имело смысла сейчас же возвращаться назад. Г-н Гессрейтер заказал комнаты. Иоганна глядела на него устало, без протеста, очевидно понимая, что ее ожидает.

Подали чай. Он приятной волной разлился по всему телу. Г-н Гессрейтер некоторое время оживленно болтал, потом затих, его глаза еще больше затуманились. Иоганна мысленно сравнивала человека, сидевшего рядом с ней, как-то странно замолкшего, изящного, окружавшего ее заботливой лаской, горячо желавшего ее, неловкого, но все же деликатного, полного каких-то спутанных мыслей, с подвижным, резким Тюверленом.

— Какого вы мнения о Тюверлене? — неожиданно спросила она.

Господин Гессрейтер даже вздрогнул, ответил уклончиво. Иоганна настаивала.

Выяснилось, что г-н Тюверлен не очень нравился г-ну Гессрейтеру. Он жался, недоговаривал, дополняя слова округлыми, загибающими движениями рук. Вспотел. Витиевато и усложненно дал, наконец, понять: оп, мол, считал, что Иоганна дружна с Тюверленом.

— Дружна? Что это означает?

— Ну, дружна.

Он сидел смущенный, виновато изворачиваясь. Она внезапно почувствовала жалость к этому человеку с затуманенным взором. Так, значит, он думал, что она живет с тем, другим. Но он и виду не подавал, был покорен, услужлив, с веселым видом ухаживал за ней, довольствуясь ее присутствием. Богатый, влиятельный человек, избалованный женщинами. Единственный, кто действительно что-нибудь сделал для нее. Сделал просто, без всякой аффектации, почти стесняясь ее. Она внезапно почувствовала, что тронута, даже потрясена этим. Она забыла о мухоморах и гномах, исчез куда-то

кисловатый запах. Она взяла его пухлую, холеную руку, погладила ее своей грубоватой, крепкой рукой. И тогда этот большой, массивный человек задрожал и совсем умолк. Они сидели в скудно освещенном, неудобном зале, забившись в угол. Было недостаточно тепло, чай был жидкий, плохо приготовленный. В этом зале, на исходе ночи после танцев и огорчений, сидя в странном костюме, после двадцати часов без сна, Гессрейтер, находясь на грани, за которой начинается спуск по жизненному склону, почувствовал себя счастливым и смущенным, как юноша, до глубины души взволнованным близостью женщины, сидевшей рядом с ним. Для этой женщины с ее цветущим, теплым телом и смелыми серыми, неосторожными глазами он был готов на жертвы, готов был даже отказаться от своей спокойной, налаженной жизни. В третий раз в своей жизни он почувствовал настоящую страсть, подобную которой пережил однажды в юности — и во второй раз, когда познакомился с Катарипой. Он чувствовал: больше это уже не повторится. Взмолвлено, благодарно, очень бережно ответил он на прикосновение ее руки.

В дверях показался слуга. Доложил, что комнаты готовы, проводил их наверх. Они поднялись по бесконечной лестнице, выложенной грубой красной дорожкой. Молча, одними глазами, быстро простились. Она не протестовала, когда он сразу же, как только слуга удался, вошел к ней в комнату.

В то время как писатель Жак Тюверлен после недолгих размышлений об обозрении «Касперль в классовой борьбе» крепко и без слов спал в Палас-отеле в Гармше; в то время как Мартин Крюгер, серолицый и вялый, лежал в своей камере в Одельсберге, в эту ночь свободный от сновидений; в то время как министр Кленк, крепкий, здоровый, со спокойной совестью слегка похрапывал, а адвокат Гейер, скрючившись в неудобной позе и откинув одеяло, тер свое покрасневшее лицо о сбитые в комок подушки; в то время как г-н Пфаундлер, усталый, довольный, бранясь, проверял сводки своих кассиров; в то время как спешно заканчивались последние работы по возобновлению прохода через Чертово ущелье и руководящие инженеры с удовлетво-

нием отмечали, что за все девять дней работы произошло только два несчастных случая, из которых лишь один со смертельным исходом, — Иоганна Крайн-Крюгер лежала рядом со спящим Гессрейтером. Рот Гессрейтера был полуоткрыт. Он ровно дышал, казался спокойным, удовлетворенным, пожалуй даже счастливым. Она чувствовала себя успокоенной, разленившейся, сытой. Она лежала на спине; еле слышно сквозь зубы напевала. Все те же несколько одинаковых, старомодных тактов, напевала не очень мелодично, неумоимо, удовлетворенно. Плыли туманные, во всяком случае не неприятные мысли, среди них мысли о Мартине Крюгере и Жаке Тюверлене.

Ранним утром, когда горничные гостиницы «Пост» в Гризау только что просыпались от звона будильника и, охая и ругаясь, начинали подниматься, потянулся в постели, полупроснувшись, и Пауль Гессрейтер. Он лежал с закрытыми глазами, еще сонный, счастливый. Как глубоко было чувство блаженного удовлетворения, наполнявшее его сейчас, в то время как обычно после наслаждения он ощущал лишь пустоту, желание хорошенько выспаться и удовольствие лишь оттого, что это наслаждение, восприимчивое почти как выполнение какого-то долга, уже позади. Он лег выше, осторожно, чтобы не беспокоить Иоганну, прислушиваясь к тихому дыханию спящей. Нет, на этот раз это действительно было нечто совсем иное. Сейчас он ощущал это еще ярче и радостнее, чем раньше. Он *любил* ее. Глупое, громкое слово. Но верное. Хорошо, что Катарина облегчила ему положение. Теперь он отправится с Иоганной в дальнюю поездку, деловую и с осмотром достопримечательностей. Он и ее дело наладит по-настоящему. Дело Мартина Крюгера, за которым — он усмехнулся — она замужем.

Позднее, когда первые лучи зимнего утра проникли в комнату, Иоганна, проснувшись, оглянулась кругом без смущения и улыбки, задумчиво, без стыда. Хорошо, что случилось именно так. Лучше, чем с Тюверленом? Возможно.

Обняв ее за шею, в полумраке тепло прижавшись к ней, Гессрейтер лениво, почти зевая, спросил, была

или не была на самом деле ложной присяга Мартина Крюгера.

Иоганна так была поражена, что у нее захватило дыхание. Даже гнева не ощутила она против Гессрейтера. Итак, этот человек, обнимающий ее сейчас своей полной рукой, добродушный и, несомненно, искренне в нее влюбленный, никогда не верил в правоту ее и своего дела. Он вступился за нее потому, что ему нравились ее рост, ее кожа, ее голос. Действительно ли невиновен человек, за доказательство невинности которого он боролся с большой энергией, даже со страстью, — интересовало его довольно мало. Он спрашивал об этом после ласк, с зевком. Вот каковы были эти люди со связями и их судьбы.

Но он ложно истолковал ее молчание.

— Если этого знать не полагается, — добродушно утешил он ее, — то это неважно.

И он провел пальцами по ее коже, теснее прижал ее к себе.

Позднее ей подумалось, что ведь она, наверно, вступилась бы за Крюгера даже в том случае, если бы принесенная им присяга и была ложной.

Гессрейтер спустился позвонить по телефону в Гармиш и попросил прислать им в Гризнау платье. Иоганна между тем оглядывалась в неопрятном, непроветренном и лишенном настоящего комфорта номере. Она думала о Крюгере мягче, деловитее, чем всегда. Теперь она поведет за него борьбу обдуманнее, доведет ее до благополучного конца.

Гессрейтер вернулся. Они позавтракали в ожидании вещей. Гессрейтер посмеивался над валявшимися кругом маскарадными костюмами. Иоганна их даже не замечала. Она ела спокойно, не задумываясь, с прекрасным аппетитом.

Он, поглаживая бачки, принялся напыщенно и втиевато рассказывать ей о предполагаемой поездке. Конъюнктура сейчас, по его словам, благоприятная; он думает расширить свое предприятие. Пора ему наконец лично посмотреть и отдать себе отчет, в какой мере за время войны и после нее развилась заграничная керамическая промышленность. Он полагает, — добавил

он, не глядя на Иоганну и сосредоточив свое внимание на кусочке масла, — что и Иоганна в настоящее время сумеет больше сделать для своего дела за границей, чем в Мюнхене. Он слышал, например, что тайный советник Бихлер в ближайшем будущем собирается в Париж. Во время путешествия этот тайный правитель Баварии, говорят, менее недоступен. Он предлагает, — закончил он, намазывая, наконец, масло на булочку, — он предлагает Иоганне поехать вместе с ним. И умолк, неуверенно, ожидая ответа.

Иоганна, не задумываясь, ответила, что согласна.

Книга третья

ЗАБАВА. СПОРТ. ИГРА

1. БОЙ БЫКОВ.
2. БАВАРЕЦ В ПАРИЖЕ.
3. КАСПЕЛЬ В КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ.
4. ПРОЕКТ КОШАЧЬЕЙ ФЕРМЫ.
5. КЛЕНК — ЭТО КЛЕНК, И ПИШЕТСЯ — КЛЕНК.
6. СОБАЧЬИ МАСКИ.
7. ШЕСТЬ ДЕРЕВЬЕВ СТАНОВЯТСЯ САДОМ.
8. О СОБСТВЕННОМ ДОСТОИНСТВЕ.
9. ПОЛТОРАСТА ЖИВЫХ КУКОЛ И ОДИН ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК.
10. БАВАРСКИЕ БИОГРАФИИ.
11. ТАК ЛИ ВЫГЛЯДИТ УБИЙЦА?
12. ВЛАСТЕЛИН В СЕРДЦЕ СВОЕГО НАРОДА.
13. БАВАРСКИЕ ПАЦИЕНТЫ.
14. ИОАННА КРАЙН ОДЕВАЕТСЯ НА ВЕЧЕР.
15. МИСТЕРИИ В ОБЕРФЕРНБАХЕ.
16. КАСПЕРЛЬ И ТОРЕРО.
17. КОНСУЛЬТАЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ НЕВИДИМОГО.
18. У ВСЯКОГО СВОЯ ПРИЧУДА.
19. ЧЕЛОВЕК У РЫЧАГА.
20. О СМИРЕНИИ.
21. ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В БЕРЛИНЕ.
22. ИОАННА КРАЙН СМЕЕТСЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ.
23. ДОВОЕННЫЙ ОТЕЦ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ СЫН.
24. ИОАННА КРАЙН КУПАЕТСЯ В РЕКЕ ИЗАР.
25. КАРТИНЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ БРЕНДЕЛЯ-ЛАНДГОЛЬЦЕРА,
26. О СЧАСТЬЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ,

БОЙ БЫКОВ

Все места вокруг арены — дешевые на солнце и дорогие в тени — были распроданы чуть ли не за неделю. Отовсюду из провинции съехались люди, чтобы полюбоваться утром — процессией, вечером — боем быков. Ибо в программе этой «корриды», устраиваемой, кстати сказать, в пользу вненациональной весьма гуманной организации — Красного Креста, значилось имя тореадора Монтилья II, выдвинувшегося на высшую ступень, одного из первых эспад Испании, самого известного — после диктатора — человека в стране.

Художник Грейдерер, хоть и знавший всего несколько жалких слов по-испански, возбужденный и доверчивый, пытался завязать разговор со своим соседом. Тот отвечал очень оживленно. Баварец и испанец, плохо понимая друг друга, тем не менее оба говорили горячо, жестикулируя, довольные каждый в отдельности вниманием собеседника. Художнику Грейдереру, очень восприимчивому ко всякого рода народным зрелищам, этот бой быков представлялся кульминационным пунктом его поездки в Испанию, которую он решил позволить себе, пока длилась еще его полоса успеха. Ему много рассказывали о крови, о лошадях с распоротым брюхом и тому подобных ужасах. Он ждал, нетерпеливый, взвинченный.

Процессия, виденная им утром, произвела на него сильное впечатление. С полным знанием дела он, благодаря мюнхенским процессиям в праздник «тела господня» ставший страстным любителем и знатоком таких зрелищ, оценил все мельчайшие детали. Бесконечной вереницей двигались мимо него тяжелые разноцветные одеяния священнослужителей, святые, в переливчатом блеске варварских драгоценностей, на носилках, несомых руками скрытых от глаз мужчин, равномерно шагающих в глухом, возбуждающем ритме; шитые золотом мундиры офицеров и чиновников, хоругви, неиссякаемые сокровища собора. Торжественная пышность выведенных на улицу войск: люди, кони, орудия. Все это шествует по цветам, толстым слоем заливающим мостовую, под полотняным тентом, натянутым над улицей в защиту от палящих солнечных лучей, среди свисающих с балконов и окон ковров. Было на что поглядеть художнику Грейдереру.

Сейчас, после полудня, все эти тысячи участников процессии сидели в цирке. Они заполняли белые каменные ряды высоко, под ослепительной синевой неба. С барьеров свисали их пестрые платки; в неиссякаемой жажде зрелищ, после ладана, мучеников и святости утра они жаждали крови быков, вырванных внутренностей растерзанных лошадей, подбрасываемых вверх, растоптанных людей. Торговцы, предлагающие пиво, сласти, фрукты, веера, программы. Листочки реклам, засыпающие все скамьи. Серые широкополые, похожие на пироги, кастровые цилиндры мужчин, праздничные шали жепци. Крики. Ожидание, пот, возбуждение.

Вот на арене появилась «квадрилья». Быстро, под звуки бодрящей музыки, шагают они в богато расшитых курточках. Быстро расходятся по светлому песку. И вот уже выходит бык. После многочасового пребывания в темном помещении, он нерешительно останавливается при виде неистовствующей, залитой ослепительным светом толпы. Натывается на мягкие красные платки. А вот и лошади — жалкие клячи с завязанными глазами. На них сидят копыеносцы, опираясь на гигантские стремена. Бык, черный, массивный, с опущенной головой, подхватывает изможденную клячу рогами, странно

медлительно перекидывает ее вместе с всадником через голову. Это происходит совсем близко от Грейдерера, который сидит внизу, в одном из первых рядов. Он видит грубое лицо разодетого пикадора. Слышен шум и треск, когда бык всаживает рога в тело лошади. Грейдерер видит, как он роется во внутренностях коня, вытаскивает из его брюха рога, залитые кровью, оплетенные кишками, снова всаживает их туда, вытаскивает обратно. Ах ты черт! Это уже не салонные безделушки почтенного коллеги, керамическая серия «Бой быков»! Возбуждение, владеющее тринадцатью тысячами присутствующих, захлестывает и баварского художника Андреаса Грейдерера, заставляет и его трепетать.

Бык, внимание которого отвлекали платки пестро одетых парней, поворачивается к повой приближающейся к нему лошади. Всадник пикой вырывает у него лоскут мяса и черной кожи. Бык опрокидывает коня. Покрытого кровью и грязью, дрожащего, его заставляют встать, с трудом снова гонят к быку. В этот раз бык подхватывает его на рога, рвет в клочья его мясо. Всадник, хромая, удаляется. Конь стонет, ржет, вновь и вновь пытается подняться, пока человек в красной куртке не закалывает его.

Элегантные люди с короткими пиками, разукрашенными пестрыми лентами, выстраиваются перед быком. Поодиночке, шутливыми выкриками подзадоривают его. Бросаются навстречу, к пышущим жаром ноздрям, в последнюю минуту отскакивая, вонзая быку в тело свои разукрашенные пики так, что они остаются торчать в теле животного. Толпа сопровождает каждое движение в зависимости от его ловкости, то оглушительными рукоплесканиями, то бешеным возмущением. Бык, исколотый пестрыми пиками, залитый ручьями крови, мчится по арене, настигаемый то одним, то другим. Одного из преследователей он опрокидывает, ранит его, по легку.

Вот появляется человек, останавливается перед ложей префекта, снимает треугольную шляпу. Тот, кому надлежит убить быка. Это еще не Монталья II, но все же и он эспада с большим именем, дорого оплачиваемый. Он останавливает быка. В левой руке он держит крас-

пый платок, в правой — шпагу. Платком с очень близкого расстояния он манит быка — на цыпочках, сомкнув поги, без напряжения, хладнокровно, только поворачиваясь туловищем в сторону, так что животное проскакивает мимо него. Снова назад. Словно марионетку на проволоке, направляет он разъяренное животное, при малейшем неверном движении подвергаясь смертельному риску. Каждый поворот сопровождается восторженным завыванием тринадцати тысяч, и так как повороты быстро следуют один за другим, туда, обратно, почти без перерыва, гигантский амфитеатр содрогается от ритмических волн восторга.

Близится конец. Тореадор стоит, держа шпагу горизонтально у щеки, прямо против быка, — невысокий, изящный, с напряженными плечами. Но не то неудача, не то неловкость — шпага не проникает в сердце, бык стряхивает ее. Толпа свистит, неистовствует.

Художник Грейдерер не понимал восторга толпы, не понимал и ее возмущения. Сосед пытался разъяснить ему правила, согласно которым полагалось убить быка. Грейдерер понимает довольно смутно, но поддается внушению. Он дрожит от возмущения вместе с кричащей, свистящей, ликующей толпой. Когда его сосед, когда бесчисленные другие зрители бросают свои шляпы под ноги эспады, торжественно обходящего арену, после того как он, наконец, наносит быку по всем правилам искусства смертельный удар, тогда и художник Грейдерер из Мюнхена швыряет на арену свою испанскую шляпу, приобретенную за двадцать пять песет, равных тысяче ста двадцати семи маркам.

Быка четвертой очереди освистывают. Он оказывается трусом. Это животное, чувствуя приближение конца, желает — какая наглость! — умереть спокойно. Оно не обращает внимания ни на хвастливые красные платки, ни на презрительные выкрики. Оно выросло на ферме вблизи Кордовы, на плоской равнине, поросшей прекрасной травой, под широким небом, где парили аисты. Оно выросло до цены в три тысячи пятьсот песет. Теперь оно стоит среди тысячной толпы, исколотое вонзенными в тело пестрыми пиками, залитое кровью, глухо и страдальчески мыча, пуская мочу, жаждая

смерти. Оно жметя к оградѣ, люди ему безразличны; ничто уже не возбуждает его. Оно не хочет больше на песок, под лучи палящего солнца. Оно хочет остаться здесь, у ограды, в тени, и здесь умереть.

Художник Грейдерер глядел, забыв обо всем на свете. Его морщинистое мужицкое лицо было бледно от волнения. Он не понимал происходившего, не понимал, почему люди орали, принимая то сторону быка, то сторону бойца. Он видел не раз, как умирали люди — в постели, на войне, во время мюнхенских уличных боев, во время драки. Но это зрелище, эта кровь, песок и солнце, эта точно размеренная, бессмысленная борьба, это грандиозное и омерзительное зрелище, при котором на потеху зрителям умирали жутко и вполне реально жалкие клячи, огромные массивные животные, а иной раз и кто-нибудь из этих изящно фехтующих людей, — затрагивало его жадную до зрелищ душу глубже, чем всякая другая когда-либо виденная им смерть.

По вечерним оживленным улицам Грейдерер проехал к себе в гостиницу. Дети играли в бой быков. Один из них был быком и, опустив голову, бросался на другого, размахивавшего платком. Но бык был недоволен поведением тореадора и вздул его. Художник Грейдерер сидел в экипаже с мрачным от глубокого раздумья лицом.

«Идиоты, свиньи вонючие!» — ворчал он, вспоминая керамическую серию «Бой быков» своего коллеги. Словно выжженный, остался с тех пор в мозгу художника Грейдерера образ настоящего быка, прижавшегося к оградѣ, пускающего мочу, безразличного к людям, шпагам, пестрым платкам, жаждущего только одного — умереть в тени.

2

БАВАРЕЦ В ПАРИЖЕ

Иоганна сидела в Париже. Ждала. Поездка тайного советника Бихлера в Париж была временно отложена. Могущественный лидер крестьянской партии был очень капризен; кроме того, он любил окружать себя туман-

ной загадочностью. Никто не знал точно дня его при-
бытия.

Господин Гессрейтер между тем проявлял большую энергию, осматривал заводы, участвовал в заседаниях, разъезжал. Он пытался приводить к Иоганне самых разнообразных людей; может быть, тот или иной окажется ей полезным. Но она была настроена скептически, предпочитала оставаться одна.

Итак, она была близка с г-ном Гессрейтером. Трудно было быть невежливой по отношению к этому воспитанному, нежному и заботливому человеку. Он был предупредителен, всегда старался угадать ее желания. И все же — это было несправедливо — человек этот порою раздражал ее. Был ли он способен целиком отдаться какому-нибудь чувству? Ни разу, кроме той первой ночи, не дал он ей это почувствовать.

Жизнь Иоганны в Париже текла спокойно, приятно, размеренно. Она ела вкусно, хорошо; хорошо спала; бывала утомлена вечером, свежа по утрам. Тем не менее нередко ей казалось, что она существует как в коконе, так, словно это было преддверие жизни, жизнь во сне.

Она снова начала играть в теннис — просто, без всяких претензий. Сейчас, в этот период вялого ожидания, это были, пожалуй, ее лучшие часы. Игра в теннис — такая, какую ее признавали в те годы, — требовала быстроты, выдержки, спокойствия, умения быстро ориентироваться в обстановке. У Иоганны было хорошо тренированное тело, кроме того, она была вынослива и, без ненужной торопливости, подвижна. Но у нее не хватало способности быстро схватывать положение. Она знала, что никогда не достигнет высокого мастерства, да и не стремилась к этому. Достаточно было ощущать свое тело, его силы, их предел. После игры она бывала бодрa, весела, расположена к дурачеству, возбуждена, как в доброе старое время до процесса Крюгера.

Господин Гессрейтер всегда стремился бывать с ней в эти часы. Глядя на эту высокую девушку, он не переставал ощущать гордость от того, что способен еще на такую яркость переживаний, на такое ощущение счастья. Катарина, — нередко думал он, — была более удоб-

ной подругой, но он ставил себе в большую заслугу, что, несмотря на это, предпочел Иоганну.

Как-то раз в одном из парижских турпиров приняла участие и Фенси де Лукка. В вечном устремлении от одной победы к другой, вся сплошной комок острых ощущений и тщеславия, она любила общество Иоганны. Знаменитая чемпионка тенниса отдыхала, переходя из круга своих истеричных почитателей в атмосферу душевного равновесия, окружавшую Иоганну.

Иоганна зашла к Фенси непосредственно после турнира. Фенси де Лукка выступала против американской теннисистки довольно высокого класса, но все-таки не такого, чтобы победа Фенси хоть на минуту могла находиться под сомнением. Борьба, таким образом, не была особенно серьезной, и Фенси действительно одержала блистательную победу. Все же Иоганна испугалась, увидев приятельницу, лежащую после состязания в кабинке и до последней степени истомленную. Верно, из всех уголков ее существа были собраны силы в момент подъема, если потом она могла дойти до такого полного упадка. В то время как смуглое тело измученной Фенси де Лукка купали, оттирали, массировали, Иоганна чувствовала к ней горячую нежность. Что же будет, если подруге придется стать лицом к лицу с серьезной конкуренткой, хотя бы с той самой мантуанкой, встречи с которой — де Лукка сама себе в этом не признавалась до сих пор — она избегала. Но даже если бы де Лукка и удалось победить мантуанку, трудно было предположить, чтобы она больше года или двух могла удержать за собой первенство. Ей нечего было приобретать, она могла лишь терять. Не сладка была такая судьба — иметь от роду двадцать девять лет, быть знаменитой и сознавать, что эта ценой такой борьбы и лишений приобретенная слава продержится еще лишь короткое время.

Фенси де Лукка в своем стремительном беге умчалась куда-то дальше по земному шару. Иоганна осталась в Париже и жила все той же размеренной жизнью. Ела, пила, мечтала, спала.

Пока, наконец, однажды г-н Гессрейтер не получил известия: помещик Бихлер находится в Париже.

Пробраться к г-ну Бихлеру было нелегко. Он жил в небольшой гостинице со своим секретарем. Он приехал в Париж посоветоваться со специалистом относительно слепоты. Всем было известно, что старик все еще надеется вернуть себе зрение, но предполагали, хотя это и решительно оспаривалось, что он находится в Париже и по другим делам.

Баварцы не всегда чувствовали себя немцами. Их первый король служил Франции и своего сына, будущего короля Людвига, назвал так в честь своего французского суверена. Их последний король, Людвиг, после войны между Баварией и Пруссией, до самой своей смерти ходил с застрявшей в его бедре прусской пулей. Прошло немногим более ста лет с тех пор, как находившийся на государственной службе баварский ученый, дабы и этнологически обосновать вступление Баварии в наполеоновский Рейнский союз, составил меморандум о том, что баварцы по происхождению якобы кельты и гораздо крепче внутренне связаны с Францией, чем с Пруссией. В последнее время вновь пошли разговоры о Рейнском союзе. Очень осторожно и хотя бы ради одного того, чтобы выжать возможно больше благ от общегерманского правительства, играли идеей создания такого союза государств, который, кроме Франции, охватил бы Южную Германию, Чехословакию и Польшу. Не содержала разве Франция в Мюнхене — несмотря на то что по конституции внешней политикой должен был руководить Берлин — особое полномочное посольство? Оставляли в тумане вопрос о том, что, собственно, затевает в Париже тайный советник Бихлер, но обеспокоенным представителям общегерманского правительства при малейшем недоразумении осторожно и угрожающе намекали на эту таинственную поездку.

Контора маленькой парижской гостиницы, где жил слепой, получила строжайшее распоряжение никого не допускать к нему, ни о ком не докладывать. Никакой Бихлер здесь, мол, не проживает. С нужными ему людьми он встречался во дворцах высших духовных сановников. Также и в домах националистических вождей можно было нередко увидеть сидевшего там большого грузного человека, с трудом проживывавшего об-

рывки нескладных фраз, грубо хохотавшего, своими иссиня-красными узловатыми руками вдавливавшего трость в мягкие ковры.

Иоганне долго пришлось ожидать, пока она получила извещение от секретаря Бихлера о том, что может познакомиться с тайным советником в ресторане Орвиллье. Она отправилась в знаменитый ресторан. Он был переполнен. В коридорах и у вешалок посетители ожидали вызова своих номеров, чтобы получить место. За столиком Бихлера было оставлено место для Иоганны. Большой грузный человек сидел за столом. Его квадратное мясистое лицо, сегодня хорошо выбритое, не казалось старым. Но в манере держаться, в одежде, во всех его повадках было что-то неряшливое. Он сидел обернутый салфетками и жадно глотал приготовленные с изысканным искусством кушанья. Секретарь кормил его. Соус каплями стекал с его губ и подбородка, он причмокивал, иссиня-красными пальцами засовывал в рот пищу, жевал, глотал, издавал какие-то хрюкающие звуки, выражавшие одобрение или неудовольствие. Опрокидывал себе в рот вино, проливая часть мимо. Лакеи стояли вокруг, услужливые, как их к этому приучили, но неспособные полностью скрыть удивление и брезгливость, вызываемые прожорливым дикарем.

Слепой, когда секретарь сказал ему, кто присел за их стол, пролепетал сначала что-то не вполне вразумительное. Иоганна, не знавшая, говорит ли он по-французски или по-немецки, только немного погодя разобрала, что это баварский диалект. Отрывисто, фыркая, он ругался, рычал и брюзжал. Ему-де уже известно, кто она такая. Разумеется, известно. Чего, собственно, ей от него пужно?

Иоганна объяснила, что судебные органы г-на Кленка злобно затягивают пересмотр дела ее мужа, Мартина Крюгера. Они не отклоняют прошения о пересмотре дела, но и не дают ему хода. Уже несколько месяцев они ограничиваются «проверкой данных».

Почему она обращается с этим к нему? — проворчал он. — Не придает ли она веры газетной болтовне о том, что он интересуется политикой? Это он-то, старый, слепой крестьянин! Всякий сброд бежит за ним, пиялит на

него глаза, словно на какого-то диковинного зверя. Иоганна молчала. Старик занимал ее. Он принюхивался, словно желая по запаху составить себе представление о ней. Бабам, — заявил он, — не к чему соваться в политику. — Дело вовсе не в политике, — ответила она. — Просто она хочет вернуть мужа, своего мужа, которого без всякой вины засадили в тюрьму. — Без всякой вины! — передразнил он, размалывая зубами косточки какой-то птицы. — Сидел бы смирно! Что-нибудь, наверно, патворил! Что же он-то может тут поделать? Министр он, что ли? Какое ему дело до вопросов юстиции? После того как огромный кусок мяса он запил таким же огромным глотком вина, Бихлер круто изменился и добродушным тоном заметил, что, в общем, все это вовсе не так страшно. Он не сторонник того, чтобы мучить людей. Он добрый христианин, это всем известно. Помиловать виновного при ближайшей же амнистии — вот это он одобрил бы. Он готов это и громко повторить. В том случае, конечно, если его захотят слушать. Газеты глухо намекают на помилование, но уже по одному тому это не заслуживает доверия.

После этого он весь ушел в себя. Все его внимание сосредоточилось на еде. О Мартине Крюгере из него больше нельзя было вытянуть ни единого слова. Секретарь тщательно обтирал ему рот салфеткой. Иоганна собралась уходить.

Она твердила себе, что этот доктор Бихлер вовсе не так уж невыносим. Только в ней одной, только в охватившей ее страшной скованности, только в вялости ее души кроется причина того, что она не могла добиться от него большего.

3

КАСПЕРЛЬ В КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ

Жак Тюверлен говорил своей секретарше:

— Не пускайте ко мне этого Пфаундлера! Выпвырните его вон! Он мне не нужен!

Господин Пфаундлер в это время уже входил в комнату. Нимало не смущаясь, он вытащил из кармана листки рукописи и заявил:

— Вы сволочь, Тюверлен! Сначала вы делаете вид, как будто на все соглашаетесь, а затем сдаете все такое же дерьмо.

— После того как вы так недвусмысленно высказали свое мнение, Пфаундлер, можете убираться, — сказал Тюверлен, поворачиваясь к секретарше, которая ждала, чтобы он продолжал диктовать.

— Черта с два! — взбесился Пфаундлер. — Это на вас похоже! Все время возитесь с «Касперлем в классовой борьбе». А где же «Выше пекуда!»? Если до субботы вы не сдадите мне «Выше пекуда!» — пусть к чертовой матери пропадают авансы, которые я вам выдал. И пусть обозрение напишет кто-нибудь другой!

И он швырнул листки рукописи на стол. Тюверлен спокойно продолжал диктовать. Г-н Пфаундлер выслушал несколько фраз, поднял брови так высоко, как только они способны были подняться, замер.

— Да ведь это даже и не «Касперль в классовой борьбе»! — произнес он с искренним возмущением. — Это вовсе и не обозрение, это вообще что-то совсем другое!

И маленькие мышинные глазки под шишковатым черепом вспыхнули злыми огоньками. Тюверлен ничего не ответил. Г-н Пфаундлер поговорил еще немного. В конце концов, сознавая свое бессилие, он процедил, прикрывая отступление:

— Я еще вам пришлю подтверждение моего ультиматума заказным письмом!

Когда г-н Пфаундлер закрыл за собой дверь, Жак Тюверлен с лукавым видом взглянул на секретаршу.

— Разумеется, со своей точки зрения этот человек прав, — сказал он и продолжал диктовать. То, что он диктовал, не имело отношения к обозрению — это г-н Пфаундлер правильно заметил. Но в основе это все же, пожалуй, имело к нему отношение. Тюверлен испытывал необходимость, для того чтобы работа получилась удачной, уяснить себе некоторые теоретические положения. Спорным стал вопрос, имеет ли театр вообще какое-либо отношение к искусству. Подвергалось сомнению и то, является ли вообще занятие искусством

деятельностью, достойной человека. Инженер Каспар Прекль, например, сомневался в этом, и его сомнения, как резко он, Тюверлен, ни отмахивался от них, беспокоили его. Он стремился все новыми и новыми аргументами опровергнуть доводы Каспара Прекля. Они много и подолгу спорили.

Жак Тюверлен умел страстно увлекаться работой. То, что являлись посетители, что десять раз в течение часа трещал телефон, что вокруг него происходило непрерывное движение, словно у почтового окошечка, — нисколько не мешало ему. Выйдет ли что-нибудь из его работы или нет — не беспокоило Тюверлена. У него не было уважения к самому произведению, он работал ради удовольствия, которое доставлял ему процесс работы, исправление того, что он делал, стремление сделать лучше и лучше. Его увлекала мысль оживить древнего Аристофана, приспособить его к немыслимым для него условиям современной сцены. Динамичность этого автора, его быстрые переходы от пафоса к циничным островам, гибкость главных действующих лиц, которые только что выступали великими обличителями и вот уже оказываются шутами, а главное — свободная конструкция, допускавшая любые добавления без необходимости отказываться для этого от основных линий, — все это соблазняло писателя.

Комик Бальтазар Гирль и инженер Прекль поддерживали его советами, критиковали, находили недостатки. Все трое подолгу сидели вместе, работали. Комик Гирль большую часть времени сидел молчаливый и хмурый. Иногда какими-то неопределенными возгласами выражал сомнение. Иногда кивал (более четких знаков одобрения от него нельзя было добиться) огромной грушевидной головой. Иногда язвительно произносил: «Чушь!» Но все же внимательно ловил каждое слово Тюверлена, со страстным интересом собирал во едино все его идеи. Тюверлен и Прекль больше всего интересовались техническими возможностями, открывавшимися в процессе работы, а не успехом, не производимым впечатлением. Увлеченный своими идеями инженер, хмурый актер и подвижной писатель сидели вместе, с видом заговорщиков, словно алхимики,

размышляя над способом из эпохи без однородного общества, без однородной религии, без однородных форм существования извлечь какую-то дозу искусства.

Жак Тюверлен, страстный, настойчивый, но работавший без четкого метода, постоянно отвлекался попутно возникавшими вопросами. Он одновременно работал над последней редакцией «Маркса и Дизраэли», над проектом радиопьесы «Страшный суд», над обзором. В прекрасном настроении бегал он взад и вперед по своей комфортабельной, плохо прибранной комнате. В ожидании за машинкой сидела чистенькая, как стеклышко, секретарша, играл граммофон. Тюверлен бормотал, что-то сочинял, громко хохотал над удавшейся остротой.

Хорошо было работать. Ощущать себя словно приподнятым, когда вещи и люди, все, что видишь, думаешь, читаешь, переживаешь, вращается в план. Хорошо было даже и бешенство, досада, когда вдруг происходила заминка, сопротивление, когда оказывалось, что в организме что-то неладно. А удовлетворенность затем, когда все опять налаживалось, когда становилось ясно: мысль была действительно живой — сопротивляющейся и противоречивой. Чудесна была работа за пишущей машинкой, когда буквы врезались в бумагу, превращались в произведение, становились видимыми. Какое наслаждение, когда рождалась мысль, совсем неожиданно, внезапно — в ванне, за столом, при чтении газеты, среди самого пустого разговора. Дорого было даже и то мрачное состояние, когда сидишь, проклиная все и вся, оцепенившись, потому что пришел к выводу: «Не идет, ясно — не справиться! Стоит перед тобой гора, и не взобраться на нее. Никогда не взобраться! Правы остальные, все те, кто смеется над тобой. Не хватает сил, ты переоценивал себя. Ты просто ничтожество!» А затем еще это подавляющее и в то же время подзадоривающее ощущение, когда сидишь над творениями тех, кто сумел, сливаясь с твоей собственной, одолеть гору. Когда из их книг встает, вновь оживая, ушедшая в прошлое жизнь. Сидишь за старым, упоительным Аристофаном, хочешь так, как он хохотал, когда придумал вот этот

остроумный оборот, вот этот фокус, при помощи которого преодолел подобную же трудность.

Что такое комфорт, что такое женщины, путешествия, деловые или политические победы, что такое успех — по сравнению с наслаждением, доставляемым творчеством? Каким жалким было все это по сравнению с десятикратно более реальной, вдесятеро умноженной во времени и пространстве жизнью человека, творящего писмена, образы, сравнения!

Чуть-чуть смешными были это общество и его строй, обычно требовавшие высокой платы за любое наслаждение, но в данном случае оплачивавшие того, кто доставлял себе такое наслаждение. Ведь если бы ему не позволили писать, разве не согласился бы он ценою самого унижительного труда заплатить за право снова писать?

Он бродил, приплясывал, широко, как аист, шагал по своей квартире, болтался по улицам с лицом озабоченным, лукавым и радостным, выезжал на своей машине в горы, гулял с инженером Преклем в лесах, в долине Изара, на берегу Аммерзее. В те дни он много занимался спортом, плавал, хотя вода была еще очень холодна, направлял свой маленький автомобиль по трудным, крутым проселочным дорогам. Совершенствовался в боксе, в джиу-джитсу. Его узкие бедра становились более гибкими, грудь и плечи — шире.

Со всеми, с кем он встречался, он говорил о своей работе. Выслушивал каждое возражение: возражения из уст профанов — охотнее, чем мнение так называемых знатоков. Выбрасывал, если возражения казались ему основательными, без всякого сожаления результаты напряженной работы. Его покрытые рыжеватым пушком руки жестикулировали. Его голое, помятое лицо прорезалось лукавыми морщинками.

Насмешливому скептику Каспару Преклю он пытался объяснить, почему именно в тему «Мюнхен» он зарывался с таким увлечением. Он прекрасно видит смешные стороны этого исполненного самомнением города, но именно таким, каков он есть, он и любит его. Разве Сервантес не увековечил Дон-Кихота именно бла-

годаря тому, что он умом отвергал, а сердцем принимал его? Тюверлен прекрасно знает жителя Баварской возвышенности со всеми его недостатками, и все же сердцем своим он к нему привязан. Он любит этого человека, способного воспринимать лишь то, что он может практически использовать, но не обладающего способностью создавать отвлеченные умозаключения. Он любит это существо, которое в силе суждения отстало от большинства других белокожих и зато сохранило больше звериных жизненных инстинктов. Да, да, писателю Жаку Тюверлену нравится этот поверхностно цивилизованный, лесной, первобытный человек, зубами и когтями цепляющийся за приобретенное им, недоверчиво и глухо рычащий, когда к нему подступает что-то новое. Разве он не великолепен в ограниченности сферой своего я, этот житель Баварской возвышенности? Как он прославляет свои недостатки, называя их местными особенностями! С какой убежденностью он свою атавистическую неповоротливость называет патриархальностью, свою грубость — мужественностью, свою тупую ярость против всего нового — преданностью традициям. Просто замечательно, как он, основываясь на своей дикарской любви к потасовкам, именует себя баварским львом. Тюверлен и не думает высмеивать эти «расовые особенности». Напротив, он охотнее всего из этой Баварской возвышенности — со всем, что на ней живет, пьянствует, прелюбодействует, преклоняет колени в церквах, дерется, творит юстицию, политику, карнавалы и младенцев, — он охотнее всего из этой страны с ее горами, реками, озерами, ее зверьем двуногим и четвероногим создал бы заповедник. Во всяком случае, все это сочное, полнокровное, звериное существование он хочет литературно увековечить, обернуть вокруг себя со всеми его чудесными особенностями. Он жаждет, с помощью комика Гирля, с аристофановской пластичностью воплотить его в обозрении «Касперль в классовой борьбе».

Очень интересовалась процессом работы Тюверлепа г-жа фон Радольная. Попадая в Мюнхен, она никогда не упускала случая навестить Тюверлена; раза два ей удалось затащить его и в Луитпольдсбрунн. Ей нужно было отвлечься, нужны были Пфаундлер, обозрение, Тю-

верлен. Впервые за много лет она по-настоящему была недовольна собой. Тогда, на вечере «ночных бродяг», она вела себя глупо и бестактно. Нарушила свой принцип: выждать сутки, «переспать» до выполнения какого-нибудь решения. Как всякий необдуманный поступок, так и этот разошелся широкими кругами. Что она тогда наплела? Мартин Крюгер — ее враг, Иоганна Крайн — враг? Чепуха! Очень скоро тогда выяснилось, что не так страшен черт, как его малюют. В Баварии, во всяком случае, историю с реквизицией имущества бывших владетельных князей воспринимали без особого волнения. Единственное, пожалуй, что производило впечатление, — это разговоры о том, как последний, ныне покойный король торговал продуктами из своих имений, особенно когда упоминали о высоких ценах, которые он во время войны нагонял на свои молочные продукты. Населению приятно было представлять себе короля в какой-то мере величественным. Отличаясь само определенной «мужицкой окраской», оно находило такие «мужицкие» повадки недостойными монарха, ругало его за жадность, издеваясь, называло «молочником». И все-таки никогда не удалось собрать того значительного большинства голосов, которое необходимо для проведения закона о лишении бывших владетельных князей имущественных прав. Для паники, охватившей Катарину тогда, при получении этого известия, не было достаточного основания. Она наделала глупостей.

Кроме того, ей недоставало Гессрейтера больше, чем она ожидала. Она злилась на то, что сама своим несвойственным ей дурацким поведением толкнула его к Иоганне.

Катарина, что бывало с ней очень редко, никак не могла решить, как ей дальше вести себя. Написала Гессрейтеру по какому-то деловому поводу, мягко, не слишком тепло, не слишком холодно, так, словно ничего не случилось. Долго колебалась, не написать ли ей и Иоганне. Однако ощущение первой сделанной глупости заставляло ее медлить, а когда затем был получен витиеватый, уклончивый ответ Гессрейтера, касавшийся только деловых вопросов, она так и не написала Иоганне.

Внешне жизнь ее протекала как и прежде. Но она находила, что стареет, отыскивала в своем красивом, полном лице какие-то заострившиеся линии. Усталость сквозила в ее манере держаться, она не всегда уже являлась неоспоримым центром внимания на вечерах. Катарина не задавала себе вопроса, таилась ли причина в других или в ней самой, начали ли другие сомневаться в прочности ее положения или в ней самой. Так или иначе, она искала общества Тюверлена.

Ему нравилась эта дама: крупная и яркая, принадлежа к уходящей в прошлое эпохе, она входила и в эпоху, современную ему. Нравилась ему естественность, с которой она принимала услуги, с которой она, настоящая баварка, смотрела на мир — как устрица на свою раковину. Интересовали его также ее суждения. Это были суждения определенного общественного слоя, допустившего, правда, невероятную глупость великой войны, но до этого создавшего фундамент, на котором покоилась современная, доставлявшая немало удовольствий эпоха. Пусть недовольные проклинают это время: он из всех прежних эпох не мог выбрать ни одной, в которую охотнее согласился бы жить. Утверждения Каспара Прекля, его уверенность в том, что в марксистском государстве, при всем социальном равенстве, не будет стеснен простор личной жизни отдельного человека, — не уничтожали полностью его сомнений.

Он охотно, таким образом, терпел частые посещения спокойной и рассудительной дамы, твердо, впрочем, отдавая себе отчет в том, что ее суждения о его работе имеют лишь весьма относительное значение. Иногда он заговаривал с ней также о Гессрейтере и Иоганне. Умно, без подчеркнутой заинтересованности, как ему по крайней мере казалось. Но она лучше его самого видела, как сильно ему не хватает Иоганны. Она видела, что стоит только ему закончить работу — и он безусловно опять вернется к Иоганне. Она старалась перетянуть его к себе. Он нравился ей. Она учитывала также, что его, если понадобится, можно будет вернуть Иоганне в виде, ну, скажем, объекта обмена на Гессрейтера. И вот она сидела у него, пышная, медноцветная, ласково заинтересованная, незаметно ведущая борьбу, улыбающаяся, несчастливая.

ПРОЕКТ КОШАЧЬЕЙ ФЕРМЫ

Доктор Зигберт Гейер, в свободной обтрепанной домашней куртке, лежал, положив под голову тонкокожие руки, на оттоманке, покрытой рваным грубошерстным ковром. Его лицо несколько пополнело. Глаза были закрыты. Напряженно о чем-то думая, он, словно прожевывал что-то, двигал челюстью, отчего равномерно подергивалась плохо выбритая щека. Небрежно расставленная мебель выглядела холодной и неудобной. На письменном столе, нелепые пропорции которого постоянно раздражали его, были разбросаны бумаги, листы рукописи, газетные вырезки.

Доктор Гейер в последнее время передал другим почти все свои адвокатские дела, мало интересовался и политическими делами, почти не выходил из дому. Ел то, что ему подавала его экономка Агнеса. Он работал над рукописью «Истории беззаконий в Баварии от заключения перемирия 1918 года до наших дней». Всё нервное, страстное упорство, которое он вкладывал во всякое дело, было сейчас обращено на этот труд. Он сам обещал себе награду: когда закончит и сочтет удовлетворительной книгу «История беззаконий», тогда он снова примется за свое любимое детище — «Право, политика, история». На самую верхнюю полку над письменным столом — так, чтобы достать их было почти невозможно, — убрал он дорогие его сердцу наброски. Оттуда они глядели на него, поддерживая его энергию в работе.

С горячим усердием препарировал он «случаи» для «Истории беззаконий». Он не подходил к телефону, экономке Агнесе было поручено всем отказывать. Единственным отдыхом было чтение нескольких страниц Тацита или Маколея. Даже газеты, непрочитанные, копились вот уже вторую неделю. Адвокат Гейер принуждал себя к классически спокойной форме изложения, гнев и пыл оставались скрытыми в глубине. Строго научно, опираясь на холодную логику, обличал он беззакония и насилия. Он знал: баварские беззакония тех лет были лишь малой частицей беззаконий, творившихся во всей

Германии, во всем мире. Но баварские беззакония он ощущал острее всех других, чувствовал за ними крупное властное лицо своего врага Кленка. Пепел от сигар, несколько книг, немного музыки, передаваемой по радио, кипы нераспечатанных писем, неп прочитанные газеты — вот что окружало его. Он напрягал все силы, трудился наедине со своими мыслями. Шлифовал, добиваясь классически спокойного изложения «Истории беззаконий в Баварии от заключения перемирия 1918 года до наших дней». Дело Крюгера было мелкой крохой в этой массе материала, холмиком среди горного хребта; он не упоминал о нем.

Для экономки Агнесы настали хорошие времена. Растрепанная, желтолицая женщина бродила на цыпочках, с собачьей преданностью стараясь угодить этому человеку. Он терпеливо подчинился некоторому внешнему порядку. Она могла теперь убирать комнаты, заставляла его регулярно есть. Он теперь принадлежал ей одной. С восторгом выполняла она его распоряжения — оберегала его от всего, что могло помешать ему работать. Отгородила от внешнего мира. Вот уже вторая неделя, как он — разве что случайно выглянет на улицу — не видел ни единого человека. Экономка даже и корреспонденцию его принимала и проглядывала. Заботилась о его финансовых делах. Так как он, ленись, сидел дома, вместо того чтобы делать деньги, ей приходилось самой шевелить мозгами. Времена были тяжелые, инфляция превращала в ничто все накопленные капиталы. За доллар платили уже до трехсот марок. Деятельность домашних хозяек, которым в те времена приходилось хлопотать о бесчисленных мелочах плохо организованной будничной жизни, требовала большой затраты энергии. Добывать съестные припасы и все необходимые в обиходе предметы было очень трудно, это требовало быстроты, осмотрительности и неослабного внимания. На деньги, не потраченные на этой неделе, на следующей неделе можно будет купить лишь половину. Торговцы отказывались принимать непрочную местную валюту, многое продавали лишь на иностранные деньги. Стремясь доставить своему доктору хорошее питание, Агнеса лестью и хитростями выторговывала у темных деревенских спе-

кулянтов дорогие припасы, высматривала все новые возможности. Это требовало нервов, организаторского таланта, быстрых решений, постоянной настороженности. Она и на бирже спекулировала ради него: ее хриплого, нервного голоса побаивались за барьером небольшого отделения банка, которое она удостаивала своими поручениями.

Капризного доктора Гейера ни на минуту нельзя было выпускать из-под наблюдения. Кто, пока она бежит за покупками, в банк или охотится за съестными припасами, подойдет к телефону, отзовется на звонок у дверей, позаботится о всех мелочах?

Адвокат между тем целиком впрягся в работу. Его радовала чистота последовательных умозаключений, ясность логического построения. Он верил мыслителю, объяснявшему этику с помощью геометрических образов. Никогда в жизни не чувствовал он себя таким счастливым, как сейчас, наслаждаясь своим искусством излагать одно судебное дело, десять дел, тысячу дел, излагать так, чтобы даже самому тупому, нежелающему видеть стала ясна эта система, ненавистная, лживая система выдавать насилие, деспотизм, погоню за наживой, политиканство — за этику, убеждения, христианство, право, закон.

Он писал. Усмехался. Вычеркивал лишние предложения. Достигалась ли более четкая линия? Он проверял еще раз. В то время как он тихо, без интонаций читал самому себе написанное, в передней раздался звонок. Он не обратил на это внимания, восстановил первоначальное построение фразы, чтобы снова проверить. Сократил старое предложение до пяти слов, проверил еще раз. Звонок в передней дребезжал настойчиво, длительно. Ну конечно, никто не заботится о нем. Эта Агнесса — ротозейка, не знающая своих обязанностей. Мешать ему она способна постоянно, а вот когда она действительно нужна, тогда ее нет как нет. Охая, брюзжа, шаркая ногами, вышел он в темную переднюю. Отпер дверь.

Отшатнулся. Перед ним стоял молодой человек, дерзкий, легкомысленный, с насмешливой улыбкой на очень красных губах. У адвоката сдавило горло. Ему показ-

лось, словно вся кровь разом прилила к голове. Он покачнулся, жадно ловя воздух, раскрыл рот, в то время как юноша, все так же улыбаясь, продолжал стоять на пороге.

— Можно войти? — спросил наконец Эрих. Адвокат отступил от двери. Эрих осторожно, без шума запер ее, последовал за адвокатом в его перьяшливо обставленную комнату.

Огляделся. Увидел книги, беспорядок, отсутствие уюта, жалкую, без любви и внимания расставленную мебель. Не скрыл своего пренебрежения. Он был здесь впервые. До сих пор всегда адвокат приходил к нему. Для доктора Гейера приход к нему мальчика был большим, огромным событием. Более важным, чем «История беззаконий», более важным, чем что бы то ни было на свете. Ужасным несчастьем было то, что он был к этому так не подготовлен. Он так часто представлял себе эту минуту, так часто представлял себе все то, что он мальчику скажет, и ласковое и сердитое. Но теперь все стерлось в его памяти. Неряшливый, отупевший, растерянный, бесконечно жалкий он перед своим мальчиком, когда тот в первый раз пришел к нему.

— Не сесть ли нам? — произнес, наконец, Эрих. — Насколько это удастся здесь сделать, — добавил он, с вызывающим пренебрежением оглядываясь кругом.

— Конечно, — сказал адвокат. — Здесь немножко неуютно, — продолжал он почти виноватым тоном. Никогда еще не говорил он ни одному посетителю таких вещей. Мальчик сидел перед ним, закинув ногу на ногу, с видом светского человека. Он сразу же захватил инициативу в этой беседе. Он говорил развязно, с северогерманским, столичным акцентом, а адвокат, пришибленный, покорный, беспомощный, сидел перед ним на кончике стула, ждал.

— Ты, верно, удивлен, что я явился к тебе? — перешел наконец Эрих к делу. — Ты, разумеется, понимаешь, что я без особого удовольствия встречаюсь с тобой. А здесь-то уж во всяком случае.

— Я знаю это, — произнес доктор Гейер.

— Но мне представляется такое блестящее дело, — продолжал Эрих, — что, несмотря на всю мою законную

антипатню, мне пришлось все же прийти к тебе, для того чтобы ты ссудил меня мелочью, без которой мне не обойтись.

И он принялся излагать фантастическую историю о какой-то кошачьей ферме, которую он предполагает организовать, для того чтобы потом устроить грандиознейшую комбинацию с кошачьими шкурками. Кошек будут кормить крысами: четырех крыс достаточно для питания кошки. А крысы будут откармливать трупами ободранных кошек. Каждая кошка за год принесет двенадцать штук котят, крысы размножаются вчетверо быстро. Все предприятие, таким образом, кормит само себя автоматически. Кошки будут пожирать крыс, крысы будут пожирать кошек, а предпринимателям достанутся шкурки. Как доктор Гейер сам может убедиться, — дело совершенно простое и ясное. В то время как мальчик развивал свой план, развязно, не скрывая его фантастической нелепости, скорее даже с некоторой дозой издевки подчеркивая ее, доктор Гейер разглядывал брюки, облекавшие скрещенные ноги молодого человека, так как только изредка решался поднять взгляд к его лицу. Брюки были клетчатые, тщательно выутюженные. Адвокат Гейер подумал, что он сам, вероятно, никогда не носил таких хороших брюк. Они казались широкими, свободными и в то же время, благодаря крепко заглаженной складке, ложились строго правильно. Из-под них выглядывали тонкие, дорогие, слабо поблескивающие носки. Ботинки сидели великолепно, плотно и удобно облегали ногу. Несомненно, они были сделаны на заказ.

Доктор Гейер, неряшливый, сидя в неизящной позе, избегал глядеть в лицо мальчика. Его взгляд, блуждая, опускался к полу. Он рассеянно прислушивался к нагло-фантастической истории, которую, явно издеваясь, разворачивал перед ним Эрих. Он думал о том, что сказала бы мать, что сказала бы Эллис Борнгаак на то, что мальчик сидит перед ним, у него в доме, вынужденный, несмотря ни на что, просить у него помощи. Он видел перед собой высокую девушку Эллис, такой, какой увидел ее тогда, давно, когда после выдержанного экзамена отправился на две-три недели на берег австрийского озера. Он, верно, был тогда в очень приподнятом на-

строении, остроумен, настойчив, охвачен чувством, быстро передававшимся другому. В общем, для него и сейчас еще было загадкой, как он мог привлечь к себе эту высокую, красивую девушку. Она была свежа — упругая кожа, крепкое, стройное тело, красивое, смелое, не очень умное лицо. Часто, глядя на Иоганну Крайн, вспоминал он ее и те теплые ночи на берегу озера, когда они лежали рядом, разленившись, счастливые, смеясь над неудобствами, причиняемыми летавшей кругом мошкой и ползавшими во мху жуками, муравьями. Неужели это он лежал тогда в лесу с этой девушкой? А потом, когда начались осложнения, когда она забеременела и не знала, вынашивать ли ей дитя... Разрыв с ее строгой мещанской семьей. Как она тогда все-таки оставалась на его стороне, как был он счастлив, отдавая ей те небольшие деньги, которыми располагал. Как она колебалась, выйти ли ей за него замуж. Отказалась, затем дала согласие и, наконец, все же твердо отказалась. Как она потом — он и до сих пор не знал за что — стала его ненавидеть. Холодно насмехалась над его фантазиями и порывистостью, над его мигающими глазами. Каким беспомощным он чувствовал себя перед этой ядовитой ненавистью. Как она презрительно отвечала ему отказом, когда он настойчиво предлагал ей выйти за него замуж. Как она в конце концов, именно тогда, когда его дела стали поправляться, вдруг отказалась принимать от него деньги. Переехав в Северную Германию, порвав окончательно со своей семьей, не отвечала на его письма. Терпела лишения, с трудом добывая необходимое для жизни. Растила ребенка в ненависти к Гейеру, к этому еврею, которого она в течение нескольких недель любила и который затем стал ей ненавистен, словно какое-то омерзительное, вонючее животное. Как затем мальчик — должно быть, потому, что ему осточертела убогая, бесцветная жизнь дома, и потому, что он не подходил для гимназии, — добровольно, совсем юным ушел на фронт. Как мать умерла от гриппа. Как мальчик вернулся, развращенный войной, ветренный, неспособный к серьезной работе. Как родители покойной с неохотой кое-что сделали для него и затем окончательно от него отвернулись. Как он, адвокат, предлагал ему свою помощь, все более

и более настойчиво, постоянно натываясь на отказ. Как мальчик связался с этим неприятным субъектом, с которым он вместе был на фронте и который, хотя он был на восемь лет старше, все же так удивительно походил на него, — с этим омерзительным фон Дельмайером. Как адвокат встречался с мальчиком на нейтральной почве, пытался помочь ему. Как глухая, необъяснимая ненависть матери по наследству передалась сыну, постоянно полыхала павстречу беспомощно терявшемуся Гейеру. Как мальчик издевался над ним, именно от него всегда старался скрыть свои следы.

Все это передумал, пережил, перечувствовал адвокат Гейер, в то время как Эрих сидел перед ним — юное ничтожество в прекрасно выутюженных брюках и безукоризненных ботинках — и развивал дурацкий проект кошачьей фермы.

— Господин фон Дельмайер также участвует в этом деле? — неожиданно спросил доктор Гейер.

— Ну, разумеется, — вызываяще ответил Эрих. — Ты имеешь что-нибудь против?

Нет, адвокат ничего не имел против этого. Что же он мог иметь против?

Эрих объяснил, что кошачья ферма — лишь одно из многих дел, которые им представляются. Для людей, не для бессильных старцев, разумеется, а для молодых людей, обладающих достаточной энергией, — сейчас хорошее время. Если из кошачьей фермы ничего не выйдет, что ж, тогда пустят в ход одно из бесчисленных других дел. Ну вот, есть хотя бы целый ряд первоклассных политических организаций, крайне нуждающихся в благонадежных молодых людях. У него изумительные связи. Он перечислил несколько имен. Вожди правых организаций, вожди ландскнехтов — Тони Ридлер и как их еще там зовут, герои нелегальных корпусов и объединений. Имена, вызывавшие у адвоката чувство физического отвращения, презрения, — насильники, принадлежащие к какой-то низшей породе людей, ближе стоящие к зверям. Да, со всеми ими Эрих и его друг фон Дельмайер поддерживали отношения. Возможны разнообразные политические комбинации. Если с кошачьей фермой не повезет, что ж, тогда можно будет глубже

окунуться в эти дела. Он глядел на адвоката, выкладывая все это — пагло, с видом превосходства, язвительно. Но адвокат сидел, опустив глаза. Молчал. Казалось, он не слушает.

Мальчик вдруг заявил, что у него очень мало времени. Он предлагает адвокату решиться: согласен ли он поддержать предприятие или нет.

Адвокат поднял глаза. Смутно вспомнил, что тогда, во время нападения, ему показалось, словно он видит легкомысленное лицо страхового агента фон Дельмайера. Он с трудом поднялся. Хромая, прошелся по комнате. Принес свою палку. Снова, хромая, прошелся взад и вперед. Принес папирос. Предложил мальчику. Тот помедлил, но взял.

— Сколько тебе нужно денег? — спросил адвокат.

Эрих назвал не особенно большую сумму. Адвокат, шаркая ногами, вышел. Эрих остался в комнате, покурил, поднялся, не стесняясь заглянул в рукопись, взял с полки книгу. За стеной слышался голос адвоката и чей-то другой, высокий, плаксивый, хриплый, о чем-то умоливший его. Долго, бесконечно долго доносился этот горячий, частый шепот. Обладая хорошим слухом, юноша мог кое-что уловить из этого разговора. Он сделал себя несчастнейшим человеком, — убеждал адвоката хриплый голос, — если хоть что-нибудь даст этому проходимцу. Тот повадится сюда шляться. Да и без того денег нет: доктор Гейер ведь совсем перестал заниматься чем бы то ни было, что приносит доход. Она с трудом наскребает те гроши, которые необходимы, чтобы прилично кормить адвоката. А тут ими так бесмысленно швыряются.

Вернувшись в комнату, старик принес несколько смятых иностранных банкнот и немного немецких денег. Молодой человек серьезно и внимательно оглядел иностранные банкноты, аккуратно разгладил их, положил в карман. Адвокат, — заявил он, — вкладывает свои деньги в прекрасное предприятие. Пусть он только не думает, что оказывает какую-то любезность и приобретает право на благодарность. Он просто делает с ним дело. Риск, разумеется, известный есть, как и во всех делах сейчас. С этим он и ушел.

Ему вслед без удержу бранилась и причитала экономка Агнеса. Адвокат сидел в своей неряшливо обставленной комнате. Он машинально поднял брошенный мальчиком окурок и положил его в пепельницу. Он чувствовал голод. Но Агнеса, вероятно, чтобы наказать его, не принесла ему поесть. Итак, они занимаются политикой! В этом виноват Кленк. Да, и в этом также. Он снова принялся за «Историю беззаконий». Сидел перед рукописью, опустошенный, бессильный, курил, вглядывался в проплывавшие перед его внутренним взором образы, не работал.

Он велел приготовить ванну. Уже несколько дней он не принимал ванны. Он лежал в теплой воде, тело его обретало покой. Разве не победой было уже одно то, что мальчик пришел к нему? Он вспомнил о его матери, об Эллис Боригаак. Всегда, когда мальчик серьезно в чем-нибудь нуждался, он обращался не к ее родителям, он приходил к нему. Адвокат Гейер тихонько покачивался в теплой воде, улыбался. Дикий нрав и дикие привычки были у мальчика, и держался он как-то бессердечно и сухо, — этого отрицать не приходилось. Но виной этому было положение в стране, виной был Кленк. И во всяком случае мальчик пришел к нему.

Адвокат вышел из ванны, медленно, необычайно тщательно оделся, к удивлению не перестававшей браниться и причитать Агнесы. Отправился в лучший в городе ресторан, в ресторан Пфаундлера, хорошо посл, выпил вина. Оживленно беседовал со встреченными там знакомыми. Вечером, поставив около себя бутылку хорошего вина, прочел одну главу Тацита и одну главу Маколея. Запомнил этот день как праздник.

5

КЛЕНК — ЭТО КЛЕНК, И ПИШЕТСЯ — КЛЕНК

Кленк, как только г-н фон Дитрам оставил его, потянулся, добродушно проворчал что-то и принялся насвистывать благородную классическую мелодию. Осторожный г-н фон Дитрам, глава нового, перефор-

мированного в соответствии с желаниями его, Кленка, кабинета, один из аристократов, окружавших изящного, спокойного Ротенкампа, исполняет все, что он, Кленк, ему говорит. Завтра новый кабинет представляется ландтагу. Кленк только что навел последний лоск на правительственную декларацию, и Дитрам согласился со всеми мельчайшими оттенками. Итак, Кленк добился своего. С прежним, этим старым болваном Зиглем, никакого сладу уж не было. Вечно бить кулаком по столу и позволять себе черт знает какой хамский тон по отношению к Пруссии и имперскому правительству — это тоже не дело. Он, Кленк, в конце концов стал просто стесняться сидеть на одной министерской скамье со всяким сбродом. Он поступил правильно, поставив действительных, остающихся в тени правителей перед альтернативой: дать в конце концов в правительство кого-нибудь из настоящих людей или же примириться и с его, Кленка, уходом. Светилом этого нового, Дитрама, считать, конечно, не приходится. Рейндлю пришла в голову его кандидатура, он и произнес первый его имя в разгар дебатов. Не любит он, Кленк, Пятого евангелиста. Он замкнут, держится так покровительственно и важно, словно он сам бог-отец или король Людвиг II. Но пустить снова в ход старого Дитрама — это все же была хорошая идея. Хотя у него и слабовато насчет смекалки, зато манеры прекрасные. При принце-регенте Луитпольде он был послом в Ватикане. Он тихо и корректно будет выполнять все, что Кленк сочтет нужным.

Труда это стоило немало. Сопровождения с партийными лидерами, телефонные переговоры с тайными правителями страны. Туда, сюда — сложнейшие торги. Так длилось целую неделю. Два концерта, которые он предвкушал, пришлось ему пропустить, и получаса он не мог урвать, чтобы в такую чудесную погоду съездить за город. Но теперь все позади. Кленк их всех обвел вокруг пальца. Он кое-что собою представляет, и те, другие, быстро почуют, откуда дует ветер. Кленк — это Кленк, и пишется — Кленк.

Сейчас не больше девяти часов. Сегодня вечером он может позволить себе отдохнуть. Закатится куда-ни-

будь, устроит себе потеху. Он улыбается, его полные губы кривятся. Кого же ему взять на прицел — Гартля или Флаухера? Он накидывает непромокаемое пальто, сует в рот трубку, напяливает на красно-бурую голову огромную фетровую шляпу. Пожалуй, обоих — и Флаухера и Гартля!

Короткий путь он проходит пешком. Не в «Тирольский погребок», а сначала в ресторан «Братвурстглекель».

В старом ресторане, у подножия собора, было еще более накурено и сумрачно, чем в «Тирольском погребеке». Кленк, распахнувший внутреннюю стеклянную дверь, казался огромным в этом помещении с низким потолком, с которого свисали всевозможные старинные модели и приборы, почти касавшиеся его головы. Он огляделся вокруг. Обычно требовалось некоторое время, пока становилось возможным здесь, среди дыма и чада, различать знакомые лица. Люди сидели очень близко друг к другу, ели очень маленькие, сморщенные жареные сосиски с тушеной капустой и крохотные соленые булочки, пили пиво.

Так! Вот там сидит человек, которого он искал, — ландесгерихтсдиректор доктор Гартль. Ясно было заранее, что сегодня он будет здесь за столом завсегдатаев, на котором в качестве знака отличия красуется бронзовый трубач в старинной одежде, держащий в руках флажок с надписью: «Занято». Доктор Гартль сидел за столом в обществе доброго десятка своих коллег. Кленк знал их всех. Это были председатель сената Мессернимидт и несколько представителей судебных органов.

Министр сразу заметил, что присутствующие осведомлены о его роли в новом кабинете. Его, привыкшего к общему уважению, сегодня приветствовали с особой почтительностью. Он с удовольствием отметил, что они уже почуяли, откуда дует ветер.

Пробираясь сквозь толпу посетителей ресторана — людей с высшим университетским образованием, учителей гимназии, газетных редакторов, крупных чиновников, знавших друг друга уже много лет, — Кленк сквозь дым и чад разглядывал стол, за которым сидели

чиновники его министерства. Все у них было кислое, потрепанное, поношенное — и лицо и платье. Тут не приходилось удивляться: жалование они получали грошовое, у них были жены и дети, в эти годы инфляции тяжело приходилось как с продовольствием, так и с одеждой. Многие приближались к тому возрасту, когда чиновников увольняют в отставку. Перед войной у них было прекрасное положение, и они могли твердо рассчитывать на крупную пенсию и обеспеченную старость. Сейчас даже привычный вечер в «Братвурстгелкеле» являлся роскошью. Им приходилось десять раз обдумать, какую сигару они могут себе позволить. Да и работы у них значительно прибавилось. Виною этому, как и всему дурному, был новый государственный строй. Он подточил корни нравственности, увеличил число преступлений. А кому от этого прибавилось работы? Разумеется, им. На каждого приходилось сейчас втрое, вчетверо больше документов, требовавших просмотра, у каждого из них на завтрашний день был назначен разбор восьми, а то и десяти дел.

В то время как они подвигались, чтобы очистить для него место, Кленк старался представить себе обвиняемых по этим делам. Уж этим-то сегодня предстояла беспокойная ночь. С волнением ожидают они утра, обдумывают каждый жест, каждую деталь своего поведения, каждое свое слово, со страхом стараясь предугадать выражение лица и настроение тех людей, которые будут проверять, взвешивать, судить их поступки. Они и не предполагают, как мало у этих господ было для них времени, как мало склонности глубоко погружаться в душевные переживания зависевших от их приговора людей. Чертовски тяжело приходилось сейчас его судьям: они по горло были заняты своими собственными заботами. Куча работы, жалкая оплата, а к тому же еще вечно критикующая публика и идиотская пресса. Авторитет пал. Широкая общественность начинала к судье относиться так, как некогда к палачу.

Появление Кленка за этим столом было целым событием, настоящей демонстрацией. Чиновники были обрадованы. Ландесгерихтсдиректор доктор Гартль,

также сидевший за этим столом, тот самый ловкий судья, который вел процесс Крюгера, в конце концов все же оказался недостаточно ловок. Он был чересчур уверен в прочности своего положения и споткнулся. Споткнулся, собственно говоря, на пустяковом деле. На деле Пфанненшмидта. Пфанненшмидта, владельца кожевенной фабрики в маленьком верхнебаварском городке, только за то, что он был республиканцем, его противники обвинили в государственной измене, во всяких грязных делишках, в растлении малолетних, в том, что он болен сифилисом. Всякими клеветническими нападка ми чуть не сжили его со света, довели почти до разорения. Пфанненшмидт жаловался в суд, но безуспешно. Нападки противников продолжались. Когда все население городка принялось его бойкотировать, стало отплевываться на улице при встрече с ним, фабрикант, не выдержав, допустил ряд недуманных поступков. Дошло до публичных драк и скандалов — до «нарушения общественного спокойствия и порядка», до судебного процесса, во время которого ландесгерихтсдиректор доктор Гартль, как отметила не без обычного добродушного баварского юмора благонамеренная пресса, здорово «выдубил шкуру красного дубильщика». Доктор Гартль, однако, не отнесся к делу с достаточной осторожностью. Его уверенность в собственном превосходстве оказала ему плохую услугу. Судя лицепрятно, нельзя было допускать формальные неправильности в ведении процесса. Ландесгерихтсдиректор Гартль оказался в этом отношении недостаточно осторожным. Кленку пришлось официально несколько отстраниться от него. А неофициально он написал ему забавное, полное юмора письмо, на которое Гартль так же остроумно и вполне миролюбиво ответил. Все, таким образом, казалось, должно было обойтись благополучно, но Гартля в этом деле Пфанненшмидта преследовал, очевидно, какой-то злой рок. Он не мог удержаться и допустил появление в печати интервью, в котором он вежливо, со снисходительной усмешкой, но по существу довольно нагло подшучивал над Кленком, почти открыто цитируя отдельные места его письма. Кленк нашел интервью очень забавным, не

сердился по этому поводу, но не мог все же допустить такую бесцеремонность. Он по служебной линии объявил Гартлю предупреждение. Неофициально же велел запросить Гартля, не желает ли тот перейти на службу в министерство. Он предлагал ему занять весьма ответственное место референта по делам о помиловании, которое вскоре должно было освободиться. Кленк в душе не любил Гартля, и тот отвечал ему взаимностью. Отношения между ними носили характер дружелюбного, хотя и не совсем безобидного поддразнивания. Среди тревожений последних дней история с Гартлем представлялась Кленку чем-то вроде отдыха. Он находил, что удачно разрешил ее. Крикунам из рядов оппозиции он заткнул глотку и в то же время дал щелчок Гартлю: он в виде наказания переводил его на другую должность. Но, давая щелчок оппозиции, он заткнул глотку и Гартлю: это наказание чертовски походило на повышение по службе. Как бы там ни было, но внешне получалось впечатление демонстрации, а лично его забавляло такое положение, когда после официального выговора министра ландесгерихтсдиректору частное лицо, г-н Кленк, появляется за столом завсегдатаев в «Братвурстглеккеле», с тем чтобы непринужденно провести вечер в обществе частного лица, г-на Гартля.

Но сейчас в «Братвурстглеккеле» все это вдруг оказалось вовсе не забавно. Люди за столом поднимали тяжелые, грубые пивные кружки, говорили: «За ваше здоровье, Гартль! За ваше здоровье, господин министр!» Но не нравились они ему, эти его судьбы. И ландесгерихтсдиректор доктор Гартль, надутый и важный, казался настолько неприятным, что Кленку даже не доставляло удовольствия пикироваться с ним. Отвратительная фигура этот Гартль со своей богатой женой-иностранкой, с иностранными деньгами, со своей виллой в Гармише, с дерзко подчеркнутой независимостью и дешевой популярностью. Самоуверенность — вещь хорошая, но Гартль пересаливал. Скользкая, наглая, внешне как будто корректная, вызывающая манера держаться, добродушно-язвительная ирония. Не стоило связываться с этим субъектом, не следовало пред-

лагать ему реферирование прошений о помиловании, так как при этом придется постоянно иметь с ним дело.

Настроение Кленка упало. Он внимательно оглядел лица сидевших за столом. Фертч, этот субъект с кроликообразной мордочкой, которого Кленк сделал начальником тюрьмы Одельсберг, приехал, разумеется, разноухать, откуда сейчас ветер дует. Этот тоже почуял перемену курса. Все они вылезли из своих нор, прикатили в город разведать, каково настроение. То, что теперь он, Кленк, у власти, что руль в его руках, — это они уже раскусили. Разве так трудно было сообразить, к чему он ведет? Разве его политика, его программа, хотя он громогласно и не провозглашал ее, не была ясна и раньше? Даже у баварского чиновника должно было хватить сообразительности, чтобы понять, что сейчас уже не время колотить кулаками по столу, что теперь делаются уступки в мелочах, для того чтобы урвать по-сочнее кусочек в делах серьезных.

Присутствие министра и доктора Гартля, столь изящно и ловко «наказанного», внесло оживление в среду сидевших за столом завсегдатаев. Гартль не делал секрета из своего перевода в министерство, Кленк — также. Все вместе, особенно присутствие министра за этим столом, служило доказательством того, что юстиция крепко забронирована от всяких дурацких нападков, что в нынешнем распатанном государстве она — единственная устойчивая и непоколебимая власть. Времена были тяжелые, и они, судьи, имели немного потрепанный вид. Но они были автономны, несменяемы, ответственны только перед своей совестью, они могли оправдывать и обвинять, заковыдывать в цепи и от цепей освобождать. Никто не смел призывать их к ответу. Об этом забыли проклятые бунтовщики, бапдиты, пытаясь на государственной измене и нарушении присяги построить новый государственный строй. Их, судей, важнейший оплот старого порядка, эти сксты оставили в неприкосновенности. Против Кленка можно иметь что угодно, но он был именно тем человеком, который способен охранять их священные права. Это видно было по тому, как он вел себя в истории с Гартлем, по тому, как он, большой и мощный, сидел

здесь среди обедневших судей. Это чувство поднимало настроение стареющих людей, выпрямляло, невзирая на внешнее обнищание, их спины, согревало их сердца. Они развеселились, заговорили о годах своего студенчества. «За твое здоровье, старый адмирал штарибергского озерного флота!» — провозгласил один, пытаясь выютюжить изъеденное молью юношеское воспоминание. «Вот тогда, с Мали в Оберланцинге, — мечтательно лепетал другой, забывая о стоявших перед ним сморщенных свиных сосисках, — вот это был настоящий осенний праздник для меня!..» — «Твое здоровье, лейб-фукс!» — произнес третий, глубокий старик, обращаясь к другому, почти столь же старому. Они оглушительно хохотали, перебивая друг друга, громко говорили, обтирали влагу с усов, заказывали себе еще по кружке пива. Вероятно, — размышлял министр, — они втайне надеялись, что богач Гартль сегодня, в честь своего повышения, заплатит за всех.

Один только председатель сената Антон фон Мессершмидт оставался в стороне от общего веселья. Он был дельный юрист, несколько медлительный и тяжелодум. Видный и представительный, с крупным красным лицом, обрамленным старомодной холеной бородой, и с огромными глазами навывкате, он без улыбки прислушивался к рассказам тайного советника и веселым шуткам соседей по столу. Он больше других страдал в эти трудные годы. Обесценивание денег постепенно подтачивало его когда-то значительное состояние. Ему уже приходилось продавать дорогие его сердцу предметы из своей коллекции баварских редкостей, для того чтобы приобретать себе и жене приличествующую их положению одежду. Но не столько во внешних затруднениях было дело: Мессершмидты были до упрямства честны. Председатель сената был одним из немногих, считавших себя обязанными в голодные годы, во время войны, ограничиваться лишь дозволенным пайком. Один из его братьев, Людвиг фон Мессершмидт, капитан минного тральщика, погиб оттого, что, попав в плен к англичанам, позволил, не произнеся ни слова предостережения, навести корабль, на котором он находился, на заложенное им самим минами поле.

Антон фон Мессершмидт болел душой за баварскую законность, какой она стала в эти годы. Он не находил покоя. Его волновали многочисленные приговоры, которые юридически, может быть, были вполне обоснованы, но противоречили элементарному понятию справедливости, все действия юстиции, которая постепенно из органа охраны превратилась для обыкновенного человека в западню. Он охотно ушел бы со своего поста и вел бы спокойную жизнь со своей женой, со своими баварскими древностями и любовью к музыке. Но свойственное Мессершмидтам чувство долга не позволяло ему так поступить.

Он не мог веселиться в кругу этих людей, за этим столом. Не понимал он и того, как могли его коллеги издеваться над выжившим из ума Каленеггером. Не по душе было наглое «повышение в чине в виде наказания» богатого, дерзко иронизирующего Гартля. Кленка он также не выносил. У Кленка, правда, были известные положительные качества: он был умным и преданным родине человеком. Но ему не хватало настоящего внутреннего равновесия, необходимого в это трудное время. Нет, председателя сената Мессершмидта не радовал этот вечер.

О старике Мессершмидте Кленк был не такого уж плохого мнения. Он тяжелодум, этот Мессершмидт, он, собственно говоря, «шляпа». Но он прямой человек, и с ним можно хоть изредка поболтать о баварских древностях. А зато остальные — что за безнадежные буквоеды! Вот уже они снова пережевывают разряды жалования и цены на уголь. Это, да еще несколько параграфов, — вот и все их представление о мире. Кленк любил свою страну, свой народ, но умел резко критиковать отдельных лиц, а сегодня к тому же как-то особенно презирал людей. Ну вот хотя бы этот тип, с кроличьей мордочкой, Фертч, которого он, Кленк, поставил во главе тюрьмы Одельсберг. Как он испуганно ловит каждое слово министра, чтобы затем, в зависимости от выражения лица Кленка, свободнее или строже содержать заключенного Крюгера. Гартль — высокомерный ломака и фат. Все эти ландесгерихтсдиректоры и советники, эти тупые, узкие специалисты, эти безнадежные

болваны — каким жалким было их веселье! Кленком овладело безграничное отвращение, все сгущавшаяся скука. Даже и дразнить их не стоило. Нет, жалко потерянного вечера. Он вдруг ужасающе громко зевнул, не стесняясь произнес: «Простите, господа!» — и с шумом зашагал к выходу — огромный, в своей фетровой шляпе, оставляя за собою всеобщую растерянность.

Итак, эта часть вечера пошла к чертовой бабушке! Кто знает, может быть, с Флаухером дело обернется более занятно. К чему же иначе он оставил в правительстве этого узколобого болвана? Да, почему он, действительно, не выкинул его к черту?

У него, Кленка, по-настоящему нет никого, с кем бы он мог поговорить о своих делах. Человеку необходимо с кем-нибудь поговорить. Жена, эта высохшая, старая коза, и не догадывается о том, что он понаделал за эти дни, а еще меньше о том, что он за эти дни пережил. Или, может быть, все же догадывается? В эти последние дни она бродила еще более жалкая и несчастная, еще более раздавленная, чем всегда. А парнишка его, Симон? Давно уж не вспоминал он об этом бездельнике. Вероника, мать его Симона, бабенка, которая ведет хозяйство Кленка в Берхтольдцелле, держит язык за зубами, ни словом не обмолвится. Но у него есть сведения, идущие из банка в Аллертсгаузене, куда он пристроил мальчишку, и из других источников тоже. Мальчишка ведет себя неважно. Ни черта не делает, дикарь какой-то. Вспыльчив, от одного озорства переходит к другому. Сейчас спутался с кутцнеровской компанией, с «истинными германцами», с идиотами такими. Правда, долго это не протянется. Кстати сказать, чем мальчишка становится старше, тем больше он начинает походить на него, Кленка. Может быть, следовало бы больше о нем заботиться. Чепуха! Человека ничему нельзя научить. Каждый сам должен надеть своих собственных глупостей и запастись собственным опытом. Если парень будет похож на него, то это не так уж плохо. Тогда уж он сумеет захватить свою часть пирога.

Кленк добрался до «Тирольского погребка». Здесь, по всей видимости, он мог надеяться вознаградить себя

за неудачное начало вечера. Здесь были Грейдерер и Остернахер. Забавно было наблюдать за ними обоими. Положение Грейдерера в качестве местной знаменитости было вполне упрочено, и странная тесная дружба связывала теперь представительного и маститого знатока истории искусств, профессора Остернахера, с быстро, после неожиданного расцвета, опускавшимся художником, создавшим «Распятие». Изысканный и утонченный Остернахер, обычно крайне строгий в выборе женщин, которых он мог терпеть около себя, этот портретист, писавший исключительно светских дам, выносил сейчас присутствие дешевых грейдереровских «зайчат» и все его простонародные развлечения. Грейдереру очень льстила эта дружба. Остернахер вел с ним долгие беседы об искусстве. Все остальные отказывались разбираться в высокопарных и запутанных рассуждениях мужиковатого человека, он, Остернахер, один понимал его. У Грейдерера были интересные замыслы, в этом не могло быть сомнения. Он творил под влиянием тех же стимулов, что и Остернахер. В своем творчестве шел вперед по пути, на котором тот когда-то остановился. Бывший революционер Остернахер настораживался, высовывал щупальца, неотступно следил за всем, что писал Грейдерер, еще тщательнее старался уловить, что тот собирался писать. По мере того как Грейдерер становился все более ленивым и вялым, ощущал новый прилив сил. Собирал, накапливал все многочисленные, не додуманные до конца замыслы собеседника. Подбирал, слеплял воедино свои остатки и остатки другого. Чем черт не шутит: Остернахер еще добьется возрождения.

Кленк подсел к обоим друзьям. Он догадывался о мотивах, побуждавших Остернахера возиться с этим вульгарным малым. Его так и подмывало заставить изящного профессора извиняться от неловкости. Он постарался вызвать грубоватого Грейдерера на ряд компрометирующих заявлений, и Остернахеру пришлось, хоть и с большой неохотой, соглашаться с ними. Своим одобрением Кленк подстрекал Грейдерера ко все более грубым выражениям на тему о «тесно спаянной клике заправил искусства» и их «чуждовищной манерности»,

и Остернахеру приходилось расписываться под оскорблениями, которые, казалось, были направлены прямо по его адресу.

Лишь после этой закуски Кленк медленно, не топясь, перешел к Флаухеру. Тот сидел за столиком с депутатом оберланцингского избирательного округа Кастнером. В жизни Флаухера вражда с Кленком стала занимать такое же место, как его редька, его пиво, его политика, его собачонка. Он боязливо и в то же время жадно принохивался к приближавшемуся врагу.

Флаухер ворчливо спросил Кленка, какого тот мнения о дурацкой истории у Галереи полководцев. Там снова, — но на этот раз не в самой переполненной галерее, а на улице около нее, — должен был быть установлен новый памятник. «Истинные германцы» устроили по этому поводу демонстрацию, во время которой избили какого-то американца на том основании, что тот был похож на еврея. Последовали неприятные объяснения с американским представительством. Флаухер находил притязания Руперта Кутцнера, который во всей этой истории держался крайне нагло, хотя и несколько преувеличенными, но понятными. Оберланцингский депутат, жадно ловя каждое слово великого защитника самостоятельности Баварии, усердно, хотя и с должной скромностью, поддерживал его. Кленк, напротив, насмеялся над Кутцнером, над его гипсовым великолепием и жалкой болтовней. Тут был один из пунктов принципиальных разногласий между Кленком и Флаухером. Министр Флаухер покровительствовал «истинным германцам». Министр же Кленк умел использовать их там, где это было ему нужно, но находил, что Кутцнеру, когда он, соответственно своему характеру, чрезмерно наглел, следовало время от времени давать по морде.

— Боюсь, — закончил он, — что когда-нибудь нам придется подвергнуть психическое состояние Кутцнера медицинскому обследованию.

Флаухер помолчал. Затем неожиданно произнес странно тихим голосом, глядя Кленку прямо в глаза:

— Скажите, Кленк, раз вы вечно насмехаетесь надо

мной, почему же вы, собственно, оставили меня в правительстве?

Он говорил тихо, но вполне отчетливо. Перед Себастьяном Кастнером, преданным ему как собака, он не стеснялся. У депутата оберландцингского избирательного округа, внезапно оказавшегося втянутым в спор могущественных носителей власти, замерло сердце. Это неизбежно должно было скверно кончиться для такого сравнительно маленького человечка, как он. Он встал, несколько раз, заикаясь, пробормотал: «Извините, господа»,— и без надобности, нетвердыми шагами направился в уборную. Флаухер, напряженно вытянув шею, выставив вперед свой четырехугольный шишковатый череп и стараясь твердо взглянуть в лицо Кленку, повторил еще раз:

— Чего ради вы оставили меня в кабинете министров?

Кленк наклонился, искоса взглянул на разгневанного собеседника.

— Знаете, Флаухер,— сказал он,— я и сам задаю себе этот вопрос.

— Для меня, Кленк, совсем не забава работать с вами,— произнес Флаухер, сердито отталкивая таксу, которая терлась о его брюки.

— А для меня, Флаухер, это забава,— ответил Кленк, с большим вниманием выколачивая и вытряхивая свою трубку.

Охватив угловатыми пальцами бокал, Флаухер напряженно старался придумать ответ, который мог бы задеть противника. Он взглянул на свою манжету: она была туго накрахмалена, поношена и терла у сгиба руку. Он вспомнил о страхах и бесконечных отчаянных тревожениях последних дней. Вспомнил, как впервые услышал о предстоящем переформировании кабинета и о том, что заправилой всего дела являлся Кленк. Как вначале он не хотел этому верить, как узнал потом, что так оно и есть. Как полон был ярости и страха, что теперь снова из-под носа уплывет все, достигнутое им ценой стольких унижений и пота. Как душила его затем ненависть к Кленку, как взвешивал он вопрос, не подать ли ему в отставку, что Кленк

все равно выгонит его, и лучше уж ему самому уйти. Как он все же не мог решиться на такой шаг и остался ждать, пока Кленк не нанесет ему удара. Как затем, совсем неожиданно, именно он уцелел. Как он с облегчением вздохнул. Как затем, именно потому, что его пощадили, все с большей силой стала разгораться в нем ярость против Кленка. Они постоянно поддразнивали друг друга, и всегда верх одерживал Кленк, но никогда еще они так резко не высказывали друг другу прямо в глаза свое мнение один о другом, как в этот раз. И так как Флаухер был убежден в своей правоте и так как он боролся за правое дело, то должен же был бог, в ответ на эту величайшую наглость Кленка, на это циничнейшее признание, что на одном из ответственных постов в стране он оставил человека, которого считал ни на что не годным, оставил только ради своей личной забавы, — должен же был бог послать ему в ответ на эту неслыханнейшую наглость такие слова, которые бы унизили противника. Он сжимал рукой бокал из толстого стекла, не сводил глаз с потертой манжеты, выступавшей из-под грубой ткани рукава его мешковато сшитого костюма, и торопливо, беспомощно, напряженно придумывал, что бы ему сказать. Но ничего особенного придумать не сумел и произнес, наконец, даже без злобы, а скорее печально:

— Какой вы все-таки несерьезный человек, Кленк.

Кленк готовился услышать нечто беззубо-злобное, и его почему-то чрезвычайно задело это спокойное замечание глупого, презираемого Флаухера. Лучшего Флаухер не мог придумать. Кленк — это Кленк, и пишется — Кленк. Он — министр юстиции и полновластный хозяин Баварии. Ему должно было быть в высокой степени наплевать на мнение Флаухера, да и что вообще это означает: такой-то — «несерьезный человек»? Но удовольствие от перебранки с Флаухером во всяком случае было испорчено. Такса зевнула. Вино в бокале выглядело безобразно, было похоже на мочу. Кленк почувствовал, что в этот вечер ему и в «Тирольском погребке» повеселиться не удастся.

Он собрался и ушел. Хмурый, направился дальше, в находившееся неподалеку кабаре Пфаундлера. Под-

сел там к г-же фон Радольной и барону Тони Ридлеру, вождю местных ландскнехтов. За бутылкой особенно благородного красного вина, которое Пфаундлер приказал подать, постепенно забыл о Флаухере. Он рассеянно поглядывал на эстраду, пил, с медвежьим добродушием спорил с г-жой фон Радольной, которая, вопреки своему убеждению, утверждала, что проведение закона о лишении бывших владетельных князей имущественных прав вполне возможно. Деловито беседовал с Пфаундлером, высмеивал Тони Ридлера по поводу спортивного обмундирования его нелегальных отрядов ландскнехтов.

Спросил вдруг, повернув голову к маленькой эстраде и сразу насторожившись, словно неожиданно высмотрев красную дичь:

— Что это за девица?

На эстраде плясало какое-то худенькое, хрупкое существо с покорными, слегка раскосыми, порочными глазами, со странно скользящей, словно прилипающей к полу поступью.

— Она сегодня не в ударе, — сказал Пфаундлер. — Мне снова придется пригрозить ей увольнением.

— Собственно говоря, — произнесла г-жа фон Радольная, — вас, Кленк, закон о реквизиции княжеских имуществ должен интересовать так же, как и меня. Даже больше: ведь вы честолюбивы!

— Как ее зовут? — спросил Кленк.

— Это — Инсарова, — ответил Пфаундлер. — Неужели вы о ней не слыхали?

Нет, Кленк ни разу не видел ее. Танец кончился, вызвав умеренные аплодисменты. Заговорили о другом.

— Она будет еще выступать сегодня? — немного погодя обратился к Пфаундлеру Кленк.

— Кто? — спросил тот.

— Ну, эта самая... как ее там зовут? Эта ваша русская танцовщица.

— Нет, — ответил Пфаундлер. — Мы, к сожалению, вынуждены здесь в двенадцать кончать. Но она будет рядом, в «Послеполуденном клубе».

— Шикарная женщина, а? — произнес вождь ландс-

кнехтов Тони Ридлер с улыбкой собственника на красивом дерзком лице.

Кленк заговорил с г-жой фон Радольной. Немного погодя он повернулся к вождю ландскнехтов:

— Вы оказали бы, между прочим, всем нам, да и самому себе, услугу, если бы постарались сделать пребывание майора фон Гюнтера в вашем имении несколько менее заметным,— сказал он.

— Майора фон Гюнтера? — переспросил Тони Ридлер.— Как же вы воспретите Гюнтеру открытое пребывание в моем имении, дорогой Кленк, раз мне это доставляет удовольствие?

Своими карими глазами, белок которых отливал коричневатым оттенком, он дерзко взглянул в лицо Кленку.

— Можно арестовать человека хотя бы, например, за лжесвидетельство,— произнес Кленк довольно недружелюбно.

Властное лицо барона Ридлера налилось краской.

— Хотел бы я поглядеть, как кто-нибудь арестует Гюнтера раньше Страшного суда! — сказал он.

— Пойдете вы в «Послеполуденный клуб»? — спросила г-жа фон Радольная.

— Да, пойду,— ответил Кленк.

Вождь ландскнехтов тоже присоединился к ним.

«Послеполуденный клуб» оказался небольшим, уютным, плохо освещенным залом с теми же посетителями, теми же эстрадными номерами и теми же кельнерами, что и в кабаре Пфаундлера. Инсарова подошла к их столику.

— Ленивее танцевать вы не можете? — накинулся на нее Пфаундлер.— Вы сегодня работали как свиньи!

— Как кто? — переспросила Инсарова.

Кленк, глядя на нее, одобрительно улыбнулся.

— Как вы обращаетесь со своими служащими, Пфаундлер? — заметил он.— Против этого следовало бы принять меры.

— Я сегодня нездорова,— произнесла Инсарова своим неестественным, болезненным голосом.

Она беззастенчиво, испытующе поглядела на Кленка, затем повернулась к вождю ландскнехтов, явно пока-

зывая, что тот нравится ей больше. Кленк продолжал оставаться в прекрасном настроении, острил, старался показать себя в возможно лучшем свете перед русской танцовщицей, которая принимала его комплименты с легким любопытством, без улыбки, довольно равнодушно.

Кленк и на обратном пути оставался веселым. Весело решил на ближайшем заседании совета министров провести более решительные меры против кутцнеровского движения. Весело решил обратить более настойчивое внимание как на Тони Ридлера и его «спортивные объединения», так и на майора фон Гюнтера с его ложной присягой. Он давно собирался это сделать.

Флаухер между тем в это же время направлялся домой в сопровождении депутата Себастьяна Кастнера. Когда после достаточно длительного пребывания за дверью Кастнер возвратился к столику, он, к своему удивлению, застал Флаухера одного со спящей у его ног таксой. Флаухер был сейчас в очень приподнятом настроении: он, видимо, ловко отбрил Кленка. Депутат оберланцингского избирательного округа попросил о милостивом разрешении проводить министра до дому. Не обращая внимания на назойливо путавшуюся под ногами таксу, он шел все время почтительно на четверть шага позади Флаухера, радуясь, что старозаветные честные убеждения этого человека восторжествовали над высокомерным новаторством Кленка и что он завтра может вернуться в горы к своим избирателям с этим успокоительным известием.

Гости из «Братвурстглеккеля» тоже собрались домой. Некоторым из господ судей предстоял общий, довольно далекий путь до Богенгаузена, через Английский сад. Гартль, как они и надеялись, сам уплатил за угощение. Демонстрация министра во славу коллег, во славу независимости и блеска судебного звания возвышала их души, заставляя забыть о тяжелых временах. Они были совсем выбиты из колеи. Брили по темному парку в своих приличных, хотя и немного потертых костюмах. Они не думали о тех трудностях, с которыми их жены на следующий день будут добывать необходимые съестные припасы и хлопотать о поддержании домашнего бюджета. Не вспоминали они и о делах, назначен-

ных к слушанию на следующее утро, не вспоминали об объектах этих дел, о тех двух тысячах трехстах пятидесяти восемью годах тюрьмы, к которым приговорили обвиняемых четверо из них. Но зато вспоминали о фуражках, лентах, о пиве, о фехтовании, о борделях, обо всей блаженной обстановке их юности и пели с подъемом и увлечением, какие только способны были выразить их стареющие голоса, латинскую песню: они будут веселы, пока молоды после радостной юности, после тоскливой старости всех их примет сырая земля. Подпевали и двое из них, протестанты, совсем забыв, что из экономии они давно уже записались в члены общества ревнителей кремации.

6

СОБАЧЬИ МАСКИ

Через несколько дней после беседы с доктором Бихлером Иоганне, проходившей мимо террасы небольшого кафе неподалеку от Оперы, поклонился какой-то молодой человек и, поднявшись, фамильярно и развязно подошел к ней. Костюм на нем был светлый, свободный. На бледном, наглом, легкомысленном лице резко выделялись очень красные губы. Он попросил Иоганну составить ему компанию. Она поколебалась мгновение, затем все же под села к столу.

Как выяснилось, Эрих Борнгаак часто бывал в Париже и хорошо знал город. Одно время он даже водил по городу иностранцев. Он легко и бегло говорил по-французски. Не проводить ли ему и ее разок по городу? Он мог бы показать ей много такого, что ей одной, наверно, не придется увидеть. Он, прищурясь, смотрел на нее. Выглядел он неважно.

— С тех пор как я был гидом, прошла целая вечность, — сказал он, смеясь. — Теперь у меня другие дела, довольно сложные.

Его лицо, при всей своей порочности, вдруг сделалось совсем мальчишеским. Он настойчиво стал приглашать ее навестить его. У него хорошенькая квартирка в Кламаре. В его распоряжении есть также и

машина. У него в самом деле очень мило и даже небезынтересно.

Она пришла к нему. Крохотные комнатухи Эриха Борнгаака в Кламаре, в домике среди деревьев, были очень нарядны, кокетливы, но плохо прибраны. На стенах висели гипсовые слепки собачьих голов; много, самые разнообразные: терьеры, доги, спаньели — собаки всех пород. Эрих Борнгаак расхаживал по комнатам, изящный, развязный, насмешливо улыбаясь, распространяя легкий запах кожи и свежего сена. Она не доставила ему удовольствия, не спросила о значении странных собачьих масок.

Он рассказывал о своих политических делах.

— Если бы я захотел — у меня многие бы вылетели в трубу! — заметил он.

Он называл имена. Без стеснения говорил о надеждах, возможных неудачах. «Разве мы с ним сообщники?» — подумала Иоганна и сама удивилась, почему это слово пришло ей в голову.

— Ведь мы, собственно говоря, политические противники, — сказал вдруг Эрих. — Но я терпим.

Небрежно, любуясь собой, он отдавал себя в ее руки. «Чего он хочет? — задавала себе вопрос Иоганна. — К чему он все это мне говорит?»

Эрих оглядывал высокую девушку с ног до головы, чуть-чуть манерно держа папиросу кончиками тонких, выхоленных пальцев. «В ней нет возбуждающего шика, — размышлял он. — Когда я бываю с Лореттой, это со стороны должно выглядеть лучше. И все же было бы любопытно полежать с ней в постели. Что-то такое в ней есть. Она, надо полагать, сентиментальна».

— Моя миссия, — сказал он, — пожалуй, довольно занята, если что-нибудь вообще может быть занятым в этом скучнейшем из миров. Мещанская мораль назвала бы это, пожалуй, «шпионажем», политические фразеры болтали бы о «тайных судилищах». Мне наплевать на ярлыки. Чем плох шпион? Перехитрить человека ведь труднее, чем животное? Боксер пользуется большим уважением, чем тореадор.

— Как вам нравится господин фон Дельмайер? — спросил он неожиданно. Он лично находит его прямо

изумительным. Иоганна вспомнила, как оба приятеля высмеивали друг друга в Гармише. Сейчас Эрих с восторгом говорил о своем друге и, как казалось Иоганне, был вполне искренен.

— Наши дела тесно связаны,— объяснил Эрих.— Один разъезжает, другой остается в городе, и так по очереди. У нас много дел, не одни только политические.

Он показал ей статьи левых газет, полные разных нападок на полицию за то, что она слишком мало предпринимает для выяснения обстановки убийства г-на Г., левого депутата. Это преступление было совершено в Мюнхене прямо на улице, причем власти до сих пор не могли напасть на след убийцы. В статьях указывались следы. Там говорилось, что некий г-н фон Д. мог бы, вероятно, сообщить некоторые сведения. Описывалась наружность г-на фон Д., и ясно было, что речь шла о Дельмайере, что именно его считали убийцей.

— Что это значит? — спросила Иоганна, и три борозки прорезали ее лоб.

Она порывисто встала, швырнула на стол газеты, взглянула на Эриха гневными серыми глазами. Он остался сидеть и ответил весело, все с тем же наглым мальчишеским лукавым лицом, слегка обнажая в улыбке белые зубы:

— На войне нас звали героями, сейчас — убийцами. Я нахожу это печестным и нелогичным.

Без всякого перехода он заговорил о своей любви к Парижу, о сексуальных особенностях парижских девиц легкого поведения.

Все, что этот человек говорил, исходило из какой-то душевной пустоты и было Иоганне противно. Она перестала слушать, через открытое окно глядела на светло-зеленые деревья, напряженно стараясь отдать себе отчет, зачем она сюда пришла, почему, собственно, не уходит. Она чувствовала, что оцепенение последних недель спало с нее. Злилась на этого человека, возмущалась, жила полной жизнью.

Когда она снова начала прислушиваться, он говорил об описях собак. Он рассказывал очень образно, изредка вставляя в свой рассказ циничные замечания. Но при этом не спускал с Иоганны глаз, впивался в

нее острым, пронизывающим взглядом, напоминающим ей доктора Гейера. Голод в Германии возрастал, доллар стоил уже 408 марок. Каравай хлеба стоил в Мюнхене 15 марок 20 пфеннигов, фунт какао — 58 марок, охотничья куртка — 1100 марок, простой костюм — от 925 до 3200 марок. Многим было уже не под силу платить налог, установленный для владельцев собак. Они были привязаны к своим собакам, но откуда было им взять денег? Они придумывали для приходившего с описью чиновника тысячи уверток, осыпали его проклятиями, плакали, умоляли. Эрих Борнгаак сидел в своем низком кресле, рассказывал очень живо; папироса его потухла. Почти видимые для глаз, вырастали из его слов мужчины, полные молчаливой, глухой угрозы, плачущие женщины и дети, мальчики, мужественно подавляющие ярость и боль. Прилипшие к стеклам лица, глядящие вслед уводимой собаке. Женщины все повторяли почти одно и то же. «Ничем не нужно обзаводиться, — говорили они с тупой болью. — Когда человек беден, у него отнимают и последнее». Ему пришлось несколько раз присутствовать при такой описи. Он ведь, между прочим, занимался и разведением собак. Даже призы получал. Душой дела был фон Дельмайер. Изумительный человек, право!

— Кстати, что вам, собственно, сделали мои газеты?

Он с дерзкой улыбкой уставился на Иоганну, убрал со стола газеты с отчетами об убийстве депутата Г., тщательно сложил их и снова запер в ящик. Закурил еще одну папиросу.

— Я знаю людей, которых собачья опись способна зацепить за самое нутро. Лучше всякого кино, изумительно! Не понимаю, кстати сказать, почему эти бедняги не сожрут лучше своих собак! Впрочем, нет — я понимаю: я ведь сам люблю собак.

Он указал на собачьи маски, объяснил свой метод. Эти слепки сделаны с живых собак — под наркозом, разумеется. Тут требовались особые приемы. Обычные не годились — мешала шерсть.

— Разве эти маски не производят сильного впечатления именно благодаря закрытым глазам?

Без всякого перехода он заговорил об ее профессии. Она, по-видимому, перестала ею заниматься? Он как-то думал заняться всерьез, в качестве профессии, изготовлением человеческих масок, он находит это интересным. Косвенно это соприкасается и с ее специальностью. Из этого безусловно можно было бы сделать дело. Фотографические снимки всем уже успели надоесть. Следовало бы открыть большую контору, снимать с клиентов гипсовые слепки, составлять характеристики на основании маски и почерка. Не интересуется ли ее организация такой конторы?

Вот уже он снова увлекся планами. Да, он охотно строит планы. Возможно, что это качество — результат окопной скуки. «Геройская» жизнь на фронте — она и представить себе не может, какая это тошнотворная тоска! Некоторые его проекты даже были в конце концов осуществлены. Хотя бы вот эта штука с собаками. Он рассмеялся своим порочным и в то же время мальчишеским смехом.

Иоганна ехала домой с каким-то двойственным чувством. От его предложения отвезти ее в Париж на автомобиле она отказалась. Он весь был для нее неприемлем, этот фатоватый малый. Все же, помимо ее желания, в ее памяти запечатлелись его интонации, его лицо, его белые зубы. Убийство депутата Г., собачьи аукционы, изумительные качества фон Дельмайера, прогулки с иностранцами по ночному Парижу с нанятыми для этого случая апашами. Легкий запах кожи и свежего сена. Странные физиономии терьеров, догов, спанелей, такс, овчарок, борзых.

Она ответила отказом, когда он во второй раз пригласил ее. В третий раз — также. В четвертый — она встретила с ним в кафе. На этот раз он был любезен и сдержан. Мало говорил о собственных делах, с полным пониманием и искренним сочувствием слушал, когда Иоганна рассказывала о своей борьбе за освобождение Мартина Крюгера.

Вскоре после этого Гессрейтер стал распространяться о том, что жить в гостинице неудобно. Еда, правда, недурна, но длительно жить так — неуютно. Кроме того, Иоганна слишком мало внимания обращает на

самое себя, она словно ребенок, и ей необходим кто-нибудь, кто бы смотрел за ней. Иоганна поглядела на него, ничего не возразила.

После разговора с тайным советником Бихлером ей почти ничего больше не удавалось предпринять для Мартина Крюгера. Раза два-три она встречалась с влиятельными журналистами, но ей не удалось вызвать сочувствие у этих господ. Теперь вдруг она стала замечать, что как-то без всякого ее участия во Франции пробудился интерес к доктору Мартину Крюгеру как к человеку, к его судьбе, но прежде всего к его книгам. Исходной точкой этого интереса явилась довольно большая статья художественного критика Жана Леклерка. Иоганну интервьюировали, имя Мартина Крюгера все чаще стало упоминаться в парижской печати. Подвергали анализу его теории, переводили статьи, одно из крупных издательств извещало о предстоящем выходе в свет его работы «Три книги об испанской живописи». Кто-то, несомненно, постарался пробудить этот внезапный интерес, продолжал поддерживать его; но кто именно — Иоганне не удавалось узнать. Гессрейтер был раздосадован тем, что не он виновник этого благоприятного поворота, и также ничего не знал.

Через два дня после того, как он так обстоятельно расписал Иоганне, как неуютно жить в гостинице, Гессрейтер неожиданно предложил ей снять квартиру и выписать тетку Аметсридер. Иоганна вполне недвусмысленно ответила, что находит жизнь в гостинице очень приятной и довольна, что освободилась от тетки. Кроме того, она считает совершенно излишним сейчас, во время инфляции, тащить за собой сквозь дороговизну парижской жизни еще третье лицо. Гессрейтер мягко ответил, что ей не к чему об этом думать: его дела идут превосходно. Оказалось, что квартиру он уже снял и написал тетке Аметсридер. Впервые между ним и Иоганной дошло до ссоры. Гессрейтер выслушал все ее резкости мягко и сдержанно.

Оставшись одна, Иоганна задумалась, не порвать ли с ним. Зачем понадобилось ему присутствие в Париже тетки Аметсридер? Она ничего не говорила

ему о своих встречах с Эрихом Борнгааком, не знала, известно ли ему что-нибудь о пребывании в Париже этого ветрогона. Не ревновал ли он? Не собирался ли он посадить ей на шею компаньонку? Он был мягок, любезен, но упорен и, когда задевались его интересы, не слишком разборчив в выборе средств. Она ощутила кисловатый запах его завода.

Серьезно взвешивала она, не вернуться ли ей к своей графологии. Вспомнились собачьи маски ветрогона. Его предложение было вовсе не таким глупым. Он вообще не был глуп, этот мальчишка. Маски были чем-то гораздо более основательным, были во много раз осязательнее, чем бледные, более или менее произвольные анализы почерка. Она вспомнила о том, как Эрих Борнгаак рассказывал о способах изготовления таких масок. По его мнению, изучить технику этого дела было нетрудно.

Опустившийся человек. Не лишен способностей. Он безусловно искренне был взволнован, когда рассказывал о собачьих описях. Она отыскала записку, в которой он последний раз приглашал ее. Принялась анализировать. Тут все было ясно с первого взгляда. Она глядела на легкие, словно разлетающиеся, нетвердые линии почерка. Неустойчивый, изобретательный, безответственный, опустошенный человек. Гнусные, подлые, бездушные намеки по поводу убийства депутата. Неустойчивый, изменчивый. В последний раз он говорил с ней с искренней готовностью помочь ей, как брат. Спокойно, благоразумно. Гораздо более четко и ясно, чем когда-либо Гессрейтер. Не удастся ли здесь все-таки добраться до твердой, здоровой почвы?

Расстаться ли ей с Гессрейтером?

Пришел Гессрейтер. Он вел себя так, словно и не было их последнего резкого разговора. Был осторожен, пежен. Нелегко будет отучить себя от этой постоянной заботливости. Нелегко будет также снова начать метаться в погоне за деньгами. Борьба за Мартина Крюгера станет много затруднительнее без Гессрейтера.

Когда было уже окончательно решено переехать на квартиру и вызвать тетку Аметсридер, Иоганна встре-

тилась с Эрихом Борнгааком в кафе. Снова он вел себя без аффектации, благоразумно. Когда она заговорила о неожиданном интересе, проявленном парижской прес-сой к Мартину Крюгеру, он сказал, что это его очень радует. Очевидно, он поступил правильно, обратив внимание г-на Леклерка на работы Крюгера. Иоганна умолкла, пораженная, не зная, верить ли ему. Возможно ли, чтобы ветрогон имел влияние на знамени-того художественного критика? Он больше не возвра-щался к этой теме, ограничившись беглым, скупым за-мечанием.

Они расстались, условившись, что в один из бли-жайших дней он свезет ее к морю в своем маленьком автомобиле. Возвращаясь домой, она тихонько напевала сквозь зубы, почти неслышно, немузыкально, задум-чиво, весело.

7

ШЕСТЬ ДЕРЕВЬЕВ СТАНОВЯТСЯ САДОМ

Обер-регирунгсрат Фертч, человек благожелатель-ный, лично никогда ничего не имел против заключен-ного номер две тысячи четыреста семьдесят восемь. Теперь, когда всемогущий Кленк явно желал прове-дения более мягкого курса в осуществлении наложен-ного на приговоренных наказания, все шире станови-лась та светлая полоска, которой Фертч позволял играть на горизонте заключенного Крюгера. Директор старался облегчить ему дни пребывания в тюрьме.

С тех пор как парижская пресса открыла искусство-веда Мартина Крюгера, его почта с каждым днем ста-новилась все объемистее. Передавая ее, директор заво-дил со своим заключенным долгие, спокойные беседы. Поздравлял его с возрастающим успехом, интересо-вался его мнением о том или другом художнике. О, че-ловек с кроличьей мордочкой не был узким специали-стом в своей области — у него были самые широкие интересы! Он пробегал иногда и несколько страниц из книг Крюгера. Однажды он попросил серо-коричневого человека написать ему на одной из этих книг авто-

граф. Иногда он благожелательно, добродушно посмеивался по поводу многочисленных женских писем, получаемых Крюгером. Многие теперь вдруг вспомнили о нем, и, наряду с письмами заграничных поклонниц, приходили письма и от немецких женщин, вспоминавших о днях, ночах и неделях, проведенных ими в обществе этого некогда столь блестящего, а ныне так тяжко пострадавшего человека.

Серо-коричневый человек, как всегда, вежливо подерживал разговоры с директором. «Теперь он снова стал покладистее», — рассказывал человек с кроличьей мордочкой своим соседям по столу завсегдатаев — священнику, бургомистру, учителям и помещикам. Все интересовались заключенным, о котором было столько разговоров, особенно жены одельсбергских именитых граждан. Обер-регирунгсрат намекал на возможность как-нибудь показать им Крюгера во время его прогулки по двору. «Он человек спокойный, надо только уметь обращаться с ним!» — сообщал он.

Да, Мартин Крюгер действительно изменился после того, как узнал, что благодаря показаниям Кресценции Ратценбергер положение его улучшилось, и даже указание адвоката на то, что от подачи прошения о пересмотре до самого пересмотра долгий, в большинстве случаев непреодолимый путь, не могло уже повергнуть его в прежнее состояние подавленности и отупения. Он больше не сидел по целым дням, размышляя над своей рукописью. Жадно читал получаемые письма, изучал их, изучал также рецензии на свои книги, выучивал — аккуратный бухгалтер собственной славы — чуть ли не наизусть статьи, с поверхностным изяществом написанные кем-то о нем. С тоской ожидал он часа раздачи почты — единственной связи его с внешним миром. Как только он ее получал, он с надзирателями, товарищами по заключению, директором заговаривал о получаемых им письмах, о женщинах, преследующих его своими письмами даже в тюрьме, о своих успехах и влиянии.

Больше всего говорил он об этом с заключенным, которого присоединяли к нему во время прогулок, — с Леонгардом Ренкмайером. Подвижной, суетливый

Ренкмайер был горд своей близостью с таким большим человеком, как доктор Крюгер. Обращаясь к нему, он называл его не иначе, как «господин доктор», и, по мере того как там, за стенами тюрьмы, росли симпатии к его товарищу по заключению, он, Леонгард Ренкмайер, несмотря на молодость, тоже вырастал в собственных глазах. В свое время, попав в плен, он сообщил неприятельскому офицеру, угрожавшему ему револьвером, какие-то, кстати сказать, не имевшие никакого значения, сведения о расположении какой-то батареи. По окончании войны, вернувшись на родину, он разболтал о своих приключениях. Какой-то националистически настроенный фельдфебель донес на него, и он «за измену во время войны» был приговорен к пятнадцати годам тюрьмы. Преступные деяния, связанные с войной, попали под амнистию, но в Баварии особым постановлением были изъяты преступные деяния военного времени, «совершенные из низменных побуждений». Ренкмайеру баварский суд вменил «низменные побуждения». Ввиду того что к такому выводу можно было прийти только путем весьма искусственных построений, случай этот привлек общее внимание. Депутат доктор Гейер произнес на эту тему в парламенте очень резкую речь, все германские левые газеты были возмущены тем, что преступление, связанное с войной, могли карать через столько лет после окончания этой войны. Заключенный Ренкмайер очень гордился этим возмущением. Сознание, что так много говорят о совершенной по отношению к нему несправедливости, питало его жизненные силы. Он упивался им, пьянел. Это был долговязый, узкогрудый человек, белокурый, с высоким лбом, острым носом, тонкой бесцветной кожей и жидкими волосами. Весь он казался сделанным из промокательной бумаги. Водянистым голосом с увлечением, старательно рассказывал он Мартину о своем деле. Требовал, чтобы Мартин понял все его интересные особенности, оценил их по достоинству. Крюгер выслушивал, оценивал. Он входил в круг интересов этого болтливого человека, стремившегося играть хоть какую-то роль, в долгие тюремные ночи думал о рассказах и соображениях Ренкмайера и на следующий

день высказывал свое мнение. В виде компенсации Ренкмайер с благоговейным вниманием выслушивал истории «доктора». Они бродили по двору — блестящий Мартин Крюгер и бледный, жалкий Ренкмайер, вызывали друг другу участие, находя поддержку друг у друга. Это были хорошие часы, когда они вместе обегали небольшой кружок двора, освещенный солнцем, среди шести замурованных деревьев. Деревья становились садом.

За то время, что Мартин Крюгер сидел в Одельсберге, прошло лето, за ним осень, зима и весна, и пришло новое лето. Иоганна Крайн побывала в Гармише, обвенчалась с Крюгером, а теперь жила с коммерции советником Гессрейтером во Франции. Построены были новые летательные аппараты, был совершен перелет через океан, по воздушным волнам в каждый дом теперь передавались музыка и доклады. Законы природы, социологические законы были открыты за это время, написаны картины, книги; его собственные книги, устаревшие, уже ставшие ему чужими, завоевали Францию, Испанию. Верхнесилезская промышленная область в большей своей части отошла к Польше. Император Карл Габсбургский сделал трагикомическую попытку вновь завоевать свой троп и умер на Мадейре. Расколовшаяся социал-демократическая партия Германии вновь слилась воедино. Ирландия завоевала себе самоуправление. Германия совещалась в Канне, а затем в Генуе со своими победителями о возмещении военных убытков. Английский протекторат над Египтом был отменен. Власть Советов в России укрепилась, в Рапалло был подписан договор между Германией и Советским Союзом. Марка упала еще ниже, чуть ли не до одной сотой своего золотого паритета, а вместе с ней и жизненный уровень немцев. Пятьдесят пять из шестидесяти миллионов германских граждан не были сыты и терпели нужду в платье и домашней утвари.

Мартин Крюгер мало что обо всех этих вещах слышал, лишь косвенно ощущал их воздействие. Сейчас, в эти ранние дни лета, к нему вернулось многое от его прежнего блеска. Нелегко было в этот период устоять

перед его обаянием. Его жадность к жизни не была безобразной, тоска не была жалкой, уверенность достигнуть желаемое окрыляла его. Он был полон участия ко всему происходившему вокруг него. Был предупредителем, остроумцем, умел хорошо смеяться. Его спокойная покорность судьбе передавалась другим, подымала их дух. Какие-то лучи исходили от серо-коричневого человека, и это ощущали все: врач, надзиратель, даже «небесно-голубые», срок наказания которых был бесконечен, как голубое небо, — приговоренные к пожизненному заключению.

Ночью, правда, блеск потухал. Ночи начинались с того, что вечером, еще засветло, приходилось выносить свое платье за дверь камеры. Человек лежал тогда на койке в одной короткой рубашке, едва прикрывавшей стыд. Двенадцать часов длилась такая тюремная ночь. Проспать двенадцать часов было невозможно, если за день человек почти не был в движении. Время до полуночи было самым лучшим: тогда еще доносились звуки из местечка Одельсберг, людские голоса, лай собак, очень отдаленное хрипение граммофона или, может быть, радио, треск автомобиля. Затем оставался лишь шум, производимый надзирателем, — монотонная звуковая пьеса. Звуки расшифровывались, как загадка; вот надзиратель опускается на скамью, вот он раскуривает трубку, вот потягивается его собака. Сейчас собака уснет. Она патаскана на человека, хорошая собака, только немного стара. Ага, вот собака уже храпит. Сейчас совсем тихо. Зимой человек тоскует по лету, чтобы раньше рассветало, чтобы хоть, жужжа, ударилось о стекло насекомое. Летом человек тоскует по зиме, когда можно прислушиваться к гудению в трубах парового отопления.

Когда становится совсем тихо, человек терзается тем, что от произведений, созданных им, от успеха, выпавшего на его долю, от женщин, принадлежавших ему, не осталось ничего, кроме клочка исписанной или покрытой печатными знаками бумаги. Какими чудесными вещами он обладал! Его томит раскаяние, что он так мало их ценил, пока владел ими. Когда Мартин Крюгер будет опять на свободе, у него появится возможность

наслаждаться ими по-настоящему. Стоять перед картиной, вкушать производимое ею впечатление, знать, что это ощущение можешь передать другим. Шагать взад и вперед по прекрасному кабинету, диктовать аппетитной, толковой секретарше, радующейся каждой удачно сложившейся фразе. Разъезжать, наслаждаться впечатлением, которое производит его имя, — ведь теперь он уже не только знаменитый искусствовед, но еще и мученик, пострадавший за свои убеждения в области искусства. Сидеть в красивом зале, вкусно есть, пить изысканные вина. Лежать в удобной кровати с хорошо пахнущей, хорошо сложенной женщиной. Он изнемогал в страстной жажде этих вещей, рисовал их себе. Обливался потом, тяжело дышал.

В часы после полуночи, когда царит полная тишина, острее всего терзает половой голод. Все в этом здании страдают от этого голода. Чтобы его ослабить, к пище прибавляют соду, это лишает пищу последнего вкуса, но не помогает. Во всех камерах, кругом происходит одно и то же. Каждая передаваемая стуком весть говорит об этом. Чтобы хоть как-нибудь обмануть свою чувственность, придумывают самые странные вещи. Из носовых платков, из лоскутьев одежды делают кукол, суррогат женщины. Каждый орнамент, даже самые буквы превращаются в чувственные образы. В эти тихие ночи лишенный сна человек рождает женщин воображением. Из получаемых писем Мартин Крюгер воссоздает тела пишущих ему женщин. Судорожная напряженность и вожделение гротескно увеличивают все относящееся к полу. В тюремную ночь перед Мартином Крюгером пляшут все наслаждения его прежних почей. Но вода, выпитая годы назад, не утоляет сегодняшней жажды.

Наконец-то светает. Остается еще четыре, еще три, еще два часа до начала тюремного дня. Ах, вот раздался пронзительный звонок, начинается день, сейчас все будет хорошо. С оглушительным лязгом быстро, один за другим, отскакивают стальные засовы камер, и в пустых коридорах отдается долго не смолкающий гул. Вначале этот отвратительный, резкий переход от мертвой тишины ночи к грохоту дня терзал его нервы. Сейчас он радуется, что снова наступил день. Да, он

почти что рад необходимости еще некоторое время быть лишенным прежних радостей: тем ярче будет он наслаждаться, когда выйдет на волю.

Он чувствовал себя крепким и не находил, что здоровье его страдает от заключения. Вначале отвратительный воздух камеры, вопь кадки делали его больным. Несколько раз вначале, выходя из спертого воздуха тюрьмы на свежий воздух двора, он падал, теряя сознание. Теперь и легкие и кожа привыкли к этим условиям. Только сердце время от времени давало себя чувствовать. Он наглядно описывал врачу это чувство невыносимого давления: оно длится совсем недолго, но дает ощущение конца. Доктор Фердинанд Гзелль выслушивал его рассказ. Посещение тюрьмы было его дополнительной обязанностью, у него была своя частная практика, четырнадцатичасовой рабочий день. То, что жизнь в тюрьме не способствовала укреплению здоровья, было ему давно известно. То, что большинство «пансионеров» обер-регирунгсрата Фергча вначале всегда жаловалось на недомогание, также было для него не ново. Он выстукал и выслушал Крюгера, сказал благожелательно, с видом превосходства, свойственного специалистам, что в сердце ничего не находит. Взглянул на часы, — он торопился. В случае, — заметил он, уже стоя в дверях, — если все же окажется что-нибудь с сердцем, то пребывание в Одельсберге будет для пациента полезнее, чем его бурная жизнь вне этих стен; над этой остротой как Крюгер, так и врач весело посмеялись.

Хотя Крюгер и был сейчас полон прежнего блеска, по его письма к Иоганне все же оставались бледными, неокрыленными. Он горел желанием написать ей так, как чувствовал: оживленно, бодро, с яркой надеждой. Но это не удавалось ему. Вплетались фразы, которые он не мог написать хорошо и которые директор никогда не пропустил бы.

Мартин Крюгер был теперь охвачен лихорадочной жаждой работы. Картина «Иосиф и его братья» погрузилась куда-то в глубину, не мог он сейчас заниматься и изысканным художником Алонсо Кано. Зато он принялся за заметки, набросанные им как материал к боль-

шой работе об испанце Франсиско Хосе де Гойя. Ему удалось добыть книги с репродукциями картин и рисунков Гойи. Он впитывал в себя историю этого пылкого человека, страстно любившего жизнь, хорошо знакомого с ужасами церкви, войны и юстиции, впитывал в себя сновидения и вымысел состарившегося и оглохшего, но не утратившего жажду жизни испанца, его «Сны» и «Капричос». Он разглядывал листы с изображением заключенных, закованных в ручные и ножные кандалы, с изображением безмозглых «ленивцев» с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, носивших зато на боку меч и на груди панцирь с гербом. Картины, рисунки, фрески, которыми удивительный, дикий старик украсил свой дом: встающего из тумана гиганта, пожирающего живого человека; крестьян, уже по колено увязших в болоте, но все еще дерущихся дубинами за свой пограничный камень; унесенную потоком собаку; расстрел мадридских революционеров; картины поля битвы, тюрьмы, сумасшедшего дома. Никто до Мартина Крюгера не сумел так разглядеть могучее бунтарство, кроющееся в этих картинах. Репродукции помогали человеку в тюрьме снова, с удесятеренной силой вызвать в себе первичное впечатление. Он вспоминал вещи, которые годами, мертвые, покоились на дне его сознания, вспоминал залы и кабинеты музея «Прадо» в Мадриде, растрескавшиеся квадраты паркета, скрипевшие под его ногами, когда он разглядывал картину, изображавшую королевскую семью с мертвыми, призрачными глазами, похожими на булавоочные головки. Он пытался механически воспроизвести странные подписи, помещенные испанцем под картинами. Испугался, заметив вдруг, что целыми днями, целыми ночами занимается этим. Во мраке ночи он вновь и вновь чертил в воздухе слова: «Я это видел», помещенные испанцем под гравюрами, изображавшими ужасы войны. Воспроизводил подпись испанца: «Ничто», а также подпись: «Вот для чего вы рождены», под жуткой картиной с трупами. Страдания плоти отступали перед диким наслаждением бунта. Он так сжился с буквами Гойи, что они постепенно вытеснили его собственные, и он свои немецкие фразы стал писать почерком Гойи. В те дни он создал для своей

книги о Гойе главу «Доколе?», пять страниц прозы, с тех пор помещаемых во всех революционных учебниках. Так некогда глухой старик озаглавил лист с изображением гигантской головы со страдающим лицом, на которой кишат муравьи разложения.

Однажды обер-регирунтсрат Фертч попросил прочесть ему что-либо из того, что он пишет. Человек с кроличьей мордочкой мало что понял, но испугался. Он хотел запретить Крюгеру писать. Его губы быстро-быстро зашевелились, то поднимаясь, то опускаясь, но он побоялся осрамиться и ушел, пожимая плечами.

Теперь, когда Иоганна путешествовала за границей, самым близким Мартину посетителем был Каспар Прекль. Молодой инженер после своего увольнения стал еще менее покладистым. Новая перемена, происшедшая в Крюгере, возмущала его. Был момент, когда Крюгер готов был почувствовать почву под ногами, а теперь он вновь плавал по поверхности, легко и играючи эстетствуя, не используя своих способностей. Судьба забросила его в тюрьму, дав ясно понять, что ему суждено наконец-то добраться до самых глубин. Но он, чересчур ленивый, дав себе волю, пренебрег указанием судьбы. Он по-настоящему растолстел и стал, даже в тюрьме, лосниться от жира. Каспар Прекль наседали на него. Разрушал то, что создавал Мартин Крюгер, пытался толкнуть его на путь таких проблем, которые он называл настоящими, доказывал ему, что он из лени избегает на них останавливаться. Мартин Крюгер, в своей самоуверенной, окрыленной удовлетворенности, сначала не подпускал его близко, но наконец человек искусства заговорил в нем. Он стал защищаться и сам нападать на Прекля. Начал сердиться.

— То, что вы попались на удочку коммунизма,— заявил он Преклю,— доказывает, что у вас от природы поразительно слабо развит социальный инстинкт. То, что для других — просто инстинкт, нечто разумеющееся само собой, прошлогодний снег,— поражает вас своей новизной, своим якобы научным фасадом. Вы — бедный человек, вы не умеете перевоплотиться в другого человека. Вы не умеете сочувствовать другим и поэтому стараетесь привить себе это переживание искусственно.

Вы сидите, укрывшись за стенами, в десять раз более толстыми, чем те, что окружают меня. Вы ненормально эгоцентричны. Ваш «автизм» — гораздо более скверная тюрьма, чем Одельсберг. К тому же еще вы пуританин. У вас отсутствует то, что важнее всего в человеке: чувства, способные к наслаждению, и сердце, способное к страданию.

Художник Франсиско Гойя, — продолжал он, — который ему ближе всего, был, разумеется, революционером, но именно потому, что он острее других ощущал и сострадание к человеку и наслаждение жизнью, что в нем не было и тени пуританства нынешних коммунистов и их жалкой псевдонаучности. И он прочел ему главу «Доколе?».

Каспар Прекль побледнел от гнева, так как страницы о Гойе невольно произвели на него сильное впечатление.

— Чего вы добиваетесь? — сказал он наконец на диалекте, глядя на Крюгера своими миндалевидными, горящими от гнева глазами. — В революции, в настоящем Гойе вы ни черта не понимаете! Для вас даже Гойя — лишь утонченное лакомство, которое вы способны только смаковать.

В ответ на это Мартин Крюгер рассмеялся. Смеялся так искренне и весело, что надзиратель с удивлением взглянул на него. Так здесь редко смеялись.

— Славный вы мой мальчик, — произнес серо-коричневый человек, — славный вы мой мальчик. — И, не переставая весело смеяться, он похлопал Прекля по плечу.

Но Каспар Прекль ушел огорченный, не досидев времени, положенного для свидания.

8

О СОБСТВЕННОМ ДОСТОИНСТВЕ

Каспар Прекль переживал сейчас нелегкую полосу. Он плохо переносил безделье, к которому был вынужден после своего ухода с «Баварских автомобильных заводов». Ему, как основной стержень жизни, нужна была

его работа. Ему необходимо было возиться со своими конструкциями, вносить в них все новые усовершенствования. Не хватало обилия оборудования и средств, к которым он привык на заводе, он не мог приучить себя к жалкой аппаратуре своего рабочего стола. Он набросился на партийную работу, собрания, дискуссии; встречался и спорил с Тюверленом по поводу его обозрения, с новой энергией занялся розысками художника Ландгольцера. Работал также над циклом баллад, где в простых и наивных образах должно было быть изображено постепенное перерождение отдельной личности в члепа коллектива. Но все это было для него лишь суррогатом настоящей работы.

Он стал очень нервным и раздражительным. Взгляды и образ жизни людей, с которыми ему приходилось сталкиваться, вызывали его возмущение, что нередко приводило к ссорам. Для квартирных хозяев, у которых он жил, его взгляды были также непонятны и неприемлемы, и ему не раз за последние месяцы приходилось менять квартиру. Его замкнутость и требовательность отталкивали от него многих. Зато были и такие, на которых этот странный человек с низко спускавшимися на лоб черными волосами, резко выступавшими скулами и горящими, близко посаженными глазами с первого взгляда производил неотразимое впечатление. Хотя бы вот Анни Лехнер: многие смеялись, встречая аккуратную, крепкую девушку с небрежно и плохо одетым Преклем, и все же вот уже два года, как она не расставалась с ним. Свежая и приятная, склонная к полноте, всегда чисто одетая, она на Габельсбергерштрассе, в квартире-мастерской, где сейчас жил Каспар Прекль, чувствовала себя больше дома, чем в доме отца на Унтерангере. Улаживала недоразумения с хозяевами, с остальными жильцами, с поставщиками. Старалась придать его комнате хоть сколько-нибудь жилой вид, навести в ней, несмотря на его протесты, порядок. Заботилась, хотя и довольно безуспешно, о его внешнем виде.

Каспар Прекль был вспыльчив, требовал многого и не давал ничего. Была ли в состоянии Анни понять его

положительные стороны — то странное упорство, с которым он верил в себя и в свои идеи, яростный напор его интеллекта, своеобразие его одаренности, смесь примитивно-народного и остро-индивидуального? Так или иначе, она крепко держалась за него. Старик Лехнер бранился, ее брат Бени, несмотря на свою привязанность к Преклю, морщился, подруги дразнили ее. Но она не порывала со своим непокладистым другом. Она служила в небольшой конторе, вела хозяйство отца, ее день был заполнен работой; все же она пахотила время улаживать все многочисленные неприятности в жизни Каспара.

Сегодня, в ясный июльский день, когда температура поднялась до тридцати трех градусов, а берлинский курс доллара до пятисот двадцати семи марок, она под вечер поехала с Каспаром Преклем на Зимзее купаться. Прекль ехал быстро, чтобы скоростью движения преодолеть жару. Он хмурился и почти не разговаривал со своей спутницей. Последние политические события начинали всерьез отравлять ему пребывание в родном городе. Имперский министр иностранных дел был убит националистами выстрелом в спину. Это убийство вызвало такое возмущение широких слоев населения, что руководители партий и групп, призывавших к устранению этого ненавистного им человека, на время притихли и держали язык на привязи. Но многим, особенно в Баварии, убийство министра-еврея пришлось весьма по душе; они довольно недвусмысленно стали требовать «устранения» и других неугодных им лиц. Когда общегерманское правительство внесло в парламент законопроект об охране существующего государственного строя и руководящих деятелей республики, официальные представители Баварии отвечали уклончиво, со всяческими оговорками. То, как это было сделано, как саботировались демонстрации протеста против убийства и поддерживались демонстрации противоположного направления, гнусные письма, восхвалявшие совершенное убийство, — все это претило молодому инженеру. Он любил город Мюнхен, его реку, его горы, его воздух, его Музей техники и картинные галереи. Но он серьезно подумывал об отъезде в Россию.

Большой автомобиль шел навстречу его маленькой, уже довольно потрепанной машине. Ехавшие в автомобиле при виде Прекля замедлили ход. Анни обратила его внимание на то, что сидевшим в большом автомобиле, очевидно, что-то от него нужно. Прекль еще больше нахмурился и, не поднимая глаз, продолжал ехать с прежней скоростью. Несколько минут спустя его догнал тот же большой автомобиль: очевидно, он сразу же повернул назад. Большая машина пересекала ему дорогу, так что Прекль вынужден был остановиться. Из автомобиля вышел статный человек в белом холщовом пальто, с густыми, выпуклыми, черными до блеска усами на полном лице, и деланно легким шагом подошел к Преклю. Звучным, самоуверенным голосом, с подкупающей простотой произнося слова на диалекте, сказал, что так как они давно уже не виделись, то нужно воспользоваться удобным случаем. Попросил представить его даме, поцеловал Анни руку.

Г-н Рейндль ясными словами выразил примерно то, о чем думал молчаливый Прекль. Полный презрения к людям вообще, уроженец и знаток Верхней Баварии, Рейндль все же удивлялся тупой мелочности, с которой официальный Мюнхен реагировал на убийство имперского министра и произведенное этим убийством впечатление. Он с благодушной простотой беседовал со своим бывшим инженером, — Анни с удовольствием отметила это, — дружески обняв его за плечи.

Говорил о политике. Перечислял трудности положения. С одной стороны Франция, угрожающая конфискацией гарантийных ценностей — рудников, железных дорог, лесов, земли, с другой — Рапалльский договор с большевиками. Представителю крупного хозяйства, крупному промышленнику приходилось нелегко. Впрочем, для него лично эта ситуация оказывается благоприятной. Ему в ближайшее время много придется покататься по разным местам: съездить в Нью-Йорк, в Париж. На будущей неделе — обязательно в Москву. Он спросил Прекля, как тот себе представляет проведение в жизнь отдельных пунктов Рапалльского договора. Прекль покраснел. Оказалось, что деталей договора он не знает. Он ответил что-то неопределенное. Рейндль

был миролюбив, не настаивал и спросил, не хотел ли бы г-н Прекль поехать с ним в Москву. Возможно, что там удастся что-нибудь устроить с серийным автомобилем. Пусть-ка он серьезно подумает. Не дожидаясь ответа, Рейндль обратился к Анни, спросил, знакома ли она с балладами Прекля. Прекрасные стихи. Прекль однажды ему читал их.

Прекль стоял в своей поношенной кожаной куртке среди пыльной дороги под лучами вечернего солнца. Предложение Рейндля взять его с собою в Москву взволновало его. Это был большой соблазн. Капиталист чувствовал к нему слабость. Глупо было, что он, Прекль, уже давно не использовал ее. Ведь обычно ему не свойственны были подобные буржуазные предрассудки, всякие там «чувства собственного достоинства» и тому подобные глупости, которые он вытравил в себе уже давно. Почему же именно перед этим прохвостом он изображал оскорбленную гордость, словно какой-то древнеримский дуралей? Такой недостаток цинизма граничил с патологией. Все последнее время, уже несколько недель, он только и думал о том, как бы поехать в Москву. Если он теперь не примет предложения Рейндля, это будет прямо преступлением.

Рейндль между тем снял огромные автомобильные очки и галантно улыбался Анни. Удивительно, какое у него было большое белое лицо. На газетных портретах это лицо казалось надутым и высокомерным, неприступным — настоящей мордой «большеголового», но вблизи этот Пятый евангелист был приятный человек. Он умел осторожно, почти без слов, делать комплименты. Она знала, что выглядит изящно и мило, несмотря на дешевенький летний костюм.

Он не скрывал, что она ему нравится. Она же, глядя на него, думала, что значит этот вот человек — действительно настоящий, без всяких там фокусов, бесспорный «руководитель промышленности». Он, должно быть, высокого мнения о Каспаре. Его следовало бы умаслить, — подумала она. Рейндль правился ей, и в то же время она гордилась Каспаром Преклем.

Поговорив еще о разных пустяках, Пятый евангелист спросил, как же решил г-н Прекль: хочет ли он

ехать с ним в Россию или нет. Если г-н Прекль согласен, то и сам он поедет в Москву. Он с несколько пронычским дружелюбием заглянул Преклю в лицо. «Наглый провокатор», — подумал Прекль и резко ответил:

— Нет!

Рейндль обратил к нему свое мясистое лицо и произнес очень любезно:

— *Horror sanguinis?*¹

Анни поспешила сгладить резкость: Каспар еще подумает. Нельзя же требовать, чтобы человек с дороги в Кроттемюль прямехонько покатыл в Москву. Она засмеялась бодро и молодо. От ее освещенного солнцем круглого лица с живыми глазами под белой шапочкой веяло здоровьем и теплом. Рейндль сказал, что несколько дней еще можно подождать. Пусть г-н Прекль до субботы позвонит ему по телефону.

Когда Пятый евангелист отъехал, Анни принялась осторожно упрекать Прекля за то, что он так резко обошелся с этим могущественным человеком: такой случай ему вторично не представится. Преклю, несмотря ни на что, было приятно, что Рейндль в присутствии Анни показал, насколько он его ценит. Но решение его не связывать своей поездки в Москву с поездкой и планами Рейндля было непоколебимо. Он ответил Анни, что если сочтет нужным, то и без помощи Рейндля доберется туда. Анни благоразумно не настаивала. Она знала, что при всем упрямстве Каспара ей нужно только дожждаться благоприятного момента. В сущности, ей было бы приятнее, чтобы он не уезжал, но нельзя же быть таким дураком и портить отношения с Рейндлем! Чертовски сложно было в такое трудное время, как сейчас, добывать питание и одежду! Одним только классовым самосознанием да автомобилизмом не проживешь. Неплохо было про запас иметь этакое «большоголового».

Они выкупались в тихом лесном озере, у самого подножия гор. Прекль был мальчишески оживлен, весел, кричал и шумел. Вечер прошел хорошо. На обратном пути она снова осторожно заговорила о Москве, спро-

¹ Боязнь крови (лат.).

сила, каковы его планы. Он резко ответил, что уже говорил ей об этом. Ей совершенно непонятно, — заметила она, — почему они все так восстановлены против Рейндля. Если б Бени хоть немного постарался, ему, наверно, не пришлось бы уйти с «Баварских автомобильных заводов». Он, конечно, сам виноват.

Прекрыль плотно сжал тонкие губы. Ему не было известно, что Бени ушел от Рейндля. Юноша почему-то ни слова ему об этом не сказал. Он рассердился. Какой скрытый этот мальчишка! Но уж если Бени таков, — продолжала Анни, то он, Каспар, мог бы по-другому разговаривать с Рейндлем. Прекрыль ответил свысока, что Бенно, должно быть, знает, что делает. Она в этом ничего не понимает.

Подъехав к дому на Габельсбергерштрассе, они, к своему удивлению, увидели Бенно Лехнера, ожидавшего у подъезда. Молодой электромонтер, несмотря на свою привязанность к Прекрылю, бывал у него редко и никогда не приходил в такое время, когда мог встретиться у него с сестрой. Если же это случалось, оба они не могли отделаться от чувства страшной неловкости. Но сегодня у него были важные новости, и он, следуя нерешительному приглашению Анни, поднялся с ними наверх.

Анни была рада видеть брата, спросила его, хочет ли он чаю или пива, спокойно и ласково заговорила с ним. Прекрыль был молчалив. Ему было как-то обидно, что Бенно был так самолюбив и не сказал ему о своем увольнении с «Баварских автомобильных заводов». Больше всех говорила Анни. Спросила, как ему правится новый абажур. Жаловалась на тяжелые времена. Упомянула о положении отца. Трудно сейчас ладить с ним. С тех пор как он продал свой знаменитый ларец, он по целым дням сидит в обществе всяких подозрительных банковских дельцов, маклеров по продаже земельных участков и тому подобных проходимцев; из сил выбивается, и все из-за этого желтоватого дома. Но дело все не движается с мертвой точки: дом уплывает у него из-под носа, и в конце концов он останется ни при чем со всей своей кучей бумажных денег.

Бенно смущало, что Прекрыль может счесть его навязчивым, но при Анни он не хотел говорить о том, зачем

пришел. Анни между тем болтала без умолку. Она буквально рта не закрывала. Каспару Преклю в конце концов стало невмоготу.

— Ты вечно повторяешь одно и то же,— резко оборвал он ее.

Бенно как-то неопределенно пошевелился и сказал, что ему необходимо сообщить товарищу Преклю важные новости. Для этого он и пришел. Он умолк. Прекль также не произносил ни слова. Тогда Анни с легкой обидой сказала, что она может выйти в соседнюю комнату. Они не удерживали ее.

Оставшись наедине с Преклем, Бенно Лехнер сообщил, что Кленк, очевидно в ответ на новый закон общегерманского правительства об охране государственного строя, назначил ландесгерихтсдиректора доктора Гартля уполномоченным по вопросам помилования.

Он ничего не добавил к этому сообщению. Ждал, что скажет на это Прекль. Прекль помешивал ложечкой чай. Перед Бенно стоял поставленный Анни стакан пива, почти не тронутый, но уже переставший пениться. То, что Кленк референтом по вопросам помилования лиц, в большинстве осужденных по политическим делам, назначил такого консервативного человека, как Гартль, было явным вызовом. Трудно было сейчас сказать, как назначение Гартля отзовется на положении дела Крюгера. По процессуальному кодексу, как это ни странно, решение вопроса о пересмотре дела предоставлялось тому самому составу суда, который вынес данный приговор. Тот факт, что Гартль ушел со своего старого места, не мог не представлять непосредственного интереса для приятеля Прекля, поэтому-то Бенно Лехнер так и спешил со своим сообщением.

Но Прекль молчал и даже не поблагодарил своего молодого друга. Принесенное им известие вызвало в душе инженера странно двойственное чувство. Он искренне желал Крюгеру скорейшего освобождения из тюрьмы. С другой стороны, ему казалось, что положение, в котором оказался Мартин Крюгер, заставило последнего над многим призадуматься: но он еще не переработал в себе всего до конца, не сделал необходимых выводов. Кто знает, не будет ли для него, в сущ-

ности, полезно, если Гартль сейчас станет ему поперек дороги.

Электромонтер Бенно Лехнер был очень привязан к товарищу Преклю. Поэтому он не обиделся на него за молчание и постарался не мешать ему. Но когда Прекль, помолчав целых десять минут, встал и начал прохаживаться взад и вперед по комнате, а затем все так же молча уселся за свои чертежи, Бенно Лехнер позволил себе заметить, что, по его сведениям, Гартль состоит членом «мужского клуба», и, следовательно, он добрый знакомый Рейндля. Может быть, товарищ Прекль попытается тут нажать и добьется от Рейндля, чтобы тот поговорил с Гартлем? Но у Прекля это предложение вызвало неудовольствие. Неужели ему вечно и во всем придется наткнуться на этого проклятого Пятого евангелиста? Он хмуро ответил, что нет, снова говорить с Рейндлем он не станет: это бесполезно.

Когда Бенно Лехнер ушел, Прекль уселся за стол и склонился над чертежами одной конструкции. Анни вернулась в комнату, заварила чай. Немного погодя Каспар Прекль неожиданно резко заявил, что нельзя допускать, чтобы Бенно оставался без службы. Он говорит как-нибудь с Тюверленом. Бенно интересуется вопросами театрального освещения. Тюверлен, безусловно, может пристроить его у Пфаундлера в связи с постановкой обозрения. Анни согласилась, что это было бы чудесно. При этом она выказала благоразумную сдержанность и не проявила любопытства по поводу того, что именно Бенно нужно было сообщить Преклю. Позднее, вечером, она спросила, почему, собственно, Рейндля зовут Пятым евангелистом. Прекль не без язвительной иронии объяснил: четыре евангелия малопопулярны и окутаны туманом; производимое ими сильное впечатление в большой мере зависит от отсутствия пятого евангелия, которое пояснило бы смысл остальных; таким образом, сила воздействия четырех евангелий заключается в отсутствующем пятом. В баварской политике точно так же все становится ясным, если учесть, что делается она не теми, кто официально ею руководит. Поэтому, должно быть, — закончил он едко, — Рейндля и называют Пятым евангелистом.

Анни внимательно слушала. Было не вполне ясно, поняла ли она.

Еще позднее, в тот же вечер, она спросила, обдумал ли Каспар вопрос о Москве. Каспар Прекль резко заявил, что с него наконец довольно. Он сам знает, что ему делать. Анни решила, что таким образом легче всего заставить его остаться. Она не настаивала, зевнула, решила, что на следующий день снова вернется к этому вопросу.

9

ПОЛТОРАСТА ЖИВЫХ КУКОЛ
И ОДИН ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК

К Жаку Тюверлену явился бесцветного вида человек с портфелем, сразу же проник к нему в комнату, тихо спросил: «Вы господин Жак Тюверлен?» — с трудом и неправильно произнося необычное имя. Уселся за стол, достал из жилетного кармана вечное перо, принялся молча, длинно и обстоятельно писать. Жак Тюверлен внимательно глядел на него. Бесцветный сказал:

— Я судебный исполнитель! — и предъявил удостоверение.

Жак Тюверлен кивнул. Бесцветный сказал:

— Вот исполнительный лист на ваше имя в сумме двадцати четырех тысяч трехсот двенадцати марок. Желаете уплатить?

— Почему же нет? — сказал Тюверлен.

— Ну так прошу вас! — строго произнес бесцветный.

Тюверлен принялся рыться в ящиках. Было еще раннее утро, он был в пижаме, и секретарша его еще не приходила. Он нашел три черно-зеленые долларовые бумажки.

— Боюсь, что этого не хватит, — сказал он.

Да, этого не хватало. Доллар в этот день стоил восемьсот двадцать три марки.

— Пожалуй, у меня этих денег не наберется, — с сожалением сказал Тюверлен.

— В таком случае я должен приступить к описи, — сказал бесцветный, что-то занес в протокол, испытующе оглядел комнату, спросил Тюверлена, принадлежат ли

ему такие-то и такие-то вещи, паклеил на некоторые предметы ярлычки с изображением герба. Тюверлен следил за всеми его действиями. Мускулы его голого помятого лица усиленно шевелились. Внезапно он звонко расхохотался.

— Предлагаю вам вести себя прилично,— строго сказал бесцветный и удалился.

Тюверлен рассказал своей секретарше об этом визите, обсудил с ней свое финансовое положение. После того как он проиграл процесс против брата, оно было далеко не блестящим. Он не испугался. Он не очень дорожил обеспеченностью. У него оставались еще кое-какие хорошие вещи и маленький автомобиль. И до сих пор еще хватало денег, полученных от Пфаундлера.

Господин Пфаундлер, пронюхав о положении Тюверлена, поспешил использовать свое преимущество. Он принялся нещадно вычеркивать из рукописи все неудобное ему, и Аристофан быстро выветрился. Касперль, превращенный в безобидного простака, должен был вместо классовой борьбы ограничиться добродушным дурачеством.

Тюверлен охотнее всего плюнул бы на пфаундлеровскую работу, посвятил бы себя радиопьесе «Страшный суд». Но разве не он сам называл форму обозрения «самым серьезным видом современного искусства»? Имел ли он право трусливо отступить теперь, получив возможность на практике осуществить свои взгляды? Окончание либретто само по себе еще не решало дела. Вся суть была в том, чтобы слова превратить в образы, в сцены, в зрительное воздействие. Он внутренне не был зависим от успеха или неуспеха. Но в войне, в политике, в хозяйстве, в театре решающее значение имеет одно лишь произведенное впечатление, один лишь успех. Стать на этот путь, принять участие в этой игре — значит признать мерилom оценки успех. Сценическое представление, не производящее впечатления, — это автомобиль, который не действует. Обидно было затратить столько месяцев лучшего своего времени на такую штуку, которая не действует. Инженер Прекль особенно подчеркивал именно эту точку зрения, насмешливо выжидая исход борьбы.

— Любопытно, — язвительно и по-деловому говорил он, — любопытно, кто же победит: Пфаундлер или Аристофан?

Сам Тюверлен уже больше не любопытствовал.

Нередко во время столкновений с Пфаундлером присутствовал и комик Бальтазар Гирль. Он стоял, опустив свою большую грушевидную голову, фыркая носом, хмурый, печальный. Он говорил мало, чаще о постороннем, больше вздыхал. Когда спрашивали его мнение, ограничивался всякими «гм», «да, да, соседushка», «нелегкая штука!» и тому подобным. Перед своей неизменной подругой он ругался по адресу «этих болванов, ничего не смыслящих в настоящей комедии». Все это, мол, кончится грандиозным провалом. Но когда она спрашивала его, почему же он не пошлет все это дело к черту, он отвечал каким-то маловразумительным ворчанием. Дело было в том, что он внимательнейшим образом приглядывался ко всему, что делал Тюверлен. Он пришел к заключению, что этот Тюверлен — ловкач и в области искусства заткнет за пояс всю эту банду. Многие из замечаний Тюверлена продолжали жить в нем, навели его на те или иные выдумки. Он рассчитывал в дальнейшем многое из того, что он сейчас отвергал, использовать в залах «Минервы». С другой стороны, он опасался, что побочные мотивы обзора задумают его. Тюверлен казался ему чересчур решительным. Он, Гирль, тоже многое не одобрял в своем родном городе Мюпхене, он высмеивал многое, все его выступления были одной сплошной критикой. Это было дозволено *ему*, он имел право говорить о своей матушке, что она «старая свинья». Но если это самое говорил другой, ему следовало дать по морде. Тюверлен говорил это ясно и четко, и все же он, Гирль, не давал ему по морде. Вот это-то и злило комика.

Когда дело дошло до воплощения либретто Тюверлена на сцене, стали множиться препятствия и нелепые осложнения. Оказывалось необходимым пригласить для участия в спектакле подруг деловых друзей Пфаундлера, и каждая из них требовала «роль». Г-жа фон Радольная мягко намекнула, что она, собственно говоря, надеялась поддержать Тюверлена своим выступлением

на сцене, и просила дать ей роль. Пфаундлер, желая оказать любезность Кленку, увлечение которого русской танцовщицей не ослабевало, требовал, чтобы и ей была дана роль. Новую роль, новый текст!.. Текст! Текст! Текст! Текста требовали художники, музыканты, портные, архитекторы. Нарастал целый поток просьб, заклинаний, угроз. Тюверлен все это обозначал общим именем — «домогательства». Он вызывающе спрашивал всякого, с кем имел дело: «Какие у вас домогательства?» С Пфаундлером происходили все более бурные объяснения, которые тот обычно заканчивал сочным и победоносным: «Кто платит?»

Пфаундлеру для «Выше некуда!» нужны были сто пятьдесят голых девушек. В течение недели ежедневно в театр вызывались толпы девушек, которые дефилировали перед помощником режиссера, ассистентом художественного совета, художницей, заведовавшей костюмерной. С пустыми, кукольными лицами и лишенными выразительности телами, тупо деловитые, вспотевшие, безнадежно скучающие, девушки топтались где попало, глупо хихикали и, бесстыдно шутя, подвергались наглым приставаниям проходящих мимо мужчин. Среди них были и совсем молоденькие. Удастся им поступить сюда — и они избавятся от своего «дома», от неуютной комнаты, наполненной людьми, вонью и бранью. Стать «герлз» в обозрении — означало для них свободу, крупный шанс, входной билет в достойную людей жизнь. Некоторые пришли в сопровождении матерей. Пусть им живется не так, как их матерям, пусть им живется хорошо, пусть они станут «герлз».

Но и эти юные, полные ожидания, были лишены привлекательности. Никогда не поверил бы Тюверлен, что женское тело может быть таким жалким, юные члены — производить впечатление такой грустной бесцветности, словно они были из папье-маше. Все помещение было наполнено запахом пота, грима, человеческого тела. Тюверлен смутно вспомнил смотр «человеческого материала», виденный им во время войны.

Вдобавок во время репетиций кругом кишмя кишел всякий народ, имевший весьма отдаленное отношение к Тюверлену и его обозрению: акробаты, труппа каких-то

лилипутов, человек с павианом, играющим на рояле. Среди всей этой массы народа бродил хмурый, недоверчивый, все критикующий комик Гирль. Он оглядывал голых девушек, говорил им: «А сколько вам заплатят, душенька моя?» Говорил это тем самым тоном, в каком, следуя указанию Тюверлена, собирался в обозрении вести роль Касперля. Касперль интересуется материальным положением окружающих. Каждого он спрашивает: «А сколько ж вам заплатят, соседushка?» Вот он просит объяснить ему сущность коммунистического мировоззрения. Собеседник добросовестно старается дать ему необходимые объяснения. Касперль слушает недоумевая, затем говорит: «А-га!» — спрашивает: «А сколько ж за это заплатят?» — и заявляет наконец, что собирается стать коммунистом. Но когда он сколотит себе капитал, — ядовито добавляет он, — то пусть уж другой разыгрывает коммуниста. В следующем действии он вместе с другим исполнителем изображает борьбу быка с тореадором. В разгаре боя бык вдруг становится в упрямо-флегматичную позу, характерную для Касперля — Гирля в течение всего спектакля, и спрашивает торсера, собирающегося нанести ему смертельный удар: «А сколько ж вам за это заплатят, соседushка?»

Когда репетировались эти сцены, Бальтазар Гирль был на высоте. В большинстве других сцен он стоял кислый, упрямый, тупой, своей пассивностью парализуя и партнеров.

Чем дальше продвигались репетиции, тем яснее становилось, что Пфаундлер дает Тюверлену воплотить на сцене лишь ничтожную часть сделанного им. Собственно говоря, из сорока двух картин Пфаундлер давал Тюверлену поставить по-настоящему лишь одну — ту самую, где Касперль — Гирль изображает быка. Эта сцена радовала Тюверлена и в рукописи и на сцене.

Все остальное, что стряпалось здесь, со дня на день все больше походило на обычные обозрения тех лет — бессмысленную выставку мишуры, сверкающих тканей, обнаженных тел. Тюверлен пережил несколько прекрасных, сочных месяцев творчества. Не было ли с его стороны необычайно глупо излить свою творческую

плодовитость в этом обозрении? Он вспомнил Иоганну. У нее, когда он расскажет ей об этой истории, прорежутся на лбу три бороздки. По правде говоря, он охотно рассказал бы ей обо всем. Какая бессмыслица, что они тогда не сошлись! Он ясно представил себе высокую девушку. Она одна, после ста пятидесяти виденных им сегодня живых кукол, была человеком. Умнее всего было бы бросить всю эту неладившуюся штуку. Не написать ли ей?

Но он не написал. Усевшись за стол, он принялся отделывать сцену с быком.

10

БАВАРСКИЕ БИОГРАФИИ

А) ИГНАЦ МООСГУБЕР

Игнац Моосгубер, землевладелец из Райнмохингена, родился там же в семье землевладельцев Михаэля и Марии Моосгубер. Семь лет посещал школу в Райнмохингене, научился читать, а также в некоторой степени писать. Отбыл воинскую повинность, затем взял на себя небольшой отцовский двор. В лучшие времена ему принадлежали: четыре лошади, два плуга, одна жена, четверо законных и трое незаконных детей, одна библия, один катехизис, один «Христианско-католический крестьянский календарь», три изображения святых, одна олеография, изображавшая Людвига II, одна фотография, изображавшая его самого на военной службе, одна центрифуга для изготовления масла, семь свиней, несколько силков и западней для ловли дичи, одна берегательная книжка, три шкатулки, наполненные банкнотами времен инфляции, двадцать три швейные машины, приобретенные, чтобы кое-что из этих бумажных денег превратить в реальные ценности, два велосипеда, один граммофон. Он располагал словарем в шестьсот двенадцать слов. В среднем двадцать три раза в год участвовал в потасовках. В общей сложности двести четыре раза через окно влезал в комнаты служанок. Являлся виновником того, что четырнадцать

раз женщины прибегали к изгнанию плода. Он был девять раз ранен, из них три раза ножом в частных домах, два раза пулями на войне, четыре раза осколками пивных кружек в кабаке. Девять раз в году мыл ноги, два раза в году мылся целиком. Он выпил 2137 литров воды и 47 812 литров пива. Семнадцать раз он давал присягу, из них девять раз заведомо ложную, причем загибал три пальца левой руки, что, по убеждению местных жителей, освобождало от ответственности перед богом и людьми. Трижды пережил он тяжелые часы. В первый раз во время войны, узнав, что за недостатком продуктов будет выпускаться пиво меньшей крепости; второй — когда он был приговорен к уплате алиментов на содержание своего внебрачного сына Бальтазара Анцингера, и в третий раз — почуяв приближение смерти. Его любимая песня начиналась словами: «На горé, на круче войск баварских туча». В похоронах его принимало участие сто девяносто два человека, ибо он пользовался почетом и был членом сельского самоуправления. Над могилой оркестр сыграл песню «Был у меня товарищ». Кроме того, в знак траура было произведено несколько выстрелов. В связи с тем, что одна из мортир дала осечку, во время поминальной трапезы возникло некоторое разногласие в мнениях, вследствие которого у одного из участников этой трапезы пришлось отнять руку и вынуть одно ребро.

Б) АНТОН ФОН КАЗЕЛЛА

Антон фон Казелла, генерал-майор, жительствовавший в Мюнхене, получил воспитание в Пажемском корпусе, учебном заведении для дворянских детей. Выступил свидетелем защиты в грязной сексуальной истории, в которую был замешан и один из членов королевского дома и расследование которой было поспешно прекращено. Благодаря этому сделал быструю карьеру. Его лексикон состоял из четырехсот двенадцати слов. Его любимая песня начиналась словами: «Граф Люксембург все деньги прокутил». Ему принадлежали: одна картина, писанная масляными красками и изображавшая баварского курфюрста Макса-Эммануила на войне

с турками, одна копия с картины «Отелло рассказывает, сидя у ног Дездемоны», затем один портрет маслом короля Людвига II. Он гордился тем, что после окончания школы не прочел ни одной книги, и охотно пользовался двумя поговорками: «Не так быстро пруссаки стреляют» и «Не каждая девушка невинна». Он был постоянным читателем газет «Мюнхнер дейтунг», «Милитерише вохеншрифт» и «Мисбахер анцейгер». Девять раз он давал присягу, из них девять раз ложную. У него была связь с субреткой из венской оперетты. Он рассказывал своей жене две тысячи триста двенадцать раз, своей возлюбленной три тысячи сто четырнадцать раз, всегда в одних и тех же выражениях, в общей сложности двенадцать забавных анекдотов об одном из баварских принцев. Когда его возлюбленная скончалась в возрасте пятидесяти двух лет, он узнал, что у нее были вставные зубы. Выбитый из колеи таким открытием, он перестал с достаточной строгостью соблюдать диету, предписанную ему в связи с болезнью почек, и таким образом умер — ибо это было во время войны — геройской смертью. В его похоронах участвовало семьсот шесть человек. Оркестр исполнил песню «Был у меня товарищ».

В) ИОЗЕФ КУФМЮЛЛЕР

Иозеф Куфмюллер, агент по перевозке пива в Ингольштадте, в детстве посещал в родном городе народную школу, научился читать, в некоторой степени писать, выучил имена баварских королей в их хронологической последовательности и точные даты битв франко-прусской войны 1870—1871 годов. В его квартире висели олеография, изображавшая коронавание Наполеона папой Пием, портрет короля Людвига II и реклама, на которой был изображен пивоваренный завод Ингольштадтского акционерного общества. Его лексикон состоял из семисот двадцати четырех слов. Его любимая песня начиналась словами: «В оковах, в Мантуне». В ней рассказывалось о тирольском народном герое Андреасе Гофере, расстрелянном баварцами. За год он транспортировал в среднем 6 012 000 литров пива и носил при этом зеленую шляпу и бархатный жилет

с большим числом пуговиц. Во время войны ему удалось продать в свою пользу несколько вагонов крепкого пива, принадлежавших интендантству и предназначавшихся для лазаретов. Эта операция дала ему возможность выдать свою дочь Кати за коммивояжера по продаже предметов каучуковой и асбестовой промышленности и обучить латинскому языку своего сына, благодаря чему перед последним открылся путь к карьере высшего чиновника. Он любил игру в карты, особенно игру под названием «гаферльтарок». При этом сбрасывание карт он обычно сопровождал прибаутками, часто рифмованными, вроде: «Что расскажет открыто, не труся, как в Калабрии мочатся гуси?», или же изречениями, порожденными народной мудростью, вроде: «Деньги к деньгам». Он давал присягу девять раз, из них два раза заведомо ложную, загибая три пальца левой руки. В его похоронах участвовало восемьдесят четыре человека. Над его могилой была исполнена песня «Был у меня товарищ». Его зять на похоронах так простудился, что не мог продать значительного количества предметов каучуковой и асбестовой промышленности, вследствие чего пришлось примерно на три года отложить приобретение пианино, запланированное в целях пополнения домашней обстановки.

Г) ИОГАНН-МАРИЯ ГУБЕР

Иоганн-Мария Губер, министерияльдиректор, живший в Мюнхене, четыре года учился в народной школе и десять лет в гимназии. Один год он потерял, так как был оставлен на второй год. Его лексикон составляли: тысяча четыреста пятьдесят три немецких слова, сто три латинских, двадцать два французских, двенадцать английских, одно русское. Он посетил двести двадцать один концерт, семнадцать театральных представлений и четыре тысячи сто восемнадцать раз церковь. У него была старинная гравюра, изображавшая вступление Тилли в пылающий Магдебург, один портрет баварского короля Людвига II, одна зеленая маска с лица Бетховена, одна репродукция, изображавшая храм в Пестуме. Его любимым блюдом

было сладкое, приготовленное из яиц, масла и муки и называвшееся «зальцбургские клецки». Из его любимых песен одна утверждала, что «не прошли еще дни, когда розы цветут», а другая, русская народная песня, повествовала о «матушке» и «красном сарафане». Эти песни служили аккомпанементом к его занятиям в министерстве просвещения и вероисповеданий. Он проявлял интерес к радиолюбительству, к продукции баварской фарфоровой промышленности, был членом президиума Союза баварских кролиководов, а также баварской народной партии. Любил в знак удивления употреблять взятое из старинной комедии слово «шляппердибикс». Самые тяжелые минуты душевной борьбы он пережил во время инфляции, сидя ночью у тела своего скончавшегося отца. Перед ним стоял вопрос: должен ли он, ради того чтобы облегчить замужество своей дочери, вытаскивать из зубов отца золотые коронки, имевшие в этот период обесценивания бумажных денег особую ценность? Он давал присягу семь раз, из них три раза — по существу ложную. Но так как с формальной точки зрения и эти три присяги сомнений не вызывали, он не считал нужным загибать пальцы левой руки. В его похоронах участвовало пятьсот четырнадцать человек, оркестром была исполнена песня «Был у меня товарищ».

11

ТАК ЛИ ВЫГЛЯДИТ УБИИЦА?

Доктор Гейер подробно писал Иоганне в Париж обо всем, что было нового по делу Крюгера. Нового не было ничего. Вопрос о возобновлении процесса оставался на мертвой точке. Доктор Гейер находил, что для Иоганны целесообразнее оставаться в Париже и здесь муссировать вопрос, натравливать газеты, разжигать общественное мнение цивилизованного мира, чем высиживать в приемных саботирующих ее дело мюнхенских ландесгерихтсдиректоров и советников министерства.

Иоганна, живя с г-ном Гессрейтером, вела довольно бесцветную жизнь. Итак, через пять дней они переедут

в снятую им маленькую квартирку. Жить ли в гостинице или в своей квартире, выписывать ли тетку Аметсридер или нет — было, право, не так уж важно. Тем не менее после того спора между ней и г-ном Гессрейтером был нарушен последний контакт.

Господин Гессрейтер размышлял: «Она такая спокойная, тут что-то неладно. Никогда теперь не случается, чтобы она вспылила, и на кутеж ее сейчас тоже не поднять. Только за теннисом она оживает. Своими мячами она интересуется больше, чем мной».

У г-на Гессрейтера в этот период было множество самых разнообразных проектов. Он вел переговоры с французскими предпринимателями, с американскими денежными тузами. Он вспоминал Рейндля, надеялся «показать ему». Но в последнюю минуту вдруг отступал. «Южногерманская керамика Людвиг Гессрейтер и сын» была делом солидным, на котором твердо и непоколебимо покоилось благополучие коммерции советника Пауля Гессрейтера и его красивого дома на Зеештрассе. Не слишком крупные дела с заграницей, не требуя большого риска, давали достаточную наживу. Но стоит ему впутаться в эти новые крупные предприятия — и умчит его могучий поток. Заманчиво было броситься в него: не в одной Баварии будет он тогда «у себя дома», а во всем мире. Но тогда конец благодушно-спокойному сну! Г-н Гессрейтер имел очень деловой вид, взвешивал, снова отступал перед окончательным решением, снова взвешивал. Пока единственным видимым результатом было то, что его бачки все укорачивались.

Как-то в Париж приехал приятель г-на Гессрейтера по аристократическому мюнхенскому «Мужскому клубу», тайный советник Дингардер, один из владельцев «Капуцинербрауэрей». Он рассказал о всевозможных мюнхенских событиях. Ландесгерихтсдиректор Гартль после смерти тещи получил большое наследство в иностранной валюте и теперь ужасно пыжился как в «Мужском клубе», так и в зале суда. Генерал Феземан купил в Мюнхене дом и собирался окончательно поселиться там. Это делало Мюнхен центром патриотического движения. Пятый евангелист все растет. Его уже

стали побаиваться — таким великим он начал казаться. Магистрат ассигновал новые суммы на украшение Галереи полководцев. Пфаундлер начал репетировать свое большое обозрение.

Господина Гессрейтера охватила тоска. Он затосковал по своему дому, по Английскому саду, по «Тирольскому погребку», по горам, по репетициям пфаундлеровского обозрения. В тайниках души, хоть он в этом и не признавался самому себе, он давно решил не связывать свою обеспеченную мюнхенскую жизнь с заманчивым, но возможно и гибельным риском, который сулил широкий мировой размах. Если теперь он жил на чужбине, то лишь потому, что считал своим долгом не закрывать глаза на все соблазнительные возможности этого сумасшедшего периода инфляции. Он строил планы, созывал совещания, деловито и таинственно говорил о предстоящих серьезных и больших переменах. Если уж плыть в большом потоке, то все же было волнующе приятно, стоя на берегу, подражать движениям пловцов.

За два дня до приезда тетки Аматридер Иоганна, как обещала, поехала с Эрихом Борнгааком к морю. Ветрогон, сидя за рулем своего маленького автомобиля был мальчишески весел. Он вовсе не был таким петренным, каким старался казаться. Как удивительно поглощен он был машиной, с каким неподдельным детским любопытством следил за движениями показавшейся на дереве белки! Совершенно ясно: пустота и извращенность, которые он демонстрировал перед ней в Гармише и при встречах в Париже, были просто позой. Имело ли смысл вмешиваться тут, стараться что-нибудь сделать? Было ли возможно дать ему новый, хороший старт?

Пока они ехали, он ни звуком не упомянул о сумбурном прошлом, которым прежде так любил хвастать. Но во время прогулки по прекрасному солнечному пляжу сейчас, перед началом сезона, почти безлюдного курорта, он словно случайно произнес, отразив на своем лице какую-то смесь цинизма, лукавства и огорчения:

— Мне, к сожалению, придется остаться в Париже еще на две недели, как я раньше предполагал.

Она слегка вздрогнула.

— Почему? — спросила она после небольшой паузы.

— Не следует никого оставлять в одиночестве, — произнес он тоном взрослого и умудренного опытом человека.

Он пустился рассказывать какую-то запутанную гнусную историю. Как ей известно, он вместе с г-ном фон Дельмайером занимается разведением породистых собак. Основной момент в их предприятии — это вывоз в Америку. Но собаки — существа нежные, более нежные, чем многие люди, и не раз случалось, что во время переправы погибали особенно ценные экземпляры. Поэтому они стали перед отправкой страховать собак. Додуматься до этого было нетрудно, так как г-н Дельмайер был страховым агентом. Но так как их дело процветало, конкуренты не гнушались никакими средствами, чтобы погубить их. Теперь вот они донесли на г-на фон Дельмайера, что он будто бы страховал собак выше их действительной стоимости и, для того чтобы этот излишек положить в карман, давал собакам перед погрузкой какой-то медленно действующий яд.

Все это он рассказывал, глядя прямо вперед, по обыкновению насмешливо, дерзко и небрежно. Иоганна остановилась, внимательно слушая. Он тоже остановился; они глядели на море. Веял свежий ветерок, славные белые барашки бежали по стеклянню-зеленой поверхности к берегу. Иоганна и ее спутник не глядели друг на друга. Смущенная, взволнованная, она закусила верхнюю губу. Он продолжал говорить. Как неприятно, что молодым людям, испытывающим потребность изредка бывать по вечерам в обществе прилично одетых людей, приходится заниматься такой профессией, как отравление собак! Он не желает решать вопрос, в характере здесь дело или в эпохе.

Над тупым подвижным носом Иоганны прорезались три глубокие вертикальные складки. Возмутительно самоуверенный, насмешливо-сентиментальный топ этого мальчишки! Легкий запах кожи и сена. Болезненное удовольствие, с которым он исповедовался. Прочь от этого негодяя. Уйти от него немедленно.

Но она не уходила. Она даже обратила к нему взор,

повернувшись при этом всем лицом и слегка раскрыв рот; спросила через силу, слегка охрипшим голосом:

— Ну, а как дело с убийством депутата Г.? Выяснилось что-нибудь новое?

— С депутатом Г.? — переспросил Эрих. — Меня это, откровенно говоря, интересует меньше, чем история с собаками. Такой депутат имеет убеждения, разглагольствует. Он говорит: справедливость, гуманность, цивилизация, пацифизм. Возможно, что он при этом даже представляет себе что-то определенное. Почему бы ему и не разглагольствовать? Но если он кричит слишком громко, он начинает мешать, он надоедает. Когда вы поглощены работой, а рядом кто-нибудь барабанит на рояле, верно, и у вас бывает желание заставить этого барабанщика замолчать?

— Но те, кто за такое дело берется?.. — все тем же ровным, сухим, беззвучным голосом спросила Иоганна.

Эрих Борнгаак улыбнулся многозначущей, роковой улыбкой.

— Эти так называемые выродки иногда очень милые парни. Честное слово! Право, требуется больше решимости, чтобы отправить на тот свет чистокровную собаку, чем толстого, важничающего болтуна. Если предположить, что господин фон Дельмайер «устранил» депутата Г. и дога Туснельду, — думаю, что Туснельда скорее доставила ему бессонную ночь, чем депутат Г. На реке Ганге, — добавил он, так как Иоганна молчала, — культура древнее, чем на реке Изар. Полагаю, что на реке Ганге человек скорее призадумается перед убийством некоторых животных, чем перед убийством человека.

Иоганна шла рядом с ним оглушечная, почти парализованная. Поток его уверенных слов врывался ей в уши, действовал на нее словно наркотическое средство. Веял легкий, свежий ветер, море было бодрое, радостное. Эрих Борнгаак продолжал оживленно рассказывать. Вот так и бывает с этими политическими убийствами. Однажды он гостил в одном поместье в Химгау. Незадолго до этого был как раз убит один из вождей левых, причем так называемый убийца пойман не был. В том имении, черт их там знает почему, решили, что

убийца — он, Эрих. Это оказало необычайно притягательное действие: молодые дамы буквально льнули к нему. Он ясно помнит одно катанье по озеру. Он со своей дамой заехал в камыши, окружавшие пустынный островок. Не будь он таким заклятым врагом всякой прочной связи, он мог бы сделать прекрасную партию. У дамы была куча денег! Она, кстати сказать, была молода и очень мила.

На обратном пути Иоганна была молчалива. Простилась, когда они приехали в Париж, быстро, сухо.

На следующее утро за игрой в теннис испарились куда-то мысли о собаках и убитом человеке. Она чувствовала себя свежей и веселой. Но вскоре затем, против ее воли, в мозгу ее снова возник образ юноши. Его разболтанные движения, деланное равнодушие его речей. Казалось, весь воздух был наполнен легким запахом кожи и сена. Чего добивался этот мальчишка? К чему ей были его признания? Не хотел ли он взвалить часть их тяжести на нее? Она была рассеянна в этот вечер, дурно обращалась с Гессрейтером.

На следующий день появилась несколько раз уведомлявшая о своем приезде и затем вновь отменявшая его тетка Аметсридер. Высоко держа свою большую мужеподобную голову, носила она по маленькой квартирке свое тучное тело, очень довольная тем, что ее вызвали. В свое время ее очень обидело то, что Иоганна так спокойно рассталась с ней. Итак, теперь выяснилось, что без нее не обойтись! Но это вовсе не выяснилось. Иоганна не проявляла ни чуточки раскаяния, относилась к присутствию тетки как к чему-то само собой разумеющемуся, иногда даже тягостному. Как и в Мюнхене, она не посвящала ее в свои дела, а тетка охотно поделилась бы с ней опытом, поддержала бы ее словом и делом, такие и в области ее внутренних переживаний. Г-же Франциске Аметсридер пришлось ограничиться заботой о питании Иоганны, перестановкой мебели и тому подобной практической мелочной работой.

Господин Гессрейтер был достаточно опытен и знал, что никакие человеческие отношения не остаются постоянно одинаково горячими. Но безразлично-любезный

тов Иоганны все же казался ему обидным. В одном из игорных клубов он познакомился с молодой дамой из французского Индокитая, приятным, не чересчур требовательным созданием, понравившимся ему своей кротостью и приветливыми манерами. Он посещал ее через день. Должно быть, он был не единственным посещавшим ее, но это его мало трогало.

Как и можно было ожидать, в квартире Гессрейтера также стало известно о посещении им молодой анпамитки. Иоганна осталась к этому совершенно равнодушной. Но тетка Амetsридер, безучастностью Иоганны обреченная на нестерпимую скуку, увидела здесь случай проявить свою энергию и решительность. Она потребует эту экзотическую особу к ответу. Только этого еще не хватало! Она смотрела на Гессрейтера почти как на зятя. Она положит конец этому китайскому безобразию!

Итак, однажды утром она появилась в светлой квартире мадам Митсу. Во французском словаре она подыскала все слова, которые могли оказаться необходимыми, чтобы сочно и недвусмысленно отчитать «китайнку». Вежливая служанка попросила обождать: мадам еще в ванне, она примет ее через пять минут. Тучная и решительная, сидела г-жа Франциска Амetsридер в нарядной комнатке, поворачивая свою большую, коротко стриженную, мужеподобную голову, заглядывала во все уголки, где могла бы высмотреть хоть что-нибудь, способное пробудить в пей волну настоящего гнева против желтой развратницы. Но она ничего не нашла: все кругом сияло чистотой и добропорядочностью. Появилась мадам Митсу, кроткая, предупредительная, чуть-чуть удивленная. Она рада была чем возможно услужить этой экспансивной даме, но не могла хорошенько понять ее. Наконец она поняла. Дело идет о толстом приветливом господине. С ним что-нибудь случилось? Он хочет, чтобы она пришла к нему? Все слова, подысканные г-жой Амetsридер в словаре, оказались непригодными перед этой кроткой, как месяц, веселостью мадам Митсу. В конце концов, г-жа Амetsридер заговорила о ценах на съестные припасы и другие предметы домашнего обихода, причем

мадам Митсу проявила в этом большую осведомленность. Чтобы не уйти ни с чем, тетушка осведомилась об адресе портнихи, которая сшила действительно очаровательное кимоно мадам Митсу. Она решила уговорить Иоганну заказать себе такое же. С этим адресом, написанным на листке бумаги крупным, нескладным, детским почерком мадам Митсу, вернулась тетушка Аметсридер к обеду в квартиру Гессрейтера.

12

ВЛАСТЕЛИН В СЕРДЦЕ СВОЕГО НАРОДА

Гигантскими золотыми буквами возвещали фиолетовые плакаты у церковного портала: «Важно в мире лишь одно — спасти свою душу!» Многие люди отозвались на этот призыв, молодые и старые, хорошо одетые и оборванные. Ибо велика была нужда. Хлеб, по высоким ценам продаваемый бравившимся покупателям, не успевал остыть, как его цена уже взбиралась еще выше. Булка стоила три марки, килограмм маргарина — четыреста сорок марок, за стрижку волос платили восемьдесят марок. Этими днями нужды и голода воспользовалась церковь для генеральной атаки на сердца народа, для выполнения своей «миссии». В течение целого месяца были мобилизованы все священники, имевшие хоть какой-нибудь авторитет, и распределены так, чтобы в каждой церкви мог выступить наиболее подходящий для нее человек.

Самой большой популярностью у населения пользовался священник-иезуит, изящный моложавый человек. Лыстя и громя, ласково убеждая и гневно угрожая, звучал его тщательно выверенный голос. Красиво выделялась благородно очерченная, характерная голова. Беглая проповедническая немецкая речь производила особенно сильное впечатление благодаря еле уловимому оттенку местного говора, родного всем присутствующим. Многим за недостатком места пришлось, дойдя до церковных дверей, повернуть обратно. Полиция успокаивала возмущенных, сылавших прокля-

тиями. И сейчас окрыленный голос пастыря проникал в уши озабоченных домашних хозяек, не знавших, как добыть все необходимое на завтрашний день, маленьких, «тричетвертилитровых рантье», кое-как существовавших только благодаря связям с деревней и мелкой спекуляции. Проникал в души людей, получавших твердое содержание и моливших у бога подсказки для биржевой комбинации, которая помогла бы им как-нибудь пережить ближайшие две недели. Проникал в души жирных спекулянтов, охотно соглашавшихся пожертвовать церкви значительную часть своих разбухавших сегодня и завтра бесследно таявших доходов, если только упрочится их богатство. Проникал в уши старых чиновников, укрепляя их в их сопротивлении новым веяниям. Вся эта скученная, по-летнему потная толпа с верой и тупой преданностью глядела на благородное римское лицо с изящно изогнутым носом и выпуклыми карими глазами. В жаре, поте и ладане сидели они и стояли, заполняя светлую, приветливую церковь. Прилипали глаза к простой белой кафедре и стоявшему на ней иезуиту. Он был опытным проповедником, прекрасно подготовленным, с тонким чутьем, тщательно учитывавшим каждое мимолетное настроение, каждое мимолетное впечатление слушателей. Он выбирал отдельные лица, проверял на них степень производимого впечатления. Долго глядеть в глаза одному и тому же он избегал: он знал, что это вызывает смущение. Он предпочитал останавливать взгляд своих выпуклых глаз на лбу слушателя или на его носе.

Сейчас он с удовольствием приглядывался к выражению глубокой сосредоточенности и веры на широком лице чисто одетой невысокой жепщины. Эта жепщина была кассирша Ценци из «Тирольского погребка». Она была склонна к возвышенным чувствам. По-прежнему энергично «отшивала» она мужчин с хорошим положением и все внимание свое уделяла Бени, молодому человеку, бывавшему в главном зале. Тот чаще теперь заходил в «Тирольский погребок», чем в «Гундскулгель», но ей не удавалось добиться, чтобы он присел за один из обслуживаемых ею столиков в аристократической боковой комнате. Он упрямо сидел в большом зале,

вообще чересчур еще мало внимания обращал на нее. Правда, он теперь довольно часто, когда она не работала, проводил с нею вечер, ходил в кино, слушал народных певцов, посещал с ней другие рестораны, где она могла проводить сравнения со своим обычным полем деятельности. Спал с ней. Все же это далеко еще не было настоящей, уютной связью, какие кончаются свадьбой и здоровыми детьми. Виной этому были подозрительные, бунтовщические взгляды Бени, его дружба с Преклем, с этим «чужаком», с этим паршивцем. Сейчас как будто намечался некоторый просвет. Дела и Бени и Прекля были неважны: оба вылетели со службы из «Баварских автомобильных заводов». Бени, правда, утверждал, что он сам отказался. Но она не верила ему. Сейчас он работал в театре, в предприятии Пфаундлера, довольно сомнительном деле. Ей самой между тем жилось хорошо. Она довольно крупно играла на бирже через посредство не очень значительного банкира, посещавшего «Тирольский погребок», имела долю в коммерческих операциях некоторых своих посетителей, операциях с домами, товарами, автомобилями. Если ее дела и дальше будут процветать так же, как до сих пор, она предложит Бени на ее счет окончить курс в Высшей технической школе. Ничего в этом особенного нет. Многие так делают. Голова у парня работает. Он еще вылезет в люди, как он сам говорит. То, что он бывший арестант, еще больше укрепляло ее в ее намерении. Помочь такому человеку стать на правильный путь — это доброе дело. Он славный малый, несмотря на свой коммунизм. Она уже видела себя в мечтах вместе с ним в квартирке из четырех компат, вечером, после рабочего дня, принесшего хороший заработок: они читают «Генеральанцгейтер», под звуки радио переваривают хороший обед. Она уж добьется своего. Она была публична, внимательно слушала священника, — бог не оставит без поддержки добрую католичку. И когда священник вдруг остановил на ней острые, внимательные глаза, она ответила ему скромным и покорным взглядом невинной школьницы.

Священник говорил сейчас о возросшей в эти годы жажде наслаждений и паживы. Многие скрывают про-

дукты питания, обрекают своих братьев на голод, лишь бы только повысить цены, саботируют разумные и справедливые меры властей, спекулируют во имя собственного чрева. Он приводил простые жизненные примеры, доказывавшие, что ему хорошо известны все способы заработка этих сумбурных послевоенных лет, хорошо известны и мещанская жадность, и мужицкая настойчивость его слушателей. Взгляд своих выпуклых глаз он остановил сейчас на четырехугольной голове старого человека, который с умиленным одобрением смотрел в его изящно-гладкое лицо. Да, министр Флаухер с благоговением воспринимал слова священника своими большими волосатыми ушами. Ему казалось, что священник обращается непосредственно к нему. Кленк говорил ему, что в такое время, когда мир занят перетасовкой всех общественных слоев и новым распределением угля, нефти, железа, — в такое время можно и в Баварии пайти другое дело, кроме резни с имперским правительством за право в обход конституции раздавать чины или за предлог, под которым можно государственным деньгами снабжать враждебные государству боевые дружины «истинных германцев». Сейчас, во время проповеди иезуита, эти принципы Кленка казались Флаухеру вдвойне кощунственными. Все реки Германии текли с юга на север, но Майн — с востока на запад, а Дунай — с запада на восток. Ясно, что бог, таким образом, сам четко наметил границы между Баварией и остальной Германией. Но Кленк рвался за пределы этого круга, за рубежи, указанные самим господом богом. Сюда были они поставлены — он, Флаухер, Кленк и другие — защищать права и требования Баварии. Что такое железо, уголь, нефть? Дело шло о баварской чести, о богом данном суверенитете Баварии! К счастью, Кленк был теперь вовсе не так силен и всемогущ, как он о себе воображал. Его здоровье подгуляло, ему часто теперь приходилось оставаться в постели. Какая-то ползучая болезнь грызла его. Он, Флаухер, все видел, видел по глазам Кленка, его не обманешь: он был болен, этот большеголовый Кленк; его превосходившая всякую меру суетливость, его проклятая новомодная неугомонность мстили за

себя. А может быть, это давал себя знать его разнузданный образ жизни. Перст господень указывал на него. Одно несомненно: он был связан, не мог сейчас вмешиваться во все, как ему хотелось. Можно было хозяйничать, не опасаясь его постоянного контроля. Министр Флаухер, проникновенно и сосредоточенно глядя в рот иезуиту, молил бога окончательно обезвредить зазнавшегося крикуна Кленка и давал себе клятву действовать согласно старинным местным обычаям и в пределах своей страны *ad maiorem dei gloriam*¹ саботировать все исходящее от общегерманского правительства.

Проповедник перешел теперь к разнузданной похотливости, присущей современной эпохе, и в этой области порока оказался не менее сведущим, чем в остальных. Окруженный безмолвным вниманием своей паствы, он говорил о гибельном и позорном обычае предупреждать зачатис. Смертельный грех принимать с этой целью какие-либо меры! Каждая таким сатанинским способом подавленная душа вопиет к господу, чтобы он низвержением в геенну огненную покарал бесстыдных родителей. Он говорил о женщинах, совершавших это преступление из греховной суетности, чтобы сохранить свою фигуру, и о тех, кто совершал его из лени, из греховного страха перед страданиями. Он говорил о мужчинах, совершающих это преступление из-за недостатка веры в бога, который и птичку в поле кормит, и травой одевает землю. Он описывал, как исполнение супружеских обязанностей ради продолжения рода угодно господу богу и как оно же становится гнусным грехом, когда не направлено к этой прекрасной цели. Ярко, красочно, с волнующим знанием дела рисовал он угодные богу радости, доставляемые законной женой, и бесовское наслаждение, доставляемое падшей девкой.

По расчетам священника, эта часть его проповеди должна была произвести наибольший эффект. Он был разочарован, уловив на том лице, которого сейчас коснулся своим взглядом, известное равнодушие. Проповедник напрасно остановился на этом лице. Наимень-

¹ К вящей славе божией (лат.).

ший отклик образы пастыря находили в душе боксера Алоиса Кутцнера, хотя он и был из числа самых набожных и смиренных среди присутствовавших. Он стремился к другому. Он достиг всего, чего мог достигнуть в области внешних благ: он был первоклассным боксером. Но этого ему было мало. Он стремился к просветлению, к жизни духовной. Брату его, вождю Руперту Кутцнеру, вот тому было хорошо: на него нашло просветление, он нашел свое призвание, носил в себе своего германского бога. Алоис охотно бывал на его собраниях, отдаваясь волне увлечения, вместе с тысячами других веря победоносным, грохочущим фразам брата. Утешительно было видеть, как светит во тьме светоч брата, видеть, как постепенно весь Мюнхен подпадает под обаяние его речей. Алоис Кутцнер не завидовал брату. Охотно отказался бы и от собственного блеска на ринге, лишь бы ему было дано найти свой собственный внутренний свет. Он искал и искал, но не мог найти. То, что говорил священник, тоже было ему ни к чему. Женщины не были для него проблемой. Воздержание, которого требовал от него тренер, давалось ему без труда; в периоды отдыха он со страстью голодного набрасывался на любую женщину, но быстро удовлетворялся. Ему пужно было совсем иное.

И вот в последнее время перед ним как будто забрезжил свет. С ним однажды разговорился какой-то молодой человек, с которым он познакомился в редакции газеты «Фатерлендишер анцейгер». Они с этим аккуратненьким пареньком, настоящим франтом, зашли затем в ресторан, и там этот паренек, некий Эрих Борнгаак, указал ему на одну возможность. Он оглянулся только намеками, не хотел говорить в открытую. У него не было, видно, настоящего доверия к Алоису, да это и было вполне понятно. Позднее он подослал к нему другого, некоего Людвиг Ратценбергера, совсем молоденького парнишку, даже чрезмерно молодого. Но для того предприятия, которое эти юнцы обхаживали, требовалась огромная решимость, а следовательно, и молодость. Насколько мог понять Алоис Кутцнер, дело было в том, что за некоторыми слухами, уже свыше тридцати пяти лет не дававшими спокойно спать бавар-

скому народу, скрывалась правда. Любимый всеми король Людвиг II, — так гласили эти слухи, — все еще жил. Этот Людвиг II, исполнившись сознанием своего могущества и подражая Людовику XIV французскому, воздвигал в разных труднодоступных местностях дорогостоящие, роскошные замки, со щедростью мецената поддерживал не всем понятные формы искусства, по-фараоновски держался вдали от народа и тем самым завоевал восторженное поклонение этого народа. Когда он наконец умер, народ не хотел этому поверить. Газеты, школьные учебники утверждали, что король в припадке безумия утопился в озере, вблизи Мюнхена. Но народ верил, что это была лишь ложь, придуманная его врагами, завладевшими престолом. Все более сложной сетью легенды оплеталось имя покойного. Враги, и во главе их, как говорили, управляющий страной принц-регент, скрывали его в темнице, в заточении. Слухи держались прочно. Пережили смерть принца-регента, войну, революцию, пережили смерть сверженного короля Людвига III. Образ Второго Людвига — гигантская фигура, розовое лицо, черная остроконечная борода, голубые глаза — жил в воображении народа. Бесчисленные изображения короля в пурпуре и горностае, в пышном мундире и серебряных латах, в запряженном лебедями челне висели в комнатах крестьян и мелких горожан, рядом с олеографиями святых. Статный король еще со времен юности порастил воображение Алоиса Кутцнера. Часто, стоя перед портретами гиганта короля, он думал о том, какой замечательный боксер мог бы выйти из этого представителя династии Виттельсбахов. В своем сердце он воздвиг ему нерушимый памятник. Как просветлел он, когда париишки дали ему понять, что этот самый Второй Людвиг жив, что удалось напасть на его след, узнать, в какой темнице его держат в заточении. Алоис Кутцнер не отставал с просьбами и мольбами, пока ему не удалось выжать из колебавшихся юнцов добавочные сведения. Во времена монархии, — объяснили они ему, — безнадежно было думать об освобождении короля. Но теперь, когда бог допустил захват власти евреями и большевиками, теперь проснулась совесть и у тюремщиков

короля. Теперь можно подумать и об освобождении законного правителя Баварии. Стоит ему появиться — и поработенный народ встанет за него, чтобы он освободил его от власти Иуды. Король стар, очень стар, у него длинная волнистая белая борода. Брови у него такие огромные, что ему приходится подпирать их серебряными палочками, чтобы они не закрывали ему глаз. В настоящее время, как уже сказано, попытка освободить его не безнадежна. Пусть он, Кутцнер, обдумает, согласен ли он принять участие в этом деле: оно требует смелости, мужества и очень больших денег.

Все это парнишки объяснили Алоису Кутцнеру. Он был глубоко взволнован услышанным. Теперь он увидел тот внутренний светоч, которого так давно жаждал, и сейчас, слушая иезуита с амвона, проповедующего о греховности сладострастия, Алоис Кутцнер с глубокой верой обращал свои помыслы к богу, горячо моли сделать его, Алоиса, достойным участия в освобождении короля и, если придется, принять его жизнь в жертву за удачное выполнение дела.

По окончании проповеди Алоис Кутцнер покинул церковь в глубокой задумчивости. Все еще погруженный в мечты, он тем не менее крепкими толчками раздвигал толпившуюся у выхода публику. Взволнованность слушателей, по-разному выразивших свое мнение о проповеди, не захватывала его. Дело в том, что некоторые не были согласны с проповедником. Они называли его разглагольствованием просто-напросто «свинством», находили, что лучше власти заботились бы о дешевом хлебе, чем о дешевых поучениях. В ответ на это верующие сочли необходимым при помощи кулаков и внушительных ножей показать безбожникам, что такое приличие. Полиция наконец уладила разногласия. Гнев богобоязненных посетителей коснулся также и танцовщицы Инсаровой. Возвращаясь с прогулки в Английском саду, она случайно попала в хлынувшую из церкви толпу. Она прижалась к стене, двинулась затем дальше своей скользящей, словно липнувшей к земле походкой. Короткая юбка оставляла открытыми тонкие, изящные ноги. Какая-то растрепанная старуха преградила ей

путь, беззубым ртом облаяла ее, плюнув, спросила, не ужели у нее, грязной свирпы, дома нет уж никакой юбки. Инсарова, плохо понимая слова старухи, хотела протянуть ей милостыню. Толпа, особенно женщины, накинулась на нее. Она с трудом спаслась, вскочив в такси.

Боксер Алоис Кутцнер между тем, не обращая внимания на происходящее, скромно направился на Румфордштрассе, где жил вместе со своей матерью. Мать, старая, пожелтевшая, высохшая женщина, как и многие жители Баварской возвышенности со значительной примесью чешской крови, была исполнена гордой любовью к обоим сыновьям. Радостно читала она об успехах своего сына Руперта в большой политике и об успехах своего сына Алоиса на ринге. Но она одряхлаела от старости, забот, непрерывной работы, память отказывалась служить ей, и она путала успехи обоих сыновей, не в силах разобраться в кроше, Пуанкаре, победах «почкам», кровно германских убеждениях, Иуде и Риме, покаутах и тому подобном. Алоис, пока мать готовила обед, помог ей накрыть на стол, расставив пестрые тарелки с знакомым рисунком горчаники и эдельвейса. К обеду, кроме тушеного картофеля, было подано еще местное блюдо — сильно прокопченное мясо. Это было в те голодные годы большим лакомством. Поэтому перед обедом появился родственник, обычно издалека чувший запах таких вкусных блюд, — дядюшка Ксавер. Дядюшка когда-то был солидным коммерсантом, торговал предметами студенческого обихода — значками, фуражками, аппаратурой фехтовального зала, брелоками и порнографическими открытками. Ушел на покой, отложив порядочную толику денег. Однако потом инфляции смыл, превратил в ничто дядюшкин запасец. Мозг дядюшки Ксавера не выдержал такого удара. Теперь он с важным видом складывал обесцененные бумажки, разбирал, связывал их в пачки. Деловито забегал в помещения студенческих организаций, собирался со своими бумажками, украшенными многозначными цифрами, делать большие дела. Студенты, привыкшие к старику, в шутку вели с ним деловые разговоры и всячески забавлялись на его

счет. Он стал страшно прожорлив, поглощал все, что попадалось ему под руку. Студенты в корпоративных шапочках, с иссеченными на дуэлях лицами, пользуясь для забавы его слабоумием, швыряли ему остатки пищи, заставляли его, как собаку, «приносить», вопили от восторга и аплодировали, когда он дрался с их собаками из-за кости.

Все трое — мамаша Кутцнер, дядюшка Ксавер, боксер Алоис Кутцнер, сидя вместе, с благодушным удовлетворением ели копченое мясо и тушеный картофель. Они заговаривали друг с другом, по почти не слушали ответов собеседника и в свою очередь отвечали полусловами. Каждый из них был поглощен собственными мыслями. Дядя Ксавер думал о грандиозном деле, которое он завтра доведет до благополучного конца, мамаша Кутцнер — об одном обеде, много лет назад, когда также было подано копченое мясо. В то время ее сын Руперт был еще мал; когда подали копченое мясо, мальчика не оказалось на месте, и они напрасно ждали его. Руперт в тот день, как выяснилось впоследствии, подставил пояску одному из школьных товарищей, так что тот, упав, получил тяжелые повреждения, после этого Руперт удрал и боялся показаться домой. В конце концов, сильно проголодавшись, он все же явился домой. А теперь вот он стал таким большим человеком, что сделал нокаут французцу Пуанкаре. Боксер Алоис Кутцнер в это время думал об освобождении короля Людвига II. Так сидели они вместе, тихо беседовали, ели, пока на дне посуды не показались горчанка и эдельвейс.

13

БАВАРСКИЕ ПАЦИЕНТЫ

Писатель доктор Лоренц Маттеи пришел навестить писателя доктора Иозефа Пфистерера. С Пфистерером случился удар; состояние его было тяжелое; вряд ли ему суждено было дожить до конца года. Доктор Маттеи по дороге думал о том, как мало, в сущности, выносливы его крепкие баварцы. Вот скрутило здоро-

венного Пфистерера, с гигантом Кленком тоже дело плохо, да и он сам, Маттеи, основательно сдал.

Он застал Пфистерера в глубоком вольтеровском кресле. Ноги его, несмотря на жару, были закутаны одеялом из верблюжьей шерсти. Рыжая с проседью борода, густые кудри казались серыми и грязными. Доктор Маттеи старался по возможности смягчить свое злое, мопсообразное лицо, придать своему грубому голосу выражение сочувствия. Кругленькая, приветливая г-жа Пфистерер ходила по комнате, много говорила, жаждала сострадания, подкрепления своей надежды. Пфистерера тяготила эта атмосфера, свойственная комнате больного. Он лишь наполовину верил тому, что говорили врачи. Даже умный, проникательный доктор Мориц Бернайс, лучший специалист по внутренним болезням, несмотря на свой ясный анализ положения, ни в чем не мог убедить его. То, что свалило его, не было явлением физиологического порядка. Настоящей причиной, — Пфистерер не мог выразить ее словами, но чувствовал ее, она неотступно стояла перед ним, особенно по ночам, когда он беседовал сам с собой, настоящей причиной было горькое сознание, что он до пятьдесят пятого года своей жизни заблуждался, что на его родине царила неправда, что мир вообще вовсе не так прекрасен и уютен, как он представлял его себе и своим читателям.

Если Маттеи вел себя кротко и сдержанно, то Пфистерер, в противоположность тем дням, когда он еще был здоров, держался вызывающе. Пусть избавят его от этой больничной атмосферы, — закричал он слегка пресекающим голосом. — Он не позволит, чтобы его заворачивали в вату. Все утро он писал, диктовал. Работал над своими мемуарами под заглавием «Солнечный жизненный путь». Был вовсе не склонен воспринимать смерть сколько-нибудь сентиментально. Рождение и смерть стояли рядом, смерть среди других реальностей была далеко не из самых примечательных. Он приводил любопытные случаи смерти баварских крестьян, очевидцем которых был или о которых слышал. Один из умирающих беспрерывно чихал. Это было неприятно, но окружающие постепенно привыкли к этому.

Все восемь его потомков обычно считали, сколько раз отец чихнет, — сорок два, сорок четыре, сорок пять раз. Пфистерер был свидетелем смерти этого человека. Вокруг него собралась вся семья. Они, как и всегда, считали. На этот раз отец все никак не мог перестать, и они, не выдержав, громко расхохотались. Было действительно очень смешно, и Пфистерер не мог удержаться, чтобы не хохотать вместе с ними. Только чихнув в восемьдесят второй раз, старик скончался под громкий смех окружающих.

Услышав такую бодрящую речь, доктор Маттеи перестал стесняться, отбросил тягостную ему торжественную кротость. Скоро оба были уже поглощены обычной грубой перебранкой. Доктор Маттеи высказал уверенность, что «Солнечный жизненный путь» окажется таким же дерьмом, как и вся остальная пфистереровская лакированная дребедень. Или, быть может, Пфистерер считает особенно «солнечным» тот факт, что ему так и не удалось освободить Крюгера и что он должен отправляться на тот свет, так и не добившись обладания Иоганной Крайн? Больной ответил достаточно сочно, и вошедшая в это время в комнату приветливая г-жа Пфистерер преисполнилась надеждой на полное восстановление здоровья своего мужа. Но стоило доктору Маттеи уйти, как Пфистерер, совершенно измученный, снова погрузился в свои думы и уже мало чем напоминал человека, прошедшего «солнечный жизненный путь».

Доктор Маттеи между тем, расставшись с товарищем по перу, почувствовал прилив оживления. Приятно было разочек снова отхаркнуть накопившуюся слюнь, хорошенько отвести руганью душу. К тому же кто это шел там, по противоположной стороне улицы? Ну конечно, такой тоненькой и быстрой могла быть одна лишь Инсарова! Он пересек улицу, торопливо, обращая на себя внимание прохожих, неуклюже припустил за ней. Она заговорила с ним остроумно, колко, как всегда, так что ему никак не удавалось ответить должным образом. Она торопилась, спешила на репетицию, по дороге собиралась еще заглянуть к министру Кленку, который, как говорили, серьезно болен. Доктор Маттеи

подумал, не проводить ли ее, но, раньше чем он пришел к окончательному решению, она успела уже проститься. Бешеная злоба поднялась в нем против этого подлеца Кленка. Неслыханное безобразие, что у баварского министра юстиции связь с танцовщицей, может быть — кто ее там знает — еще и большевичкой, что он свою содержанку среди бела дня принимает у себя дома! Придется этого Кленка взять за ушко. Вообще Кленк сейчас никуда не годится. Слишком мягкий ветерок вест при нем. Он чрезмерно податлив по отношению к имперскому правительству, погоня за наслаждениями расслабляет его.

Кленк должен убраться!

Он как-нибудь поговорит об этом с Бихлером, а также со своими друзьями в «Мужском клубе». В ближайшем номере издаваемого Маттеи журнала Кленк прочтет стихотворение, от которого чертям тошно станет.

Иисарова между тем направилась к Кленку. Она с особенной тщательностью в этот раз подмалевала, как этого требовала мода тех лет, свое лицо. Обычно она накладывала более густой слой грима, но она знала, что Кленк этого не любит. Она шла, улыбаясь, легкой, танцующей походкой, настолько забыв обо всем окружающем, что люди оборачивались ей вслед, принимая ее за помешанную. Но она была просто окрылена и очень довольна собой. Кленка она завоевала окончательно и проделала это чертовски ловко.

Она долго водила его за нос. Затем, когда он однажды отказался от встречи в тот вечер, когда она наконец согласилась его принять, она настояла именно на этом вечере. Собственно, ей не бог весть как нужен был этот Кленк. Все же вечер прошел весело и приятно. Кленк — стоило ему по-настоящему разойтись — был очень занятен. Теперь она знала, почему он в тот вечер не хотел встретиться с ней: он был нездоров, простужен посреди лета, чувствовал приближение одного из своих мучительных почечных приступов. То, что он у нее тогда так, свыше всякой меры,пил и вообще неистовствовал, видимо, окончательно свалило его в постель. Это, собственно, из-за нее он и заболел, из-за

того, что она настояла на этом вечере. Это льстило ей. Она полагала, что теперь он надолго связан с ней, и сознание того, что она так умно вела себя, делало Кленка милым и дорогим ее сердцу.

В квартире Кленка ей предложили обождать в большой приемной. Вокруг была расставлена красивая массивная мебель, впечатление от которой портилось развешенными по стенам оленьими рогами. Прошло немного времени, затем появилась горничная и от имени г-жи Кленк заявила ей, что господин министр не может ее принять. Даже причину не сочли нужным указать ей. Инсарова сидела, сразу став маленькой и жалкой. Служанка стояла перед ней, ожидая, когда она уйдет. На лестнице танцовщица начала тихонько плакать. В такси, по дороге на репетицию, она, все еще словно школьница, громко всхлипывая, вынула пудреницу, губную помаду и быстро, привычными автоматическими движениями подмазалась погуще.

Кленк между тем лежал в постели. Был предположенный час. В эти часы он чувствовал себя относительно сносно. Не было проклятого тумана, отвратительной слабости и вялости. Он мог без особого труда держать глаза раскрытыми. Когда доложили о приходе Инсаровой, он ни на одно мгновение не ощутил радости, что теперь вот она к нему пришла. Только бешеную злобу за то, что тогда исполнил ее дурацкий каприз. Он ведь ясно в тот вечер чувствовал, что с ним не все благополучно. Но когда она по телефону с кошачьей мягкостью уговаривала его своим слабым, беспомощным, покорным голосом, он поддался припадку сентиментальности. Захотел показать ей, что он настоящий мужчина. Вел себя как гимназист. Теперь он попался, и вполне заслуженно, за свою глупость. Теперь ему приходилось смотреть на то, как вся эта сволочь, пользуясь его вынужденной пассивностью, подкапывалась под него. Во всем виновата эта русская тварь. При этом ведь дружим — ну хотя бы Тони Ридлеру — она далась совсем легко. Когда доложили о приходе Инсаровой, он, не задумываясь, грубо заорал, что это безобразие. Как смеет эта особа преследовать его, являться к нему в дом! Пусть ее выкинут вон! Он чувствовал удовлетво-

репие, предавая ее. Г-жа Кленк, высохшая старая коза, расхаживая по комнате, ни словом не обмолвилась ни по поводу прихода танцовщицы, ни по поводу вспышки мужа. Кленк не скрывал своих поступков, это было не в его характере. Она, разумеется, слышала об этой «большевичке» и немало огорчалась. Но сейчас она оставалась внешне безучастной, разве что чуть вздрагивала серая рука, подававшая ему лимонад. Хорошее это было для нее время.

Кленк, прогнав танцовщицу, лежал слабый, удовлетворенный, во власти смутных, быстро мелькающих мыслей. Он думал о своем рабочем кабинете в министерстве, о предполагавшихся переговорах с его вюртембергским коллегой, о тайном советнике Бихлере, о своем сыне Симоне, парнишке, здорово уже поднимавшем голову. Он давно уже не видел сына. Откровенно говоря, ему приятно было бы видеть его здесь, подле себя. Сын, вероятно, не был бы так бесшумен и заботлив, как жена. Все же ему было бы приятнее, если бы вокруг кровати топал своими крепкими ногами его парень, а не ходила на цыпочках эта тихая женщина. И он поглядел на нее недобрыми глазами.

Пришел врач — тихий, проницательный доктор Бернайс. Маленький, плохо одетый человек, не тратя лишних слов, осмотрел больного. Повторил свои прежние указания: не есть ничего раздражающего, соблюдать покой, не волноваться. Когда Кленк гневно спросил, как он, собственно, это себе представляет, тот холодно ответил, что это не его дело. На вопрос министра, сколько эта история еще может продолжаться, он также только пожал плечами. После ухода врача Кленк с досадой вспомнил, что на сегодняшнее утро вызвал к себе двоих людей: скользкого, элегантного Гартля и дерзкого, непокорного Тони Ридлера. Не потому, что боялся волнений, а лишь потому, что из-за болезни чувствовал себя неспособным справиться со своими противниками. Но отказать им, показать, что он чувствует надвигающуюся слабость, он также не хотел.

Немного погодя у его постели уже сидит Гартль, говорит с ним удивительно приветливо и жизнера-

достно. Когда он переходит к делу, становится ясно, что наглость этого гада еще значительно больше, чем министр себе представлял. В каждом предлагаемом им мероприятии сказывается демонстративная партикуляристская тенденция, явно идущая вразрез с тонкой политикой Кленка. Последний лишь краем уха прислушивался к осторожным, уклончивым словам своего референта. Напряженно старался он угадать: чего, собственно, этот субъект хочет? Почему, например, он против помилования Крюгера? Ведь это был бы простейший способ обойти вопрос о возобновлении процесса. С Крюгером, в случае помилования, было бы раз и навсегда покончено. Гартль продолжает говорить. Больной размышляет, напрягая всю силу ума. Ага, понял, раскусил наконец, куда клонит эта лиса: он целит на то, чтобы кабинет во время его, Кленка, болезни снова круто повернул курс, снова начал проводить «горлодерскую» политику, чтобы здоровый Флаухер выпер больного Кленка. Он заботится о будущем, этот г-н Гартль, заранее старается зарекомендовать себя в качестве его преемника, в качестве министра юстиции, умеющего бить кулаком по столу, отстаивать баварские права! Кленк бесится: «Шалишь, до этого еще далеко, милейший. Но сейчас — только не показывать вида, быть благоразумным». Он спокойно выслушивает все благоглупости Гартля, отвечает серьезно, продуманно. Ни словом не выдает себя. Министр и его референт вежливо, почти сердечно беседуют между собой.

Когда Гартль оставляет его, Кленк чувствует себя разбитым. Проклятая танцовщица! Ах, только бы отдохнуть сейчас, успокоиться! Не думать ни о чем, — разве только о лесной чаще в горах, когда сидишь, подстерегая дичь. Но он не может себе позволить такой роскоши. Ибо сейчас явится барон Тони Ридлер. Они безмерно наглеют, эти молодцы из партии «патриотов». Он не может дольше терпеть этого. С тех пор как он заболел, они прямо гадят ему на голову. Вся баварская политика перевернута вверх дном из-за этой дурацкой болезни почек. Флаухер и его протеже, этот безмозглый

Руперт Кутцнер, проявляют активность, чрезмерно поднимают голову.

Итак, там, где только что сидел Гартль, сидит сейчас уже Тони Ридлер. Развалясь с грубоватым изяществом, он улыбается из-под усов, глядя на больного насмешливыми глазами, белок которых отливают коричневым. Кленк чувствовал, что голова у него туманится. Лучшие его дневные часы кончились. Только не выйти из себя! Только не наговорить глупостей!

Тони Ридлер рассказывал об охоте, устроенной в прошедшую субботу. Жалко, что Кленка не было с ними. Кленк отпил лимонаду. Он прекрасно знает, — сказал он, — насколько его болезнь приходится барону и его друзьям кстати. Все же им не следует слишком крепко на это полагаться, не следует чересчур распоясываться. Похоже на то, что он на будущей неделе снова уже будет сидеть в своем рабочем кабинете в министерстве. В крайнем случае ведь можно и здесь, лежа в постели, дать нужные распоряжения. Он хотел сказать больше, что-нибудь более резкое, но ничего придумать не мог. Проклятая баба, эта Инсарова! Какая жестокая несправедливость: его она довела до почечного припадка, а Ридлер, этот нахал, которого она так легко пустила к себе в постель, сидит вот здесь и издевается над ним.

Он не может понять, — снова заговорил Ридлер, — куда, собственно, Кленк гнет. Каждый ребенок должен видеть, что для «истинных германцев» задул попутный ветер. Весь Мюнхен, вся страна устремляются к Кутцнеру. Да так и должно быть. Он не понимает тактики Кленка, его стремления трубить отбой.

Если Ридлеру эта тактика непонятна, — возразил Кленк, — то виной этому не тактика. Он повторяет Ридлеру еще раз, что его «спортивные объединения» будут рассматриваться как спортивные объединения только в том случае, если они не будут так агрессивно, по-военному выступать.

— Что это значит: «не будут агрессивно, по-военному выступать»? — с медлительной иронической вежливостью спросил барон Ридлер.

— Это значит, например, — вежливо ответил

Кленк, — что они не будут устраивать парада в Кольбергофе. А что касается майора фон Гюнтера, так он просто должен исчезнуть.

— Я не знаю никакого майора фон Гюнтера, — произнес Тони Ридлер, с ненавистью глядя на Кленка.

— Через три дня он должен быть по ту сторону границы! — сказал Кленк повелительным тоном. — Скажите ему, что я разобрался в его деле. Скажите ему, что я считаю его проходимцем. Скажите ему, что, если бы это не было во имя почтенного дела, я бы не выпустил его за границу. Передайте ему это от моего имени и добавьте почтительный привет.

— Ну, а если он через три дня не будет по ту сторону границы? — издеваясь, спросил Тони Ридлер. — Вы двинете тогда тяжелую артиллерию?

— Да, — сказал Кленк, приподымаясь на локте. — Я двину тяжелую артиллерию.

— Вы в самом деле больны, — произнес Тони Ридлер.

Оставшись один, министр ощутил острую ненависть к Ипсаровой. Он не сомневался в том, что Тони Ридлер препроводит майора через границу. Но все же он должен был говорить совсем иначе, совсем иначе дать по носу этому нахалу. Во всем была виновата эта проклятая баба со своими крадущимися движениями и раскосыми глазами! Позднее, когда от слабости он лежал словцо в вате и в теплых облаках, он снова ласково подумал о жене, этой высохшей старой козе, о своем имении и еще ласковее о своем сыне Симоне. И о том еще, что, собственно, лучше было бы ему уехать в свое имение Берхтольдсцелль, ходить на охоту, читать книги и оставить здесь, в Мюнхене, юстицию, Ипсарову, предоставить имдохнуть и гнить в собственной грязи.

Тони Ридлер между тем поехал в ресторан Пфаундлера обедать. Он повторял себе: «Кленк должен убратсья!» Он повторял это в Мюнхене, повторял в Кольбергофе. Он повторил это Кутцнеру, повторил в «Мужском клубе». Он написал об этом тайному советнику Бихлеру в Париж.

И Гартль тоже говорил: «Кленк должен убратсья!» И Флаухер тоже говорил это, и многие другие.

ИОГАННА КРАЙН ОДЕВАЕТСЯ НА ВЕЧЕР

В ночь перед тем днем, когда ей минуло двадцать шесть лет, Иоганна Крайн спала плохо. Она закрыла жалюзи у распахнутого окна: может быть, это луна мешала ей спать. Но дело было не в луне: она и теперь не могла уснуть. Она думала о людях, которых знала, и о том, что они делали, в то время как она в Париже играла в теннис и ездила к морю. Она думала о сухом, веселом, резком Тюверлене, обозрение которого сейчас репетировали. Славно было бы, если б он теперь был здесь и рассказывал ей об этих репетициях. Он часто и сильно злил ее, но во многом бывал прав. Она думала о своей пустой и глупой матери и испытывала при этом легкую неприязнь. Она думала о Мартине Крюгере, о котором мало что знала, так как его бесцветные письма больше скрывали, чем раскрывали его. Думала о порывистом адвокате, докторе Гейере, с острым впивающимся взором. Тут мысли ее попытались соскользнуть на другое, но она сдержала их, переключила. Заставила себя оторваться от образа ветрогона; ухвати-лась, так как в мозгу мелькнуло имя Каспара Прекля, за его образ. Стала разбираться в нем. Когда-то он рассказывал ей, каким образом стал марксистом. Не жалость к угнетенным или тому подобные сентиментальности привели его к этому учению, — нет, другое. Раньше, до того как он стал марксистом, судьба бросала его по самым разнообразным местам, он работал, работал и все не мог нащупать почву, на которую мог бы твердо ступить. Не открывался ему ясный взгляд на мир. История, общественный строй, все окружающее, если пытаться объяснить их на основании прежних теорий, оставались лишенными смысла. С той минуты, как он для их объяснения применил принципы научного марксизма, они, словно сами собой, пришли в порядок. Выступили причины, следствия; колесики завертелись. Словно бы он раньше пытался править автомобилем при помощи вожжей и кнута и не мог сдвинуть его с места, а теперь понял его механику. Она вспомнила горячую страстность, с которой он рас-

сказывал ей все это, вспомнила его угловатую неловкость — и помимо воли улыбнулась. Она включила свет, — все равно ведь пока ей было не уснуть, — достала книгу. В эти последние недели дурного настроения она много читала. Но романы того времени не удовлетворяли ее. В их основу были положены мировоззрение и все условности буржуазного общества, и бог весть сколько слов тратилось, пока некто не достигал удачи или неудачи в своих делах или пока такой-то не добивался возможности спать с такой-то. Сейчас она выписала себе книги социалистического направления. Господин Гессрейтер, узнав об этом, только списходительно улыбнулся. Ей говорили, что стоит лишь ей понять учение о прибавочной стоимости, о накоплении капитала и основы материалистического понимания истории, как она постигнет подлинные законы, управляющие человеческой жизнью. Судьбой рурских рабочих и далай-ламы, бретонских рыбаков, последнего германского императора и кантонских кули руководят одни и те же вполне отчетливые законы экономической необходимости. «Если вам станут понятны эти законы, — объяснял ей однажды Каспар Прекль, — перед вами раскроются смысл и основные линии ваших собственных действий, вы придете к подчинению или борьбе с собственной судьбой».

Иоганна в живо и умно написанной книге читала о распределении доходов во всем мире, о классовой борьбе, о зависимости всех явлений человеческой жизни от экономики, но книга не помогла, не сделала для нее более ясными ее взаимоотношения с людьми, ее ненависть и любовь, ее день с его наслаждениями и колебаниями. Ее взгляд убежал от строк. Бурно и непосредственно ворвались оттесненные образы. Эрих был ветреный человек, без чувства ответственности, поразительно лишенный внутреннего содержания. Возможно ли было заполнить эту пустоту? Обрела бы ее жизнь смысл, если бы она взялась за эту задачу? Но сразу же она сказала себе, что это ложь. Она не хотела обманывать себя. Такая «задача» была просто игрой в стиле тех глупых романов. Ей просто хотелось быть вместе с этим человеком, лежать, спать с ним — вот в чем было

дело. Тюверлен был далеко, Тюверлен не писал. Она глупо и скверно вела себя с ним. Было понятно, что он не пишет. И все же было жаль.

Завтра Гессрейтер собирался отпраздновать день ее рождения, отправиться ужинать с нею в ресторане Орвилле. Фенси де Лукка была в Париже, но Гессрейтер настоял на том, чтобы они провели этот вечер вдвоем. Почему она именно с ним находилась здесь? С любым другим ей было бы приятнее быть вместе. Ярость против г-на Гессрейтера охватила ее. Она так отчетливо ощутила кисловатый запах его фабрики, что, поднявшись с постели, далеко высунулась в окно. Гессрейтер был ей противен, противна его мягкотелость, его неуклюжая предупредительность, его серии «Бой быков» — не менее, чем его длиннородные гномы и гигантские мухоморы.

На следующее утро (они поехали в Медон и шли вдоль озера, носившего название Etang de Trivaux) у нее произошел разговор с Фенси де Лукка. Фенси шла, обняв Иоганну рукой. Худоцавая женщина с ястребиным посом казалась почти ребенком рядом с крепкой, большой Иоганной.

— Когда-нибудь, — произнесла Фенси, и это звучало как ответ на невысказанный вопрос, — в этом году, а может быть, только в будущем, я потеряю свое звание чемпионки. Затем я выступлю еще раз, и мне повезет, а может быть, и не повезет. И однажды станет ясно, что все кончено.

Она произнесла это спокойно, безусловно не стремясь вызвать жалость.

Вечером Иоганна рано начала одеваться, готовясь к ужину с Гессрейтером. Она долго обдумывала, что ей надеть, решала, передумывала, снова решала. В то время как она сидела в ванне, ей вспомнилось вызвавшее в свое время досаду место из одной прочитанной ею социалистической книги. Накинув купальный халат, она в поисках этого места перелистала книгу, не нашла того, что ей нужно было, и принялась одеваться. Но мысль об этих строках мучила ее, и она снова принялась искать. Полуодетая, сидела она перед книгой Бернарда Шоу, знаменитого писателя того времени,

«Путь к социализму и капитализму (справочник для интеллигентной женщины)», закусив верхнюю губу и сдвинув брови так, что на лбу прорезались три бороздки. Она все не находила нужного места. Но ей подвернулось другое: «Я знал женщин, полных природного ума и энергии, которые твердо верили, что мир можно исправить путем разрозненных действий людей, руководимых чистотой намерений». Эти слова она отнесла к себе. Она пожала плечами, не зная, права ли она или писатель Бернард Шоу. Позвонили по телефону: Гессрейтер справлялся, готова ли она. Она кончила одеваться не торопясь.

Ей вдруг стало ясно: она находилась в состоянии ожидания и не могла жить иначе, чем жила. Так же несомненно, как несомненно состоится тот ужин, к которому она одевается, так же несомненно придет и то событие, настоящее, полное смысла, к которому она готовится.

Они ужинали в небольшом кабинете знаменитого ресторана Орвилле. Г-н Гессрейтер привез Иоганне выбранные им с большим вкусом подарки, с особенной тщательностью составил меню. Они ели пряные, возбуждающие закуски, соусы, рыбу, устриц, мясо домашних животных, дичь, птицу, плоды земли и деревьев, блюда из яиц, молока и сахара. Кушанья были приготовлены с искусством, накопленным веками, с особенной хитростью утопчены, их составные части с большими трудностями были привезены из отдаленных уголков земного шара. Г-н Гессрейтер ел пемпого, но с наслаждением знатока, и с наслаждением пил отдельно к каждому блюду подававшееся вино. Он был весел в этот вечер, полон добродушного, спокойного юмора. Иоганна попыталась настроиться с ним в унисон. Она также была оживлена, любезна. Но внутренне она делалась все более колючей. Она твердила себе, что это с ее стороны несправедливо, но все в нем вызывало ее раздражение: его великолепно скроенный фрак, его полное лицо с маленьким ртом, его запонки, его аппетит, его обстоятельная речь. Она заговорила о том, что читала. Он был терпим, со многим готов был согласиться. После резкой аргументации в прочитанных ею

книгах эта расплывчатая терпимость особенно сильно задела ее. Она старалась не подать виду, оставалась вежливой, смеялась над его шутками, но г-н Гессрейтер, очень чуткий к колебаниям настроения, не мог скрыть от себя, что этот праздничный ужин вдвоем не удался. Расставаясь, он еще вежливее, чем всегда, поцеловал ей руку. И оба отдавали себе отчет, что это копец.

В ближайшее воскресенье в Германии был поставлен на голосование вопрос о конфискации имущества бывших владетельных князей. Для того чтобы выпесенное плебисцитом решение стало законом, требовалось, чтобы в голосовании участвовало не менее половины тех, кто имел на это право. При всех выборах, имевших до сих пор место, оказывалось, что значительная часть избирателей при всех условиях на выборы не является. Противники конфискации, действуя с примитивной хитростью, предложили поэтому своим сторонникам воздержаться от голосования и таким простым способом добились того, что конфискация княжеских имуществ провалилась, невзирая на то, что значительное большинство немцев было за нее.

Господин Гессрейтер и Иоганна прочли о результатах голосования в понедельник утром. Они не разговаривали на эту тему.

В понедельник днем Иоганна получила коротенькое письмо от доктора Гейера. Благодаря назначению ландсгерихтсдиректора Гартля референтом по делам о помиловании положение Крюгера изменилось. Правда, тот факт, что на место Гартля назначен другой клепковский судья, особых благ не сулит. Тем не менее назначение Гартля в министерство дает возможность применить новую, ему лично, правда, мало импонирующую, но все же не безнадежную тактику. Он советует ей лично переговорить с ним об этих возможностях.

Читая это письмо, она поняла, что уже и до этого решила ехать в Мюнхен.

Господин Гессрейтер, когда она сообщила ему о своем отъезде, вежливо одобрил ее решение. Он также предполагает вернуться домой примерно через неделю. Так долго, — сказала она, — она ждать не может. —

На какой же день,—вежливо спросил он,—прикажет она заказать для нее билет? — На послезавтра,—решила она.

Он проводил ее на вокзал. Она выглянула из окна купе и с любопытством заметила, что его бачки теперь уже почти совсем сбиты. Когда поезд отошел, он еще немного постоял на платформе. Затем глубоко, с удовлетворением вздохнул, улыбнулся, тихонько затянул ту легкую мелодию, которую Иоганна обычно еле слышно напевала сквозь зубы, крепко стукнул о перрон тростью с набалдашником из слоновой кости и, пряча в карман радостное и радующее его письмо г-жи фон Радольной, направился к мадам Митсу.

15

МИСТЕРИИ В ОБЕРФЕРНБАХЕ

В «Американском баре» горной деревушки Оберфернбах, при звуках джаза, среди нескольких местных жителей с елейными бородками и многих мюнхенцев, сидел и художник Грейдерер в обществе профессора Остернахера. Все стулья в этом нарядном, отделанном в новейшем стиле заведении были заняты: хотя в нынешнем году и не ставилась сама «Мистерия страстей господних», а только учебная мистерия, все же популярное имя деревни, славившейся своими постановками, привлекло толпы иностранцев. Во времена прадедов эти баварские крестьяне ставили свои мистерии, руководствуясь наивной верой и искренним удовольствием, которое доставляла им самим игра на сцене. Сейчас простодушный ритуал превратился в хорошо организованное и весьма доходное предприятие. Ему деревушка была обязана железнодорожной линией, сбытом своих резных деревянных изделий, канализацией, гостиницами. Нынче, когда во время инфляции за «простодушный ритуал» можно было заставить платить полноценными иностранными деньгами, для оберфернбахцев наступили особенно хорошие времена.

Художнику Грейдереру воздух святой деревушки был как нельзя более по вкусу. Горы, чистенький посе-

лок, эти лукаво-набожные крестьяне, даже и в будни расхаживающие в сандалиях, с библейски длинными волосами, развевающимися бородами и пользующиеся книжно-елейной речью, — все это было удивительно по нем. Но он жаждал впечатлений более полных, чем те, которые предлагал своим посетителям «Американский бар». Тысяча чертей! Довольно этой идиотской джазовой музыки! Подать сюда местное трио на цитрах! Пусть пляшет Рохус Дайзенбергер. Говорят, это великолепно. Смешно и в то же время жутко.

Рохус Дайзенбергер стоял в ожидании, с хитрым и довольным видом. Это был уже пожилой человек, высокий, худой, с черной седеющей бородой, расчесанными на пробор волосами, золотыми зубами. Над горбатым носом светились маленькие, глубоко запавшие ярко-голубые глаза, удивительные при таких темных бровях. Он ходил в сандалиях и торжественном черном сюртуке, потому что в играх он исполнял торжественную роль — изображал апостола Петра, отрекающегося от спасителя.

Итак, сейчас, по настоянию Грейдерера, Рохус Дайзенбергер собирался плясать под звуки цитры. Он долго снимал сандалии; замесил их крепкими ботинками, подбитыми гвоздями. Принялся плясать местную чечетку — «шуплаттль». Скакал, ударял себя по седалищу, топал ногами. Хлопал по подошвам ботинок. Пригласил одну из девушек. Кружил вокруг нее, подсакивая и притопывая, подманивая ее к себе, в то время как она держала одну руку над головой. Его голубые, хитрые, глубоко запавшие глазки сверкали неимоверным наслаждением, апостольская борода развевалась, смешно и нелепо разлетались фалды торжественного черного сюртука, когда он, кружась, похлопывал себя по заду и по подошвам. Он плясал с диким увлечением, бесстыдно. Все перестали разговаривать, глядели на старика, который носился в пляске как одержимый, весело, невероятно цинично и просто. Он повернулся к своей партнерше спиной, все приплясывая, и, в то время как девушка возвращалась на свое место, стал приближаться к элегантно одетой приезжей даме и поклонился ей. Дама смущенно улыбнулась, не зная, как поступить. Затем поднялась и стала проделывать легко усваиваемые движения танца,

а долговязый апостол дико плясал вокруг нее. Он казался неутомимым. Изобретал все новые вариации. Пресыщенные чужеземцы глядели на него.

На следующий день публика собралась в примитивном деревянном балагане, в котором происходили представления. Игра была бездарной, сухой, натянутой, бесконечно длинной, взвинченной и бюрократичной. Пфаундлер убеждался, что был прав. Здесь, правда, добивались превосходных цен, в то время как в церквах радовались, когда люди хотя бы и бесплатно удостаивали их своим посещением. Все же чутье не обмануло его, когда он отказался от фильма «Мистерия страстей господних» и решил поставить обозрение «Выше некуда!». Кругом распространялась все более тягостная, парализующая скука. Министр Флаухер, при всем желании найти это религиозное, исконно национальное зрелище прекрасным, с большим трудом, все чаще потирая где-то между шеей и воротничком, преодолевал зевоту. Кронпринц Максимилиан, привыкший к светским манерам и дисциплине, делал нечеловеческие усилия, чтобы сохранить на лице надлежащее выражение заинтересованности. Он сидел среди своих спутников строго выпрямившись. Но каждые пять минут ему приходилось усилием воли заставлять себя поднимать веки, чтобы они не опускались, и выпрямлять плечи, чтобы они не сгибались. Кое-где, несмотря на «святость» зрелища, уже потихоньку принимались за еду, пробовали при помощи скрытых гимнастических упражнений отогнать сон. Отдыхом казалось, когда над открытой сценой пролетала птица или бабочка.

Внимание пробуждалось только при появлении извозчика Рохуса Дайзенбергера. Остальные, хорошо натасканные, просто рубили сплеча жалкий текст. Рохус Дайзенбергер и в роли апостола Петра оставался самим собой, увлекаясь, сияя глубоко запавшими голубыми глазами, часто смеясь, скаля свои золотые зубы, требуя для себя большого места в жизни. Иисус, которого монотонно, как шарманка, играл столярных дел мастер Грегор Кипфельбергер, проговорил, обращаясь к нему: «Нынче ночью вы все будете сердиться на меня». На что Петр — Дайзенбергер ответил с уверенностью: «Даже

если они все будут сердиться на тебя, то я этого наверно не сделаю». Иисус же сказал ему: «Истинно говорю тебе: сегодня ночью, раньше чем прокричит петух, ты трижды отречешься от меня». Но извозчик Дайзенбергер вплотную подошел к несколько меньшему, чем он, Иисусу — Кипфельбергеру, положил ему руку на плечо, поглядел на него сияющими глазами и произнес невыразимо доверчиво и простодушно: «Иди и будь спокоен. Даже если мне придется умереть с тобой вместе, то и тогда я не отрекусь от тебя». Он тряхнул длинными, на пробор расчесанными волосами, преданно улыбнулся ему своим золотым ртом. Все слушатели поверили ему, и извозчик Дайзенбергер, безусловно, и сам верил себе.

Но Иисус — Кипфельбергер был грубо схвачен и отведен во дворец первосвященника. Извозчик Дайзенбергер издали последовал за ним до самого дворца, вошел во дворец и подсел к слугам, чтобы разузнать, каковы дела. Но дела обстояли очень скверно, и кончилось тем, что все закричали: «Он достоин смерти», — очень натурально оплевали Иисуса, накинулись на него и стали бить по лицу. Извозчик Рохус Дайзенбергер между тем сидел во дворе. К нему подошла служанка и спросила его: «А ты тоже был с Иисусом из Галилеи?» Тогда извозчик Дайзенбергер глянул на служанку, и его маленькие глазки утратили свой блеск. Он завертелся выюном, поднял плечи, снова опустил их, снова поднял и наконец произнес: «Не понимаю, как это ты можешь говорить такие вещи». Он хотел улепетнуть. Но тут увидела его другая служанка и сказала остальным: «Вот этот тоже был с Иисусом из Назарета». Тогда извозчик Дайзенбергер снова приподнял плечи, рассердился и принялся клясться и браниться: «Я даже не знаю, чего вы хотите, шкуры вы собачьи! Я не знаю этого человека!» А немного погодя снова один из окружающих сказал: «Истинно, ты один из тех. Речь твоя выдает тебя». Тогда он здорово напыжился и, размахивая руками, бранясь, закричал: «Черт побери, да я вовсе не знаю этого человека!»

И вскоре затем прокричал петух.

Тогда все сразу увидели, что Петр — Дайзенбергер вспомнил вдруг слова Иисуса, который сказал ему:

«Раньше чем прокричит петух, ты трижды отречешься от меня».

И все собравшиеся в большом деревянном сарае встрепонулись. Было совсем тихо, скуки как не бывало. Они видели на сцене только человека, предавшего своего учителя. Они не вспоминали ни о предательствах, жертвою которых бывали, ни о предательствах, которые сами совершали. Один только боксер Алоис Кутцнер, быть может, взволнованный сильнее всех остальных, подумал о преданном и заключенном в темницу короле Людвиге II.

А на сцене апостол Петр — Дайзенбергер пошел и заплакал горько, неудержимо, бесстыдно, естественно, точно так же, как плясал накануне.

В то время как другие еще в тот же день уехали, Остернахер, Грейдерер и его «зайчонок» остались в Оберфернбахе. Грейдереру хотелось нарисовать Петра — Дайзенбергера. Апостол Петр должен был сидеть, держа большой ключ в одной руке, другой — поглаживал бороду, довольный, сияя блеском маленьких, глубоко запавших глаз. Извозчик Дайзенбергер согласился позировать, но потребовал денег, да к тому же иностранных. Сначала он спросил доллар, но, когда Грейдерер стал бешено с ним торговаться, потребовал два. Наконец вмешался Остернахер и заплатил ему.

— Видите ли, дорогие господа,— сказал апостол Петр, искренне сияя и приветливо улыбаясь золотым ртом,— когда получаешь столько, сколько спросил,— это значит, что спросил настоящую цену.

И он уселся, держа свой большой ключ, в требуемой позе. С полной откровенностью принялся он тут же рассказывать о своей жизни. Он вырос на коюшине, любил своих коней. Мальчишкой он нередко разговаривал с лошадьми, понимал их язык. Считал себя, ввиду того что и господь в детстве имел дело с хлебом и яслями, осененным особо милостью. Жаль, что выводятся конные экипажи! Правда, к своим конюшням он пристроил теперь автомобильный гараж, хорошо умел управлять машиной и оказался ловким механиком. Все же в гараже было меньше святости, чем в яслях. Кроме того, он умел составлять много мазей и лекарств не только для скота,

но и для людей. Знал вообще много тайн и внушал остальным жителям деревни некоторый страх своими плясками, фокусами и всем своим поведением. Но так как он был набожен и был хорошим знатоком библии, никто не мог под него подкопаться.

С «зайчонком» он сразу же принялся напропалую флиртовать, и молодая особа тоже вся потянулась к нему. Он сидел, пока Грейдерер работал над своим наброском, совершенно просто, стнюдь не так, как перед фотографом, наивный, хитрый и в то же время полный достоинства. Он много рассказывал, ничего не скрывал. Не стесняясь, поведал, как во время войны устраивал своих сыновей на тепленькие места в тылу. Рассказывал и о своих бабах. У него, верно, была чертовски ловкая манера обходиться с ними. Он поведал также, что вряд ли долго теперь продержится в деревне. Времена, мол, теперь пошли такие, что для человека, осененного господней милостью, найдется и в Мюнхене чем поживиться.

Грейдерер между тем работал над наброском «Деревенский апостол Петр». Работал без особого удовлетворения. Накануне вечером он сильно выпил. Его злили два доллара, которые выторговал хитрый мужик, злил и «зайчонок», бесстыдно кокетничавший с этой грязной скотиной. Профессор Остернахер вновь и вновь старался вернуть его внимание к наброску. Давал ему советы. Грейдерер большинство их отклонял и по-своему, неуклюже и малопонятно, старался объяснить, что именно он хочет сделать. Но это ему плохо удавалось. Остернахер внимательно слушал, жадно смотрел.

Грейдерер становился все ленивее. Начат набросок был хорошо, это правда, но все это было так чертовски трудно. Спертый воздух в жарко натопленной комнате вызывал утомление. Апостол Петр сочувственно улыбался. Да, г-н Грейдерер был совершенно прав.

Только не спешить: если дело хорошее, оно и на будущей неделе еще поспеет. Только не поддаваться разуме этого новомодного курьерского темпа. Грейдерер кивал головой, сыграл кое-что на губной гармонике, удалился с «зайчонком» к себе.

Господин фон Остернахер, оставшись один, прошелся

по деревне, сосредоточенно, упорно о чем-то думая. Прогулялся по окружающим деревню холмам, еще раз прошел мимо дома Рохуса Дайзенбергера. Тщательно записал его адрес, пригласил польщенного крестьянина навестить его в городе.

16

КАСПЕРЛЬ И ТОРЕРО

Жак Тюверлен из яркого тепла августовского утра вступил в затхлую прохладу театра. Нервно потянул носом пахнувший плесенью воздух. Плюшевая обивка кресел, осыпающаяся позолота ярусов, обрамляющая сцену лепка — каким уродливым казалось все это в огромном пустом зале! Как отвратительно все это пахло! Безнадежностью веяло от этих репетиций. Вместо того чтобы работать над своим «Страшным судом», он толкался среди пресных фатов, плоских истомленных комиков, скучающих девиц; голые под своими накинутыми на плечи пальто, убогие, жалкие и невзрачные, сидели они во всех углах. Какое безумие, что он связался с этим делом!

Репетировалась картина «Тутанхамон». Гробница этого египетского царя была недавно найдена и вскрыта. Стилй той эпохи, прежде всего отразившийся на предметах женской одежды, очень быстро вошел в моду. В картине «Тутанхамон» «герлз» проходили по сцене в профиль, в иератических позах, и стилй египетского барельефа, перенесенный на автомобили, теннис, футбол, негритянские танцы, мог бы, если бы не безнадежно пустые лица девушек, создать довольно острый эффект. Античный кулът и современность смешивались дерзко, бодро связанные неплохой музыкой. Но г-н Пфаундлер нашел стихи Тюверлена чересчур «умными» и убрал их. Популярный опереточный либреттист написал новые стихи — шуточные, банальные, пошлые. Какое дело было до этого Тюверлену?

Господин Пфаундлер кричал что-то в трубу, мчался на сцену, спорил с режиссером, давал новые распоряжения, отменял их, возвращался в зрительный зал,

за освещенный режиссерский пульт, бранился своим резким, грубым голосом, звуки которого были нелепо искажены мегафоном.

С ним трудно было иметь дело во время этих репетиций. У него было много мелких неприятностей. У играющего на рояле павиана, например, заболел, как утверждал его владелец, живот. Пфаундлер предполагал, что это неправда; просто обезьяну хотят показывать в другом месте за более дорогую плату. Но обиженный врач театра заявил, что не имеет права не признать представленное владельцем павиана свидетельство ветеринара. Подобная же история произошла и с труппой лилипутов. Их Пфаундлер пригласил на особенно выгодных для себя условиях. Но затем выяснилось, что они только потому взяли такую дешевую цену, что английское министерство труда не разрешило им въезд в Англию, как злостным конкурентам английских лилипутов. Сейчас это запрещение было снято, и хитрые карлики, оказывая пассивное сопротивление, добивались от Пфаундлера расторжения контракта или улучшения условий. Но это все только царапало шкуру Пфаундлера: глубже внедрилась и непрестанно грызла его досада на то, что он связался с этим проклятым Тюверленом. Как это он, старый осел, при своем долголетнем опыте мог поверить в эту самую галиматью, в эту «художественность»! То, что проект художественного обозрения сам по себе был удачен, но осуществим на практике только в Берлине и что, таким образом, в неудаче повинна будет только его сумасбродная любовь к Мюнхену, — в этом Пфаундлер не хотел себе признаться. Он был в отвратительнейшем настроении, никто не мог угодить ему, каждый ожидал внезапной и незаслуженной грубости. Особенно ненавистным казался ему Тюверлен.

Тюверлен, послушав немного брань Пфаундлера, направился в буфет. Подсел к акробату Бианкини I. С ним он как-то молчаливо и просто подружился. Акробат был неразговорчивым человеком, с твердыми взглядами на жизнь. Он работал вместе с другим, очень молодым человеком, и все на сцене знали: успехом владел юноша, искусством — его партнер. Работа Бианкини I требовала многих лет упражнений и редких способностей. Юноша

был лишь хорошо натасканной живой куклой, его работе можно было обучиться в несколько лет. Но Бианкини I это мало беспокоило. Разве не всегда бывало именно так? Разве успех не почти всегда выпадал на долю того, кто его не заслуживал? Разве публика понимала, что четыре или пять сальто с пола сделать несравненно труднее, чем пятьдесят с трамплина? Ей даже казалось, что это совершенно неважно, бросается ли акробат лицом вперед или на спину. Тонкости работы доставляют радость только тому, кто выполняет ее, и немногим специалистам из числа присутствующих. Публика даже не замечала этого. Все это, так наглядно доказанное на работе акробата, интересовало Жака Тюверлена: не то же ли происходило и в большинстве других областей, только не так осязательно доказуемо? С искренним сочувствием следил он за тем, как Бианкини I, хотя публика и не замечала тонкостей его работы, все же продолжал совершенствовать ее. Несомненно, он нисколько не завидовал молодому, осыпаемому проявлениями одобрения. Но почему-то не разговаривал с ним и пользовался одной уборной не с ним, а с имитатором музыкальных инструментов Бобом Ричардсом. Отношения между Бианкини I и Бианкини II были бессловесны, неясны и, как находил Тюверлен, таили в себе привкус боли.

К ним подсел Боб Ричардс, сосед акробата по уборной. В противоположность обоим Бианкини, он был очень разговорчив, читал кое-какие книги Тюверлена и уже однажды почтительно, но резко поспорил о них с автором. Он должен был стать раввином в Черновцах и в какой-то галицийской школе изучал талмуд. Прискнул затем к странствующей труппе в качестве «художника-молнии», пожинал цирковые лавры. Однажды при этом ему в нос попала краска, отчего произошло тяжелое заражение крови. Произведенная по необходимости операция изуродовала ему лицо, особенно нос, но одарила его способностью с помощью этого изуродованного носа подражать всевозможным инструментам. Он настолько усовершенствовал эту способность, что мог подражать четырнадцати музыкальным инструментам — от саксофона-баса и всех струнных инструментов

до флейты-пикколо, — и все это с помощью лишь своего огромного изуродованного носа. Его искусство пользовалось известностью, дорого оплачивалось. Он достиг желанного, ему жилось хорошо. Он разъезжал постоянно все с тем же номером; ему не требовалось много тренировки. Большое количество остававшегося у него свободного времени он посвящал чтению кабалистических и социалистических книг, которые приводил в какую-то странную связь. Он дружески спорил с Бенно Лехнером, которого Тюверлен, по просьбе Каспара Прекля, пристроил в театре в качестве осветителя и спокойное, осторожное философствование которого было Бобу Ричардсу по душе.

Комик Бальтазар Гирль не заходил в буфет, избегал остальных, предпочитал, злясь и брюзжа, сидеть у себя в уборной в обществе своей подруги. Идиотом он был, что позволил себя сманить из «Минервы», впутаться в эту дурацкую штуку, которая совсем не по нем. Правда, в процессе репетиций он находил еще в образе Касперля черты, соблазнявшие его. Тюверлен не превратил Касперля просто в злую и ядовитую карикатуру, а сделал его в какой-то мере симпатичным и преуспевающим. Касперля часто били, но еще чаще бил он. Он бил всех по голове, бил до тех пор, пока «большеголовые», «умпики», не валялись мертвыми. Невредимым оставался все тот же тупой, самодовольный, торжествующий Касперль, и он бесхитростно спрашивал: «А сколько вам за это заплатят, соседка?» Легковесные, победоносные — все гибли. Только Касперль оставался цел — глупый, упорный и в конце концов побеждающий именно благодаря своей дурацкой хитрости и неповоротливости. Комик Гирль не понимал аллегорического значения этой фигуры, но ясно чувствовал, что она обладала именно теми свойствами, которые он способен был изобразить, — свойствами жителя Баварской возвышенности. В глубине души он чувствовал себя прекрасно в этой роли. Но он успел уже выжать из нее все, что мог использовать для себя и что ему легко будет пустить в ход в своих собственных выступлениях «народного певца», без участия Тюверлена. Там, в залах «Минервы», он выступал один, и его не заслонял всякий сброд из «Волшеб-

ного театра», зверье из зоологического сада, прилизанные фатишки и голые девки. Весь аппарат обозрения расстраивал его, внушал ему недоверие. Он чуял, так же как и Пфаундлер, у которого был тонкий нюх, грядущий провал. Твердо решил отказаться от роли.

Настоящую причину он не раскрывал своей подруге, вряд ли даже сам отдавал себе в ней отчет. Зато он не переставал ругаться по поводу того, что его пиво снова недостаточно подогрето, и ворчать, что дирекция способна дать издохнуть настоящему артисту, несколько не заботясь о его больном желудке, что глупо было бы с его стороны продолжать тянуть эту лямку. Выпив пиво, он снова выходил в коридор, стоял там или за кулисами, произносил изредка: «Да, да, барышня, потом видно будет», — и имел такой подчеркнуто упрямый и унылый вид, что все озабоченно справлиались, чем он, собственно, недоволен.

Когда Тюверлен вошел в зрительный зал, там как раз репетировалась картина «Голая правда». Богатый молодой человек купил в Тибете идола, Кванон, женскую фигуру, обладающую свойством шевелиться, как только кто-нибудь солжет. Чем грубее ложь, тем резче движение. Молодой человек приглашает гостей. Собирается порядочно народу, начинаются обычные в таких случаях разговоры. Идол дергается, двигается все быстрее, все более бурно, пляшет. Тибетскую Кванон изображала г-жа фон Радольная. Она с обычной своей спокойной настойчивостью добилась того, чтобы ей дана была роль. Катарина была не лишена известной тяжеловатой грации, к тому же достаточно забавна. Но Пфаундлер не был удовлетворен, не переставал придирается к ней. Катарина оставалась спокойной; Тюверлен видел, чего это ей стоило. Он знал, почему Пфаундлер позволяет себе так нагло обращаться с ней. Это объяснялось тем, что она одна, как это ни странно, серьезно пострадала в связи с законопроектом о конфискации имущества бывших владетельных князей. Правда, народное требование не было удовлетворено, и г-жа фон Радольная осталась бесспорной владелицей своего поместья Луитпольдсбрунн, сохранила и свою ренту. Но в то время как от всех остальных грязь, выливаемая

в газетах противниками, отскакивала, не оказывая никакого действия, на г-же фон Радольной она оставляла несмыслимые следы. Без всякой видимой причины она одна осталась запятнанной. Прежнее придворное общество, ее круг, люди, которым она в свое время не раз оказывала разнообразные услуги, сейчас держались с ней подчеркнуто холодно. Уже больше не было у нее ветра в парусах,— все это чувствовали. И Пфаундлер также чувствовал это. Показывал, что чувствует. Она была хороша в роли тибетской Кванон. Если бы не глупая газетная болтовня, Пфаундлер также нашел бы, что она хороша. Она знала это, знала также, что если он сейчас находил в ней столько недостатков, то причиной была не злая воля, а искреннее убеждение. Она многое видела в жизни, знала свет и считала правильным, чтобы к неудачникам применялась более строгая мерка. Пфаундлер придирался. Его голос, вырывавшийся из трубы усилителя, звучал пронзительно, словно голос гигантского младенца. Г-жа фон Радольная спокойно все снова и снова репетировала сцену, пока Пфаундлер наконец, оставив свой режиссерский пульт, не появился на сцене. С злым выражением лица он тихо, с угрозой заявил, что эту сцену придется, вероятно, вычеркнуть. На этот раз вспыхнул Тюверлен. Громко из темноты зала прозвучал его сдавленный голос: есть немало другого, что нужно вычеркнуть раньше. Пфаундлер на сцене, освещенный прожектором, повернул в сторону темного зала шишковатую голову, собираясь закричать, но сдержался и сказал, что этот вопрос придется разрешить позднее. Акробат Бианкини I подсел к Тюверлену и тихо произнес: «Вы правы, господин Тюверлен».

Тюверлен не сказал больше ни слова. Не возражал против остальных картин. Г-н Пфаундлер все разбавил водой. Все сейчас, в сценическом воплощении, звучало вяло, осторожно, бессильно. Тюверлен видел — его работа пропала даром. Но огорчало его не то, что провал был неизбежен. Он горевал о потерянном годе. Может быть, и в самом деле прав был инженер Прекль, утверждавший, что в наше время нет места искусству. Тюверлен не шумел, не спорил с Пфаундлером, который с нечистой совестью,— он ведь знал, как хорош был пер-

воначальный текст, — при каждой новой сцене ждал взрыва негодования со стороны автора. Но все было тихо, и только плечи Тюверлена все больше сутулились.

— Вы устали? — спросил артист Бианкини I.

— Нет ли у вас каких-нибудь замечаний? — время от времени, словно мимоходом, спрашивал Пфаундлер. Нет, у Тюверлена не было никаких замечаний.

— Продолжайте, пожалуйста, — говорил он.

Его голос сегодня звучал, пожалуй, еще более сдавленно, чем всегда.

Имитатор музыкальных инструментов Боб Ричардс рассказал об одном обозрении, которое шло пятьсот раз. Все вынесли эти пятьсот представлений, кроме слона. Он издох после двухсотого.

Началась сцена «Бой быков», последний уцелевший в пьесе остаток творческого замысла Тюверлена. Тюверлен придал быку образ существа загнанного, тупого, обреченного на гибель, по-своему симпатичного, сильного, но лишённого хитрости, без которой в эти времена трудно было прожить. Голые девицы изображали теперь тореадоров. В руках у них были разукрашенные лентами пики. Они были одеты в коротенькие, расшитые золотом курточки. Из-под курточек дразняще выглядывали голые груди. Артистка Клере Гольц изображала матадора. Стихи, которые она должна была произнести, удалось автору, звучали остроумно и зло. Они понравились даже Каспару Преклю и Бенно Лехнеру. Клере Гольц читала их с большим подъемом. Но все было напрасно. Пфаундлеровская осторожность искалечила и эту сцену. Все политическое было выхолощено; резкость и острота — уничтожены. Оставалось одно шутовство. Было над чем посмеяться, — это несомненно. Касперль — Гриль, под прикрытием материй и папье-маше изображавший быка, был действительно очень смешон в своих бесчисленных искусных и неоценимых перевоплощениях — неуклюж, трогателен, лукав, глупо-хитер, чудакват. И Пфаундлер тут постарался: создал красочную и, при всей нарочитой тяжеловатости, все же веселую штуку. Но все пропало впустую. Не хватало насыщающего действие скрытого и все же четкого смысла. Итак, от Тюверлена во всем обозрении не осталось и следа.

Когда картина уже близилась к концу и Тюверлен собирался уходить, вдруг откуда-то выплыла мелодия — несложная, дерзкая мелодия марша, — и Тюверлен остался. Эта мелодия, страпная смесь испанского и негритянского жанров, мавританской дикости и испанского изящества, впитавшая в себя всю притягательность боя быков, сплетенную из изысканной позы и наслаждения убийством, — не имела никакого отношения ни к тексту Тюверлена, ни к его художественному замыслу. Но она резко выделялась среди бравурной, шумной, шаблонной музыки, звучавшей до сих пор. Сцена стала иной, бык стал иным, стройные фигуры девушек ожили, задвигались по-человечески. Простенькая мелодия росла, крепла. Голоса девушек, их вульгарные уличные голоса сливались в дикий, слаженный хор. Как-то неожиданно обозрение вдруг снова приобрело смысл. Дерзкое ликование двух резко звенящих тактов овладевало слухом, кровью, выпрямляло вяло согнувшиеся спины, изменяло движение ног и биение сердца.

В последнем ряду зрительного зала, в одежде театрального цыгана, сидел человек, сочинивший эту музыку, тот самый бывший революционер, а ныне музыкальный клоун, который когда-то провозглашал автономию художника-исполнителя. В Санкт-Паули, портовом квартале города Гамбурга, уловил он когда-то эту мелодию. Матросская девка, рожденная матерью-южанкой, мурлыкала эти несколько тактов. Умелым изменением в ритме превратил он эту мелодию в то, чем она была сейчас. Остальные два композитора — официальные, те, чьи имена должны были значиться на афише, — косились на него. Бывший революционер сидел во мраке, критикуя, наслаждаясь. Он знал, что эта мелодия за год обойдет весь земной шар, распространяемая пятью тысячами джазовых оркестров, тремястами тысяч пластинок, радио, знал, что миллионы людей свою повседневную работу будут совершать под звуки этой мелодии. Этот человек преждевременно постарел и имел жалкий вид. Свое участие в обозрении он продал за низкое единовременное вознаграждение; ничто в его внешней судьбе не изменится от успеха его мелодии. Он не грустил об этом. Он улыбался. На всех людей в этом большом зале

его музыка производила впечатление; на него — и в этом было его торжество — она уже не оказывала действия.

Сцена закончилась с большим оживлением и при общей уверенности в успехе. Когда потребовалось сразу же повторить ее, все были рады. Но тут, тихий и унылый, подошел к рампе комик Бальтазар Гирль и заявил, что он уходит теперь домой. Он и завтра не придет, и послезавтра не придет, и на премьеру тоже не придет. Он болен. Он всегда говорил, что пиво ему нужно хорошенько подогревать, а теперь вот он заболел и ясно чувствует, что это надолго, и поэтому он уходит домой. Люди на сцене растерянно окружили его, человек, державший наготове картонный бычий зад, так и застыл, разинув рот. Все в напряженном ожидании глядели на Пфаундлера. Тот медленно, на ходу соображая, поднялся по мосткам, ведущим на сцену, и долго шепотом убеждал в чем-то Гирля. Видно было, что Гирль почти не возражал. Многословную, хитроумную речь Пфаундлера он слушал с печальным и упрямым выражением лица. Пожимал плечами. Повторял все одно и то же: «Видите ли, у меня другие взгляды» или «Ну, теперь я пойду». Ушел.

Тюверлен не сделал никакой попытки вмешаться. Он давно разгадал комика Гирля и не был удивлен. Он был рад, что для него теперь все это дело окончательно ликвидировано. Пфаундлеру же, хотя в лице комика Гирля он терял тот толщ, на котором держалась вся постановка, такой исход был даже по душе. Теперь дело было решенное — можно было вычеркнуть это дурацкое название «Касперль в классовой борьбе». Теперь, согласно велениям самой судьбы, оставалось «Выше некуда!». Разговаривая с Гирлем, он уже мысленно набросал соответствующую заметку для газеты. Полный решимости и энергии, он обратился к растерявшемуся помощнику режиссера: «Ну, что случилось? Репетируется следующая картина!» Он бранился, торопил. Началась перестановка, дикая толчея рабочих, артистов, декораций, кулис, музыкантов, всевозможных людей в белых халатах. В пять минут были установлены декорации для следующей сцены, «Натюрморт», в которой голые девицы

воплощали разные кушанья. Они уже стояли в ожидании, готовясь судорожными шажками, под звуки дурацкой музыки, пройти по сцене. У одной вместо рук были клешни омара, у другой над задом торчали гигантские фазаны перья, третья хлопала, открывая и закрывая их, створками устричной раковины. Не считая этих атрибутов, девицы были голые. Все сводилось к тому, чтобы сцена к концу действия представляла собой гигантский заманчиво накрытый стол, на котором красовались бы голые женщины и чудовищно увеличенные изображения лакомых блюд. Это была картина целиком в стиле «Выше некуда!» и совершенно во вкусе г-на Пфаундлера. Все на сцене стояло наготове. «Начинать!» — командовал Пфаундлер. Прозвенел режиссерский звонок.

Тюверлен тем временем ушел. Лениво позевывая, держа в руках шляпу и подставив летнему ветру свое голое лицо, бродил он без цели по жарким улицам. Он был доволен, что все именно так случилось, и снова был склонен находить мир прекрасным. Он настойчиво думал об Иоганне. Не потому, что ему хотелось спать с ней, — этого он тоже хотел, — но прежде всего ему хотелось ощущать ее присутствие возле себя. Браниться с ней, бранить себя и других. Услышать ее мнение, ее совет. Старые глупые слова «сердечность» и «доверие» были бы тут к месту, — подумал он. Приятно было бы, если бы сейчас Иоганна шла рядом с ним.

Иоганна накануне приехала в Мюнхен. Она сидела в закрытом такси ПА 8763, как раз в это время проезжавшем мимо. Но этого Жак Тюверлен не знал.

17

КОНСУЛЬТАЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ НЕВИДИМОГО

Иоганна, вернувшись в Мюнхен, рассказывала взад и вперед по своей большой комнате, обставленной солидной мебелью, вдоль оклеенных красивыми светлыми обоями стен и аккуратно прибранных книжных полок, наедине со всеми предметами, необходимыми при ее

графологической работе, наедине с огромным письменным столом и пишущей машинкой. Под ее окнами, по ту сторону набережной, весело плескался темно-зеленый Изар.

Иоганна сторонилась мюнхенских знакомых, работала. Доктор Гейер на несколько дней уехал в Северную Германию, в Берлин, в Лейпциг. Его ждали обратно только в начале будущей недели. Хорошо было сейчас побыть одной. Она как-то по-особенному чувствовала себя «вернувшейся». Вся эта история со «светскими связями» была сплошной мерзостью. Не стоило ей в это впутываться. Начиналось это Гессрейтером и привело в конце концов к ветрогону. Нет, эта заплесневелая, тепловатая светская жизнь была не по ней, ей там нечем было дышать. Разве не ходила она все время в период своей связи с Гессрейтером странно скованная, словно в каком-то чаду? Сейчас она снова была окружена чистым, дневным воздухом. Довольная, она хрустнула пальцами, улыбнулась, почувствовала чертовское желание работать. Заказов было множество, могло хватить, если только она пожелает, месяца на три.

Ногти ее были еще миндалевидны, но работа не давала ей досуга ухаживать за ними, как во Франции. Пишущая машинка стирала ногти и кожу, пропадал достигнутый с таким трудом бледный, молочный блеск, тонкая кожица у ногтевого ложа грубела. За период своей жизни в свете она приучилась «поддерживать разговор», быстро, хоть и не очень продуманно отвечать. Сейчас она вернулась к своей старой привычке отвечать часто после длительной паузы, неожиданно возвращаясь к старому, начинать с того, на чем остановилась полчаса назад, словно она эти полчаса не слушала. В своей манере одеваться она тоже стала прежней Иоганной: новомодные платья, привезенные из Франции, в Мюнхене, с его значительной прослойкой сельского населения и соответствующими вкусами, неприятно бросились бы в глаза.

Она работала. Прежде она полагалась на интуицию. Жуткое, сладостное и мучительное мгновение молниеносно пронизывающего прозрения было наградой и вершиной ее работы. Теперь то, что она делала, давалось

с большим трудом, было менее ослепительным, но зато более добросовестным. Она находила, что взгляд ее на людей стал шире.

Шесть дней прожила она так в Мюнхене, работая, почти не выходя из дому, удовлетворенная. Хорошо спала. В седьмую ночь она вдруг поняла, что такая жизнь — просто безнадежный обход, бегство от одного человека, она испугалась своей судьбы.

Она еще раз позвонила — и было это словно частичная уплата невидимому кредитору — в контору адвоката. Да, он только что приехал. С необычайной предупредительностью, почти радостно, согласился он принять ее уже через час.

Доктор Гейер теперь снова возобновил свою практику. Он вел много дел, зарабатывал деньги, иностранные, полноценные. Если и прежде он был неутомимым работником, то теперь у него в канцелярии только головами покачивали, видя, сколько больших процессов он берет на себя. Экономка Агнеса извелась от бессильного возмущения. Она с точностью могла установить час, с которого начался этот бешеный темп работы. Это случилось тогда, когда пришел молодой человек, блоха эта, кровопийца, вымогатель. Пока дело шло о нем самом, господин доктор не интересовался деньгами. Теперь он копил, собирал, бегал по банкам. Жил при этом очень скромно. Проверял, подсчитывал, сколько она тратит на его стол, на стирку. Пожелтевшая, с безумными глазами, экономка Агнеса ходила как во сне. Заявила доктору Гейеру, что отказывается от службы. Он ничего не ответил.

Мальчик больше не приходил. Доктор Гейер потерял его след. Боролся с соблазном поручить розыск частному сыскному бюро, отказался от этой мысли. Рукописи «История беззаконий» и «Право, политика, история», аккуратно сложенные, связанные, лежали друг подле друга на полке. Покрывались пылью. Адвокат ждал. Вел судебные дела, крупные судебные дела. Инфляция, бешеные скачки от сегодняшней ценности к завтрашнему обесценению возвращали отчаянную спекуляцию, создавали дикую путаницу и смятение во всех вопросах собственности, так что для опытного адвоката

открывалось широкое поле деятельности. Не прошло и нескольких недель, как доктор Гейер стал богат. Ему не придется скаречничать, если мальчик снова явится к нему. Гейер узнал, что произошла какая-то история с отравлением собак, в которую был замешан этот фон Дельмайер. Сердце его сжималось, ширилось. Может быть, мальчик теперь придет, потребует от него помощи своим небрежным, дерзким, раздражающим, таким дорогим ему тоном. Доктор Гейер ждал. Но мальчик не появлялся, казалось, он исчез бесследно. Возможно, даже несомненно — потому что и он связан с этой историей. Это дело было окутано каким-то нездоровым туманом. У него не было возможности узнать что-либо определенное. Власти, казалось, не могли решить, затушевать ли это дело или, наоборот, раздуть его. Какую-то роль играла тут политика. Все связанное с политикой, с тех пор как правил этот Кленк, стало туманным. Доктор Гейер совсем не заботился о себе, много курил, ел нерегулярно, мало спал. После покушения на него он отпустил рыжеватую бороду, не так сильно, как прежде, мигал; хромать перестал почти совсем. Напряженно выжидая, следил он за всеми действиями Кленка. В Баварии — временно, правда, — установились более здоровые условия и порядок. Разумнее стали взаимоотношения с имперским правительством, ослиные глупости «патриотов» пресекали, крикливых митингов старались избежать. Но так не могло длиться долго, неизбежна была катастрофа. Мир деспотизма, насилия, мир без справедливости был невыносим, не имел права на существование.

Напряженное внимание Гейера усилилось, когда Кленка по рукам и ногам связала болезнь. Сначала на три-четыре дня, затем на такой срок, что власть его колебалась не на шутку. Адвокат сжался, притаился, готовясь к прыжку, ждал. При помощи софизмов создавал он непосредственную связь между правлением Кленка, отравлением собак, своим мальчиком. Развитие событий, касавшихся Кленка, было связано с Эрихом. Все происходившее кругом имело отношение к Эриху.

В таком состоянии ожидания застал его телефонный звонок Иоганны. Эта баварка всегда напоминала ему

об Эллис Борнгаак. Сейчас ее голос, словно толчок, заставил разорваться оболочки чего-то затаенного в глубине души. То, что он в своих отношениях с Эрихом не двигался с мертвой точки, зависело от его собственной вялости. Он влюбился в свои теоретические писания и стал нечувствителен ко многим случаям реального беззакония. Хотя бы в отношении дела Крюгера. Суеверные представления о вине и возмездии проснулись в нем. Зато, что он недостаточно подвинул дело этого Крюгера, он был наказан равнодушием мальчика.

Поэтому звонок Иоганны явился для него знамением. Он пригласил ее к себе, в свою квартиру. Она застала его в неуютной комнате склонившимся над газетами, бумагами, перед тарелкой с остатками еды. На том самом стуле, где тогда сидел мальчик, теперь сидела эта женщина. Адвокат поглядел на нее, увидел, что ее твердость менее тверда, ее уверенность менее уверенна. Он сам был не так сух и деловит, как всегда, попросил у нее разрешения закурить. Между ними была какая-то неловкость.

Иоганна увидела его голубые острые глаза. Ее мысли готовы были ускользнуть к другому. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы заставить себя думать о том, зачем она пришла. Она пробовала, — объяснила она, — действовать при посредстве тех светских связей, которые он указал ей. Она говорила с самыми разными людьми. Да, — повторила она задумчиво, не без горечи, — с самыми разными людьми. — И подумала при этом о Тюверлене, о Пфистерере, о министре юстиции Гейнродте, о г-же фон Радольной, о кронпринце Максимилиане, о тайном советнике Бихлере, об искусствоведе Леклерке, о Гессрейтере, о ветрогоне. Она закусила верхнюю губу, замолчала, задумалась. Взгляд адвоката оставил ее, опустился к полу. Он увидел ее ноги, крепкие, обтянутые светлыми чулками, ноги, обутые в хорошие, крепкие башмаки, не такие красивые и изящные, как башмаки молодого коммерсанта Эриха Борнгаака.

— Все это, верно, было ни к чему? — произнес он немного погодя.

— Да, это было ни к чему, — ответила Иоганна.

— Вы любите животных? — совершенно неожиданно спросил он потом. — Я ненавижу собак и кошек, — сказал он. — Я не могу понять, как можно окружать себя такими существами. Сейчас выплывает грандиозная афера, — он не смотрел на собеседницу, — история с отравлением собак.

Иоганна глядела на его рот, спрятавшийся где-то среди рыжеватой бороды, открывавшийся и закрывавшийся словно нечто совершенно самостоятельное, не имевшее никакого отношения к говорившему человеку.

— С этим связаны и политические моменты, — сказал адвокат Гейер.

— Убийство депутата Г.? — с трудом переводя дыхание, заикаясь, спросила Иоганна. Адвокат, весь бледный, приблизил к ней свое лицо.

— Как вам могла прийти такая мысль?

Иоганна, испугавшись, ответила задумчиво после короткого молчания:

— Должно быть, потому, что я об отравлении и об убийстве депутата Г. прочла в одной и той же газете.

— Ах, так? — произнес адвокат. — Где именно вы об этом читали?

— Не помню хорошенько, — ответила Иоганна. — Кажется, это было в Париже.

— Да, — произнес адвокат, — вы ведь тоже были в Париже.

Наконец он заговорил о деле Крюгера. Принялся разъяснять, — возможно, что он делал это для собственного успокоения, — какие огромные трудности возникают на пути к пересмотру дела. Письменное, подтвержденное присягой показание вдовы Ратценбергер, с большим трудом полученное от нее, собственно говоря, не имеет никакой цены. Боязливая жепщина свое вначале такое ясное устное показание до такой степени запутала, когда дело дошло до того, чтобы подтвердить его письменно, что при желании легко можно было признание покойного шофера счесть за галлюцинацию невменяемой женщины. Он ведь уже объяснял Иоганне, как мало шансов на удовлетворение имеет ходатайство о пересмотре дела. Как неблагоприятны законоположения, как затруднен формально каждый шаг, как затруд-

нено установление требуемых законом предпосылок, как отрицательно относятся к пересмотру судьи. Он предлагает ей ознакомиться с вопросом по книге его коллеги Альсберга «Судебные ошибки и пересмотр дела» — классическому труду, к сожалению до сих пор не оказавшему влияния на законодательство. А тут еще присоединяется тот момент, что Крюгер, в случае его оправдания, достигнутого путем пересмотра, имеет право требовать от правительства своего восстановления на государственной службе, с которой он незаконно уволен. Неужели она полагает, что имеет смысл бороться за пересмотр дела с этим проклятым *баварским правительством*, которое в судебном порядке оспаривает право на нищенскую пенсию *вдовы* погибшего от руки убийцы премьер-министра и в то же время позволяет убийце состоять директором акционерного общества, пользующегося государственной субсидией?

Иоганна, лоб которой прорезали три бороздки, держала в руках данную ей Гейером толстую книгу адвоката Альсберга.

— Неужели же перемещение ландесгерхтсдиректора Гартля не имеет никакого значения? — спросила она, немного помолчав. Если память не изменяет ей, доктор Гейер в свое время объяснял, что, согласно удивительно бессмысленному закону, вопрос о пересмотре разрешается тем же судом, который вынес оспариваемый приговор. Так что теперь, когда Гартль ушел...

— А вы полагаете, — язвительно перебил ее адвокат, — что преемник господина доктора Гартля позволит приписать своему влиятельному предшественнику вынесение неправильного приговора?

Он умолк. Его тонкокожные руки дрожали; по-видимому, он сильно страдал от жары.

— Тем не менее, — снова заговорил он, и Иоганна поняла, как трудно ему было сказать это, — тем не менее перемещение Гартля, как он, Гейер, и писал ей, именно это наглое перемещение его открывает новый путь. Возможно, если намекнуть Гартлю, что они согласны взять назад ходатайство о пересмотре дела, то Гартля удастся смягчить. Он ведь теперь референт по вопросам о помиловании. Если отказаться от пересмотра, от реабилита-

ции, признать в какой-то мере приговор Гартля,— быть может, он и поддержит ходатайство о помиловании. Это унижительный торг, но, если Иоганна всерьез желает этого, он все же прощупает Гартля.

Иоганна видела, что адвокат буквально принуждал себя к этому предложению, что оно причиняло ему страдание. Она задумалась. Да, чего же она желала всерьез? Вначале она хотела бороться. Так же, как, вероятно, адвокат хотел видеть беззаконие побежденным и поверженным наземь, так и она хотела видеть Мартина с блеском восставшим из тины и грязи. Хотела ли она сейчас просто того, чтобы Мартин как можно скорее был освобожден? Она старалась из глубины памяти вызвать его лицо, его походку, его руки. Но память противилась: прежний Мартин и серо-коричневый сливались воедино. В самом деле, она так давно не видела его, что даже не могла представить себе его лицо. Пораженная, она опустила глаза. Увидела свои руки. Вдруг устыдилась того, что они в Париже были такими чуждыми.

— Ведь вы прекрасно знали, что я тоже была в Париже,— вдруг вызывающе произнесла она, сама не сознавая, что она говорит.

Адвокат удивленно поднял глаза. Иоганна вспыхнула.

— Простите,— сказала она.— А что касается помилования или реабилитации, то мне не приходится долго взвешивать. Если речь идет о моем желании, то я, разумеется, не хочу, чтобы Мартин еще два года сидел среди шести деревьев.

«Среди шести деревьев» — сказала она, и адвокат, хотя он и не обращал никакого внимания на шесть одельсбергских деревьев, понял, что она хочет сказать.

— Я хочу, чтобы Мартин как можно скорее был освобожден,— сказала она настойчиво и четко.

Она обратила к адвокату взгляд больших серых глаз, повернувшись к нему при этом всем лицом. Адвокат часто замигал и казался почти растерянным.

— Хорошо,— сказал он.— Итак, я поговорю с министериальдиректором Гартлем.

— Благодарю вас,— ответила Иоганна.— Я все поняла, что вы сказали.

И она протянула ему руку.

Раньше чем проститься, они еще немного постояли друг против друга, без слов. Одинаковые мысли легкой паутиной тянулись от одного к другому.

— Хорошо было в Париже? — нерешительно спросил наконец адвокат.

— Пожалуй что нет,— ответила Иоганна.

Она ушла, унося с собой толстую юридическую книгу. Адвокат, стоя у окна, глядел ей вслед, осторожно, чтобы, обернувшись, она не заметила его. Но это опасение было излишним: она не оглянулась.

Два дня спустя адвокат проходил по Людвигштрассе с одним клиентом, чешским финансистом, пользовавшимся инфляцией для того, чтобы дешево скупать в Германии дома и земельные участки. Внезапно мимо них проехал в автомобиле молодой человек — изящный, легкомысленный, поклонился небрежно, фамильярно, улыбаясь очень красными губами. Адвокат оборвал на середине фразы речь, с трудом проглотил слюну, сильно заморгал, обернулся, глядя вслед автомобилю.

— Что с вами? — с удивлением спросил чех: они как раз находились в разгаре обсуждения серьезнейших правовых вопросов; дело шло о больших ценностях. Но с адвокатом больше невозможно было разговаривать. На щеках его загорелись алые пятна, он попросил удивленного и возмущенного иностранца отложить разговор до следующего дня.

18

У ВСЯКОГО СВОЯ ПРИЧУДА

Каспар Прекль, сидя за квадратным столом, на котором стояла расхлябанная пишущая машинка, работал над статьей «О роли искусства в марксистском государстве». Работа плохо подвигалась вперед. Не только буквы *e* и *x* в машинке были не совсем в порядке, но и роль искусства, казалось так четко продуманная Преклем, как-то трудно поддавалась формулировке, и он все

вновь и вновь натывался на внутренние противоречия и трудности. Он знал совершенно точно, какова должна быть роль искусства, или, вернее, *видел* это совершенно ясно: его мысли всегда превращались в образы. Когда он эти образы переносил непосредственно из своего воображения, в свои баллады, все бывало в порядке. Но когда он пытался то, что думал, облечь в сухие слова, все становилось туманным и неясным. Статья о роли искусства во всяком случае не удавалась.

Ничего не удавалось. Он вспомнил о недавних переговорах с вдовой Ратценбергер. Именно потому, что он от Мартина Крюгера ушел в гневе, Прекль сейчас ощущал особенную потребность содействовать его освобождению. Он проявил много энергии и вместе с товарищами Зельхмайером и Лехнером, не страшась столкновений с юным хулиганом Людвигом Ратценбергером, несколько раз ходил к вдове клятвопреступника-шофера. Разговоры с ней были малоутешительны. Боязливо и злобно глядела на них из угла маленькая идиотка Кати, а женщина бесконечно повторяла все одни и те же нелепости. Когда же он, вспыхив, начал наконец кричать, она уперлась еще больше. Письменные показания, которые они наконец выудили у нее, по мнению доктора Гейера, были малоценны. Всякий раз как он пытался сделать что-нибудь для Крюгера, ничего не получалось. С его «автомобилем для всех» тоже ничего не получалось. С поездкой в Москву — тоже. Из ничего ничего не получалось. С тех пор как он швырнул Рейндлю под ноги свою спецовку, все шло у него вкривь и вкось.

Он поднялся со стула, повалился на диван. В мастерской было по-летнему жарко. Он вспотел. Прошел в кухню, приготовил лимонад и залпом выпил его. Снова лег на диван, закинув руки за голову, выставив вверх резко выступающий кадык, сжав тонкие, длинные губы, глядя куда-то в глубь себя, даже в минуту покоя колючий и сердитый.

Его недавняя статья о недостатках германской автомобильной промышленности была чересчур кроткой. Сейчас — к сожалению, слишком поздно — ему приходили на ум гораздо более сочные вариации на ту же

тому. Все же он ясно и недвусмысленно изложил свое мнение в одной берлинской газете с большим кругом читателей. При помощи острых аргументов показал, как возмутительно далеко назад отброшена германская автомобильная промышленность из-за войны. Все дело было в конструкторах. Во время войны их — если они не проявляли достаточной покорности, позволяли себе противоречить или требовать повышения оплаты — лишали «брони» и посылали на фронт. Возвратясь с войны, они заставляли хорошие места занятыми плохими работниками. В лучшем случае должны были довольствоваться должностью мастера. Всюду кастовый дух, строжайше соблюдаемая обществом дистанция между главным инженером и мастером, между мастером и рабочим. Господствует над всем, пожинает славу и снимает сливки чисто декоративный тип — «инженер-водитель». Он участвует в конкурсах на красоту машин, представляет в обществе. В блестяще организованной германской автомобильной промышленности отсутствует самое главное: конструктор. Всюду идет модернизация, не модернизируется только основной рычаг. Вместо нескольких творчески одаренных инженеров, техников предпочитают держать бесчисленные мелкие талантики, вместо нескольких «боевиков» создают кучу посредственных типов машин. Америка выпускает 2 026 000 машин, всего 117 разных моделей. Германия выпускает 27 000 машин, 152 модели.

Чтобы не дать испариться горечи, накопившейся у него на душе, Прекль достал телеграмму, полученную им от Рейндля после появления статьи: «Браво. Прямо в точку. С удовольствием вижу, что вы опять стремитесь ко мне. Вернись, все прощу. Привет. Рейндль». Телеграмму, текст которой он знал наизусть, — наклеенную полоску бумаги с выбитыми на ней буквами, — он перечел с таким волнением, словно читал ее впервые. Разумеется, он не ответил на нее, не рассказал о ней никому. Анни, например, наверно, посоветовала бы ему согласиться. Настаивала бы со свойственным ей здравым смыслом. Здравый смысл — вещь хорошая. Но Рейндль — наглый субъект. «Horror sanguinis». «Здравый смысл» составлял неотъемлемую часть мировоз-

зрения Каспара Прекля, как желток — составную часть яйца, но стоило ему вспомнить бледное, мясистое лицо Рейндля, как его охватывал гнев, и «здравый смысл» сразу же испарялся. Он швырнул телеграмму обратно в ящик, тщательно запер его.

Ему не хотелось работать, не хотелось видеть и Анни. Единственное, пожалуй, что ему теперь было по нутру, — это односложная, хмурая беседа. Он направился в «Гундскулгель», надеясь встретиться там с Бенно Лехнером.

Но Бенно Лехнер в этот вечер в «Гундскулгель» не пришел. Репитиция закончилась неожиданно рано, и он стоял, поджидая Анни у конторы, в которой она служила. Он намеревался вместе с сестрой совершить вечернюю прогулку, может быть, поужинать с ней где-нибудь на свежем воздухе. Ему хотелось разок поговорить с ней наедине, без товарища Прекля. Бени не обижался на Прекля за то, что тот в последнее время стал еще более угрюм, чем всегда, но Анни, чуть ли не каждый день бывавшей у него, по временам приходилось очень тяжело. Ей, безнадежно погрязшей в буржуазных взглядах, не могло, по мнению Бени, быть в полной мере понятно, каким человеком, товарищем был Каспар Прекль. То, что она, несмотря на это, продолжала любить его и так долго не оставляла, было очень хорошо с ее стороны. Она заслуживала пожатия руки, подбадривающего слова.

Контора Анни находилась при заводе, далеко на северной окраине города. Бени стоял, освещенный вечерним солнцем, и ждал. Через пять минут должна прийти Анни. Бени Лехнер на основании выводов, сделанных им из прочитанных марксистских книг и бесед с товарищем Преклем, считал непреложным, что вопросы пола не играют в жизни человека главной роли. Любовь и все окружающие ее прикрасы — просто буржуазные выдумки, направленные к тому, чтобы отвлечь эксплуатируемых от существенного, от экономических вопросов. Все это, разумеется, в теории было правильно, но все же он готов был считаться и с другими воззрениями. Ему самому, например, было бы больно, если бы, скажем, кассирша Ценци вдруг исчезла из его жизни. Она

была не очень умна, эта Ценци. Нечего было и надеяться привить ей правильное мировоззрение. Но положиться на нее можно было, и практична она была тоже. Если с ним что стряется, она, без сомнения, не отступится от него.

Наконец занятия в конторе окончились. Анни сразу согласилась, когда он предложил ей отправиться с ним в Английский сад и там где-нибудь поужинать па свежем воздухе. Миловидная, в легком светлом платье, медленно шла она среди ленивой тишины летнего вечера рядом со своим рослым, белокурым братом.

Бени рассказывал. Он чувствует себя хорошо в положении осветителя при постановке обозрения. Приходится, правда, браться за все и здорово работать, к тому же крайне неравномерно: часто целый день нечего делать, а потом вдруг надо работать целую ночь напролет. Это было не совсем в его духе. Но зато он мог мастерить и возиться, делать опыты. Техника театрального освещения очень отстала, здесь было много неразрешенных задач. Ему пришла в голову одна удивительная штука, нечто совсем новое: он, может быть, скоро сделает заявку на изобретение. Работа интересная, что и говорить. Со стороны товарища Прекля очень любезно, что он устроил ему это.

— Да, разумеется, — спокойно согласилась Анни.

В душе она гордилась Каспаром. Только уж очень колючим стал Каспар в последнее время. У него было так много неприятностей. Теперь, когда все налаживается, она может уже говорить об этом. И она весело и многословно принялась рассказывать брату о бесконечных недоразумениях с квартирными хозяевами и особенно с некоей Бабеттой Финк. У нее был ребенок, — по ее уверениям, от Каспара, которого она преследовала наглыми требованиями. Он никак не мог справиться с этой дурой, только сочинил о ней великолепную балладу. В конце концов ей, Анни, пришлось привести это дело в порядок. Совсем недавно между ней и Каспаром произошло довольно крупное объяснение. Дело в том, что она, при всем своем уважении к нему, не могла не выразить некоторого насмешливого удивления по поводу того, что человек, не умеющий справиться со

своими собственными делами, с такой уверенностью берется решать вопрос о том, что практически нужно для всех. Каспар в последнее время очень остро на все реагирует: произошел крепкий спор на тему о ее взглядах на жизнь. Но она не поддалась. Ее мнение было и осталось таким: если кто-нибудь утверждает, что существует научный коммунизм, то это такая же фантазия, как утверждение, что учение о непорочном зачатии или о непогрешимости папы является наукой. В такие вещи верят или не верят. Она вот просто-напросто не верит.

Бени обстоятельно, спокойно принялся разъяснять ей, что коммунизм Каспара Прекля основан не на гуманности, а на трезвом убеждении, что такая форма для общества в целом, а следовательно, и для него, самое разумное, желательное и полезное. Анни ответила на это, что Каспар Прекль, конечно, очень умный человек, что он самый умный человек, которого она знает, и, когда он поет свои баллады, она просто себя не помнит. Но его вера для нее не подходит; и в этом ее не переубедишь. Помолчав, она задумчиво сказала, что вот она сама, ее брат, да и все люди, сталкивающиеся с Каспаром, считают его гением. Но в чем заключается его гениальность, этого, собственно, никто не знает. Не знал этого и Бени.

Но самое главное,— решительно и снова повеселев, заключила Анни,— это то, что работа осветителя доставляет Бени удовольствие. Значит, вот такая штука: он патент собирается добыть! Да ведь это замечательно! Он еще выбьется в люди.— Они оба улыбнулись, когда у нее вырвалось это любимое выражение отца, крепко впитавшееся в сознание всей семьи.

Брат и сестра мирно сидели под сенью каштанов в саду небольшого ресторана и, глядя вдаль, молча думали об отце. Еда была только-только удовлетворительная, цены безумно дорогие. Все оттого, что доллар снова бог весть как взлетел. Слово «валюта», год тому назад никому не известное, стало сейчас на правом и левом берегу Изара, по всей Баварской возвышенности, самым употребительным. Крестьяне ничего не продавали иначе как на иностранные деньги. Предоставляли горожанам

умереть с голоду. Спекулянты съестными припасами важно расхаживали в шикарных, бросающихся в глаза костюмах, сшитых на заказ на их неуклюжие фигуры, зажигали сигары гладенькими коричневыми тысяче-марковыми бумажками, только что выпущенными из государственной типографии и еще пахнущими краской. Все это катится навстречу катастрофе, — заметил Бени. — Многие из товарищей жаждали выступления, кое-кто даже тянулся к «истинным германцам», благо они все кричали о выступлении и привлекали чем-то реальным — своим «вождем», своим Рупертом Кутцнером. Просто жалкий шут этот Кутцнер, — добавил Бени, — с широкими легкими и пустой головой. — Анни ничего не понимала в политике. Ей пришлось быть свидетельницей того, как многие из тех пятидесяти тысяч обывателей, которые, плача, провожали к могиле тело убитого революционного вождя Эйслера, с таким же плачем следовали за гробом свергнутого им с престола короля Людвига III. Мюнхенцы, заметила она, люди хорошие, но в политике они все ничего не смыслят. Им всегда нужно иметь кого-нибудь, о ком они могли бы говорить: вот это, мол, настоящий! Их выбор зависел от чистой случайности. Сегодня их героем был еврей-социалист Эйслер, завтра будет «истинный германец» Кутцнер, послезавтра, может быть, кронпринц Максимилиан. Чудили немножко эти господа мюнхенцы. Почему бы не предоставить им это удовольствие? Ведь у каждого человека своя причуда: у нее — Каспар, у Каспара — его политика, у отца — желтоватый дом.

Проводив словоохотливую Анни до дверей квартиры Прескля на Габельсбергерштрассе, Бени пошел к себе домой, на Унтерангер. Старик Каэтан Лехнер обрадовался, что сын побудет с ним, но старался и виду не показывать, заворчал. Вот чудеса! Почтить своим присутствием соизволили!

Дела у старика шли неважно. Неделями сидел он с Пернрейтером, владельцем желтоватого дома, с посредниками, маклерами, с настоящими и подпольными адвокатами, а в конце концов какой-то иностранец из-под носа перехватил у него этот дом. Галицийский еврей

какой-то. Пожалуй, и в самом деле прав был Кутцнер и его «истинные германцы». Во всяком случае то, что говорил Кутцнер, было гораздо попятнее всей дурацкой болтовни Бени. Так вот, виновата ли капиталистическая система или евреи, но «комодик» Каэтана Лехнера был продан. Желтоватый дом ему не достался, и к черту на рога пошли все его мечты, все его надежды.

После долгих колебаний он купил, наконец, дом па Унтерангере, в котором жил сам и в котором помещалась его антикварная лавка. Путешествие в управление недвижимостями, где он с серьезным, деловым видом и письменно оформил покупку, послужило некоторым утешением. Но сразу же затем, когда он известил жильцов о новом положении вещей и представился им в качестве нового домовладельца, ему пришлось пережить тяжелое разочарование. Жильцы приняли известие холодно, без должной почтительности. Отправляясь в обход по всем четырем квартирам, он нарядился в долгополый черный сюртук. Но жильцы не хотели понять, что Каэтан Лехнер стал сейчас чем-то иным, чем был прежде. Гаутсенедер из второго этажа заявил, что если он, Лехнер, теперь хозяин, то пусть он наконец займется исправлением уборной. Лехнер ответил, что пусть Гаутсенедер не разговаривает с ним так нахально, и Гаутсенедер, бесстыдный пес этакий, в конце концов выкинул Лехнера за дверь. Это в его-то собственном доме! А тут еще адвокат, когда он решил дело это повернуть по-настоящему, разъяснил ему, что получится только кляузный процесс, исход которого предугадать нельзя, потому что в эти гнусные времена, когда крысы социализма со всех сторон подтачивают священные основы частной собственности, хозяева лишены своих законных прав, и Лехнеру сейчас необходимо как можно скорее вступить в «Правомочный союз домовладельцев». Каэтан Лехнер тогда отчаянно разругался с Бени. Он и его милые товарищи виноваты в том, что какой-нибудь Гаутсенедер в его собственном доме плюет ему в лицо.

В союзе домовладельцев, куда он вступил, царило всеобщее озлобление. Содержание дома и ремонт стоили домовладельцам больше, чем приносила удерживаемая законом на низком уровне квартирная плата.

Паршивое было время, все спятили с ума. Не стоило и сидеть на своих деньгах: они уплывали из-под зада. Каэтан Лехнер был не так глуп. Он уже не держал у себя денег, скупал у всяких подпольных дельцов акции, спекулировал. Но «комодик» был продан, и денег у него, если считать в долларах, становилось все меньше. Хотя он и стал домовладельцем, все же как будто по-настоящему выбиться в люди ему так и не придется. Это чертовски пахло положением «тричетвертилитрового рантье». Он надеялся на перевыборах в своем «Клубе любителей игры в кегли» пройти в председатели. Но хотя он и пожертвовал клубу новое союзное знамя, эти проходимцы выбрали домовладельца Лехнера только в вице-председатели.

Отчаянную ругань затеял старик Лехнер с сыном и теперь, когда тот вернулся домой. Они одни во всем виноваты, «товарищи» эти самые. Красные собаки! Он бранил Анни и Прекля, этого «чужака», заявил, что непременно запишется в партию «истинных германцев». Бени отвечал спокойно, короткими, вескими фразами. Именно такие веские фразы обычно и выводили старика Лехнера из себя. Но сегодня он, наоборот, казался спокойным. У него была тайна, и это радовало его. Видя, что денег у него становится все меньше, он купил себе железнодорожный билет в Голландию, — билет в оба конца, действительный в течение двух месяцев. Написал голландцу, что желал бы лично для себя еще раз сфотографировать ларец, и голландец не возражал, ставя только условием, чтобы г-н Лехнер не опубликовывал этого снимка в журналах. С этим письмом в кармане, да еще с книжечкой проездных билетов, да еще с выпиской из реестров управления недвижимостями, подтверждавшей, что дом на Унтерангере принадлежит ему, Каэтан Лехнер испытывал некоторый подъем настроения. Он все-таки, несмотря ни на что, был человеком с положением, который мог себе позволить так, просто ради удовольствия, прокатиться в Голландию. Соответственно этому он удовлетворился руганью, не слишком продолжительной, и вскоре смягчился. Отец и сын мирно провели вечер за пивом, булочками и редькой.

ЧЕЛОВЕК У РЫЧАГА

В «Мужском клубе» доктор Гартль, ныне сотрудник баварского министерства юстиции в чине министри-альдиректора, разъяснял своим слушателям, почему он, в противоположность министру Кленку, не считает возможным поддержать просьбу доктора Крюгера о помиловании, почему он вообще является сторонником более резкой линии по отношению к имперскому правительству, политики почти в духе «истинных германцев».

Особенно изящный среди неотесанных слушателей, честолюбивый человек этот многословно выкладывал свои убедительные доводы, время от времени поглаживая свою лысину белыми холеными пальцами.

Все знали, почему надменный Гартль сегодня так услужливо пояснял им свою политическую линию: он метил на то, чтобы стать преемником Кленка. Большинство одобряло это, доброжелательно и с большим интересом следило за его рассуждениями. Много народу слушало его сегодня: в «Мужском клубе» было полно. После душного дня пошел наконец дождь. Сейчас с темно-серого ночного неба лились равномерные струйки, сквозь открытые окна веяло прохладой. Люди оживали после расслабляющей духоты дня, высказывали свое мнение, выслушивали чужое.

Среди слушавших Гартля были и Пятый евангелист и доктор Зонтаг, главный редактор «Генеральнцейгера». Доктор Зонтаг нервно дергал шнурок пенсне, надевал его, снимал, пытался читать на лице Рейндля. Но Рейндль с неприятным упорством не сводил выпуклых глаз с Гартля, и доктору Зонтагу не удавалось на его совершенно спокойном лице уловить ни одобрения, ни порицания. Среди слушателей Гартля был и бесшумный, элегантный г-н фон Дитрам. Дела нового председателя кабинета министров шли неплохо, он пускал тонкие, но цепкие корни. О нем почти не было слышно. Его друзья любили повторять, что «лучший председатель кабинета — это тот, о котором не гово-

рят». Гартль излагал свою точку зрения, и фон Дитрам незаметно заглядывал в лицо Пятого евангелиста. Одно было ясно: удержать Кленка было невозможно. Гартль — а у него нюх был хороший, — разговаривал так, словно он уже сидел в министерском кресле.

Когда министерскальдиректор на мгновение умолк, Пятый евангелист поднялся, перешел к другому столу. Здесь также речь шла о болезни Кленка. Не повезло Кленку: такой здоровенный детина — и вот, только-только добравшись до власти, свалился пластом. Рассказывали анекдоты, насмеялись. Председателя сессии Мессершмидта, человека честного, возмутило это злорадство. Он сам терпеть не мог Кленка. Все же было омерзительно наблюдать, с какой нескрываемой радостью все накинулись на Кленка, стоило ему лишь пошатнуться. И все это только потому, что, по сравнению с ними, он был слишком способным человеком. Статный и видный Мессершмидт некоторое время прислушивался к этой вялой, прерываемой хихиканьем болтовне. Его выпуклые глаза на красном лице, обрамленном старомодной бородой, рассеянно вглядывались в окружающих. Затем он вдруг открыл рот, заговорил о большой музыкальности Кленка. Это было совершенно неожиданно, но в качестве возражения звучало неплохо. Старика Мессершмидта слушали немного иронически, но все-таки его слова производили впечатление. Г-н фон Дитрам тоже перешел к этому столу. Его притягивал Рейндль. Было бы приятно, если бы Пятый евангелист высказался о новом назначении на пост министра юстиции.

Рейндль, когда Мессершмидт заговорил, перевел на старика взгляд своих выпуклых карих глаз. «Скажите пожалуйста! — подумал он. — Этот Мессершмидт порядочный человек!» Подумал о том, что Прекль не захотел ехать с ним в Россию. Подумал, что, пожалуй, сейчас время дать Зонтагу понять, чтобы он начал писать в пользу Крюгера. Подумал, что, собственно, непонятно, почему так много людей, в том числе и он сам, несмотря на особенности мюнхенцев, любят город Мюнхен. И Прекль сердцем был привязан к городу

Мюнхену, и Пфаундлер, и Маттеи, и Клере Гольц — самые разнообразные люди, а не идиоты какие-нибудь.

Мессершмидт кончил, остальные тоже умолкли. Всем становилось как-то не по себе оттого, что Рейндль, сидя среди них, так упорно держал язык за зубами. Этот Рейндль и так-то был на редкость необщительный субъект. Правда, родом он из семьи коренных мюнхенцев. Стоило ему раскрыть рот — и богатым потоком лилось местное наречие, такой мюнхенский говор, что лучшего не сыщешь ни на правом, ни на левом берегу Изара. Если кто-нибудь высказывал сомнение в хозяйственных способностях баварского юга, мюнхенцы гордо восклицали: «А наш Пятый евангелист?» И все же было в нем что-то жуткое, в этом Пятом евангелисте. Его внешность, его образ мыслей, все, что он делал, — все это было до последней степени не «по-мюнхенски», и было бы очень приятно отделаться от него.

А Пятый евангелист все еще молчал. Зато из соседней комнаты доносились благодушные голоса членов клуба, игравших в старинную франконскую игру «гафферльтарок», с силой швырявших на стол карты, сопровождавших каждый ход какой-нибудь сочной прибауткой.

За столом Рейндля разговор шел сейчас об «истинных германцах». Их движение распространялось словно газ. Они уже организовывали регулярные военные отряды, совершенно открыто проводили учения. Имели штаб, настоящее высшее командование. Во главе стоял, разумеется, Руперт Кутцнер. Его всюду так и называли «вождем». Верующие теснились вокруг него, старые и молодые, бедные и богатые, стремились увидеть «спасителя», несли деньги, поклонялись ему. Тайный советник Динггардер, один из совладельцев пивоваренного завода «Капудинербрауэрей», рассказывал о том, что самыми горячими поклонниками Кутцнера являются женщины, которых пленяют его молодцеватая внешность, безукоризненный пробор, крохотные усики. Особенно сильное впечатление на тайного советника произвел дрожащий голос старухи генеральши Шперер, уверявшей, что лучший день в ее жизни тот, когда она увидела «вождя». Все согласились на том, что никто

еще в Баварии не пользовался такой популярностью, как этот Руперт Кутцнер.

Господин фон Рейндль прислушивался к разговору, который лился тягуче и ровно, как дождь. Динггардеру хорошо было говорить: благодаря собраниям кутцнеровских приверженцев все помещения погребка «Капуцинербрауэрей» бывали переполнены, и потребление пива значительно возросло. Рейндль ощущал во рту скверный вкус, словно после ночного кутежа. Он заговорил. Он мог себе позволить роскошь и при этих господах напрямик высказать свое мнение. Может быть, это поможет ему отделаться от мерзкого ощущения.

— Почему самые молодые бегут за Кутцнером, — пачал он, — это совершенно ясно. Они жаждут приключений, хотят играть в «разбойников и жандармов». Они радуются, когда им в руки дают игрушки: мундир, револьвер, а то и винтовку, таинственные открытки, на которых резиновая дубинка и винтовка называются «всестирающей резинкой и зажигалкой». Если их еще уверить, что эта забава — подвиг во имя спасения родины и по сердцу всем благомыслящим, то можно вести их за собой куда угодно.

— Но среди приверженцев Кутцнера не одни подростки! — не без резкости заметил тайный советник Динггардер.

— В Мюнхене, — миролюбиво согласился Рейндль, — среди них немало и взрослых. А именно — взрослых мелких буржуа. В глубине души мелкий буржуа всегда тосковал по сильной власти, по власти, которой он мог бы безоговорочно подчиниться. В душе он никогда не был демократом. Сейчас, вместе с ценностью его денег, бесследно смывается с него и демократическая окраска. В хаосе возрастающей нужды Кутцнер — последний оплот, идол мелкого буржуа, герой, лучезарный вождь, громким фразам которого можно сладострастно подчиняться.

— По-вашему, значит, если прекратится инфляция, настанет конец и «истинным германцам»? — тихо и, как всегда, осторожно спросил фон Дитрам.

Пятый евангелист своими выпуклыми глазами, резко выделявшимися на бледном мясистом лице, взглянул

на председателя кабинета министров и любезно ответил:

— Разумеется. Но никакое правительство не может остановить инфляции, пока германская крупная промышленность не войдет в соглашение с промышленностью международной.

Все задумчиво и молча прислушивались к высокомерно любезным рассуждениям Рейндля.

— Вы считаете Мюнхен мелкобуржуазным городом, господин барон? — спросил фон Дитрам.

— Мюнхен, — ответил Рейндль, — Мюнхен со своим полукрестьянским населением прямо создан для того, чтобы стать центром мелкобуржуазной диктатуры.

— Что вы понимаете под выражением «мелкий буржуа»? — все так же вежливо снова спросил г-н фон Дитрам, в то время как с улицы слышался шум дождя, а из соседней комнаты доносилось восклицание одного из игроков в «гафферльтарок»: «Карте место!»

— Мелкий буржуа? — задумчиво переспросил г-н фон Рейндль. Он с вызывающей любезностью повернулся к сидевшим за столом. — Вообразите себе мировоззрение, диктуемое более или менее постоянным месячным доходом в размере от двухсот до тысячи золотых марок. Люди, рожденные для такого мировоззрения, и являются мелкими буржуа. — Одного за другим оглядел он этих господ своими выпуклыми глазами.

Все, наострив уши, прислушивались к разговору. Стало совсем тихо. Лил дождь, в соседней комнате один из игроков насвистывал городской гимн — песню об уюте, которому в Мюнхене нет конца. Едва ли кто из этих чиновников, врачей, бывших офицеров даже и в нормальное время имел месячный доход, превышавший тысячу марок золотом. Что это? Смелся он, что ли, над ними, этот подозрительный наглец? Выражался он так напыщенно, что и не поймешь хорошенько, куда он клонит.

— Впрочем, я и сам даю деньги на Кутцнера, — услышали они вдруг его слова, и все обрадовались, что в таком случае у них уже не было необходимости обижаться. Рейндль улыбнулся улыбавшемуся Дитраму.

Дитрам и главный редактор Зонтаг втайне вздохнули с облегчением. Хотя что-нибудь определенное высказал Рейндль. Раз он давал деньги Кутцнеру, следовательно, он был против Кленка, следовательно, не возражал против его падения. Один из слушателей так прямо и спросил: почему Кленк, будучи несомненно способным малым, все же не сумел закрепить своих позиций в Баварии? Ведь он по своему складу был кореным баварцем.

— Все это оттого, милостивые государи,— сказал Рейндль,— что он не соблюдал правил игры.

— Каких правил? — спросили его.

— Для того чтобы править в Баварии, нужно знать правила игры. В Баварии, для того чтобы душа народа вскипала и снова утихала, нужно применять гораздо более упрощенные средства, чем на всем остальном земном шаре. Всюду в других местах нужно править по диагонали, а в Баварии — по вертикали.

— Я полагаю,— произнес вдруг с необычной определенностью г-н фон Дитрам,— что Кленку прекрасно известны правила игры.

— Тогда,— любезно сказал Рейндль,— ему придется расплачиваться именно за то, что он *не желает* их соблюдать.

Задумчивое молчание. Слышны были только щелканье карт, которые игроки бросали на стол, и веселый победоносный голос Гартля за другим столом.

Когда вскоре после этого Рейндль встал, чтобы уйти из клуба, один из сидевших за столом спросил своего соседа, почему, собственно, этого господина зовут Пятым евангелистом.

— Потому, что он так же никому не нужен, как не нужно и пятое евангелие,— со злостью ответил спрошенный, и все оживленно поддерживали его.

У дверей между тем главный редактор Зонтаг в присутствии председателя кабинета министров увивался вокруг Рейндля, стараясь напоследок выудить у него еще какие-нибудь директивы.

— Вы читали мою последнюю статью об «истинных германцах», господин барон? — старался редактор.

— Милый мой Зонтаг,— любезно улыбаясь, произ-

нес Рейндль, — поступайте как знает. Но если вы поступите не так, как нужно, то вылетите.

Редактор решил принять это за шутку и, улыбаясь, отошел. Г-н фон Дитрам, теперь уже наедине с Рейндлем, подойдя к нему вплотную, спросил:

— А какого вы мнения о Гартле, барон? Обаятельный человек, не правда ли?

— Да, — холодно ответил Рейндль. — Он подчас довольно занимателен.

— Если болезнь Кленка затянется, кого вы считали бы подходящим преемником?

Рейндль задумчивым, почти скучающим взглядом окинул комнату.

— Ну, например, президента сената Мессершмидта, — лениво протянул он.

Затем удалился совершенно спокойный. Сзади доносился веселый, самодовольный голос Гартля, не знавшего, что с его кандидатурой покончено раньше, чем он успел выставить ее. Задумчиво, все еще предупредительно и подобострастно глядел председатель кабинета министров вслед человеку у рычага, свалившему Гартля, желавшего помилования Крюгера, осужденного этим самым Гартлем за то, что он доставлял беспокойство.

20

О С М И Р Е Н И И

Танцовщица Ольга Инсарова, худенькая, чересчур изысканно одетая, несколько похожая на куклу, сидела в приемной доктора Морица Бернайса. Она перелистывала потрепанные журналы, ярко иллюстрированные альманахи, специальные медицинские издания. На мгновение внимание ее привлекло схематическое изображение легкого со всеми его извилинами, затем в каком-то иллюстрированном журнале — портрет женщины в купальном костюме, с собакой. Ей было назначено прийти к четверем, но она ждала уже час, и, по-видимому, до нее должны были пройти еще двое больных. Она уже собиралась уйти, раздраженная холодной офи-

пальностью компаты, напряженной тоской остальных ожидающих. Но у нее не хватило энергии осуществить свое решение, и она принялась в четвертый раз перелистывать все те же журналы.

Здоровье танцовщицы Инсаровой с некоторого времени пошатнулось; она любила плыть по течению, страшилась серьезного исследования, и ее друзьям пришлось потратить немало настойчивости, пока она не оказалась в приемной пользовавшегося общим доверием доктора Бернайса.

Доктор Бернайс был прежде всего врачом государственной больницы, считался большим авторитетом в своей области. Его уважали, побаивались, любили. Но он вел себя довольно странно. Предписывал, например, истощенным пролетариям диету, в которую входили устрицы, икра, нежное скобленное мясо, необычные для данного сезона овощи; строго запрещал им употребление маргарина и других суррогатов. В первый раз это было принято за шутку, вызвало смех. Но когда он такие предписания стал повторять десятки, сотни раз, пришлось принять меры. Допрошенный начальством, доктор Бернайс сослался на медицинские учебники, рекомендовавшие в подобных случаях именно такую пищу, а также на предписания, обычно дававшиеся его коллегами состоятельным пациентам. В ответ на осторожно сделанное ему указание о созданном по воле божьей различии в экономическом положении людей доктор с самым невинным видом и без всякой резкости возразил, что это — дело экономистов и политиков, может быть, даже и богословов, что же касается врача, то он обязан исследовать больного без платя, а следовательно, и без бумажника. Ввиду того что он настаивал на своих принципах, ему было предложено покинуть занимаемую им должность. Несмотря на эту историю, сделавшую его невозможным в светском обществе, и на его неприятно грубоватые манеры, он все же пользовался у «большоголовых» хорошей репутацией и имел обширную практику.

После краткого разговора он без резкости, вежливо и деловито объявил танцовщице, что ее болезнь приняла серьезную форму и он считает для нее необходи-

мым скорейший отъезд в санаторий для туберкулезных. Инсарова медленно оделась, медленно, с впалыми щеками, словно во сне, двинулась своей липнувшей к земле походкой по залитой солнцем улице. Она находилась в каком-то сладостном опьянении, чувствовала почти что удовлетворенность от сознания, что теперь скоро умрет и во всяком случае имеет право дать себе волю.

В театре, на репетициях она была кротка и печальна. Намеркала: «О, если б вы знали!» Умолкала затем, не отвечая на дальнейшие расспросы. Пфаундлер предлагал ей перестать ломаться, спрашивал, не свихнулась ли она. В последние дни он снова стал обращаться с ней хуже, так как песенка Кленка явно была спета. Инсарова оставалась тихой, покорной, ни с кем не говорила о своей болезни.

Только с Кленком она решила поговорить об этом. Но ей снова, когда она явилась в дом министра, было отказано в приеме. На этот раз она не пришла в ярость, приняла это молча. Хорошо, пусть судьба наносит ей удары, — чем сильнее, тем лучше. Она все принимала с одинаково легкой, покорной улыбкой, очень шедшей к ней. Она написала Кленку письмо, во всех подробностях рассказала ему о том, как юный орангутанг в зоологическом саду был задушен своей мамашей в порыве чрезмерной нежности. Она каждый день под вечер бывала в зоологическом саду и очень была привязана к жуткому, но очаровательному зверьку. Пять ребер у него оказались продавленными. В приписке, в конце письма, она сообщала, что доктор Бернайс констатировал у нее тяжелую форму костного туберкулеза.

Вот уже четвертую неделю Кленк лежал все в том же состоянии: совершенно расслабленный, с слегка затуманенным сознанием. Он выгнал вопиющего пользовавшегося общим доверием доктора Бернайса, так как ему были противны его немногословность и сухая деловитость. Но г-жа Кленк не могла успокоиться, пока этот неприятный врач снова не был приглашен. Тот, как всегда, скупясь на слова, предписал прежнюю диету. Он считал, хотя не высказывал этого, что выздоровление Кленка затруднялось прежде всего необузданностью его характера. Кленк очень страдал. Он видел, бессильный

помешать этому, какие козни плелись против него. Проклятое невезение — лежать вот так со зрячими глазами и бессильными руками, в то время как эти ослы вдребезги разбивали все сделанное им, скаля зубы и с легкостью оттирая его. Все они жаждали избавиться от него. Старый Бихлер прекрасно знал ему цену, знал, что он самый подходящий человек для баварской политики, но он хотел избавиться от него, потому что Кленк не был достаточно покладист. Писатель Маттеи ревновал его к этой бабе, Инсаровой. Пусть, кстати сказать, он берет ее себе, этот похотливый козел. И у Гартля были свои основания, и у Тони Ридлера, и у других. Кронпринц Максимилиан, например, не любил его за то, что он не был достаточно горячим приверженцем двора. Кленк, разумеется, был монархистом, он ничего не имел против кронпринца. Но он был сторонником реальной политики. В ближайшее время и думать нечего было о восстановлении династии Виттельсбахов. Кроме того, исполненный баварским демократическим высокомерием и склонный поддразнивать других, он не мог удержаться и не дать почувствовать кронпринцу, когда он с ним встречался, что теперь у власти он, Кленк, а не Максимилиан. У него был слишком тяжелый кулак, слишком много сока в мозгу. Поэтому-то он и был им всем не по нутру, поэтому они и старались уничтожить его.

Несколько дней тому назад он сказал себе, что, если через неделю он не будет снова сидеть в своем рабочем кабинете, у других окажется слишком много «форы», и для него тогда все будет кончено. Неделя прошла. В сердце его жила еще, быть может, надежда, но в голове ее не было.

Когда же и сердце его перестало надеяться, дикая ярость охватила его, бессильно лежавшего в постели. Три дня сряду не допускал он к себе никого, не произносил ни слова. Стопал, рычал, в нечленораздельных звуках изливал такое неудержимое бешенство, что жена его бледнела.

На четвертый день явился министр Франц Флаухер, и Кленк, к удивлению своей жены, принял его. Коллега по кабинету привел с собой свою таксу, был настроен

серьезно и кротко. Кленк, не склонный считаться с этим, сразу же заговорил сухо и деловито и, заявив, что совершенно утратил ясное представление о положении дел, с простодушным видом спросил коллегу, кто нынче из старых знакомых делает погоду в министерстве юстиции. Флаухер изобразил на своем лице удивление, постарался увиливать. «Должно быть, Гартль», — высказал Кленк свое предположение. Флаухер потер рукой где-то между шеей и воротничком. Нет, — сказал он, насколько он понимал, речь идет не о Гартле. По его мнению, речь может идти о Мессершмидте.

Тут Кленк расхохотался. Он хохотал, хотя этот смех потрясал все его тело и усиливал боли. Хохотал долго, оттого что Гартлю все-таки не удалось добиться своего.

Не понимая его смеха, Флаухер с богобоязненным видом проворчал, что лучше бы коллега Кленк так греховно не смеялся. Такие испытания ниспосылаются для того, чтобы человек проверил себя и одумался. Так по крайней мере воспринимал это он, когда дважды в жизни был серьезно болен. Кленк дал ему некоторое время поговорить. Но когда Флаухер в третий раз произнес слово «смирение», Кленк сказал тихо, но недвусмысленно:

— Знаете, Флаухер, после этого и вы когда-нибудь будете еще председателем кабинета министров и будете лизать мне зад.

С этими словами он повернулся на другой бок, так что министру просвещения и вероисповеданий не оставалось ничего, как уйти со своей собакой, покачивая головой, осуждая такую гордыню и жажду наслаждений.

ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В БЕРЛИНЕ

Радостно вдохнул г-н Гессрейтер воздух станции «Мюнхен — Главный вокзал». Разве даже копоть и дым здесь не были приятнее на вкус, чем в любом другом

месте на свете? Он сдал на хранение багаж, вышел на площадь. Весело и громко зазвучал тростью с набалдашником из слоновой кости по мостовой. Он был в пальто; другое, не уместившееся в чемодане, он перекинул на руку. Он не вызвал к поезду шофера и вообще не хотел, чтобы его кто-либо встречал. Ему казалось оригинальным приехать домой трамваем. Он сел в один из блестящих голубых вагонов. С наслаждением втягивал воздух Баварской возвышенности. Ему нравились круглоголовые люди, нравилось местное наречие, на котором говорил кондуктор. Он слегка толкнул сидевшего с ним рядом пассажира, лишь для того, чтобы иметь возможность сказать ему: «Гонля, соседущка!»

Он рассказывал по своему удобному, наполненному множеством вещей дому. Тут была мебель, какую делали сто лет назад, в так называемую эпоху «бидермайер». Множество всяких нелепого вида мелочей было расставлено по столам: безобразные рожи и маски, всевозможные украшения, зародыш в спирту, модели кораблей, череп крокодила, куклы из старинного театра марионеток, страшные музыкальные инструменты, даже орудия пыток. По стенам сверху донизу были развешаны непритязательные картины, гравюры в старомодных черных и коричневых рамах. Даже уборная была украшена такими гравюрами и снабжена золотой арфой, нежными звуками возвещавшей о входе и выходе посетителя. Много было развешано, расставлено вокруг и всевозможных мюнхенских «древностей»: затканное золотом головные уборы, какие мюнхенские женщины носили лет сто назад, модели зданий, особенно большая модель собора, того самого храма с незаконченными башнями, временно прикрытыми круглыми куполами, который считался как бы особой приметой города Мюнхена. Торжественно и нарядно выглядели только комнаты, в которых находились книги и картины.

По этому своему любимому дому рассказывал теперь г-н Гессрейтер, поглаживал двери, различные предметы, освещал по-разному картины, садился в свои удобные кресла, наслаждаясь их удобством. Надел просторный фиолетовый халат, оглядел себя в зеркало — свое

полное лицо, теперь уж не обрамленное бачками, свой маленький чувственный рот. Дал себе свободу, громко зевнул, радостно вытянул руки. Чудесно было находиться в своих собственных комнатах, снова вступить во владение своим домом, своими вещами, картинами, уголком, снабженным эоловой арфой. Не могло быть большего наслаждения на свете, чем возвратиться домой, наполнить душу своим собственным добром, радостным прошлым.

Вечером г-н Гессрейтер отправился в «Мужской клуб». Он радовался сейчас, после продолжительного пребывания за границей, встрече со старыми друзьями и приятелями по клубу, возможности с важным видом поделиться с ними своими путевыми наблюдениями, сравнить жизнь города Мюнхена с жизнью, которой жил весь мир. В таких случаях всегда изрядно критикуешь родной город, но именно после длительного отсутствия эта критика будет лишь замаскированной, согревающей сердце хвалой.

В первые четверть часа пребывания в клубе г-н Гессрейтер действительно чувствовал себя необычайно счастливым, пока не произошло нечто неожиданное. По дороге в клуб он встретил отряд «истинных германцев» с барабанами и кроваво-красными знаменами. Руководствуясь еще взглядами, которых придерживались за границей, г-н Гессрейтер находил эти объединения и весь устраиваемый ими маскарад просто смешным, хотел и в «Клубе господ» посмеяться над ними. К удивлению Гессрейтера, его собеседник, светский, всегда общительный министеряль-директор Гартль, с непроницаемым лицом заметил, что, к сожалению, в этом отношении не разделяет мнения г-на Гессрейтера. Удивление последнего еще возросло, когда важный г-н фон Дитрам тихо, но решительно запротестовал против его безобидных шуток, а художник Бальтазар фон Остернахер сказал, что движение Руперта Кутцнера можно считать каким угодно, но только не смешным. Барон Ридлер — тот прямо заявил, что те, кому не подходят «истинные германцы», сами не подходят к этой стране, и лицо его при этом приняло неприятно жесткое выражение. Расстерявшись, г-н Гессрейтер спросил, какую же позицию

по отношению к «патриотам» занимает министр Кленк. К изумлению Гессрейтера, собеседники ответили, что позиция г-на Кленка никого не может интересовать, рассыпались в злых пущках по адресу министра. Г-н Гессрейтер почувствовал, что основательно попал впросак. Неужели Кленк не был уже неоспоримым южногерманским диктатором, неужели он был в немилости? Бедный, растерянный г-н Гессрейтер! Он уже не мог разобраться в делах своего родного города. «Пока зеленый Изар не перестанет течь через город Мюнхен,— пелось в старинной песне,— до тех пор не исчезнут в нем веселье и уют». Сегодня он почувствовал: что-то не клеилось с этим уютом. Он рано ушел домой.

Часть пути он прошел пешком. Проходя мимо Галереи полководцев, он заметил,— и это не способствовало улучшению его настроения,— что снова, и на этот раз уже не в самой галерее, а на улице, собирались установить какую-то новую мерзость — неуклюжий каменный памятник или что-то подобное. Пока еще нельзя было разобрать ни самого памятника в целом, ни его деталей. Ясно было только, что он будет мешать уличному движению.

Собственно говоря, Гессрейтер собирался еще в этот же вечер позвонить г-же фон Радольной. Сейчас у него пропала охота. Он зажег полный свет в комнатах, но радость свидания с моделями кораблей, расшитыми чепцами, золотой арфой и книгами была отравлена.

Раздосадованный, улегся он в кровать — широкую, низкую кровать в стиле «бидермайер», украшенную золотыми фигурами, изображавшими каких-то экзотических людей. Он плохо спал в эту первую ночь после своего возвращения. Досада превращалась в гнев, гнев — в жажду деятельности. До краев исполненный энергии и разных планов, ворочался коммерции советник Гессрейтер в своей «бидермайеровской» кровати. Дурацкая болтовня в «Мужском клубе». Его французские проекты расширения заводов «Южногерманская керамика». Новая мерзость в Галерее полководцев. Серия «Бой быков». Производство действительно художественной керамики. Кутцнер, его знамена и весь этот сброд. Он,

Гессрейтер, опять устроит демонстрацию, да такую, что чертям тошно станет. Вылунят глаза господа мюнхенцы! Правда, стояло ему вспомнить зверское лицо Ридлера, как его бросало в пот.

На следующее утро, совсем было собравшись позвонить г-же фон Радольной, он вдруг снова отложил это намерение. Вчерашний вечер, беспокойная почь породили в нем неуверенность. В воздухе этого города происходили странные перемены течений. Он уже не мог отдать себе отчета, каковы, собственно, его отношения с г-жой фон Радольной, предпочел до встречи с ней навести справки.

С этой целью пообедал вместе с г-ном Пфаундлером. У Пфаундлера нюх был топкий, он был подходящим человеком. От него Гессрейтер узнал прежде всего, что карта Кленка окончательно бита. Пфаундлер жалел об этом. Для обозрения, для всех остальных пфаундлеровских предприятий было бы полезно, чтобы во главе баварских дел стоял человек с сильной рукой и хоть каплей ума, а не один из обычных местных дурней. Но, как предусмотрительный делец, Пфаундлер подготовился и к перемене курса: преподнес кутцнеровцам знамена, значки, всякий там «патриотический реквизит». В общем, Кленк, по мнению Пфаундлера, и сам был отчасти виноват. Кое-каких глупостей ради бабы, пекоей Инсаровой, если г-н Гессрейтер помнит ее, министру в его положении не следовало себе позволять.

Затем, отвечая на осторожный вопрос г-на Гессрейтера, Пфаундлер разъяснил ему и положение г-жи фон Радольной. Да, она тоже потерпела аварию. Он заявил это с твердостью, не оставлявшей места сомнениям. Почему именно к ней, наименее виновной, прилипла грязь от сплетен, пущенных в ход о мюнхенском дворе в связи с законом о лишении бывших владетельных князей их имущественных прав? Г-н Гессрейтер после длительного отсутствия перестал понимать свой родной город. Но как бы там ни было, над положением Катарилы в свете был поставлен крест. Она сама, как умная женщина, — не мог не признать Пфаундлер, — примирилась с этим, носится с мыслью уехать отсюда, продать свое поместье Луитпольдсбрунн. Он, Пфаундлер, может только

поддержать ее намерение, особенно если она будет иметь успех при своем выступлении в обзрении. Может быть, г-н Гессрейтер заинтересуется идеей приобрести вместе с ним, Пфаундлером, Луитпольдсбрунн, открыть там гостиницу, санаторий или что-нибудь в этом роде.

Господин Гессрейтер совсем растерялся. Резкая перемена в судьбе его подруги тронула его золотое мюнхенское сердце. Его подмывало сразу же, прямехонько отправиться к ней, всепрощающе прижать ее к своей груди, показать, каким крепким щитом и опорой был коммерции советник Пауль Гессрейтер. Но он был человек опытный, достаточно часто в своей жизни устраивал демонстрации и на этот раз не хотел поддаться наплыву чувств. Прощаясь с г-ном Пфаундлером, он неожиданно для самого себя заявил, что дела заставляют его завтра по меньшей мере на неделю выехать в Берлин. В Берлине, — но в этом Гессрейтер и самому себе не хотел признаться, — он может спокойно обдумать положение, которое займет по отношению к изменившимся мюнхенским условиям, может избежать преждевременной встречи с г-жой фон Радольной.

Огромный Берлин — Гессрейтер давно не бывал в этом городе — произвел на него большое впечатление. Он ездил по улицам, ведущим из центра в западную часть города, Леннештрассе, Тиргартенштрассе, Гитцигштрассе, Курфюрстендамм. Он видел непрерывающуюся цепь автомобилей, катившихся неуклонно, как река, задерживавшихся, снова катившихся дальше. Он заметил четкую работу приборов и людей, поставленных для регулирования этого движения, — автоматические сигналы остановки, «островки» для пешеходов, полицейских, светофоры — желтый, красный, желтый, зеленый. Он без цели поехал по надземной дороге, проезжал по тому месту в центре города, где встречаются бесчисленные рельсовые пути, где друг над другом, друг под другом мчатся, пересекая друг другу путь, обгоняя друг друга, поезда. Он выходил из шахт метрополитена на улицу, видел дома, дома, людей, людей — без конца. Он прошел по длинному туннелю, под самым центром города, вечно наполненному быстрым занятым народом,

стремящимся поймать на другом конце туннеля нужный поезд. Он видел, что жители этого города не стоят, болтая, как люди в городах его родины, на перекрестках улиц, а быстро, но без напускной важности, спешат по своим делам. Он видел кишашие людьми рабочие кварталы, покачивающиеся автобусы, универсальные магазины. Гигантские, кичащиеся ярким светом дворцы удовольствий — кафе, кинематографы, театры — десять, тридцать, сто, тысяча, — все переполненные народом. Демонстрации крайних правых, сопровождаемые полицией; участники — все в кожаных куртках, в фуражках, со знаменами, построены по-военному, очень многочисленные. Демонстрации крайних левых, сопровождаемые полицией; над толпой — герб соединенных пролетарских республик России, пятиконечная звезда, серп и молот; идут, идут без конца. Он видел дороги, ведущие из города к многочисленным озерам в окрестностях, в редкие, частью застроенные городскими домами, рощи; все пути запружены людьми, экипажами, автобусами. Легко воспламеняющийся человек, он с наслаждением смаковал многообразную жизнь кишашего людьми, четко сознающего свое бытие города, его огромные размеры, точную работу его органов.

Вечером он вместе с сотнями других людей ужинал в одном из роскошных, несколько безвкусных ресторанов в западной части Берлина. Здесь был неслыханный выбор кушаний, приготовленных без любовного внимания, но все же прилично, не дешевых, но и не дорогих, подаваемых с большой помпой и прикрасами. Здесь не советовались долго с кельнером, пили, ели, расплачивались. Здесь сидели сотни людей, питались целесообразно, без особого удовольствия, болтая, делая дела, пробегаая газеты, не наслаждаясь едой. Г-н Гессрейтер сидел за одним столиком с незнакомым ему человеком. Он попытался завязать разговор. Сосед ответил коротко, не то чтобы невежливо, но удивленно, и г-н Гессрейтер почувствовал, что рассчитывать на настоящую уютную беседу за столом не приходится. Он задумчиво ел устриц, суп, вареного угря, которого ему восхваляли как особое, чисто берлинское блюдо. Артишок. Большой ку-

сок сочного, поджаренного на углях мяса. Заказал еще фрукты с замороженными сливками, сыр, кофе. Он видел людей, которые входили и выходили. Он думал о четырех миллионах людей, которые населяли этот город, весь день целеустремленно, с умением занимались своими делами, а по вечерам так же целеустремленно, но менее умело развлекались. С этим Берлином, целиком захваченным потоком современности, вздыхая сравнивал свой родной город Мюнхен. Болтовня о культурном городе Мюнхене и никудышном Берлине была, к сожалению, бессмысленной глупостью и нелепостью. В его мясистой, склонной к фантазерству верхнебаварской голове создавалась красочная, романтическая картина этого кусочка глобуса, расположенного под 13°23' восточной долготы и 52°30' северной широты на высоте семидесяти трех метров над уровнем моря, когда-то населенного славянами и названного Берлином, сейчас снабженного миллионами шахт, труб, проводов, кабелей — под землей, бесчисленными кишачими людьми домами — на земле, антеннами, проводами, фонарями, радиовышками, аэропланами — в воздухе. Так поражен он был этой картиной Берлина, что, несмотря на поглощенную им обильную и сытную еду, брел по улице в задумчивости, куря сигару и даже не замечая многочисленных проституток, увивавшихся вокруг статного, несомненно, богатого приезжего.

22

ИОГАННА КРАЙН СМЕЕТСЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ

В газете на первой странице жирным шрифтом было напечатано, что чемпионка по тешису Фенси де Лукка, узнав от врачей, что никогда уже полностью не будет владеть сломанной три дня назад ногой, застрелилась. Иоганна, прочтя эти строчки утром, еще в пижаме, сидя за завтраком, наморщила лоб так, что резко обозначились три бороздки над переносицей. Не перечла известия во второй раз. Слова его раз навсегда запечатлелись в ее мозгу жирными литерами заметки с

плохо оттиснутой буквой *e*. Аккуратно положила сложенную газету на стол. Но затем ей стала тягостна материальная близость этого напечатанного известия о смерти. Она резко смахнула газету па пол.

Ей нравилась Фенси де Лукка, и она нравилась Фенси. Обе они, женщина с ястребиным носом и Иоганна, умели понять друг друга. Другие, знавшие о шумной обстановке, окружавшей де Лукка, о тяжком напряжении, необходимом, чтобы вновь и вновь взвинчивать жизненные силы для сохранения своего первенства, могли говорить, что она ушла вовремя, владея еще своим званием чемпионки, не дожив до неизбежного разочарования. Иоганна же знала, что Фенси де Лукка была разочарована еще в разгаре победы. Она вспомнила, как Фенси говорила ей о своем решении уйти. Говорила просто, без ломанья и громких фраз, так, мимоходом, словно речь шла о малозначащей поездке. Она тогда чувствовала горячую любовь к подруге, по ее решение было ей непонятно.

Ощущая пустоту и большую усталость, Иоганна затосковала по человеческому слову, почувствовала потребность говорить и слушать. Возмутительно быть так вот одной. Вот если бы был с ней сейчас Мартин Крюгер. Ясно и тепло встала вдруг память о нем в ее душе. Но написать ему так просто и доверчиво, как ей хотелось сейчас, нельзя было, да и ответ от него мог получиться только через три недели, когда увянет сегодняшнее чувство. От Жака Тюверлена она находилась в десяти минутах ходьбы или даже меньше. Как глупо, что она не дала ему знать о своем приезде! Она позволила по телефону. К аппарату подошла секретарша Тюверлена, сказала, что г-н Тюверлен пять минут назад ушел, спросила, кто говорит и нужно ли что-нибудь передать. Но Иоганна не назвала себя.

Утро тянулось безнадежно тоскливо. У Иоганны не было энергии как следует одеться, привести в порядок свои мысли. Попробовала работать, но работа не клеилась.

Явилась неожиданная гостья — полная, подвижная женщина — мать Иоганны г-жа Элизабет Крайн-Ледегер. Почтенная дама пытливо повела носом вокруг,

многозначительным, полным неодобрения взглядом окинула плохо прибранную комнату, небрежный утренний костюм Иоганны. Она за несколько лет впервые явилась к дочери, руководствуясь при этом самыми великодушными побуждениями. Под влиянием одного фильма она решила примириться с ней. Три дня сряду за послеполуденным кофе она повествовала своим приятельницам об этом намерении. Итак, она сидела теперь на Штейнсдорфштрассе, у дочери, в полном сознании намеченной цели, представительная, с решительными манерами, с упирающимся в шею двойным подбородком. Из круглого мелкозубого рта обрушивался на дочь поток ее болтовни. Иоганна, то плотнее запахивая пижаму, то поднимая руку к волосам, из опасения, чтобы они не распустились, задавала себе вопрос, что именно у нее в манере держаться и говорить есть общего с матерью. Она знала, что энергия матери только маска, что за ней прячется мелочная, вечно ноющая, самовлюбленная жепщина, в течение всей жизни привыкшая заставлять других заботиться о себе. Даже не враждебно, а скорее с интересом естествоиспытателя окидывала Иоганна взглядом своих серых глаз лицо, фигуру матери. Неужели существовала связь, существовала какая-нибудь нить между ними обеими? С холодным любопытством изучала она не перестававшую болтать, полную, рыхлую женщину. Впервые по-настоящему заметила, как та слегка опиралась рукою о колено, как, глядя на собеседника, поворачивалась к нему всем лицом. Да, у нее, Иоганны, были точно такие же жесты. Наверно, и много еще другого у них есть общего, слишком много. Наверно, она, старея, будет все больше становиться похожей на мать. Когда-нибудь, лет через двадцать — тридцать, она будет сидеть вот такая же, настороженная, с напускной решимостью, представительная, с двойным подбородком.

Пока эти мысли мелькали у нее в голове, безбрежным потоком заливали ее фразы матери: ноющие, обличительные, умоляющие, твердящие о родственной связи, позоре, душевной чуткости. Как, собственно, Иоганна живет? Безалаберно, без достаточного ухода. Пусть она разведется, выйдет за порядочного человека. Или,

раз уж она живет с таким человеком, как Гессрейтер, пусть добьется хотя бы того, чтобы он хорошенько обеспечил ее. И как она ходит — все еще с длинными волосами. Это старит ее по меньшей мере на десять лет. Совершенно необходимо, чтобы за ней приглядывал положительный человек. Она стара, опытна, миролюбива. Всегда готова помочь Иоганне.

По мере того как женщина продолжала бесконечно говорить, чувство неловкости в Иоганне все возрастало. Стыдно было и за нее и за себя. Было неприятно все время глядеть в самоуверенное, широкое лицо этой женщины. Иоганна не знала, куда девать глаза, слегка прикрыла веки. Внезапно она ощутила острую потребность в тишине, ясно почувствовала такую же неприязнь, какую внушали ей водопады. Неожиданно спокойно и деловито сказала, что ладно, если матери этого хочется, она как-нибудь зайдет к ней в гости. Она думала, что теперь женщина уйдет. Но г-же Ледерер было досадно, что так мало оценили ее доброту. У нее, как жительницы Баварской возвышенности, была склонность к театральным эффектам. Ей было обидно, что этот визит проходит так прозаически, совсем по-иному, чем сцена в кино, которая натолкнула ее на мысль о примирении. Прошло еще порядочно времени, пока Иоганне удалось наконец избавиться от нее.

После ухода гостьи она осталась сидеть, измученная, даже без гнева. Не было человека, к которому можно было бы обратиться с человеческими словами. Итак, не стало и Фенси де Лукка. Жак Тюверлен, если ему было до нее хоть какое-нибудь дело, должен почувствовать, как он ей сейчас нужен.

Она обрадовалась, когда вдруг зазвонил телефон, вырвал ее из-под гнета вялых, тягучих мыслей. В трубке послышался голос Эриха Борнгаака. Он напоминал ей, что она в Париже обещала ему позволить снять с нее маску. Сейчас он несколько недель пробудет здесь, в городе. Когда ей удобно будет прийти? Иоганна давно думала о том, что придется встретиться с ним, решила держаться холодно, раз навсегда оборвать эти отношения. Не было в нем ничего, он был пустышка, был ничто. Она обманывала себя, надеясь нащупать в нем

твердую основу. Но сейчас, при первом звуке его голоса в трубке, она поняла, что и решимость ее тоже была лишь самообманом. Она дала ему говорить, наслаждалась его голосом, хотя он и был искажен телефонным аппаратом. Глаза ее, не видя, были прикованы к газетному листу с известием о смерти Фенси де Лукка, сердце и все чувственные инстинкты — к голосу в трубке.

Когда Эрих Борнгаак кончил, она без ломанья и сопротивления сказала, что придет к нему после полудня.

Итак, вопрос был решен. Она почти радовалась этому. Напевала сквозь зубы, ощущала легкий запах кожи и свежего сена. Направилась затем, не задумываясь, словно давно наметила этот час, к парикмахеру. Было экстравагантно, вопреки моде, носить длинные волосы, в этом ее мать была права. И Эрих тоже когда-то смеялся над таким старомодным упрямством. Она сидела в светлой парикмахерской среди никелированных кранов, белых умывальников, среди гибко скользивших мимо белых халатов, облекавших предупредительных мужчин и девиц. Холодная сталь машинки, ножницы скользила по ее голове, ей подали зеркало, чтобы она со всех сторон могла оглядеть себя. Темно-каштановые волосы падали на белую простыню, которой ее окутали. Она чувствовала, как голове становится легче и прохладнее.

Она вспомнила бесчисленные разговоры на сексуальные темы, которые велись с ней и при ней. В те времена любили многословно и подробно обсуждать эти вопросы. Вспомнился ей совсем мимолетно и случай, пережитый много лет назад, в детстве, и лишь изредка жутко, мрачно и неясно всплывавший сквозь дымку памяти. Вспомнилась и одна фраза Тьюверлена: пить без жажды, творить без вдохновения, спать с женщиной без сердечного влечения — вот наиболее распространенные пороки нынешнего десятилетия. Она так была поглощена своими мыслями, что растерянно подняла глаза, когда ее спросили, не желает ли она, чтобы ей сделали маникюр. Нет, она не желала. Кожа ее рук снова огрубела, ногти стали четырехугольными, — так ей нравилось.

Не обманывая себя, жадно, не таясь перед собой, безрадостно шла Иоганна к Эриху Борнгааку. Она прошла по Зеештрассе, мимо дома Пауля Гессрейтера, ни единой мимолетной мысли не подарив этому человеку.

У Эриха Борнгаака была хорошенькая квартирка в Швабинге. Было не совсем понятно, как ему удалось в это время острого жилищного кризиса найти такой уютный уголок. На стенах висели собачьи маски, несколько хорошо выполненных скабрезного содержания картин, фотография генерала Феземайна с собственноручной подписью, дерзко повешенная между масками борзой и бульдога, портрет Руперта Кутцнера с начертанным на нем автографом.

Эрих откровенно, по-мальчишески торжествовал по поводу прихода Иоганны, лукаво и дерзко любовался ее головой, производившей при коротких волосах впечатление еще большей смелости. Он был красив и изящен в светлой домашней куртке, скроенной по-военному, в виде кителя. Жилось ему, по его словам, хорошо. Неприятности уладились. О депутате Г. не вспомнит ни одна живая душа, а история с отравлением собак тоже улаживается. Его друга фон Дельмайера вчера освободили под залог из-под ареста. Он, кстати, придет сюда, чтобы помочь Эриху снять с Иоганны маску. Движение «патриотов», в котором он по всяким соображениям заинтересован, процветает. Сейчас настало доброе, хорошее, яркое время, когда такие люди, как он, ловкие и не лишенные юмора, могли чувствовать себя превосходно. Он включил электрический чайник, расхаживал по комнате, стараясь устроить гостью поудобнее, обнажая свои очень белые зубы между алыми губами.

Пришел г-н фон Дельмайер. Оба, еще под впечатлением его освобождения из-под ареста, держались менее деланно, чем обычно, по-мальчишески веселились. Затем решили приступить к снятию маски с Иоганны. Оказалось, что нет всех необходимых инструментов для применения нового способа. Иоганна не возражала против применения старого. Ей пришлось смазать лицо вазелином, лечь на кушетку. В нос ей вставили бумаж-

ные трубочки, попросили закрыть глаза. Быстро, опытными руками наложили на лицо холодную, сырую массу. Иоганна лежала под гипсом с неподвижным лицом, закрыв глаза и стиснув губы, какая-то оглушенная, подавленная. В голове, все время сменяясь, проносились самые разнообразные мысли. Лежишь так, словно в могиле, над тобой сырая землистая масса, от удушья спасают только две крохотные бумажные трубочки. Она слышала, как оба друга расхаживали по комнате, вполголоса разговаривали, смеялись. Она почувствовала себя в их власти. Наверно, они сейчас отпускают двусмысленные остроты. Но нет, сейчас ясно и вполне связно донеслась до нее их речь. Дельмайер рассказывал — и делалось это, должно быть, нарочно, чтобы поддразнить ее, — отвратительную и жуткую историю о том, как он однажды снимал маску с умершего актера. Гипсовый слепок никак не сходил с лица покойника, не сходил, хоть ты сдохни! Гипс буквально прирос, держался как приклеенный. Произошло это оттого, что Дельмайер захотел снять слепок и с шеи, с кадыка. Он тянул и тянул, но загибы у челюсти держались, как железо. Резким толчком ему все же в конце концов удалось сорвать маску. Но этим движением он вывернул нижнюю челюсть мертвеца. Вывалился язык. Из широко раскрытого зева послышался вздох. Г-ну фон Дельмайеру немало пришлось повидать за время войны и революции, но все же и ему стало немножко не по себе. Все произошло, впрочем, совершенно естественным путем: застоявшийся в дыхательном горле воздух вырвался сквозь голосовую щель.

Иоганна, похороненная под гипсом, слышала этот рассказ, слышала смех юнцов и упрямо повторяла сама себе: «Лежать спокойно! Не подавать никакого знака свободной рукой! Этого ведь они только и добиваются». Она заставила себя не слушать, унеслась вдруг куда-то, мысли ее спутались. Гипс на ее лице стал горячим, тяжелым, давил ее. Голоса обоих молодых людей звучали словно где-то далеко. Если бы она умерла, позаботился ли бы кто-нибудь о Мартине Крюгере? Кто-то, склонившись над ней, проверял, достаточно ли застыла гипсовая масса. Темнота вокруг нее расцветилась мно-

жеством красок. Голос ветрогона произнес не громко, но все же гулко: «Еще минуты две». До нее донесся еще пронзительный, свистящий смех фон Дельмайера и снова, но уже вдаль, голос Эриха. Его лицо сквозь окутавший ее пестрый мрак внезапно надвинулось на нее, словно на экране кинематографа, быстро вырастая до гигантских размеров. Стояло перед ее закрытыми глазами, дерзкое и порочное.

Через десять бесконечных минут ее освободили от гипса. Она вздохнула, села, еще раз глубоко вздохнула. Оба приятеля работали, скинув куртки. Приходя в себя, она решила, что настоящее лицо Эриха совсем не такое, каким привиделось ей во мраке под маской. Свежее, красивое юношеское лицо. Умываясь, она раздумывала о том, как небольшая тяжесть и мрак, окутывающий голову, способны изменить представление о мире. Каких только глупостей она не пасочиняла себе! Жизнь совсем проста. Она сама была виновата, что осложняла ее. Ей нравился этот мальчик Эрих Борнгаак, и она нравилась ему. Он был красивый мальчик с живым умом. Пережитое во время войны дало ему опыт. Она чувствовала к нему сейчас огромную, безудержную нежность.

Фон Дельмайер настаивал, чтобы они пошли еще в «Серенький козлик». Там ждет юный Людвиг Ратценбергер. В «Сереньком козлике», у «патриотов», бывает очень занятно. Иоганне необходимо разок поглядеть вблизи на всю эту штуку, юный Ратценбергер чертовски хорош. Но Иоганна стремилась остаться с Эрихом наедине. Заявила, что устала. Фон Дельмайер был ей глубоко противен. Совершенно так же, как в детстве ее страстно тянуло к простонародным сладостям, сделанным из сахара и резины и запрещенным ей, как вредные для здоровья, — так называемым резиновым змейкам, — так и теперь с той же жадностью ее тянуло к ветреному Эриху Борнгааку. Тот заявил наконец, что ладно, мол, он проводит Иоганну домой, а затем придет к Дельмайеру и Ратценбергеру в «Серенький козлик».

Иоганна и Эрих почти молча прошли путь до дома Иоганны, и достаточно было немногих слов молодого человека, чтобы Иоганна взяла его с собой наверх.

Со стопом облегчения отдалась она ему. Она знала давно, что так оно и будет. Она наслаждалась им жадно и безрадостно. Ни на мгновение в его объятиях не забывала она о том, каким пустым и ветреным был ее любовник.

Освобожденная, без стыда лежала она рядом с ним. Он уснул. Красивое порочное лицо спавшего казалось ребяческим. Тихо и благоуханно вырывалось дыхание из его очень красных губ. Она думала о том, с какой убежденностью сейчас большинство людей в этом городе, в этой стране, вообще большинство ее современников осыпали бы ее бранью за то, что она лежала здесь с этим парнем, в то время как Мартин Крюгер томился в тюремной камере. Она думала о смерти своей подруги Фенси де Лукка, о которой сообщала в утренней газете заметка с дефектной буквой *e*. Она думала о том, как страшно, что именно в этот день она сошлась с ветрогоном. Как удивительно, что можно было добровольно, сознательно зарыться в такую тину, как удивительно вообще это двуногое существо — человек, стоящий ногами в грязи и теменем касающийся неба; без пищи в брюхе и при неутоленной страсти способный лишь на самые низменные мысли о ближайших потребностях, а с хлебом в желудке и после утоления страсти сразу же изящно и тонко разветвляющийся и возносящий к облакам свои мысли и чувства. Своей грубоватой рукой она провела по волосам спящего, с нежностью и безразличностью напевая почти неслышно что-то сквозь зубы. Он проснулся, доверчиво, чуть-чуть лукаво улыбнулся ей.

Так как он был умен и достаточно чуток, то сразу же заметил, как мало его ласки задела ее душу. Это показалось ему обидным. Он попытался подкупить ее нежностью — она осталась холодна. Сентиментальностями — она расхохоталась. Его досада возрастала, и, чтобы оскорбить ее, он спросил, многим ли мужчинам она принадлежала. Она поглядела на него, как взрослый на невоспитанного ребенка, с мягкой, понимающей иронией, которая еще больше задела его. Он принялся рассказывать ей о своей жизни, о всевозможных мелких и крупных грязных мошенничествах и жесто-

костях. Она спокойно заметила, что именно так себе все и представляла. Он снова накинулся на нее. Она наслаждалась, отвечала на его ласки. Даже отдаваясь, не могла до конца скрыть свое презрение.

В то время как она продолжала лежать в кровати, он поднялся, попросил с внезапным наплывом вежливости разрешения закурить, оделся. Рассказал, что в компании с фон Дельмайером и Людвигом Ратценбергером, ловким мальчуганом, которого он очень любит, занят проведением в жизнь одного проекта, касающегося покойного короля Людвига II. Прикрываясь его именем, в Баварии можно добиться такого же успеха, как пользуясь именем старого Фрица в Северной Германии. Упомянул о том, что ради этого проекта приносит в жертву некую добродушную скотину. Он ходил взад и вперед по комнате, курия сигарету, одеваясь. Мода тех лет была неудобна и бессмысленна. Мужчины пристегивали твердые, охватывавшие шею крахмальные воротнички — тесную, ненужную, некрасивую часть одежды — и обвивали их трудно завязывающимися, бесполезными бинтами, так называемыми галстуками. В то время как Эрих Борнгаак, продолжая при этом рассказывать о проекте, касавшемся покойного короля, ловко налаживал петли этих силков, Иоганна, внимательно слушая, следила глазами за всеми его движениями. Такими же непонятными, как этот обычай надевать на шею воротничок, были почти все современные условности, внутренние и внешние. Сейчас, например, этот мальчик, должно быть, был убежден, что одержал невесту какую-нибудь победу тем, что спал с ней. Он обладал ею. Обладать кем-нибудь — какое глупое слово! Но он все же казался не очень уверенным в своей победе. Иначе он не пытался бы задеть ее дурацкими рассказами о покойном короле. В мире многое непонятно и многое невозможно понять. Мартин Крюгер в тюремной камере. Ветреный Эрих Борнгаак, который «устранил» депутата Г., отравлял собак, спал с ней и теперь обвивал сложным узлом туго накрахмаленный воротничок. Чемпионка по теннису

Фенси де Лукка сломала ногу и застрелилась из револьвера. Крупный буржуа Гессрейтер, в течение одной ночи всем сердцем и всеми чувствами своими любивший ее и теперь искавший в своей серии «Бой быков» утешения от мухоморов, длиннородых гномов и всех житейских нелепостей. Все это одновременно скопилось в ее комнате на Штейнсдорфштрассе.

Юпоша неожиданно и с досадой услышал вдруг, что Иоганна смеется. Она смеялась не громко и не тихо, не зло, но и отнюдь не добродушно. Он был слишком самоуверен, чтобы отнести этот смех к себе; все же легкое сомнение коснулось его, и он спросил Иоганну, почему она смеется. Он не получил ответа. Она не сказала ему, что смеется над всем тем бессмысленным и мучительным, что предпринимают люди и что, по-видимому, считают целесообразным и приятным: над их половой моралью хотя бы, над их войнами и юстицией, и что смеется она, пожалуй, также над самой собой и над своим удовлетворенным сейчас вожделем.

Видя, что Иоганна упорно молчит, юноша почувствовал себя неудовлетворенным. Он привык к нежности, слезам, уверениям, мольбам, следовавшим за мимикой близости. Серьезность Иоганны он находил нелепой и оскорбительной. Он был разочарован. Он ждал тепла, потока чувств. Эта женщина между тем оказывалась холодной сладострастницей, которая получила от него больше, чем дала. Он почувствовал себя обманутым. Закурил сигарету, подкрасил губы. Так как, видимо, не было способа вывести эту женщину из ее состояния холодного равнодушия, он в конце концов сказал, что теперь отправится в «Серенький козлик». Ему еще удастся поймать там Людвиг Ратценбергера. Она ни одним словом не попыталась удержать его. Он начал насвистывать мелодию модного негритянского танца, ушел, небрежно простившись.

Тогда Иоганна во второй раз рассмеялась. На этот раз — свободно и хорошо. Она распахнула окно, чтобы выветривался запах сигареты и легкий запах кожи и свежего сена. Теперь это было позади, изжито — и ладно. Она стала под душ, вытягиваясь, сжимаясь под брызгами холодной воды. С любопытством и возрастающим

удовольствием наслаждалась тем, как вода обтекала ее голову, освобожденную от длинных волос. Затем вернулась в спальню мимо газетного листка с дефектной буквой *e*, легла в постель, потянулась, согнула колени, уснула крепко, без снов.

23

ДОВОЕННЫЙ ОТЕЦ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ СЫН

Пиво доктора Гейера согрелось, выдохлось, он не отпил от него почти ни глотка. Из вежливости к хозяину он, давась, проглотил несколько кусочков поданной ему жареной свинины: больше он не мог.

Перегруженный поручениями, снова втянутый в политическую жизнь, опутанный нитями бесчисленных дел, из двадцати четырех часов едва ли шесть уделявший сну, адвокат сейчас просиживал не один из своих драгоценных вечеров в кабачке «Собачья голова». Худой, в некрасивой напряженной позе, с трудом удерживая в покое нервные тонкие руки, сидел он среди рабочих, сотрудников профессиональных союзов и фапатически настроенных, не отличавшихся хорошими манерами литераторов в этом бедно обставленном кабачке, наполненном дымом и шумом бессвязных споров. На лице его отражалось старание скрыть явное неудовольствие.

Он оглядывался каждый раз, как открывалась дверь кабачка. В эту неприятную ему обстановку его привлекала легкая, полуосознанная надежда. Нередко «патриоты» приходили в «Собачью голову», как и коммунисты — в «Серенький козлик», задевали и поддразнивали коммунистов до тех пор, пока не начиналась изрядная драка. В таких драках особенно отличался Людвиг Ратценбергер, иногда в них участвовал и популярный боксер Алоис Кутцнер, дравшийся мрачно и меланхолично. В их компании изредка оказывались и двое молодых людей северогерманского типа — некий Эрих Борнгаак и фон Дельмайер.

Итак, слабая надежда, основанная на этих данных, жила в душе адвоката, когда он упрямо, хотя и с чув-

ством неловкости, сидел в «Собачьей голове» за кружкой пива, которое ему не нравилось, и едой, которая была ему не по вкусу. Все же он был поражен, увидев однажды в кабачке Эриха в обществе Людвига Ратценбергера. По странной случайности с ними не было страхового агента фон Дельмайера. Вызывающе элегантный, сидел Эрих Борнгаак за деревянным некрашеным столом на грубом поломанном стуле в наполненном дымом кабачке. Его задевали, насмехались над ним, впрочем не без грубого доброжелательства. Он отвечал, дерзко улыбаясь своими очень красными губами, вызывая, явно стремясь спровоцировать столкновение, был сегодня особенно нагл. За последнее время он попал в полосу неудач, какой у него давно уже не бывало. Разве не смахнула его эта Иоганна Крайн, как смахивают попавшую на платье грязь? Даже небо фон Дельмайера не удалось ему оградить от туч. Чего только ни наговорил он Руперту Кутцнеру, внушая ему, что престиж партии будет огражден только в том случае, если она объявит дело Дельмайера своим делом. А сейчас вот фон Дельмайер, только что выпущенный из-под стражи, снова уже находится под угрозой. Гартль, по настоянию Кутцнера, провел освобождение фон Дельмайера. Но Кленк был не согласен, бесился, требовал, чтобы все дело было доставлено ему на дом, в постель. Должно быть, накануне своего падения именно на этом деле он хотел показать «патриотам», что он еще существует. Фон Дельмайер каждую минуту мог быть вновь арестован. Эрих сидел в самом мрачном настроении рядом с Людвигом Ратценбергером, разжигая его жажду драки. Адвокат с пересохшими губами глядел на мальчика, не зная, подойти ли к его столу, уверенный, что мальчик резко оборвет его.

Заметив присутствие адвоката, Эрих внезапно изменил поведение. Если до сих пор он подзадоривал Людвига Ратценбергера, то сейчас, как раз в момент когда должна была начаться драка, он стал удерживать его. Удивительно было, как молодой шофер, при всей своей горячности, подчинился ему. Ожидавшаяся драка не состоялась. Оба приятеля удалились, не выполнив своего первоначального плана и вызвав разочарование у

большинства присутствующих. Намеренно пройдя мимо стола адвоката и небрежно поклонившись, мальчик бросил ему на ходу: «Завтра я зайду к тебе по делу».

На следующий день доктор Гейер не пошел к себе в контору, велел сообщить в суд, что заболел. Распорядился никого, кроме Эриха, не принимать, даже не зваться к телефону. Экономка злорадно сообщала об этом всем, кто звонил. Доктор Гейер ждал. Шаркая ногами, бродил взад и вперед, прихрамывая сильнее, чем всегда. Впервые за долгое время достал связанную шнурком рукопись: «Право, политика, история». Прошло утро, полдень, первые послеполуденные часы. Адвокат вынул счета банка, пачки иностранных банкнот, которые хранил дома. Здесь были порядочные суммы, большие ценности для Германии тех лет. Адвокат считал, подводил итоги, затем отложил деньги в сторону, ждал. Позволили. Он опустился в кресло.

В комнату после перебранки с экономкой ворвался управляющий конторой. Принесенные им новости были срочного, неотложного характера. Он только мельком извинился за свое вторжение. Георг Рутц, социал-демократический депутат рейхстага от избирательного округа Мюнхен II, погиб при автомобильной катастрофе. Доктор Гейер, первый кандидат по списку, — член рейхстага.

После ухода управляющего конторой доктор Гейер вздохнул, чаще замигал, с трудом проглотил слюну, почувствовал стеснение в сердце. Итак, свершилось. Он уедет из этого стоячего болота, из Мюнхена в кипящий жизнью Берлин. Он не сделал этого сам, и вот судьба дает ему толчок. Бросает его чуть ли не силой туда, где его настоящее место. Он давно стремился в Берлин, много лет мечтал о депутатском кресле в рейхстаге, всеми силами своего разума твердил себе, что только Берлин — подходящий для него город. Он зашагал взад и вперед, упал на кушетку, прикрыл под толстыми стеклами очков тонкие воспаленные веки. Лежал, закинув руки за голову, отдавшись быстрой игре воображения. Рисовал себе, как, стоя на самой видной трибуне в стране, говорит свое слово о баварских делах, свое остро воспламеняющее всех жгучее слово. Но и

эти мечты, так часто и любовно лелеянные, не согревали его душу.

Лежа на спине, опутив покрасневшие веки и заложив за голову тонкие руки, адвокат вдруг как-то перестал думать о рейхстаге, о мальчике, о Кленке. Ему вспомнилась девушка Эллис Борнгаак, озеро в Австрии, лесная тропинка, по которой он однажды поднимался с ней. Ясно встали перед ним извилины тропинки, постепенно расширявшийся кругозор, открывавший то новую бухту озера, то новую деревушку. Как называлась эта деревушка? Мальчик вошел в тот момент, когда он тщетно пытался вспомнить это название.

Эрих Борнгаак сел. Бойко, без всяких вступлений заговорил о деле.

— История с кошачьей фермой, — сказал он, — к сожалению, провалилась. Дело не удалось из-за мизерности предоставленной тобой в мое распоряжение суммы. С такими смехотворными деньгами нельзя делать дела, — укоризненно добавил он. — С одной ротой даже Наполеон не мог бы вести войну.

— К сожалению, у меня тогда больше не было, — тихо ответил адвокат. — Сейчас я мог бы дать тебе больше.

— Благодарю, — сказал Эрих. — Сейчас мне деньги не нужны. У меня в данное время есть лица, которые меня щедро финансируют, и другие, более рентабельные дела.

Он умолк. Его развязность, его вызывающие манеры на этот раз были явно напускными. Адвоката тронуло, что этот так горько любимый им человек все же стыдился, не решался обратиться к нему со своей просьбой.

— Речь идет о господине фон Дельмайере? — помог он ему.

Да, речь шла о г-не фон Дельмайере. Дело могло обостриться. Возьмет ли адвокат на себя ведение этого процесса?

Доктор Гейер должен был предвидеть нечто подобное, был готов к этому. Фон Дельмайер глупый, пустой, преступный субъект; обезвредить его было бы только полезно. Адвокат не желал принять на себя ведение его

дела. У него были теперь деньги, он согласен был отдать их мальчику. При свойственной тому предприимчивости он мог затеять с ними любое дело. Но он должен развязаться с этим Дельмайером. Ведь просто счастливый случай, что обвиняли его, а не Эриха. Мальчик должен был понять это. Он поговорит с мальчиком, так много есть что сказать ему, теперь представлялся удобный случай.

Мальчик сидел перед ним с деланно безразличным видом. Доктор Гейер на практике не был большим знатоком людей, но даже и он понимал, что этот вид — лишь маска, что, вероятно, единственным на свете, к чему мальчик не был безразличен, была судьба этого ветреного, гнусного фон Дельмайера. Адвокат увидел брюки мальчика, ботинки, гетры. Да, он сегодня был в гетрах — вот уж два месяца, как гетры вошли в моду. И странно: хотя дела мальчика, по его словам, шли хорошо, на правой гетре недоставало пуговиц. Все это адвокат увидел в ту минуту, когда собирался разъяснить мальчику свои взгляды, побудить его к разрыву с этим фон Дельмайером. Но он не решился на это, не решился заговорить. Вместо этого он сказал, что охотно взял бы на себя ведение дела, вчера еще он взял бы его. Но тем временем умер депутат Рутц: он должен отправиться в рейхстаг, и теперь это невозможно. Его слова звучали фальшиво, сдавленно, неубедительно. Он сам слышал, как неубедительно.

Адвокат не мог знать, что этим ответом именно сегодня наносил мальчику особенно чувствительный удар. Эрих считал, что сейчас крепче, чем когда-либо до сих пор, сомкнулось вокруг него кольцо неудач. Поэтому сразу соскользнула с него уверенность в своей способности очаровать кого угодно, и он почувствовал себя беспомощным и жалким. Поражение у Иоганны Крайн. Неспособность разогнать тучи на горизонте фон Дельмайера. А сейчас оказывалось, что он утратил власть даже и над этим жалким человеком, не может заставить его подчиниться своей воле.

Адвокат увидел, что лицо мальчика исказилось, стало холодным, презрительным. Увидел, что мальчик встает, направляется к дверям. Сейчас, вот сейчас он

уйдет и, может быть, навсегда. Доктор Гейер хотел еще что-нибудь сказать, что-нибудь, чем он мог бы удержать его, но мозг его был опустошен. Он искал, как ищут во сне что-то вечно ускользающее, — какую-нибудь фразу, какое-нибудь слово, способное удержать Эриха. Но раньше чем он успел что-нибудь придумать, лицо мальчика перекосилось в безмерном презрении, глаза его сверкнули насмешкой, и он проговорил полным ненависти мальчишеским голосом, но без обычной самоуверенности:

— Я мог быть заранее уверен, что ты откажешься, если к тебе обратиться за настоящим одолжением.

Мальчик успел уже открыть дверь, когда адвокат хрипло проговорил:

— Я не отказываюсь. Я еще подумаю. Дай мне три дня на размышление.

— Три дня? — с издевкой переспросил Эрих. — Почему не год?

— Подожди хоть сутки! — тихо попросил адвокат.

На следующий день ранехонько он вежливым, почти униженным письмом сообщил мальчику, что жалеет о своих колебаниях. Он согласен принять на себя защиту г-на фон Дельмайера. Но еще в тот же день он получил ответ Эриха Боригаака: надобность миновала, г-н фон Дельмайер больше не нуждается в его услугах. Дело в том, что Кленку так и не удалось вмешаться в дело Дельмайера. Ему пришлось подать прошение об отставке, и сейчас министерский пост, по-видимому, займет Гартль, который и ликвидирует дело фон Дельмайера в духе, желательном «патриотам». Черный день Эриха миновал. Он мог снова, выплыв на поверхность, позволить себе роскошь утереть нос старику.

Адвокат доктор Гейер и в этот день не пошел к себе в контору. Срочные дела остались лежать без движения. Клиенты бесились. Приходил управляющий конторой, просил подписать бумаги, кое-что *необходимо* было сделать именно сегодня. Он сообщил, что из комитета партии, ввиду того что в квартиру доктора Гейера дозвониться было невозможно, неоднократно звонили в контору, прося адвоката подтвердить свое согласие на принятие освободившегося мандата. Ему придется

также в ближайшие же дни сделать об этом официальное сообщение.

— Сделайте сообщение,— произнес адвокат. Казалось, он вовсе не слушает.

— Это невозможно без вашей подписи,— голосом, в котором звучало порицание, сказал заведующий канцелярией.

Адвокат взял белый лист бумаги, машинально, медленно начертил на нем свою подпись.

— Разрешите сообщить, что вы в конце недели будете в Берлине? — спросил управляющий.

Адвокат не ответил. Тщательно сложив белый лист бумаги, заведующий канцелярией удалился с видом явного неодобрения.

24

ИОГАННА КРАЙН КУПАЕТСЯ В РЕКЕ ИЗАР

Иоганна ехала в Одельсберг. Живыми, довольными серыми глазами глядела она на плоский, скучный ландшафт. Неудобства поездки не раздражали ее. Париж, г-н Гессрейтер, ветрогон, как ни мало времени протекло с тех пор, остались далеко позади. Она не раскаявалась — просто забыла. Эрих Борнгаак? Кто это такой? Однажды после той ночи он позвонил ей. Она не подошла к телефону, почти не вспомнила о нем, ни разу, ни на мгновение не пожелала увидеть его. Словно где-то позади осталась тяжкая, наконец-то выполненная обязанность.

До этой ночи, проведенной с ветрогоном, она, думая о предстоящем свидании с Мартином Крюгером, ощущала некоторую неловкость, откладывала встречу с ним. Она давно не видела Мартина Крюгера, с самой поездки своей во Францию. А сейчас она была полна нетерпения, гнева против его врагов, горячей дружбы к нему.

На живом лице Мартина Крюгера всегда непосредственно, как у ребенка, отражалось каждое душевное движение. Сегодня, когда вошла Иоганна, его серое, слегка обрюзгшее лицо сразу так просияло, что ее охва-

тило мучительное недоумение: как могла она так долго не видеть его? Ни следа не осталось в нем от прежнего жеманства и сентиментальности. Не было Мартина прежних лет, как не было и тупого, замкнутого в себе. Перед ней был новый человек: открытый, привлекательный, без тени рисовки, оживленный.

Между тем положение его в одельсбергской тюрьме отнюдь не улучшалось. Человек с кроличьей мордочкой стал очень нервным, принюхивался, откуда дует ветер, не мог этого уловить. Так много перемен произошло в руководящих министерских сферах. У него оставалось уже мало времени, — так легко могли забыть о нем. Печально было бы уйти в отставку, получая содержание всего только по двенадцатому разряду. Гартль был могуществен, но временным правителем министерства был Мессершмидт. Не поймешь, не поймешь. «Истинные германцы» создали очень сильное параллельное правительство. Но кто мог знать, чем это кончится? Политические симптомы менялись, и человек с кроличьей мордочкой вместе с ними.

Малейший оттенок в истолковании этих симптомов, мельчайшее изменение во взглядах директора тюрьмы Фертча на соотношение сил в министерстве немедленно же отзывались на положении Мартина Крюгера. Но эта вечная борьба, вечное колебание из стороны в сторону не парализовали его, а оживляли. Его можно было лишить книг, работы, но не мыслей, не идей. Нельзя было отнять у него все выставшего, ширившегося представления о мятежнике Гойе. Мартин Крюгер жил. Жил в тюрьме ярче, многограннее, чем жил ранее вне ее стен.

Сейчас, при виде Иоганны, он просветлел. Увидел ее лицо, загорелое, полное жизни, ставшее еще более смелым благодаря подстриженным волосам, ее крепкую фигуру спортсменки. Мартин Крюгер увидел, что Иоганна хороша, и сказал ей об этом. Иоганна покраснела.

Он рассказал о своем споре с Каспаром Преклем, рассказал с улыбкой, в дружеском тоне. Рассказал, посмеиваясь над самим собой, о том времени, когда почта заменяла ему весь мир. Он безусловно не имел намере-

ния обидеть Иоганну, но она ощутила жгучий стыд за то, что в свои письма к нему не вкладывала больше души. Он рассказывал о своих товарищах по заключению, о Леонгарде Ренкмайере, добродушно, образно, занимательно. Сильно, без пафоса, говорил о художнике Франсиско Гойе.

Здоровье его было не так чтобы плохо. Он выглядел серым, но теперь уже не вялым. Сердце, правда, иногда причиняло ему страдания. Он описал ей это отвратительное чувство уничтожения: какая-то серая пелена опускается, окружая человека, давит его, сжимает, теснит. Словно вдавливаются друг в друга машины, а человек оказывается между ними. Кажется, будто все внутри каменеет. Можно выдохнуть, но вдохнуть нельзя. Шатаясь, вскинув вверх руки, жадно ловишь воздух. Это длится целую вечность. Когда приходишь в себя, если около тебя есть кто-нибудь, хватаешься, держишься за него. Не можешь поверить, когда тебе говорят, что весь припадок длился всего несколько секунд. Со стороны видно только, что лицо сереет, человек шатается, иногда падает. Хуже, если приходишь в себя и вблизи нет никого. Когда ты соприкоснулся с ужасом уничтожения и вновь выплыл на поверхность, то ощущаешь потребность в чем-нибудь живом. Однажды это случилось с ним ночью; звук шагов надзирателя был тогда для него спасением. Он рассказывал так, что Иоганна перечувствовала все сама. В общей сложности у него было четыре таких припадков. Но он не жаловался, не испытывал к самому себе сострадания, был полон надежд.

Потом он рассказал ей о том, что совсем потерял представление о картине «Иосиф и его братья». Это огорчало его. Фотографии и то, что он прежде писал об этой картине, уже не могли заменить ему самой картины. Но зато у него был теперь его Гойя.

Под конец, незадолго до наступления момента, когда ей нужно было уходить, Иоганна увидела, что ее тело очень волнует Мартина. Глаза его затуманились. Он пытался заговорить, не мог, часто задышал, схватил ее. Она не отступила, не пыталась высвободиться. Но она судорожно согнула свободную правую руку, пальцы,

должна была сделать над собой большое усилие, чтобы не проявить чувства отвращения. Надзиратель сидел при этом, тупой и безучастный. Даже и тогда, когда она уже уходила, Мартин, казалось, еще не овладел собой. Он с трудом, заикаясь, бормотал какие-то пустяки.

Иоганна возвращалась домой глубоко потрясенная. Последние минуты она просто вычеркнула. Она не хотела сохранить в своей памяти Крюгера с лицом, почти не отличающимся от лица ветрогона. Тем глубже волновала ее перемена в нем, проявившаяся в предшествовавший час.

Освобождение Мартина Крюгера было задачей, довести которую до конца она решила во что бы то ни стало. Но она никогда не скрывала от себя, что это намерение подчас казалось ей тягостным. Крюгер как человек утратил свое лицо, стал отвлеченным представлением. И вот сейчас он снова живой и вещественный, вступил в ее жизнь, новый, незабываемый.

Незабываемый? Куда делся окрыленный, жизнерадостный друг прежних дней? Куда делся тихий, серо-коричневый человек в тюремной одежде? Она испытывала хорошее, крепкое чувство дружбы к этому новому Мартину, твердое намерение быть от него неотделимой.

Незабываемый? Внезапно, против ее воли, перед ней встало полное страсти лицо последних минут, волнуя ее и в ней самой разжигая страсть. Будет ли она когда-нибудь опять путешествовать с ним, принадлежать ему? Она отогнала от себя это видение. Услышала сквозь стук колес его спокойные и твердые слова, в которых выражалась его уверенность скоро быть снова на воле. Как бы там ни было, ей следовало много теплее, с большим участием говорить с ним. Она рассердилась на себя за свою вялость, неповоротливость. Слишком мало успела она сказать ему. Времени было мало, она медленно подыскивала слова, не умела быстро пахотить нужные выражения. Она решила подробно написать Мартину, так написать, чтобы слова не высохли раньше, чем дойдут до него. Еще в пути она стала составлять это письмо и так глубоко погрузилась в свои мысли, что соседи по купе с любопытством поглядывали на нее.

В эту ночь Иоганна не видела снов и под утро пробудилась так внезапно, словно кто-то прикоснулся к ней. В комнате было совершенно темно, Иоганна не могла понять, где она находится. Она лежала в абсолютной пустоте, в пустоте мирового пространства. Она внезапно очутилась во мраке, в пустоте, одна, без имени, без связи с самой собой, без ясного будущего, без прошлого, выброшенная сызнова в новый мир. Она знала, что существуют сложные философские учения о времени и пространстве. Но сейчас они были для нее бесполезны. Она была всецело предоставлена самой себе, всецело свободна. Легкий озноб охватил ее от этого ощущения свободы. С трепетом почувствовала она, как замерло течение ее жизни; так река, задержанная в своем течении, останавливается и разрывается на отдельные потоки. После великого изумления ее охватил великий страх. Так неожиданно приходилось ей, ей самой взять свою жизнь в собственные руки. Самой решать все, ей одной.

Она распахнула окно. Внизу, пустая, в искусственном освещении, виднелась набережная, шумела река. Иоганна жадно втягивала в легкие прохладный воздух, уже пахнувший утром.

Период прозябания в коконе кончился, жизнь вловь отдана ей в руки. Прошлого не было. Оно не обязывало ее ни к чему, не давало ей никаких прав, никому не давало прав на нее. Она сама могла решить, будет ли она бороться за Мартина. Она могла выбирать. Выбрала. Будет бороться.

Совсем рано утром она оделась, по пустым, непривычным, утренним улицам прошла далеко за город. Натолкнулась на скромную кушальню. Показался старичок, отпер. Иоганна, словно именно для этого она прошла весь дальний путь, натянула потертый, взятый напрокат костюм, выплыла на середину быстрой прохладной реки. Никогда в своей жизни не придавала она своим поступкам символического значения. Не задаваясь мыслью, зачем, к чему, она полностью смыла с себя сейчас в волнах Изара прежнюю Иоганну. Было прохладное, дождливое утро, и она оставалась одна. Старик-сторож не удивлялся ничему. Она поехала

назад в город, ясная, свежая, с твердым и непреложным знанием того, что она должна делать, и уверенностью, что все сейчас сложится хорошо и просто. Сейчас она пойдет к Жаку Тюверлену и с ним вместе пройдет добрую часть пути. Она вернулась к себе домой взрослой, знающей жизнь женщиной своего времени, не стремившейся к большему, чем она может свершить, не требующей большего, чем на ее долю приходится, бодрой и серьезной.

25

КАРТИНЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ БРЕНДЕЛЯ-ЛАНДГОЛЬЦЕРА

Каспар Прекль ехал в Нидертаннгаузен такой взволнованный и полный ожидания, каким редко бывал в своей жизни. Готовясь к встрече с художником Ландгольцером, он тщательно оделся, выбрился. С тех пор как он узнал, что художник Ландгольцер, написавший картину «Иосиф и его братья», и помещенный в больницу для душевнобольных инженер-путеец Фриц-Ойген Брендель — одно и то же лицо, он жаждал этой встречи.

Когда он работал над своими балладами, над циклом, в котором его Одинокый становился клеткой, частицей сложного целого, тогда все казалось ясным — образ и знание были одним целым. Но настоящее знание должно было поддаваться выражению в сухих словах. Его баллады, пока он их пел, захватывали слушателя; но стоило ему кончить петь, как испарялось их действие. О них нельзя было спорить, засыпая противника аргументами. Никто под их влиянием не менялся. Его сомнения в том, является ли искусство в настоящую эпоху осмысленным, достойным серьезного человека делом, росли.

Среди всех этих сомнений единственной точкой опоры для него была картина «Иосиф и его братья». Гнев этой картины и ее юмор, ее внутренняя стройность, широта ее охвата при спокойной простоте выполнения глубоко задела самые корни его существа. Нельзя было допустить, чтобы такая живопись была всего лишь по-

лотном и красками. Известие о том, что творец этого произведения, находящегося сейчас где-то в восточной части России, сидит в психиатрической лечебнице в Нидертаннгаузене, было для него одновременно угрозой и надеждой. Он должен был увидеть этого человека. Видеть его было важно. Говорить с ним было важно. Всюду, куда ступала нога, был мелкий щебень.

Здесь был твердый путь.

Местность, по которой проезжал Каспар Прекль, была однообразна, дороги — плохие, запущенные. Потребовалась многонедельная переписка, прежде чем Каспару Преклю удалось добиться разрешения на посещение Нидертаннгаузена. Ему казалось, — так мучило его нетерпение, — что он едет бесконечно медленно.

По прибытии в лечебницу нетерпеливому и педер-жанному человеку пришлось еще долго ожидать. Его не сразу провели к художнику Ландгольцеру. Преклем успел завладеть некий доктор Дитценбрунн, старший ассистент, высокий, нескладный человек лет сорока, белокурый, с обветренной кожей, сморщенным носом, крохотным подбородком, крохотными водянисто-голубыми глазами под шишковатым лбом. Врач заговорил с ним, принялся рассказывать. Болтал что-то о теориях в области психиатрии, о границе между безумием и гениальностью, о докторе Гансе Принцгорне, считавшемся в те времена крупнейшим специалистом в этой области. В другое время такие вопросы заинтересовали бы Каспара Прекля. Но сегодня он явился сюда, чтобы видеть художника Ландгольцера, большого человека, одного из немногих, в кого он верил. Психиатр болтал много-словно, бессодержательно, саркастически. Рылся длинными, красноватыми, поросшими светлым пухом руками в толстой связке бумаг, среди которых хранились относившиеся к больному записи, заключения экспертов, отзывы, кое-какие рисунки больного.

О картинах больного Фрица-Ойгена Бренделя, подписанных им фамилией Ландгольцер, доктор Дитценбрунн был, по-видимому, не очень высокого мнения. О картине «Иосиф и его братья» разговорчивый врач вовсе не упомянул.

Из рассказов доктора Каспар Прекль мог почерпнуть по крайней мере хоть некоторые сведения о туманном прошлом Ландгольца. Художник, которому сейчас было уже сорок семь лет, происходил из довольно зажиточной баденской семьи. Был одно время приват-доцентом при какой-то высшей технической школе и особенно заинтересовался проблемой составления карт на основе аэрофотосъемки. Он вкладывал в эти опыты свои средства, понемногу спустил все свое состояние, отказался от доцентуры, довольствовался, лишь бы как-нибудь прожить, незначительным местом чертежника в железнодорожном управлении. Во время войны он сделал изобретение, способное, по его мнению, перевернуть все методы геодезических измерений, и подал заявку на несколько патентов. Но патенты его были опечатаны воинскими властями из соображений военного порядка, а инструменты Бренделя-Ландгольца реквизированы. После заключения мира он ожил, надеясь теперь практически использовать свое изобретение. Но раньше чем ему удалось добиться снятия запрета со своих патентов, другими техниками были предложены инструменты, основанные на принципах его изобретения. За эти годы много народу — офицеры, военные чиновники — имело доступ к его патентам. Он возбудил судебное дело. Судился годами. Попал в руки не слишком чистоплотных финансистов, запутался в каких-то темных делах. Стал обращать на себя внимание товарищей по работе, знакомых, начальства странными суждениями, курьезными привычками, пугал их вспышками неожиданного, казалось бы ничем не вызываемого возбуждения. Получил годовой отпуск, который провел в строжайшем одиночестве в затерянной где-то хижине, в крайне примитивных условиях. Тогда, должно быть, — но об этом врач не упомянул, — и была написана картина «Иосиф и его братья». Вернувшись, Брендель-Ландгольцер пустил по рукам удивительнейший карикатурный рисунок, изображавший нечто вроде Страшного суда. Директор его отдела и товарищи по работе были с несомненным сходством изображены на этом рисунке производящими всякие непотребные действия. Жалея его, пострадавшие промолчали. Он

отправил им письма, — странную смесь служебной риторики и народных стихов, — в которых вызывал их на суд. Когда же наконец он вывесил в здании, где помещалась его служба, на черной доске для объявлений манифест, в котором он министру путей сообщения и министру юстиции предлагал высказаться на открытом дискуссионном вечере по вопросу о первородном грехе, законе о патентах и расписании поездов, ни у кого больше не осталось сомнения в том, что он душевнобольной.

Узнав о пребывании художника Ландгольца в доме умалишенных, Каспар Прекль не мог отделаться от воспоминаний о слышанных им ужасных рассказах о том, как по желанию заинтересованных лиц содержат в таких лечебницах вполне здоровых людей. Особенно навязчиво преследовал его упорно распространявшийся в Мюнхене слух о том, что умерший в психиатрической больнице антиклерикальный писатель Панница, очень способный, но неугодный баварской администрации человек, был заключен в больницу совершенно здоровым. Но теперь, читая поданный ему доктором манифест художника Ландгольца, под которым красовалась подпись «Фриц Брендель, наместник бога и железнодорожного управления на воде и на суше», он уже не мог сомневаться, что Ландгольцер был помещен в больницу с полным основанием.

Врач рассказывал о том, как постепенно усиливались у Фрица-Ойгена Бренделя симптомы мании преследования. Он жаловался, например, на то, что в его окна стреляют, хотят его отравить, при помощи электричества подменивают его желудочный сок, спинной мозг. Сейчас болезнь его определилась как начальная тихая форма пизофрении, к счастью лишь медленно прогрессирующей. Доктор Дитценбрунн, поднявшись, словно аист, расхаживал по комнате на своих длинных ногах. Он говорил, увлекаясь подробностями, сыпал специальными терминами.

Наконец он повел Каспара Прекля к больному. Губы молодого инженера пересохли, колени подгибались, он был донельзя взволнован предстоящей встречей.

Больной сидел в углу комнаты и, склонив голову,

подозрительно и мрачно глядел на пришедших. Когда они приблизились, он еще плотнее прижался к стене, ниже склонил голову, покрытую спутанной копной волос. Врач заговорил с ним быстро и уверенно, но человек у стены отвечал жестким, довольно звонким голосом, коротко и враждебно. Совершенно неожиданно, отвечая на вопрос о том, были ли у него сегодня утром боли, он вспылил. Доктору Дитценбрунну ведь превосходно известно, что над ним позволяют себе производить всяческие эксперименты: при помощи электрического тока щекочут ему пятки, раздражают зубы, с помощью передачи на расстоянии вводят ему в нос запах трупов, рвотных извержений, водки. Кожу и мясо его искусственно омертвили, ну, словом, соскоблили совсем. Когда он кладет руку на стол, ощущение такое, как будто он касается дерева обнаженной костью. Каспар Прекль с трудом разбирал смысл его слов. Он только не отрываясь глядел на него, впитывал в себя образ этого человека — худое лицо с черной запущенной бородой, с мясистым носом и глубоко запавшими, горящими, странно возбужденными глазами.

Художник Ландгольцер умолк так же неожиданно, как вспылил, и теперь в свою очередь внимательно уставился на Каспара Прекля. Глядел на него снизу вверх дикими, глубоко запавшими, блуждающими глазами, напряженно, настойчиво, крайне недоверчиво. Внезапно поднявшись, подошел к Каспару Преклю совсем вплотную. Каспар Прекль был не из трусливых, и все же он с трудом поборол в себе желание отступить. Но он преодолел себя и остался на месте.

— Вы могли бы представиться, молодой человек! — резко произнес художник Ландгольцер, обращаясь к Каспару Преклю.

Сейчас только стало видно, что он был значительно выше Прекля ростом — высокий, развинченный человек.

— Это вам нисколько не повредило бы, — добавил больной, и Каспар Прекль заметил, что он говорит на баденском диалекте.

— Меня зовут Каспар Прекль, — сказал молодой человек. — Я инженер.

Больной еще немного постоял в непосредственной близости от него, так что Прекль ощущал исходящий от него острый запах и слышал его громкое дыхание. Затем художник Ландгольцер неожиданно отступил от гостя, почти благодушно протянул: «Так, так. Значит, вы тоже инженер!» — и заходил взад и вперед по комнате.

Врач заявил, что присутствие Прекля, по-видимому, не вызывает у больного особого возбуждения. Он полагает, что может оставить посетителя наедине с больным. Примерно через час зайдет санитар, чтобы повести Бренделя на прогулку. Прекль, если пожелает, может сопровождать его. С этими словами он удалился.

Художник Ландгольцер подбежал к двери, поглядел сквозь замочную скважину вслед врачу, подбежал к окну, проводил удалявшегося странными заклинающими и отгоняющими жестами. Затем, убедившись, что врач окончательного ушел, он с удовлетворением лукаво улыбнулся Преклю, предложил ему сесть. И сейчас же своим жестким, звонким голосом деловито сказал:

— Вы, верно, удивляетесь, молодой человек, что я сижу в сумасшедшем доме?

Хитрость угнетенного вызвала бы у Прекля жалость, обличительная горечь увлекла бы его в своем порыве, но эта деловитость заставила его похолодеть от страха.

— Пожалуйста, говорите, господин Ландгольцер, — сказал он.

— Мое имя не Ландгольцер, — резко поправил больной. — Я Фриц-Ойген Брендель, инженер железнодорожного управления, изобретатель приборов для аэрофотосъемок, творец «Смиренного животного», Лазарь из Назарета, наместник бога и железнодорожного управления на воде и на суше, а также и всех военно-воздушных сил. В людском суде, в семи инстанциях, гнусно обманутый людьми, похитившими мои изобретения.

Он встал, выбрасывая вперед одну ногу, прошелся вприпрыжку по комнате, хитро улыбнулся.

— Но теперь я укрылся в сумасшедшем доме, — продолжал он. — Это было нелегко. Понадобилось немало ухищрений. Неприятно, конечно, когда при помощи электричества в тело вгоняют запах трупa, запах боль-

ных, кишечные газы, чувство похмелья, но теперь я могу спокойно выжидать объявления приговора Страшного суда. Тогда измерения будут производиться моими инструментами, и овца будет пастись рядом с командованием аэрофотосъемки.

Он отступил на несколько шагов, уставился на Прекля, склоняя голову набок то вправо, то влево, словно рассматривая картину.

— Вы производите довольно симпатичное впечатление, — сказал он. — Вы заслуживаете того, чтобы стать нормальным. Вы не стремитесь попасть в Нидертаннгаузеп? Здесь находишься в ангаре. Вам следовало бы попробовать. Симулировать, разумеется, нелегко. Врачи очень недоверчивы. Нужна немалая решимость для того, чтобы несколько лет сряду изображать тихую форму пизофрении. Раздвоение личности, аффектированную амбивалентность. Но постепенно привыкаешь. Нужно только остерегаться ощущения своей неполноценности. Скажите, неужели вы не считаете меня сумасшедшим? Вот видите! А самого себя?

Каспар Прекль страшно устал, его мысли кружились вихрем. Моментами ему казалось, что его дурачит какой-то мрачный шутник. Неужели возможно, чтобы человек только ради того, чтобы одурачить других, позволил запереть себя на годы в сумасшедший дом?

Он вынул репродукцию картины «Иосиф и его братья».

— Я прошу вас кое-что пояснить мне относительно этого, — произнес он хрипловатым голосом.

Больной поглядел на него беглым, острым, недоверчивым взглядом.

— Это плохая картина, — сказал он наконец неприязненно. — Она относится ко времени нормальности. Будьте любезны убрать эту картину! — закричал он вдруг.

— Не покажете ли вы мне что-нибудь из того, что вы написали с тех пор? — необычным для него заносчивым тоном попросил Прекль.

Он сидел словно лишенный воздуха, вне пространства и времени. Никогда еще не встречал он человека, в своем превосходстве над которым он втайне не был

бы уверен. Его подавляло то, что этого человека, — все равно, разумный ли он или нет, — он не мог не считать выше себя.

Больной поднялся, встал, опять близко-близко подошел к сидевшему Преклю.

— Итак, вы хотите поглядеть на мои картины? — спросил он. — Обращаю ваше внимание на то, что это не вполне безопасно. Я могу вскрыть человеку сердце на семь тысяч лет. Считаю нужным отметить, что мне случалось уже спускать людей в ватерклозет. Вполне возможно, что мне, если вы явились из холодного любопытства, придется спустить и вас туда же. Тогда у вас мало шансов останется на Страшном суде.

— Мне хотелось бы, раньше чем взглянуть на ваши картины, закурить трубку, — сказал Каспар Прекль.

Это заявление, по-видимому, понравилось художнику Ландгольцеру. Пока посетитель закуривал трубку, он возился с картинами, поставленными у стены тыловой стороной к зрителю. Из шкафов и сундуков он вытаскивал все новые большие, обвязанные шнурами свертки. При помощи замысловатого механизма спустил также какие-то свертки, подвешенные к потолку. В конце концов он, лукаво подняв палец, опустился на колени: как выяснилось, у него и под одной из половиц был спрятан большой сверток рисунков. Казалось, вся комната наполняется видениями художника Ландгольцера. Разложив свертки в ряд, он сел, не собираясь как будто их развязывать.

— Вы, кажется, хотели показать мне ваши картины? — напомнил ему немного погодя Каспар Прекль.

Художник Ландгольцер лукавым жестом предложил ему соблюдать спокойствие, осмотрел двери, проверяя, заперты ли они, осмотрел окна, повертел свертки во все стороны. Развязал наконец шнурок на первом из них. То, что представилось глазам инженера Каспара Прекля, навсегда запечатлелось в его памяти. Тут были, под хаотической грудой технических и геометрических чертежей и небольших моделей, самые разнообразные рисунки и картины, написанные карандашом, тушью, пером, углем, маслом, акварелью. Были тут и скульптурные произведения, вырезанные из всякого рода

дерева, из обломков мебели, вылепленные из жеваного хлеба. Были картины, которые и самый недоверчивый человек признал бы творчеством здорового; были и такие, от которых веяло безумной изощренностью. Крохотные наброски и большие, вполне законченные полотна.

«СТРАШНЫЙ СУД»

Была, например, здесь папка с пометкой «Страшный суд». Судьи и подсудимые сливались и смешивались воедино. Здесь были орудия пыток. Один и тот же человек то подвергался пыткам, то оказывался палачом. Кругом стояли обвинители, их лица, явно портреты, были мертвенны и маскообразны. С жуткой точностью были изображены орудия мучительства. Их формулы, точно вычисленные, были аккуратно выписаны тут же с краю или в уголке листа, рядом — руководства по их применению. Судьи, в мантиях, восседали словно на тронах. У некоторых из них была раскрыта грудная клетка: она содержала изогнутые параграфы, орудия пыток, статьи закона, геометрические формулы.

— Стареешь попомногу, — печально сказал художник Ландгольцер, в то время как Каспар Прекль разглядывал рисунок. — Я уже не люблю карать. Но иначе все развалится.

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»

С видимым наслаждением раскрыл он затем папку с надписью «Сотворение мира». На каждом листе бумаги был изображен человек, опорожняющий свой кишечник. Из его экскрементов образуются самые разнообразные вещи: города и тучи, люди и машины, аэропланы, император Наполеон, пирамиды, фабрики, растения и животные, трон с короной, Будда на лотосе. Человек с интересом глядит на то, что создается из его экскрементов. Когда растерянный Каспар Прекль поднял глаза на художника, тот произнес, употребляя несколько невольно обычные у художников технические выражения:

— Да, да, неплохо. Не мешало бы, пожалуй, прибавить ультрамарину. Но перспектива дана хорошо.

Была тут скульптура из дерева — ошетилившаяся оружием, с предметами обмундирования всех существующих армий, даже самому простому зрителю понятная как изображение *милитаризма*. У этой фигуры было четыре лица, два из них были лицами полководцев мировой войны, по имени Людендорф и Гинденбург, пользовавшихся в те времена широкой известностью. Все четыре лица были изображены с разинутыми ртами, вылезающими из орбит глазами, ошетилившимися усами, высунутыми языками. Ненависть водила резцом художника.

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»

С улыбкой указал он затем на одну из больших картин, прислоненных к стене. Здесь было нечто вроде «Тайной вечери», и сразу можно было узнать, что она принадлежит кисти того, кто написал «Иосиф и его братья». Но и в этой картине было немало странного: животные — лев Марка, бык Луки, орел Иоанна — участвовали в трапезе. Иуда был изображен на картине дважды, справа и слева. В одном случае — с обнаженным сердцем и раскрытым черепом, так что видны были все бороздки и извилины мозга.

— Вот видите, — сказал художник, — это настоящая картина, а не та, что у вас при себе. Но если вы говорите то, что есть на самом деле, вы попадете в сумасшедший дом. Только в сумасшедшем доме вы можете говорить то, что есть на самом деле. Поэтому каждый разумный человек и стремится попасть в сумасшедший дом.

«СМИРЕННОЕ ЖИВОТНОЕ»

Каспар Прекль ничего не возразил. Он сидел словно одурманенный. Его трубка погасла. Художник Ландгольцер вдруг снова повернул картину лицом к стене, поспешно опытной рукой принялся связывать свертки. Сказал:

— Вот, хватит! А то тут всякий может войти. Я скажу, чтобы меня побрили.

Каспар Прекль не стал упрямивать, промолчал, не шевельнулся. Оказалось, что именно так и следовало вести себя. Ибо через некоторое время больной произнес:

— Еще одну вещь я хочу показать вам.

Он вытащил откуда-то кусок дерева, плоский кусок светлого красного дерева. На нем был вырезан очень простой барельеф — животное какой-то трудно определимой формы, с повернутой к зрителю плоской и широкой головой, с огромными глазами, необыкновенными, лопухообразными ушами, короткими обрубками рогов. Передние ноги были подогнуты, как если бы животное стояло на коленях.

— Это «Смирненное животное», — сказал художник. — Лань-католичка.

Каспар Прекль держал дощечку в руках. Он впился в нее своими глубоко запавшими глазами. Его рот был полураскрыт. Он глядел на выступавшего из дерева коленопреклоненного зверя, а выступавший из дерева зверь глядел на него своими огромными глазами скорбно, жутко, загадочно, трогательно, вынырнувший из хаоса, скромный, невыразимо реальный.

— Вот когда я был посвящен в художники, — произнес Ландгольцер.

Хитро улыбаясь, он несколько минут упорно глядел на Каспара Прекля.

— Вам не следовало бы так долго глядеть на него, — сказал он наконец.

И так как Каспар Прекль нерешительно протянул ему дощечку, он безразличным тоном добавил:

— Можете оставить это себе.

Каспар Прекль просиял.

— Вы хотите подарить это мне? Подарить мне вот это?

— Да, — подтвердил больной с величественным безразличием. — Можете это спокойно оставить себе.

Кусочек дерева с вырезанным на нем «Смирненным животным» лежал на столе между Каспаром Преклем и художником Ландгольцером. Рядом с ним лежала трубка Прекля.

— Понимаете, — произнес Ландгольцер, — я — нако-

вальня своей судьбы. Вы можете «Смирненное животное» пазвать и так: «Наковальня собственной судьбы», или «Оплеванный». Он сделан из краешка дивана.

Он произнес все это своим жестким, звонким голо-сом, без оттенка жалобы или нытья. Молодой инженер Каспар Прекль не раз видел смерть на войне и во время революции, этот мир он считал отнюдь не прекраснейшим из миров, не считал и человека как такового хорошим; он нашел свое место в жизни, у него был свой опыт, и он не был склонен к сентиментальности, но, когда сумасшедший художник Ландгольцер так обстоятельно пояснял ему значение «Смирненного животного», ему стало как-то не по себе. Он хотел положить барельеф в карман. Но вместо этого взял давно погасшую трубку и, испустив какой-то страшный звук, напоминавший икоту, принялся неловко и обстоятельно раскуривать ее. Лишь после этого положил он в карман барельеф.

«АВТОПОРТРЕТ»

Художник Ландгольцер внимательно следил за всеми его движениями. Когда «Смирненное животное» исчез в кармане Каспара Прекля, он улыбнулся лукаво, с удовлетворением. Достал средней величины рисунок, сделанный пастелью.

— Сейчас я выгляжу вот так, — сказал он, протягивая Преклю рисунок, чуть-чуть кокетливо, словно продавец, старающийся показать свой товар в возможно более привлекательном виде. Это был автопортрет, сделанный в очень ярких тонах, среди которых доминировал синий. Блекло-коричневое лицо, растрепанная борода, мясистый нос. Глубоко запавшие глаза косились на зрителя, горячие, дикие, полные огня, странно повернутые, хитрые. Каспар Прекль думал до сих пор, что он очень внимательно присмотрелся к художнику. Сейчас он со смущением понял: он мало что разглядел в нем.

В то время как художник Ландгольцер показывал ему рисунок, за ними зашел санитар. Он должен был вести больного на прогулку. Ландгольцер поспешно спрятал рисунок, связал сверток, убрал папки на их

прежние места. Санитар с грубоватой, профессиональной ласковостью предложил ему поскорее собираться. Но больной воспротивился. Сразу изменившись, пришел в возбуждение, стал браниться. Он и не думает идти гулять в таком виде. Показаться в обществе своего коллеги, своего друга в таком состоянии — да ведь это было бы совершенно неприлично. Он требует, чтобы его как следует побрили. Его желание было исполнено.

Каспар Прекль был очень горд тем, что художник Ландгольцер назвал его своим коллегой и другом. Ему было разрешено остаться и тогда, когда пришел парикмахер. Художник Ландгольцер, пока парикмахер возился около него, сидел оживленный, лукаво улыбаясь, довольный всей этой процедурой. Разговаривал с невероятной важностью. Да, он вот решил снять бороду. Перемена бывает полезна. Перемена сохраняет человека молодым. Каждые семь лет обновляется все тело человека, все его клетки.

Всклоченные волосы падали на пол, из-под их гущи поемногу выступало обнаженное лицо художника. Санитар и парикмахер со все возрастающим удивлением переводили взгляд с больного на сидевшего напротив него в несколько напряженной позе посетителя, переглядывались друг с другом. Художник Ландгольцер потребовал зеркало, оглядел себя, оглядел Каспара Прекля, кивнул, усмехнулся лукаво, с удовлетворением. Каспар Прекль сидел тут же с глупым видом, ничего не понимая. Существовал какой-то стогвор между парикмахером, санитаром и больным, и он не мог понять, в чем дело. Лишь позже, когда из-под бритвы, обнаженное и новое, выступило все лицо Ландгольцера, он увидел, что это его собственное лицо. Холод ужаса пробрал его до мозга костей. Да, больной и он — даже неизощренные глаза санитаря и парикмахера уловили это — казались близнецами.

Художник Ландгольцер и Каспар Прекль гуляли по Нидертаннгаузенскому лесу. Это был прекрасный, большой лес; земля была покрыта густым слоем мха. Они брели без дороги среди старых деревьев.

— Разрешите, товарищ инженер! — произнес безумный изобретатель Фриц-Ойген Брендель, когда

Каспар Прекль, зацепившись за корень, споткнулся, и бережно подхватил его под руку.

Наконец они уселись на двух древесных пнях, и художник Ландгольцер принялся рисовать. Он нарисовал двух совершенно одинаковых людей, сидевших на одинаковых пнях и искоса хитро глядевших друг на друга странно похожими, дикими, горящими глазами. И были эти люди — инженер Каспар Прекль и инженер Франц Ландгольцер. Он рисовал молча. Каспар Прекль тоже молчал. Санитар лежал где-то поблизости на земле, читал газету, уснул. Окончив рисунок, художник Ландгольцер лукаво произнес:

— Кто хоть раз сказал правду, тому уж не верят, сколько бы он потом ни лгал!

Возвращение Каспара Прекля в Мюнхен совершилось в величайшем смятении, напоминало лихорадочный бред или бегство. Он автоматически правил машиной, автоматически поглядывал на указатели пути, не замечал, широка дорога или узка. Он не знал, полезно искусство художника Ландгольцера или вредно. Не знал также, является ли оно мостью. Но он знал одно: все люди и вещи, созданные художником Ландгольцером, будут существовать дальше совершенно такими, какими он изобразил их. Совершенно безразлично, являются ли, например, эти судьи в действительности порядочными людьми или нет, займут ли они министерские посты, кончат ли свои дни в почете или умрут нищими и оборванцами: их настоящая жизнь раз и навсегда была запечатлена на связанных в пачки листах в психиатрической лечебнице Нидертаннгаузен.

«ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДУБЛИКАТ»

Художник Ландгольцер на другой день к общему удивлению настоял на том, чтобы его еще раз побрили. Долго затем, улыбаясь, гляделся в зеркало. Подписал под сделанным в лесу рисунком: «Западно-восточный дубликат», не без труда добыл твердый картон и конверт, справился у доктора Дитценбрунна об адресе Каспара Прекля, аккуратно и добросовестно упаковал «Западно-восточный дубликат» и отправил его своему

гостю. Затем после полудня с большой тщательностью написал следующее:

«1. Конкурс. Государство — фундамент справедливости. Будет выдана премия в 333 333 германских марки или в 33 бумажных марки за решение того, как сделать это государство относительным и прозрачным. Нарушители будут приговорены к тюремному заключению от 27 до 9 лет, в случае отказа — к 33 дням свободы.

2. Распоряжение министерства. В дальнейшем все доказуемо: правдивые вещи должны быть написаны на желтой бумаге, все лживые — на белой.

Дано в Нидертаннгаузене.

Наместник бога и железнодорожного управления
на воде и на суше

Фриц-Ойген Брендель».

Этот манифест он торжественно приколотил к стене в общем зале больницы. Он был написан на белой бумаге.

26

О СЧАСТЬЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

За полчаса до начала премьеры, в то время как в конторе и на сцене царили волнение, отчаяние, напряженное ожидание, иссушающий небо страх, деланное веселье, в то время как сотый раз повторялись никому не нужные указания и по самой ничтожной причине вспыхивала паника, — господин Пфаундлер был невозмутим и приветлив. Еще во время генеральной репетиции, тянувшейся всю ночь до утра, он был до бешенства раздражителен, грубо ругался, свирепо гнал всех, кто не проявлял достаточной ловкости. Сейчас, когда такая нервозность могла оказаться вредной, он инстинктивно зарядил себя оптимизмом и верой в свою звезду, распространил вокруг себя упрямую уверенность в успехе. Словно добрый дядюшка, дарящий всем силу и утешение,

ходил он взад и вперед из конторы на сцену, сглаживая споры, успокаивая. Беззлобно посмеивался над малодушными, выражал стареющей примадонне Клере Гольц свое якобы искреннее восхищение ее внешнею, похлопывал бледного композитора по плечу, некоторых из «герлз» — по ляжкам, одобрял предложения мало ему симпатичного осветителя Бенно Лехнера, в сотый раз проверял с акробатами крепость их установок. От всех его действий веяло непоколебимой искренностью и убедительностью. Они и были искренни. Ибо г-н Пфаундлер отбросил всякие сомнения, забыл, что по мере своих сил подавлял настоящее искусство, выдвигая на первый план тело и мишуру. Чувствовал себя не коммерсантом, а меценатом. Разве не служил он искусству и народу? Потребность в увеселениях, несмотря на инфляцию и непрекращавшиеся политические кризисы, была не менее сильна, чем потребность в хлебе. Г-н Пфаундлер был убежден, что необходимо обществу не меньше, чем булочник или мясник.

Но, распространяя вокруг себя уверенность и надежду, он в глубине души знал, что обманывает и себя и других. Он видел, что с уходом комика Бальтазара Гирля из обозрения «Выше некуда!» вытек весь сок. Вероятно, с таким же успехом, пожалуй, даже и с большим, и уж наверно с бóльшим личным удовлетворением, он мог бы вместо всей этой чепухи поднести зрителям настоящее искусство. Он ясно видел, ибо нюх у него был тонкий: игра была проиграна раньше, чем началась.

Театр между тем наполнялся. Пришли круглоголовые мюнхенские жители и их аккуратные, чуть полноватые жены; зал гудел от спокойных грубых голосов. Пришел художник Грейдерер со своим «зайчонком», пришел элегантный г-н фон Остернахер. Пришел и мопсообразный, в пенсне, писатель Маттеи, а также несколько видных актеров из Национального театра, кое-кто из «большоголовых» членов «Мужского клуба». Был тут даже древний профессор Каленеггер, вытягивавший свою длиннейшую шею с маленькой птичьей головой. Ведь обозрение, как возвещали о нем, должно было явиться наступлением города искусств Мюнхена на

материалистическое бескультурие Берлина. Большой интерес вызывало присутствие в зале министра Отто Кленка, недавно, ввиду неудовлетворительного состояния здоровья, подавшего в отставку. Он сидел в одной из лож первого яруса, у всех на виду, бледный, с явными следами только что перенесенной болезни. Эрих Борнгаак зато сидел на боковом месте в партере, почти не привлекая к себе внимания присутствующих. Он чувствовал себя теперь в полосе счастья: все, за что бы он ни брался, удавалось ему. С некоторым любопытством ожидал он, кто займет место рядом с ним: ему, конечно, и тут повезет с соседом. Но место рядом с ним до самого начала представления оставалось пустым. Можно было увидеть в зале и плохо выбритого Каспара Прекля и рядом с ним Анни Лехнер, красиво одетую, веселую. Много было здесь и мелких горожан, разодетых по-праздничному, полных ожидания, — матерей, дядюшек, теток, кузенов, женихов тех голых девушек, которые участвовали в обзрении.

Перед этой публикой, таким образом, началось обзрение «Выше некуда!», именовавшееся прежде «Касперль в классовой борьбе», то самое представление, в которое писатель Тюверлен вложил немало своего лучшего времени и своих незаурядных способностей.

Сам писатель Жак Тюверлен пришел в театр уже тогда, когда представление началось. Собственно, только потому, что его отсутствие было бы похоже на дезертирство. Он пришел в вялом, безразличном настроении, заранее убежденный в провале. Он давно уже подвел итоги, четко, безжалостно, — даже инженер Прекль не преподнес бы ему этого в более резкой форме. Что такое искусство? Что такое произведение искусства? Все виды искусства были результатом творческой потребности, потребности выражения своих мыслей и чувств, присущей человеку так же, как потребность в пище, как инстинкт продолжения рода. Природа, должно быть, устроила так с той целью, чтобы человек свой личный опыт и знания мог в возможно более чистом виде сохранить для рода. Он, Жак Тюверлен, плохо и глупо использовал свои творческие способности. Поддался соблазну располагать для выражения задуманных образов

не бумагой и пишущей машинкой, а большим театром и сотнями живых людей. Принес в жертву великолепное полновластие своего письменного стола, позволил — глупо, словно какой-нибудь Руперт Кутцнер, — увлечь себя дурацким желанием использовать для своей забавы эти несколько сот человек.

Он не пошел в переполненный публикой зал, а остался за кулисами. Там царил первичное возбуждение, он всем мешал. Наконец акробат Бианкини I пригласил его зайти к нему в уборную. Тюверлен долго просидел в этой уборной, в обществе Бианкини I и музыкального имитатора Боба Ричардса, в приятном покое и мирной беседе забыв о том, что в нескольких метрах от него разыгрывалась на сцене глупая, искалеченная пьеса, к которой, в период ее созидания, было приковано его сердце.

Обозрение «Выше пекуда!» между тем разворачивалось тягуче, но внешне блестяще и гладко. Картины «Натюрморт» и «Тутапхамон» прошли, не произведя особо сильного впечатления, и знатоки шептались уже о неудаче обозрения. Но публика была настроена добродушно, мирно выжидала. Стоило со сцены подать ей малейший повод, и она, забывая предшествующую скуку и пустоту, готова была шумно проявлять свое удовольствие. Картина «Голая правда» имела поэтому явный успех. Зрители встретили г-жу фон Радольную бурным восторгом: крупная, полная женщина была, несомненно, во вкусе этой толпы. Спокойная беззастенчивость, с которой она выставляла напоказ свою пышность, импонировала и нравилась публике.

Но обозрение в первый же час было бы обречено на провал, если б не шумовые инструменты изобретателя Друкзейса. Когда же вступили в действие эти инструменты, изображавшие мычание целого стада коров, свиной визг, собачий лай, рев автомобильного рожка, паровозный свисток, гром, шаг марширующих войск, когда имитатор Боб Ричардс из Черновиц стал подражать всему этому и подражание некоторым звукам получилось нарочито жалобным, затем весь адский шум слился в общую симфонию и из нее возникла излюбленная мюнхенская песня о зеленом Изаре и неиссякаемом уюте;

когда эта песенка перешла в конце концов в бывший королевский гимн, исполненный жутким ансамблем чудовищных шумовых аппаратов, когда вылетел сонм голых «герлз» с сине-белыми шарфами вокруг груди и бедер, когда они принялись размахивать сине-белыми баварскими флагами и на экране появился окруженный еще не достроенными башнями, ливерными сосисками и пивными кружками баварский лев,— тогда сразу же исчезло разочарование, овладевшее всеми в начале спектакля. Публика поднялась с мест, восторженно подхватив гимн, бурно захлопала в мощные ладони.

Усмехался Каспар Прекль, усмехался, сидя на своем осветительном мостике, Бенно Лехнер. Никто не знал, была ли эта злая шутка делом Тюверлена или Пфаундлера, была ли она вообще задумана и подготовлена заранее. Тюверлен и сам улыбался. Вот все-таки проскользнуло нечто от обозрения, каким он когда-то задумал его. Эта публика, с воодушевлением подхватывающая гимн, сплетенный из свинячьего визга, мычания быков и звуков, издаваемых имитатором с изуродованным носом, эти люди, в сердцах и в голосовых связках которых задуманный как шутка гимн немедленно вызывал тропический расцвет вколоченного веками энтузиазма,— были и в самом деле сборищем героев Аристофана.

Отто Кленк при вступлении в действие аппаратов изобретателя Друкзейса мрачно просиял. До этой минуты он сидел несколько разочарованный, еще довольно бледный, рядом с полнокровными, здоровыми мужчинами, наполнявшими зал, и смокинг болтался на его атлетической фигуре. Но когда раздался на сцене шум, когда, при общем восторге, появился баварский лев,— бывший министр ожил. Да, именно такой он представлял себе душевную почву своего народа, и на этой почве он построит теперь свое удовольствие, свою забаву. То, что сейчас уже пельзя было разобраться между ревом на сцене и ревом публики, нельзя было понять, серьезен или пародиен этот баварский лев, весь этот грандиозный балаган и увлечение, с которым он разыгрывался,— все это было именно так, как надо, было в порядке вещей. Будучи на посту, он, вероятно,

несколько озабоченно, может быть, даже с некоторой грустью, глядел бы, как его мюнхенцы, забыв все на свете, погружаются в этакое идиотическое тупоумие. Теперь это было ему на руку. Ладно, продолжайте. Пусть так идет дальше. Он, Кленк, примет в этом участие. Пусть кое-кто полюбуется. «Падающего толкни!» — так, кажется, сказал какой-то классик.

Кто-то занял свободное место рядом с Эрихом Борнгааком. Заняла его дама. Эта дама была Иоганна.

Ветрогон не видел ее с той самой ночи. Однажды позвонил ей по телефону, но безрезультатно. Теперь, когда театральный кассир неожиданно поместил ее рядом с ним, он с деланным безразличием поклонился ей, не находя своего обычного дерзкого тона, и не знал, что ему делать. Отпускал время от времени, обращаясь к ней, иронические замечания по поводу происшедшего на сцене. Так как Иоганна отвечала холодно и немногословно, он постепенно затих, умолк наконец окончательно. Что она о себе в конце концов воображает? Ведь он обладал ею, — так чего она хочет? Бывают женщины лучше сложенные, умнее, остроумнее, изящнее. Ему не очень-то противятся — только выбирай! Особенно теперь, когда у него счастливая полоса. Уважение к нему в среде «истинных германцев» растет с каждым днем. К тому же старик прислал ему весьма приличный иностранный чек. Должно быть, в знак примирения, после того как он хотел уклониться от защиты фон Дельмайера. Ну и балда этот старик! Чего стоит одна унижительная покорность, с которой он принимает каждый пинок. Жизнь вообще презабавная штука. Вот и дело с боксером Алоисом — забавная история, уж не говоря о том, что она небезвыгодна. Немного опасное дело, пожалуй, принимая во внимание, что речь идет о брате Руперта Кутцнера. Но зато занятно. К тому же так неслыханно просто. Он пытается что-то сказать Иоганне. Но она не слушает; на сцене в это время отчаянно шумят. Он сбоку оглядывает ее. Одно время она ему и в самом деле нравилась. Почему, собственно говоря? Право же, в ней нет ничего особенного. Широкое лицо. Тупой нос. Хотя она и строит из себя недотрогу, а все же волосы она только для него

остригла. И как она ведет себя в постели — ему тоже прекрасно известно. Известно, что она в этой области никакими особыми качествами не отличается. Так чего же она, собственно, хочет? Другие бранятся, бунтуют. А она разыгрывает величайшую непосредственность. Ну и пусть. Его не так легко разозлить.

И он отчаянно злился.

Иоганна со своей стороны забывала о своем соседе, как только он переставал привлекать к себе ее внимание. Все существо ее тянулось к Жаку Тюверлену. Она видела то, что происходит на сцене, и в ней просыпалась ярость, какую она испытывала лишь однажды в жизни, когда во время процесса Крюгера увидела газетный отчет о чтении на суде писем покойной девицы Анны-Элизабет Гайдер. Жак Тюверлен когда-то с восторгом рассказывал ей об Аристофане. Она не совсем ясно тогда поняла, что именно он представлял себе. Но что это не могло быть вот тем, что сейчас происходило на сцене, что это было честно и художественно опрятно, — в этом она не сомневалась. Жак Тюверлен любил разыгрывать циника, но в своей профессии он был щепетильно чистоплотен, его писательская совесть была основным ядром его характера. Сколько должен был он пережить, пока его хорошо задуманная вещь превращалась в эту вот бессодержательную ерунду. Тяжело пришлось ему в то время, когда она отсутствовала. Черт знает как глупо было с ее стороны болтаться с Гессрейтером и с этим вот, рядом с ней, в то время, как Жак сидел здесь и мучился. Хорошее сильное чувство поднялось в ней к человеку с помятым лицом и сдавленным голосом, скрывавшемуся сейчас, верно, где-нибудь в глубине ложи или за кулисами и отпускавшему остроты, хотя ему, несомненно, было вовсе не до острот. И в то время как на сцене продолжала разворачиваться все та же отвратительная бессмыслица, в то время как Катарина упивалась своим пустым торжеством, и бурей восторга награждались инструменты изобретателя Друкзейса, — перед Иоганной, радостный и непреложный, раскрылся предначертанный ей путь: она будет теперь с Тюверленом, убережет его от того, чтобы он во второй раз не впутался в нечто подобное этому обозрению.

А обозрение между тем тягуче, но гладко катилось дальше. Искренняя сердечность, с которой публика встретила шумного баварского льва, воодушевила людей на сцене. Они пустили в ход затаеннейшие резервы своего искусства, с величайшим трудом поддерживая настроение публики до последней перед антрактом картины, когда зазвучала легкая, дерзкая мелодия марша, впитавшая в себя всю прелесть боя быков — изысканное соединение изящной позы и жажды убийства. Со сцены наслаждение этой мелодией перекинулось вниз, в ряды начинавшей уставать публики, прыснуло ей в кровь, перекинулось назад, на сцену. Артистка Клер Гольц сразу почувствовала прилив новых сил; ожила тапцовщица Инсарова. Даже осветитель Бенно Лехнер, высоко наверху на своем мостике, грязный, в темных очках, защищавших глаза от прожекторов, погруженный в работу, требовавшую величайшего внимания и точности, — даже и он подпевал эту мелодию. То, что из зрительного зала казалось блеском и роскошью, отсюда, с его мостика, выглядело лишь как сложная конструкция из дерева, проволоки, картона. Голые девушки были покрыты неаппетитным слоем белил и пудры. Все это слащавое скакание для него, тут, наверху, было лишь тучей пыли, жира, пота, скверного запаха. Но и он сейчас наслаждался дерзкой, броской мелодией. Пока звучала эта мелодия, его мысли убегали далеко от его трудной, в сущности бесполезной работы. Он думал о революции, которая неизбежно должна разразиться и здесь, о том, как он прожекторами осветит городские площади, на которых многотысячные массы будут петь «Интернационал». Публика была захвачена картиной боя быков почти так же, как и шумовыми инструментами. Официальные композиторы под крики публики стояли на сцене, а вокруг них, держась за руки, девицы-тореадоры, с обнаженными грудями под короткими расшитыми курточками, двигались взад и вперед, волнообразно, тремя цепями. Занавес подымался, опускался десять, двадцать, тридцать раз. Оба композитора стояли среди девиц, толстые, вспотевшие, счастливые, лишь очень смутно помня о неприятном им третьем.

Картина эта, предшествовавшая антракту, создала

для первой части видимость успеха. Люди, стоявшие вокруг, бормотали слова одобрения. Резко среди всех этих стоявших людей бросался в глаза огромного роста мужчина в старозаветном торжественном сюртуке, с огромной волнистой бородой и крохотными, глубоко запавшими сияющими голубыми глазками. Он сразу же простодушно уцепился за Грейдерера и Остернахера. Мюнхен — шикарная штука, обозрение — великолепно, все обстоит чудесно. Он был в восторге. Да, апостол Петр приехал из Оберффернбаха в Мюнхен и предполагал пока что остаться здесь на довольно продолжительное время. Г-ну фон Остернахеру это было известно: апостол Петр уже побывал у него. Но Рохус Дайзенбергер был хитрой бестией. Он заметил, что фон Остернахеру не хотелось, чтобы Грейдерер узнал об этом посещении. Он благоразумно промолчал и ограничился, привлекая к себе всеобщее внимание, многословными выражениями восторга по поводу спектакля.

Кленк, спокойно обмениваясь рукопожатиями со злорадствующими и опасными знакомыми, направлялся к проходу на сцену. Марш тореадоров вызвал в нем подъем настроения. Ему мерещились картины, сумбурные и роскошные картины того, как он проучит свой дурацкий и неблагодарный родной город. Он хотел движение «патриотов» повернуть на пользу своим землякам; в ответ на это они мелочным, гнусным и подлым образом прогнали его. Ну, а теперь он обратит это движение против них. Теперь он свободен, никто не смеет задеть его. Он заставит ветер дуть так, как ему выгодно. И ветер будет здоровый, чертовский ветер, такой смерч, от которого не один задохнется и протянет ноги. «В землю их загнать!» — повторял он мысленно слова старинного баварского проклятия и представлял себе при этом Флаухера, Гартля, Тони Ридлера и многих из тех, кому, проходя мимо, дружелюбно пожимал руку.

Он прошел на сцену, разыскал уборную Инсаровой. Танцовщица, голая под накинутым кимоно, казалась пежной, порочной и такой хрупкой, что и ребенок мог бы дуновением свалить ее. Разгоряченная возбуждающей атмосферой премьеры, она своими слегка раскрытыми глазами грустно и насмешливо смотрела на сто-

явшего перед ней великана, выжидая, что он скажет. В комнате стоял запах грима, духов и женского тела. Она сидела съезжившись, маленькая и беспомощная. Он почти заполнил крохотную клетушку. Своим зычным голосом говорил он с ней с высоты своего огромного роста, глядел на нее своими карими властными глазами. Старался быть любезным. Говорил о том, какой нежной и хрупкой она казалась на сцене, чересчур прекрасная для этих баранов, умеющих ценить только грубое. Видя, что она продолжает молчать, он начал снова: как он рад, что теперь наконец у него будет оставаться время на то, что действительно дорого его сердцу. Не согласится ли она поехать вместе с ним в его имение Берхтольдсцелль? Они походят по горам, будут охотиться, кататься, грести. Ему кажется, что это будет очень приятно. Ей навсерьняка полезно пожить на свежем воздухе. Он говорил довольно долго.

Инсарова давала ему говорить, накладывая то здесь, то там грим, наблюдая за ним в зеркале. Он готов был уже вспылить. Овладел собой. Она, в зеркале, кокетливо, с деланной грустью облизнула языком уголки губ, глянула на него искоса, покачала головой. Нет. Она, как уже писала ему, больна. Кроме того, ей вообще не возет: ее увлечения никогда не совпадают с увлечениями других. Когда она кого-нибудь желает, тот не желает ее. С ней обращаются словно с глупым, маленьким ребенком. Но она не ребенок. Доктор Бернайс рекомендовал ей английский санаторий, где ее, если это вообще в человеческих силах, могут еще спасти. Там больные лежат в помещении, лишенном четвертой стены, с открытым видом на лужайку, на деревья, на свет и солнце, лежат почти неподвижно, закованные в шины. Не недели и месяцы, а годы. Тут пужна решимость. Она решила. Она будет лежать в железе и ремнях; только руки остаются свободными, и голова на подушке имеет возможность немного двигаться. Ей рассказывали, да она и сама легко может себе представить, как больные в отчаянии протягивают руки, моля врачей и санитаров об избавлении или смерти. Зная все это, она решила ехать в Англию. Она рассказывала все это со злостью, словно в пику ему. Он молча слушал. Она сидела спи-

пой к нему, занятая раскраской своего лица, видела Кленка в зеркале. Видела, что он очень сдал под влиянием болезни, был бледен и сейчас еще больше побледнел от бешенства.

Он думал о том, что это неслыханная подлость. Она, эта дрянь, была виной его болезни, а теперь, когда он поправился, она ничем не возмещает его. Он не верил ни одному ее слову, но он знал: все было кончено. Он подумал: ладно, тем лучше. У него останется больше времени, чтобы довести до конца планы, направленные против некоторых людей. Неужели ему нужна именно эта баба? Ведь он давно уже собирался разок взглянуть на сына, на Симона, на парнишку, поглядеть, что из него вышло.

Он пожевал трубку, явно беспокоившую танцовщицу. Он хотел бы, — сказал он немного погодя, — чтобы это лечение ей действительно пошло на пользу. Из порядочности он считает необходимым довести до ее сведения, что на такой длительный срок не может отвечать за свои чувства. Она только улыбнулась. Он почувствовал себя обманутым, одураченным, был страшно зол, когда раздался звонок, возвещавший о начале следующего действия, и ему пришлось уйти. Она была очень довольна. Позднее вспомнила, как он был бледен, как измепился после болезни, и жалела, что не позлила его еще больше. Вспомнила старое, слышанное когда-то в детстве проклятие: «Да будет тебе земля пухом, чтобы собаки легче могли раскопать тебя!»

После антракта с неожиданной быстротой окончательно решилась судьба обозрения. Так как Касперль — Бальтазар Гирль был вычеркнут, все обозрение в целом осталось без основного стержня и утратило смысл. Оно рушилось само собой. Публика сидела скучающая, надутая, многие ушли. На сцене, среди шума, блеска и сутолоки, сразу же почувствовалась эта безнадёжная тоска зрительного зала. Даже Бенно Лехнер, одинокий на своем мостике, без малейшего общения с публикой, почувствовал это. Он рассчитывал хоть на полгода вперед иметь над головой надёжную крышу. То, что вся эта происходившая внизу возня проваливалась, означало для него, что на ближайшие месяцы он

окажется без твердого заработка и, по всей вероятности, вынужден будет принять помощь кассирши Ценци. Нет, не хорошо был организован этот капиталистический мир, подло был он устроен. «Я освещу его лучом прожектора, этот буржуазный мир!» — подумал он, сидя наверху, на своем мостике, в вонючем облаке грязи, пыли и пота. И направил свой тысячесвечовый луч на людей, выстраивавшихся внизу для финала: на девушек, прикрывавших свою наготу только маленькими изящными барабанами, на фантастически разодетых лилипутов, на акробатов, на артистку Клере Гольц и оправившегося от желудочных колик павиана. И в то время как все они, образуя блестящую мишурой заключительную группу, продвигались на передний план, осветитель Бенно Лехнер под оглушающий шум оркестра принялся озлобленно и презрительно насвистывать «Интернационал». Он насвистывал песнь о последнем решительном бое и о том, что род людской должен воспрянуть.

Мрачный и одинокий, стоял в стороне г-н Алоис Пфаундлер. Как ни ясно было для него, что настоящая победа невозможна, все же он с неиссякаемым оптимизмом не переставал на нее рассчитывать. Сейчас, в эти короткие минуты, рушились многие его планы: роскошные гостиницы на берегах озер, перенос мюнхенского карнавала в Берлин. Даже самый смелый и любимый его проект, в который он не посвящал и ближайших друзей, — проект автомобильной дороги в горы. Для всего этого необходимой предпосылкой был успех обзора, и все это сейчас шло к черту. Он был мрачен. Все как можно дальше обходили его зло поблескивавшие мышиные глазки. Он знал, конечно, что он один во всем виноват, но старался внушить себе уверенность, что каждый человек здесь на сцене виновнее его. Стараясь придать своей походке возможно больше мужественности, он направился к стоявшему в одиночестве Тюверлену и с ненавистью произнес:

— Вот вам ваша «литература». Я должен был положить на свой нюх.

И, с величайшим презрением снизу, вверх сверкнув на Тюверлена глазами, отошел.

Удивительно, с какой неприязнью все, даже и те, кто верил в него, глядели теперь на Тюверлена. Он был причиной их невзгод, и кругом него царили ненависть, гнев и презрение. Один только Боб Ричардс, музыкальный имитатор, прежде чем стать на свое место для апофеоза, подошел к нему и, глядя на него с выражением скептицизма, сознания своего превосходства и сочувствия, промурлыкал сквозь свой гигантский изуродованный нос сладко и мудро:

— Собственно говоря, ведь это вовсе не ваш жанр.

Жак Тюверлен плохо понял, что он говорит. Он был поглощен своими мыслями. Он сосредоточенно прислушивался к происходившему внутри него: подумать только — он нисколько не огорчен! Со всем этим он ведь уже два месяца назад покончил все счеты. Обидно только, что понадобилось столько времени, пока с этим не было покончено и даже в глазах всего света. Он не огорчился и не радовался. Даже вспышка Пфаундлера не рассердила его и не позабавила. Тщательно разбираясь в своих переживаниях, он отдавал себе отчет, что ждет чего-то.

Вдруг рядом с ним очутилась Иоганна, и это не показалось ему неожиданным. Удивило его только, что ее волосы были подстрижены. Она поглядела на него. Он стал тоньше, лицо его — еще более помятым. Ясно было, что за это время ему пришлось нелегко. И Жак Тюверлен поглядел на нее. Она очень правилась ему, и он подумал о том, как глупо это было, что он так долго не писал ей. Каждый из них понял, что другой пережил отрезок жизни, отнюдь не лучший из того, что ему было отпущено, и рад будет начать лучший.

Обозрение еще не кончилось. Собственно, странно было, что Иоганна так прямехонько, еще до конца спектакля, пришла за кулисы. Но он не спрашивал ее о причинах. Он даже сильнее стянул морщинами свое помятое лицо и полудосадливо-полушутливо сказал:

— Вот и вы наконец. Могли бы прийти и пораньше.

— Вы правы, Тюверлен, — виновато ответила Иоганна.

И они удалились, провожаемые общим неодобрением, презираемые всеми, даже пожарным и сторожем, и тем не менее в прекрасном настроении.

На улице было свежо и приятно. Им хорошо было идти рядом.

— Вы неважно выглядите, Тюверлен,— сказала Иоганна.— Вам следовало бы некоторое время спокойно пожить за городом.

— Разумеется,— своим сдавленным голосом произнес Тюверлен.— Или вы, может быть, думали, что я предполагаю присутствовать на всех представлениях этого шедевра театрального искусства?

— Так куда же мы пойдем? — спросила Иоганна.

— Ко мне, конечно,— ответил Тюверлен.

— Но я зверски хочу есть,— сказала Иоганна.

— Что-нибудь съестное, может быть, найдется еще и у провалившегося драматурга,— успокоил ее Тюверлен.— После всего происшедшего, впрочем, ужин готовить придется вам.

— С анализом вашего характера, Тюверлен,— заметила Иоганна,— долго возиться не к чему. Что вы собой представляете, может увидеть без очков и слепая курица.

— Что же я такое? — поинтересовался Тюверлен.

— Шалопай, разумеется,— ответила Иоганна.

В то время как они, продолжая болтать, направлялись к дому, где жил Тюверлен, обозрение «Выше некуда!» близилось к концу. Раздавались шумные аплодисменты и крики одобрения. Но все знали, что эти крики и аплодисменты неискренни и не имеют никакого значения. Только один человек не знал этого. Он стоял и кричал, находил, что все превосходно, топал ногами, был искренне доволен. Удивительный человек, с длинной, разделенной на две пряди бородой и глубоко запавшими, сияющими хитрыми голубыми глазами. Рохус Дайзенбергер, апостол Петр из Оберфернбаха.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Успех» вышел впервые в 1930 г. в Берлине в издательстве Кипенгейер; в основу настоящего издания положен текст, выпущенный издательством Ауфбау в 1956 г.

Стр. 38. *Галерея полководцев* — была построена в 1841—1844 гг. Гертнером в духе господствовавшего в ту эпоху классицизма.

Лоджия деи Ланци — выдающийся памятник флорентинской архитектуры XIV века, галерея с арками.

Тилли, граф Иоганн-Церклес фон (1559—1632) — командовал во время Тридцатилетней войны войсками католической лиги. Уроженец испанских Нидерландов.

Вреде, князь Карл-Филипп (1767—1838) — баварский фельдмаршал, второстепенный участник наполеоновских войн (сперва боролся на стороне Франции, с 1813 г. — против нее). Впоследствии — крупный дипломат, реакционер, представитель Баварии на Венском конгрессе.

Стр. 39. *...студентов в корпорантских шапочках*. — *Корпорантская шапочка* — шапочка особого фасона, знак принадлежности к тому или иному студенческому союзу (корпорации). Первоначально студенческие корпорации Германии преследовали главным образом спортивные цели, но постепенно большинство из них превратилось в организации с откровенно шовинистической программой.

Стр. 71. *«Томится в Мантуе в оковах верный Гофер»*. — *Андреас Гофер* (1767—1810) — борец за свободу Тироля. В 1809 г. возглавил народное восстание, направленное против французского владычества. Благодаря предательству попал в руки врагов и был расстрелян в Мантуе.

Стр. 73. *Ранке* Леопольд фон (1795—1886) — известный немецкий историк, отличавшийся крайне консервативными воззрениями. Наиболее известны следующие труды Ранке: «Римские папы» (1834—1839) и «Немецкая история в эпоху реформации» (1839—1847). Гаварский король Максимилиан II (годы правления — 1848—1864) сам прослушал у Ранке курс лекций.

Стр. 74. *Султан Сулейман II* (Великолепный) (годы правления— 1520—1566) — значительно расширивший границы Османской империи, в 1526 г. завоевал Венгрию, а в 1529 г. дошел до Вены.

Максимилиан II (1527—1576) — император Священной Римской Империи с 1564 г.

Альбрехт V (1528—1579) — баварский герцог с 1550 г. Основал первый музей в Мюнхене («Аптекариум»).

Стр. 79. *Ли Тай По* (Ля Бо) (701—762) — великий китайский поэт. Ли Бо высмеивал мещанскую мораль, прославлял земные радости. Все его творчество проникнуто своеобразным демократизмом. Стихи Ли Бо неоднократно переводились на европейские языки.

Стр. 82. *Берхтесгаден* — курортный город в Верхней Баварии. Здесь обитали после революции 1918 г. члены баварской королевской семьи.

Стр. 83. *Гетерономия* — в философии права: повиновение чужой воле, признание законов, диктуемых извне; *автономия* — независимость, законодательство, не определяемое внешними факторами. *Теория органическая и договорная* — два направления, господствовавшие до сих пор в буржуазной социологии. Согласно органической теории, отношения между людьми определяются естественным правом, которое установлено богом или от века присуще самой природе человека. Сторонники договорной теории отрицают божественное происхождение права и считают, что правовые нормы выработаны членами общества в процессе исторического развития и закреплены в общественном договоре.

Стр. 116. *Людвиг I* (1786—1868) — король Баварии. Вступил на престол в 1825 г. Сначала проводил умеренно-либеральную политику, впоследствии поддерживал крайних реакционеров и клерикалов. Людвиг I уделял большое внимание искусству, особенно архитектуре, и в его царствование за Мюнхеном окончательно закрепилось гордое наименование «город искусств». Сам писал стихи и издал два сборника своих произведений.

Стр. 158. *Джорджоне* (Джорджоно Барбарелли — 1478—1510) — выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения. Считается наряду с Тицианом главой Венецианской школы. *Ленбах* Франц (1836—1904) — известный немецкий портретист.

Стр. 169. *Кант Иммануил* (1724—1804) родился и прожил всю жизнь в Кенигсберге. Этика Канта определяется учением о категорическом императиве — абсолютном, раз навсегда данном

правственном законе, которому обязаны подчинять свою свободную волю разумные существа. Фашисты и их приспешники противопоставили кантовской этике противоречивое эклектическое учение об относительности нравственных норм и о праве сильного. С таких же примерно позиций опровергает Канта Отто Кленк.

Стр. 181. *Баварское барокко* (*Барокко* — от итальянского «barocco» (странный, причудливый) — художественный стиль, возникший к концу эпохи Возрождения. Отличается изобилием декоративных деталей, патетичностью, динамичностью. В Германии находит распространение главным образом в государствах католического юга. Архитектура некоторых баварских соборов и замков отмечена влиянием барокко.

Мэлескирхнер Габриэль — баварский художник XV века. Творчество Мэлескирхнера отмечено влиянием поздней готики.

..*Баварское рококо*. *Рококо* — художественный стиль, возникший в начале XVIII века во Франции. Развившийся из барокко, этот стиль отличается от него утонченной, изысканной интимностью, изобилием декоративных элементов, полностью заслонивших основную конструкцию; стиль рококо особенно пышно расцвел в Германии. К наиболее известным памятникам баварского рококо относится замок Амалиенбург, расположенный в северо-западном районе Мюнхена.

Пьер Гансхофер — построил в 1470 г. Мюнхенскую ратушу, а затем — Кренцирхе и Фрауенкирхе; эти памятники баварской готики сохранились до наших дней.

Крумпер Ганс (1570—1637) — родом из Вейльгейма, скульптор и архитектор; в мюнхенских церквях сохранились его скульптурные надгробия.

Братья Азам — Козьма Дамиан Азам (1686—1739) и Эгид Квирич Азам (1692—1750) — художники, ваятели и архитекторы. Представители позднего барокко. Наиболее известна совместная работа братьев Азам — собор святого Непомука в Мюнхене.

Стр. 213. *Гуго Прейс* (1860—1925) — известный юрист и политик. По убеждениям — буржуазный демократ. Разработал проект веймарской конституции.

Стр. 237. *Галечный человек, лессовый человек, болотный человек* и т. д. — принятые в буржуазной науке обозначения первобытного человека, палеолитного в Средней Европе. Буржуазные антропологи неоднократно предпринимали попытки истолковать в расистском духе достижения современной археологии. Перед

нами одна из таких попыток. На самом деле предметы домашнего обихода, оружие и утварь первобытного человека, найденные археологами в болотах Северной Европы, по берегам европейских рек, в Альпах и в лессовых пластах, отображают лишь различные этапы в истории материальной культуры всего человечества и никак не подкрепляют теорию расовой обособленности.

Стр. 279. *Дизраэли* Бенджамин, лорд Биконсфильд (1804 — 1881) — известный английский государственный деятель и писатель. В качестве депутата от консервативной партии Дизраэли был избран в 1837 г. в парламент. В 1848 г. консерваторы признали Дизраэли своим лидером. С 1853 г. Дизраэли не раз занимал в английском правительстве пост министра, с 1874 по 1880 г. возглавлял кабинет министров.

...людей, живших в одну и ту же эпоху, в одном и том же городе... — с 1849 г. до смерти Маркс жил в Лондоне.

Стр. 282. *Касперль* — немецкий Петрушка, комический персонаж театра марионеток.

Стр. 342. *Маколей* (1800—1859) — известный английский буржуазный историк и государственный деятель. В 1830 г. был избран в парламент и скоро завоевал репутацию одного из лучших ораторов либеральной партии. Его перу принадлежит ряд трудов по истории Англии.

Стр. 344. ...мыслителю, объяснявшему этику с помощью геометрических образов.— Речь идет о Спинозе (1632—1677). В своем капитальном труде «Этика» Спиноза широко применяет математические методы, устанавливает аксиомы и доказывает теоремы.

Стр. 351. *Людовиг II* — король Баварии. Родился в 1845 г., вступил на престол в 1864 г. Людовиг II постоянно чуждался общества, искал уединения и был одержим болезненной манией строить замки, поражавшие воображение странной причудливой архитектурой. Поощрял музыкальные искания Рихарда Вагнера. Истощил государственную казну, отдавал приказы об аресте министров, пытавшихся протестовать. В 1886 г. был отстранен от управления и в состоянии тяжелого душевного расстройства утопился в Штарнбергском озере.

Стр. 414. *Людовиг III* (1845—1921) — последний король Баварии, свергнутый революцией 1918 г.

СОДЕРЖАНИЕ

УСПЕХ

ТРИ ГОДА ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ ПРОВИНЦИИ

Книга первая. Юстиция	7
Книга вторая. Суета	139
Книга третья. Забава. Спорт. Игра	323
Примечания <i>В. Микушевича</i>	531

Лион Фейхтвангер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том третий

Редактор *Б. Арон*
Художественный редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор *А. Трошин*
Корректор *М. Муромцева*

Сдано в набор 14/III 1961 г.
Подписано в печать 30/IX 1961 г.
Бумага $84 \times 108\frac{1}{32}$ —16,75 печ. л.= 27,4
усл. печ. л. 25,86 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 (1—150 000) экз.
Заказ № 2509. Цена 1 р.

Издательство
«Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
Типография «Красный пролетарий»
Политиздата
Москва, Краснопролетарская, 16.

1040